Т. Касымбеков

СЛОМАННЫЙ МЕЧ

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ТОЛЕГЕН
КАСЫМБЕКОВ

СЛОМАННЫЙ МЕЧ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1980

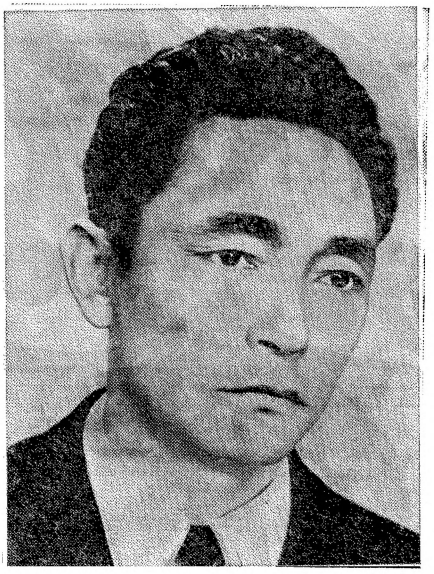
скан ewgenig-new

С(киргиз.)2
К 28

Авторизованный перевод с киргизского
Л. ЛЕБЕДЕВОЙ

Художник И. УРМАНЧЕ

70302—023
074(02)—80 323—80 подписное



М. Касымбеков —

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Тысяча восемьсот шестьдесят пятый год...

Генерал Черняев стоял на холме, трава на котором давно уж высохла, выгорела под лучами жаркого азиатского солнца, и смотрел в подзорную трубу. Теперь он видел перед собою не только степь, но и темневшие вдалеке стены незнакомого Ташкента, зеленые селения с высокими минаретами, полосы камыша вдоль рек и — множество кокандских воинов, муравьями расползавшихся по равнине. Отряды конницы, длинные цепочки пехоты. Высоко поднималась пыль и снова оседала на землю, на редкий пожелтевший ковыль, на заросли верблюжьей колючки.

Сюда, на холм, доносилось конское ржанье и нестройный гул сотен человеческих голосов. Генерал не ожидал, что кокандцы окажутся столь предусмотрительными. Однако на его моложавом, холеном лице не было сейчас сомнения в победе. Генерал со вниманием всматривался в развернувшуюся перед ним картину, и под каштановыми усами играла у него на губах довольная улыбка. Разве он впервые видит этих воинов с кривыми мечами? У него полторы тысячи солдат, вооружен-

ных скорострельными ружьями, у него артиллерия. О чем же беспокоиться? Генерал не видел пока ничего такого, что могло бы внушить опасение.

Главнокомандующий кокандцев — аскербаши — тоже наблюдал: забрав в руку поводья своего светло-серого коня, он смотрел, как рассыпается по степи, рыщет по холмам и увалам его воинство. Аскербаши был бледен. От бессонных ночей покраснели глаза, резче выделились морщины на иссушенном степными ветрами лице. Маленький сухощавый старик казался еще меньше в накинутом на плечи темном парчовом бурнусе без рукавов, свободными складками ниспадавшем на могучий круп серого аргамака. Но, как говорят, невелика птичка, да коготок востер. Так и человека делает иной раз грозным и внушительным не наружность, а положение. Невзрачный старик искоса поглядывал на окружавших его приближенных и телохранителей, но ни с кем не разговаривал, ни с кем не советовался и лишь негромко отдавал приказания о перемещениях воинских отрядов.

Оба войска теперь, после трехдневного выслеживания, рыскания, тайных переходов, совершаемых в пугающей тишине, подошли почти вплотную одно к другому. Конные части кокандцев вырвались вперед. Они быстро меняли построения; отдельные всадники то носились вскачь по степи, то вдруг останавливались, как бы прислушиваясь настороженно.

Передовые подразделения войска генерала Черняева уже завязали бой. Сыпалась неумолчная дробь барабанов, время от времени била артиллерия. Черняевцы в бурном натиске потеснили левое крыло кокандцев. Солдаты, издали похожие в своих белых рубахах на аистов, наступали с двух сторон; не подходя к неприятелю ближе, чем на расстояние ружейного выстрела, они упорно продвигались вперед.

Аскербаши задумался, горько сморщив лицо, редко моргая покрасневшими веками. Руку, в которой зажата была камча, он поднес ко лбу и надолго замер в этой позе. Приближенные толпились растерянно и безмолвно возле того, кого все они считали полностью ответственным за исход сражения. Каждый исподтишка бросал испытующий взгляд на аскербаши — как, что будет? Аскербаши устало вздохнул.

— Чырнай-паша не хочет рукопашной, не подпускает

наших ближе, чем на выстрел из ружья... так ему легче уничтожать нас, верно?

Абдымомун-бек, ближе других находившийся к главнокомандующему, склонился перед ним.

— Повелитель прав, таков и есть замысел неверного,— негромко сказал он.

Аскербаши не произнес в ответ ни слова — он продолжал думать, с беспокойством и тревогой глядя на то, как все ближе подкатывается лавина сражающихся. Наконец отдал короткий приказ:

— Окружение...

Аскербаши хотел завлечь неприятеля, пропустить его без особого сопротивления в самую гущу своих отрядов, лишить таким образом артиллерийской поддержки, а затем, ударив с флангов, окружить и заставить принять бой лицом к лицу. Тогда скорострельные ружья окажутся почти бесполезными для русских солдат и почти безвредными — для кокандских воинов. Генерал Черняев попадет в железное кольцо. Удастся ли это? Кровь ударила военачальнику в голову, сердце сжалось при мысли о том, что генерал, быть может, уже разгадал его замысел. Терпение, выдержка изменяли ему с каждым мгновением; аскербаши погнал коня на левый фланг...

Генерал Черняев опустил подзорную трубу. Еще некоторое время смотрел он невооруженным глазом на поле битвы, прикидывая расстояние, потом приказал, чтобы резервные казачьи сотни вступили в бой. Генерал действовал осмотрительно: если этим сотням придется отступить под давлением количественно их превосходящего врага, то отступят они под прикрытие своих пушек и при поддержке артиллерийского огня снова перейдут в наступление. Если же контратаки не последует, можно будет потеснить кокандцев еще и занять новые выгодные позиции. Генерал снова поднес подзорную трубу к глазу. Одетые в красное пехотинцы-сарбазы поспешно выкатывали на бугры медные пушчонки, так называемые «китайки». Ближе, там, где сосредоточились конники-сипаи, то и дело вспыхивали выстрелы фитильных ружей. Генерал не мог понять, куда палят кокандские стрелки. Пригляделся к растянувшейся в цепь роте своих стрелков — нет, там как будто бы нет потерь ни убитыми, ни ранеными. Но вот в поле зрения генерала попал холм в самом центре неприятельского расположения. На холме группа всадников... Вот они

двинулись к своему левому флангу, предводительствуемые стариком на светло-сером коне. Черняев глядел на старика, приговаривая:

— Алымкул... знаменитый аскербаши... Да, да, он самый... Явился, значит, на переднюю линию...

Алымкул приказал отборным частям сипаев немного отступить. Сам он в сопровождении нескольких телохранителей остался на пути у ведущих наступление частей генерала Черняева. Пули взрывали землю совсем рядом. Светло-серый аргамак, тихо всхрапывая и насторожив уши, прислушивался к незнакомым звукам, беспокойно грыз удила и переступал ногами. Аскербаши горячил скакуна, подхлестывая его собранными в левую руку поводьями. Зажатая в правой руке сабля со свистом рассекала воздух; Алымкул несколько раз выкрикнул боевой клич, желая привлечь к себе внимание врага. Он приказал палить из пушек безостановочно — пусть Черняев думает, что аскербаши предлагает ему открытый бой. Нечего было надеяться, конечно, что «китайки» нанесут противнику сколько-нибудь серьезный урон,— они по сравнению с артиллерией русских все равно что игрушечные. Ядра далеко не долетали до цели и, падая, катились потом по пыльной земле, но сарбазы заряжали снова и снова и палили, как бешеные, из подпрыгивающих пушчонок. Аскербаши все еще гарцевал на холме. Вдруг конь одного из телохранителей громко заржал, резко взвился на дыбы и тут же упал замертво, придавив седока. Страх отразился на лицах у всех, кто окружал главнокомандующего, но сам он и бровью не повел и, словно ища смерти, оставался на виду у неприятеля... Генерал Черняев видел все это. Аскербаши казался ему легкомысленным — так впору вести себя молодому джигиту с горячей, неразумной головой... Генерал опустил подзорную трубу и улыбнулся.

— На Востоке еще не боятся подставлять под пули незащищенную грудь. А пуля и героя не пощадит! Этак наш аскербаши скоро угодит на тот свет.

— Насколько мне известно, он выходец из маленького кочевого племени басыз,— напомнил генералу стоявший подле него ориенталист в военном мундире.— Он, так сказать, вождь и вдохновитель самой беспокойной и воинственной части кокандцев. Этот невзрачный старичок сумел благодаря своей хитрости и уму объединить и снова сделать боеспособными истощенные меж-

доусобными распрями разрозненные роды и племена. В меру своих возможностей, конечно.

Генерал к этим словам отнесся неодобрительно. Все еще вглядываясь в даль, он сказал негромко, будто самому себе:

— Поздно спохватился. Пусть трепыхается, сколько хочет, да подставляет грудь под пули — его дело проиграно...

— Это ясно.

Генерал не спеша пожевал губами, сплюнул на землю, вытер рот белоснежным платком и, расправив привычным жестом усы, отдал приказ ударить из орудия по холму, на котором находился Алымкул со свитой.

— Та-ак, посмотрим, что ты за герой...

И генерал снова поднес к глазам подзорную трубу. Ему интересно и весело было увидеть, какой переполох начнется там, на холме, когда, вздымая серую пыль, грянется оземь тяжелое ядро из могучей пушки, когда шарахнется светло-серый аргамак, прочь унося своего безрассудно смелого хозяина. Но аргамака на холме не было! Генерал посмотрел еще, козырьком наставив ладонь над глазами. Редкие кусты верблюжьей колючки... труп лошади... и больше ничего. В ту же минуту слева и справа появились, хлынули конные неприятельские лавы.

— Обмануть решил, ах, старая лиса! Окружить хочет! — вскрикнул Черняев.— Отойти назад! Быстро!

Связной с приказом генерала поскакал во весь опор к стрелковой роте на передовую. Генерал побледнел, его все больше охватывал веселый азарт.

— Живей! Держать оборону со всех сторон, прикрываясь орудийным огнем. Ха, я же говорил, что они привыкли лезть прямо под пули! Ладно, пускай лезут, если полосатые халаты пулей не пробьешь! — возбужденно приговаривал генерал, блестя глазами. Он внимательно наблюдал за быстрым перемещением передовых отрядов неприятеля, и эта быстрота начинала его беспокоить. Что, если конница прорвется сквозь артиллерийский заслон?

Именно это задумал кокандский аскербаши. Не надо сразу идти напрямик; надо прежде всего потеснить один из флангов неприятеля, смять его, окружить и ударить с тыла, чтобы расстроить вражеские ряды, заставить их развернуться и принять рукопашный бой. А для этого

нужно смело идти навстречу выстрелам. Не испугаешься пули — победа за тобой, испугаешься — все, конец, поражение, разгром... Отступать — но куда? До каких пор отступать? Охваченный боевой горячкой, аскербаши уже не мог спокойно стоять на месте; он готов был со слезами ярости уговаривать каждого воина, чтобы только поднять в атаку все свое войско.

— Хайт! Айт! Волк попался в капкан, сам пришел в него. Загоняйте волка, хайт, хайт! Окружайте, топчите...

Вытянувшееся цепью многочисленное войско с грозным шумом, точно бурный селевой поток, охватывало левый фланг черняевцев. Пули сыпались градом, но вспыхнувшие огнем сердца уже не ведали страха; размахивая мечами, неслись вперед на крыльях смерти кокандские конники, готовые, казалось, в беге опередить своих коней. У-у-у! Хайт! Хайт-тайт! Земля гудела от протяжного крика, от грохота барабанов, от топота копыт. Установленные на высотах пушки генерала Черняева изрыгали раскаленные ядра. Легкие на скаку аргамаки шарахались от катящихся ядер, перепрыгивали через трупы людей и лошадей и, тут же, настигнутые пулями, падали со стонущим ржанием; то один, то другой всадник опрокидывался с седла, раненный или убитый, а конь продолжал тащить вперед запутавшегося ногами в стременах хозяина. Запах крови смешивался с запахом пороха, отравляя воздух.

— Хайт! Хайт! Окружайте! Смять их, растоптать... Хайт! Да помогут вам духи предков...

Голос аскербаши, то властный, то жалобно-пронзительный, точно песня дервиша, неумолчно звучал над хаосом сражения. Им словно насыщены были столбом поднявшаяся пыль, кровавый чад и голубоватый пороховой дым.

Генерал Черняев занял круговую оборону. Солдаты и спешенные казачьи сотни отстреливались лежа, внося сумятицу в ряды одичало несущихся конников. Но натиск был таким бурным, что черняевцы хоть и медленно, а все же отступали. Кокандцы несли огромные потери, но рвались напролом, разливались неудержимым потоком, и уже вступали врукопашную самые отчаянные из них. Пренебрежительная улыбка медленно сходила с лица генерала Черняева. Насколько хватит сил отстре-

ливаться? Насколько хватит упорства у этих дикарей?.. Что-то дрогнуло в сердце генерала...

Аскербаши тем временем отделился от своей свиты. За ним теперь следовал только один телохранитель: словно тень, не отставая ни на шаг, ни на миг не теряя военачальника из виду. Мрачен был этот телохранитель, смуглый дочерна, суровый и безмолвный всадник на вороном без единой отметины коне. Крепко сжав губы, сощурив глаза так, что не видно было белков, пристально глядел телохранитель на своего господина, а фитильное ружье, которое держал он, готово было выстрелить в любую минуту. Аскербаши был, казалось, само средоточие буйного наступления кокандской конницы; он носился среди своих воинов на светло-сером скакуне, размахивая мечом, и грозным кличем неустанно призывал к атаке.

— Хайт! Х-а-айт!..

Вдруг аскербаши остановился. Считанные секунды он был неподвижен, но черный телохранитель, быстро оглядевшись по сторонам, тут же кинул зоркий взгляд на спину главнокомандующего и неожиданно соскочил с вороного на землю. На него никто не обратил внимания в горячке боя. Укрывшись за корпусом лошади, телохранитель просунул ствол ружья сквозь гриву вороного. Он спешил, и руки у него дрожали, он не мог целиться. Телохранитель потянул ружье к себе, затем снова просунул его сквозь гриву и, убедившись, что на него по-прежнему никто не смотрит, выстрелил главнокомандующему в спину. Аскербаши дернулся, закинул назад голову, но тут же склонился всем телом к луке седла и замер. Маленькие глазки телохранителя теперь были широко раскрыты; согнувшись, натягивая поводья трясущимися руками, медленно пятился он назад. Аскербаши, напрягая последние силы, повернул голову, изо рта у него показалась кровь. Обессиленным, хриплым голосом окликнул он телохранителя по имени, позвал его на помощь. Тот не отозвался. Страх сотрясал его; с трудом взобрался он в седло и, понукая коня, поехал прочь — опасливо, точно вор. Черной тенью мелькнул он несколько раз среди других всадников и наконец скрылся.

Главнокомандующий очнулся и понял, что ранен. Упорная сила родилась где-то в глубине его существа, возвращая от смертного изнеможения к сопротивлению

боли и смерти. Он ухватился руками за гриву аргамака. Увидев, что меч упал, нагнулся, чтобы достать его, но не смог, не хватило сил. Аскербаши начал сползать с седла. Светло-серый конь, чувствуя, что хозяин натягивает узду, сделал круг и в испуге остановился. Алымкул, ухватившись за стремя, попробовал встать. Лоб его покрылся испариной, кровь изо рта стекала на грудь. Он захлебнулся кровью и, выпустив стремя, упал лицом вниз, широко раскинув руки. Конь вздрогнул от запаха крови, захрипел и попятился.

О, игра судьбы... Он, Алымкул — аталык[1], всевластный правитель, опора народа и государства... Он ли не выбирал в друзья себе умных, а в родичи — сильных? Где они все? Почему нет рядом никого теперь, когда он лежит, захлебываясь кровью?

Опершись о землю слабеющей рукой, в последний раз приподнялся он и, как беркут, которого не удержали в вышине сломанные крылья, с тоской во взоре поглядел вдаль. Красный туман застилал глаза, огненно-красными показались ему и земля, и трава, и камни, и даже собственные руки — костистые, поросшие жесткими волосами; с криком метались в адском огне, не находя выхода, несущиеся навстречу пулям конные воины...

Свита аталыка сгрудилась вдалеке. Люди пригнулись к шеям коней, чтобы укрыться от выстрелов. Но вот один из телохранителей заметил светло-серого аргамака, который, лишившись хозяина, то брел, путаясь в упавших поводьях, то шарахался в сторону. Телохранитель испуганно охнул, и на его голос все обернулись. Несколько человек бросилось ловить коня. Тревога охватила сердце каждого, бледностью залила все лица, страхом наполнила взгляды. Где аталык? Что случилось? Не сговариваясь, поскакали все туда, откуда прибрел светло-серый конь.

Алымкул лежал ничком между двумя кустами верблюжьей колючки. Темная кровь расплылась под ним, растекаясь в стороны и впитываясь в землю. Его перевернули на спину.

Упав возле аталыка на колени, зарыдал верный ему Абдымомун-бек. Остальные молчали, хотя у многих слезы навернулись на глаза. Смерть Алымкула ошеломила его приближенных, и кое-кто, крепко стиснув челюсти и сжав губы, озирался, отыскивая путь к бегству и спасению собственной жизни.

— Это убийство...

— Предательское убийство. Ему стреляли в спину.

— Откуда? Кто стрелял?

Плачущий Абдымомун-бек в гневе ударил кулаком по земле.

— Глаз глазу враг... что за времена пришли! Где

---

[1] Аталык — должность правителя государства при малолетнем или почему-либо не способном управлять хане,

были телохранители? Тащите их сюда, чтоб глаза у них вытекли, у скотов! Всех сюда!

Из телохранителей не досчитались одного, того, кто теперь несся, вздымая пыль, по дороге в Ташкент — черный всадник на вороном без отметины коне.

Быстрее ветра облетела войско весть о том, что главнокомандующий предательски убит. И смешались яростно атакующие конные сотни; то один, то другой всадник натягивал повод коня. Растерянными чувствовали себя тысячники и пятисотники; все нерешительнее звучали слова боевых команд, все подозрительнее оглядывались один на другого те, от которых зависело бросить воинов в битву или остановить их. Кого теперь слушать? Чьи приказы выполнять? Никто не хотел взять их на себя. В самый тяжелый момент войско оказалось обезглавленным.

Передовые части кокандского войска уже зашли в тыл Черняеву; неожиданно ряды их начали редеть, наступающая лавина повернула прочь, понеслась в сторону, не вступив в бой. Передние остались без прикрытия и без поддержки. Всадники превратились в живые мишени для пуль. То один, то другой валился с седла наземь. Не щадили пули и коней.

Генерал Черняев получил возможность поправить положение своих отрядов, укрепить позиции и теперь готовился отразить вторую атаку кокандцев. Откуда ждать их на сей раз? Генерал не торопясь наводил подзорную трубу по всем тем направлениям, откуда можно было ожидать атаки. Пока ничего подозрительного видно не было. На холмах и холмиках колыхались от ветра боевые знамена, барабаны сзывали к ним воинов. Единое, слитное, как поток, войско на глазах у генерала распалось: конники отступали, по одному, по два, по нескольку человек подтягивались к своим знаменам. Что с ними случилось? И почему командующий покинул свой наблюдательный пункт и оставил поле боя в такой час?

Генерал глазам своим не верил. Какую новую хитрость задумал старый волк?

— Что с ними случилось? — повторял Черняев, снова и снова поднося к глазам подзорную трубу.— Вот он, Восток! На каждом шагу неожиданность.

Беспокойный светло-серый конь, как генерал ни высматривал, больше не попадал в поле зрения.

2

Зеленая долина. Поросшие негустым камышом и невысоким кустарником речные берега. В разнотравье там и сям разбросаны красновато-розовые пятна — цветет клевер; чуть подрагивают пахучие желто-серые верхушки полыни, белые головки опушившихся одуванчиков будто ждут дуновения ветра. Но ветра нет, и оттого так безмятежен неровный полет белых и желтых бабочек. В неподвижном воздухе стоит тишина, в которой особенно четки птичьи трели.

Тенирберди медленно спускался по зеленому склону в долину; рыжая кобыла, за которой шел жеребенок, осторожно ступала по извилистой узкой тропе.

На берегу реки одинокое тутовое дерево, раскидистое, тенистое — шахский тут, как его здесь называют. Ни один путник, если он не спешит, не откажется отдохнуть под этим деревом, корявые ветви которого усыпаны плодами, а листва никогда, даже при полном безветрии, не остается спокойной. Издали верхушка дерева напоминает темное озерко, покрытое рябью,— вечно шепчутся, кипят, переливаются листья тута.

Тенирберди ослабил подпругу, снял уздечку и пустил кобылу пастись в горном клевере. Отвязал от тороки маленький бурдюк с кумысом, не спеша отнес его в тень дерева и подвесил на ветку. Два сорокопута вырвались из густой листвы, взмыли вверх; золотисто-желтые крылья сверкнули на солнце, и птицы закружились, распевая, над деревом. Старик постоял, следя за их полетом, любуясь сверканием крыльев и слушая веселую песню. Потом он по стариковскому обыкновению помолился, вознося богу благодарность за все живущее, и пошел к ячменному полю. Он приехал нынче поглядеть на свой ячмень — скоро ли созреет урожай.

Дождь в этом году выпал вовремя; рано посеянный ячмень хорошо выколосился, стоял густо, тяжелые колосья клонились к земле, полные сочных зерен,— сердце радовалось на них. Старик-земледелец улыбался, искорки вспыхивали у него в глазах. Он сорвал колос, растер его в ладонях, надавил ногтем на крупное зерно и удовлетворенно покивал головой.

В прошлый раз зерно было еще молочное, а сегодня уже затвердело. Самое большее через неделю можно

жать, а там и отведать ячменный взвар, если богу будет угодно...

Он не хотел бросать зерна на землю. Собрав в горсть, ловко кинул их себе в рот. Глаза старика смотрели теперь вдаль,— туда, где скорее угадывалась, чем видна была сквозь светло-серые облака цепочка высоких гор со снежными вершинами, и куда медленно плыло солнце.

Нескорым стариковским шагом, ни о чем не думая, брел Тенирберди по краю ячменного поля. Губы старика шевелились: он все еще жевал, посасывал зерна. Остановился ненадолго, стряхнул приставшую к рукам зеленую колючую полову и пошел дальше.

Он был худой, высокий, костистый. Борода и волосы с проседью, а усы белые, как иней; только жесткие, сильно отросшие к старости брови оставались черными. Лицо темно-бронзовое, прорезанное глубокими, крупными морщинами. Умудренный жизнью, полный естественного достоинства человек.

К дереву, между тем, подъехал еще один всадник. Кто бы это мог быть? Сощурив слезящиеся от яркого солнечного света глаза, наставив над ними ладонь козырьком, смотрел старик, как спешивается всадник. Все с той же медлительностью переставляя худые ноги, Тенирберди двинулся обратно. Прежде всего оглядел привязанного к дереву коня. Незнакомый. Хозяин коня, заложив за спину руки с зажатой в одной из них свернутой пополам камчой, стоял и смотрел на реку. Услышав шаги старика, он обернулся и шагнул навстречу, но старик смотрел настороженно и отчужденно, на приветствие ответил холодно. Человек с камчой протянул к Тенирберди руки, здороваясь, и тогда старик узнал его.

— О, да это Сарыбай-соколятник! В добрый час, в добрый час... Иди сюда, посиди...

Сарыбай улыбнулся.

— Давненько тебя не видно...

Тенирберди снял с ветки и расстелил черную козью шкуру, усадил на подстилку неожиданного гостя, сам же встал коленями прямо на землю, нагретую солнцем. Тепло разлилось у старика по всему телу.

— Да, мой Сары... добро пожаловать, давненько тебя не видно,— повторил Тенирберди.

Сарыбай — худощавый, с редкой и жесткой рыжей бородой, с сильно припухшими веками зорких глаз — одет был в тонкий кашгарский халат, заправленный в

широкие, расшитые богатым узором кожаные штаны. На ногах у него сыромятные сапоги с загнутыми вверх носами, в руке — камча с серебряной рукоятью.

— Слоняюсь без дела, Тенирберди-аке. Беркут мой линяет.

— Если тебе нечего делать, посторожил бы мое просо, оно вот-вот поспеет,— пошутил Тенирберди и почти беззвучно рассмеялся, обнажая беззубые десны.— Посади своего линялого беркута на верхушку дерева, ни один воробей на поле не прилетит!

Сарыбай ответил на шутку шуткой.

— А какую плату получу я за праведный труд моего беркута, Тенирберди-аке?

— Поделим урожай!

— Ну, если так, я готов каждый год сажать моего беркута на тутовое дерево, чтобы иметь долю в вашем урожае.

— Идет!

— Неплохо я заживу, неплохо! Буду полеживать в юрте и получать готовую еду. И коня не надо мучить, он тоже отдохнет!

Посмеялись. Потом Тенирберди, сдвинув косматые брови так, что в них совсем спрятались его глаза, сказал:

— Ты прав, мой Сары... Нелегко добывать пропитание. Вот ячмень мой не совсем еще поспел, а я хотел было собрать небольшой снопик и накормить ребятишек поджаренным зерном. Каждый день надо присматривать за полем, того и гляди скот потравит. Аил вон он где — за холмом, у источника, ты сам знаешь. Да... надо, надо ребятишек кормить...

— Как же, Тенирберди-аке, жить-то надо. Хлеб сеять, конечно, дело спокойное, если все идет по порядку.

Для кочевников, которые всю жизнь перегоняют скот с места на место в поисках сочных пастбищ и чистой, изобильной воды, хлебопашество — занятие редкое. Они считают, что это дело для стариков или для тех, кто послабее. К земледелию кочевник обращается после какой-нибудь беды — скот угонят, джут [1] случится или еще что. Тогда только и оценят зерно, его вкус, его притягательную силу. Куда привычней охотиться с гончими или с беркутом, куда легче напасть из-за какой-нибудь пус-

---

[1] Джут — массовый падеж скота от бескормицы.

той ссоры на соседний род, ограбить его, ежели силы достанет. Все это исстари ведется, от дальних предков.

Сарыбай-соколятник поддакивал Тенирберди, чтобы не обидеть старика. Сам он, мирза-охотник, выпускает своего беркута на любую дичь, когда и где захочет, живет весело, сытно и свободно, а на бедняков, сеющих по долинам ячмень, смотрит сверху вниз, неинтересна ему вся эта суета. «Нашу долю аллах щедро рассыпал по горам»,— эта нехитрая мысль составляет основу его жизни. Беспечный, беззаботный, словно сытый ребенок, соколятник сидел и поигрывал бахромой на серебряной рукоятке камчи.

— Решил навестить вас, Тенирберди-аке, долгих лет жизни вам.

— Бог благословит тебя, мой Сары.

— Неприлично приходить с пустыми руками...— Сарыбай вытащил из расшитой охотничьей сумки шкуру рыси.— Вот вам на шапку.

Тенирберди так обрадовался, что не сразу смог протянуть руку за подарком, и радость его была приятна охотнику.

— Охотился по первой пороше, мех — как серебро. Примите этот скромный подарок за дорогой и носите на здоровье, Тенирберди-аке.

Тенирберди не по-стариковски ловко поднялся на ноги, встряхнул мех, держа шкуру за морду. Хвост рыси мел по земле, прекрасный мех играл на солнце серебристым блеском.

— Хороша! — просиял Тенирберди.— На шапку многовато... да... шкурка большая... Выйдет на шубу воротник. А с шапкой можно и повременить.

— Ладно, Тенирберди-аке, на шапку пойдет черно-бурая лиса!

— Спасибо тебе, соколятник!

Тенирберди развязал бурдюк с кумысом. Соскучившийся по обстоятельной беседе старик не отпускал Сарыбая до самого захода солнца.

Наконец охотник решительно встал с места.

— Мне пора, Тенирберди-аке. Повидались, потолковали, что может быть лучше для человека.

Тенирберди уговаривал:

— Сары мой, куда ты? Отведал только нашего плохонького кумыса, как же так? Дом наш недалеко...

— Спасибо. Я не раз гостил у вас. Живы будем, еще повидаемся, Тенирберди-аке.

Тенирберди снова показал в улыбке беззубые десны.

— Ну ладно, Сары мой,— сказал он, вежливо подсаживая гостя в седло,— спасибо, что помнишь старика. Бог тебя наградит за то, что ты меня уважил.

Удерживая коня за повод, он продолжал:

— Ты уезжаешь от меня с пустыми руками. Хлеб, видишь, не поспел... Ну, конь под тобой, приезжай еще раз, когда будет урожай. Увезешь ячменя коню на корм и проса себе на бозо [1]. Погреешь зимой живот. Доброго пути, Сары мой!

— Будьте здоровы! — тронув коня, отвечал Сарыбай.— До свидания, Тенирберди-аке.

Тенирберди крикнул ему вслед, чтобы подтвердить свое обещание:

— Приезжай, Сары, обязательно приезжай, не забудь!

Долго стоял потом старик под деревом, глядя на свисающий с ветки подарок охотника и слегка дотрагиваясь ладонью до легкого, пушистого меха. На такой подарок надо ответить подарком, не менее ценным. Так велит обычай. Уважили тебя — уважь и ты. Кто дарит первым, тем самым дает знать, что желает нечто получить в подарок именно от этого человека. Почти меновая торговля, закрепленная многовековой традицией. Тенирберди решил отдать Сарыбаю вьюк проса — соколятник должен остаться доволен.

Солнце гасло, прячась за горы. На зеленую долину опускался прохладный вечер.

3

Отряд из пятисот джигитов, днем и ночью настегивая коней, уходил все дальше от поля битвы, от неумолимо настигающих пуль, от смятения, от непонятной и потому страшной силы, которая в решающий момент лишила войско главнокомандующего. Уходил к родным кочевьям, туда, где остались престарелые родители, любимые жены и дети. Каждый всадник охвачен был тревогой и спешил,— так спешит беркут, заметив подбирающегося

[1] Бозо — хмельной напиток домашнего приготовления.

к гнезду охотника. Вдали уже маячили знакомые горы с белыми вершинами, будто матери, повязавшие на головы белые платки и вышедшие сыновьям навстречу. С новой силой вспыхнула у джигитов тоска по отчему краю при виде этих гор, с новой силой погнали они коней. Рубахи у всадников прилипали к телу, онемели согнутые ноги. Кони исхудали, шерсть у них не просыхала от пота. На рассвете седьмого дня доскакали джигиты до предгорий, где встретились им первые стойбища,— пустые, оставленные людьми.

Темнела холодная зола в яме-очаге. Торчал неподалеку врытый в землю кол. По вытоптанной скотом земле, подымая легкую пыль, шурша пожелтевшей травой, дул, что-то отыскивал порывистый ветерок. В сае[1] журчал родник; летала над ним с пронзительным чекотаньем беспокойная, вертлявая сорока. Трепеща пестрыми крыльями, она то и дело ныряла в густые заросли. И больше ни единого живого существа.

Жители откочевали выше в горы, на пастбища. Но даже давно брошенная, опустевшая стоянка успокоила джигитов. Только теперь почувствовали они тяжелую усталость, расседлали коней, стреножили их и пустили на траву. Сами же растянулись на земле и, подложив седла под головы, заснули таким крепким сном, каким можно спать, наверное, только на родном месте...

Перевалило за полночь. Кулкиши отправился в путь затемно, чтобы доехать по холодку,— так и дорога короче покажется. Ехал, нигде не задерживаясь. Поднялся на невысокий перевал и вдруг услыхал людской говор, конское фырканье, донеслось даже звучное похрустыванье травы на зубах у лошадей. Там и сям огоньки... Что за табор расположился на старом стойбище? Сердце у Кулкиши гулко забилось от страха, по коже подирал мороз. Разбойники?

...Кулкиши привели к человеку, который, опершись на локоть, лежал на курпаче[2], лежал и невеселую, видно, думу думал, потому что хмур был, неподвижен и глаза опустил. На вид лежащему было лет тридцать. На голове у него красная повязка, над повязкой торчит султан сотника. Темно-синий камзол заправлен в расшитые понизу узором кожаные штаны, из-под которых

---

[1] Сай — промоина, узкая лощина.
[2] Курпача — подстилка, которую обычно кладут на седло.

торчат загнутые вверх носки красных кожаных сапог. Опоясан человек был кривым мечом.

Кулкиши глянул повнимательнее и — узнал. Бекназар! Кулкиши негромко поздоровался. Голос его, должно быть, показался Бекназару знакомым. Окинув Кулкиши быстрым взглядом, сотник привстал. Кулкиши осмелел:

— Бекназар, дорогой... благополучно ли возвратились, помоги вам святой покровитель джигитов?

Бекназар крепко прижал руку Кулкиши к своей груди.

— Кулаке![1] Как дела? Как народ наш, Кулаке?

— Слава богу, слава богу... народ живет себе... Лишь бы с вами все было благополучно.

Бекназар оживился, сел, скрестив ноги.

— Доброго пути вам, Кулаке, но куда это вы едете, на ночь глядя?

— Да все забота о хлебе насущном гонит, Бекназар! На базар собрался.

— Урожай-то не поспел еще?

— Вот то-то, что нет... Через неделю ячмень должен поспеть, пожелтел уже. Не только детям, а и нам самим надоели кислый айран[2] да жидкий кумыс. Не утерпел, нажег немного угля, хочу продать на базаре и купить толокна.

— Где сейчас аил Тенирберди-ака?

— У каменистого родника. Мы все там собрались. Тенирберди-аба стережет от потравы свое ячменное поле в долине возле речки.

Снова нахмурился Бекназар; уставившись в одну точку, думал он некоторое время, а потом сказал тихо:

— Кулаке, возвращайся. Прямо отсюда возвращайся назад...

— Ладно,— ни о чем не расспрашивая, согласился растерянный Кулкиши, а Бекназар, казалось, и не слыхал его ответа и больше не замечал его самого.

Только теперь обступили Кулкиши джигиты, градом посыпались вопросы.

— Кулаке, скажи-ка, где наш аил сейчас?

— А наш, Кулаке?

— Трава в этом году как? Скоту сытно?

---

[1] Уменьшительное от Кулкиши.

[2] Айран — снятое кислое молоко.

— Падежа не было?

Кулкиши отвечал, но на сердце у него было тревожно. Почему Бекназар так настойчиво советовал ему возвращаться? Он поехал по делам, а как же теперь — с пустыми руками назад?.. Еле-еле отделался от джигитов. Вспомнил о лошади.

— Конь-то мой где? — беспокойно спросил он у Эшима.— Вас много, как бы не забрал кто моего коня!

— Зачем, кому он нужен? Пасется тут где-нибудь...

Кулкиши нашел гнедого чуть подальше при дороге. Вьюк сбился на сторону; передними ногами конь запутался в поводьях и теперь не мог ступить ни шагу. Умное животное с укоризной поглядело на хозяина и негромко заржало.

Высоко в небе обломком кривого меча проблескивал сквозь медленно плывущее темное облако месяц. Восток белел. Слабое, неверное пламя костра, вспыхивая, ненадолго освещало смуглое лицо Бекназара. Потом лицо его снова пряталось в густой тени.

— Бекназар-аке, пансат [1] ждет вас,— сказал, подходя к костру, посланный джигит.

Брови у Бекназара сошлись на переносице, но ни слова не произнес он в ответ. Посланный постоял немного и, не решившись повторить приказ, незаметно удалился.

— Кони готовы? — спросил Бекназар, обращаясь к своим джигитам.

— Готовы, Бекназар-аке...

Бекназар встал. Эшим подвел к нему горячего вороного аргамака с белой звездой на лбу. Бекназар, однако, не сел в седло, а быстрыми шагами пошел к костру, который светился поодаль. Эшим, держа в поводу своего и Бекназарова коня, пустился следом за сотником неспешной пробежкой. За ними двинулись и остальные джигиты — кто верхом, кто пеший.

Перед Бекназаром расступились, когда он подошел. Не шевельнулся лишь человек в парчовом халате внакидку, устало задремавший, сидя у огня. Человек был худой, с сильно припухшими веками, седобородый. Белого меха тебетей лежал позади него на траве, а он сидел попросту — в черной суконной чеплашке. Извест-

---

[1] Пансат — начальник пяти сотен конницы.

ный и влиятельный по всей Аксыйской округе Кокандского государства Абиль-бий имел военный чин пансата.

— Ассалам алейкум! — громко поздоровался Бекназар в мгновенно наступившей у костра настороженной тишине.

Абиль-бий откликнулся приветливо и с таким видом, будто он только сию минуту заметил приход сотника:

— Сюда... Подойди, батыр...— он хлопнул себя по колену.

— Вы приказали позвать меня, пансат-аке?

Абиль-бий окинул Бекназара пристальным взглядом и начал неторопливо, вкрадчиво:

— Батыр... есть одно дело, которое надо обсудить. В трудное время нет ничего лучше доброго совета. Давай посоветуемся.

Бекназар опустился на землю возле костра, поджав под себя одну ногу.

— Я слушаю вас.

Абиль-бий был явно чем-то встревожен. Еще раз посмотрел он испытующе на Бекназара.

— Из семьи, которая распадается, прежде всего уходит согласие. Несправедливым становится отец, бесчестным — сын, сплетницей — хозяйка и воровкой — невестка. Они не уважают друг друга, забывают о долге перед семьей. Вот о чем нам надо крепко подумать, батыр.

Карачал-батыр, который сидел неподвижно и грел руки над огнем, не особенно прислушивался к словам Абиль-бия. Всю свою жизнь Карачал провел на коне; смелый, но невежественный, он не умел ценить хорошо сказанное и веское слово и всегда был грубой силой в руках Абиль-бия, силой, которую, когда есть в ней нужда, можно было направить в любую сторону.

— Закрылись глаза аталыка,— продолжал пансат.— В орде теперь начнется собачья грызня, начнутся драки, будь они прокляты. А русские наступают. Мы же обезглавлены, нас раздирают междоусобицы. Воспользовавшись этим, нас разгромят русские либо растопчет хан. Что тогда? — Абиль-бий благочестиво провел несколько раз своей худой, жилистой рукой по бороде.

— А когда ее не было, собачьей-то грызни, в вашей орде? — сказал Бекназар.— Для народа ваша орда — истинное бедствие.

Абиль-бий улыбнулся едва заметно.

— Орда не только наша, она и ваша, батыр.

Бекназар промолчал, Абиль-бий чутко следил за выражением его лица и, казалось, даже за тем, как он дышит. И хорошего, и плохого можно было ожидать от этого разговора. Сотник Бекназар... В последнее время он держит себя отчужденно и независимо. Почему? Провинился и хочет скрыть свою вину? Затаил обиду? Смерть Алымкула от руки предателя сделала еще заметней холод отчуждения. Бекназар окончательно разуверился в тех, кто возглавлял ханство,— они занимались по преимуществу интригами и дворцовыми переворотами; сейчас Бекназар ненавидел пансата только за то, что он близок был к правящей верхушке. От самого Ташкента двигались они по одной дороге, но встретились для разговора впервые.

Абиль-бий все смотрел на Бекназара. Пансат готов был к любому решению. Хотелось ему во что бы то ни стало сохранить даже в смутное время свое положение, свое влияние на таких, как этот ловкий сотник, сохранить, опираясь на родственные связи, на обычай. Но именно в смутное время надо было вести себя как можно осторожнее, не лезть вперед, не проявлять излишнее рвение и, обласкав Бекназара, использовать его в своих целях. А там видно будет! Впалые щеки пансата дрожали, глаза покраснели от ветра и бессонных ночей.

— Нам сейчас необходимо единство, батыр.

Бекназар выжидал. Сидел, будто каменный, глядя на угли в костре. На последние слова пансата кивнул согласно.

— Кроме тебя, батыр, некому сейчас возглавить войско рода сару,— продолжал Абиль-бий.— Надо бы об этом объявить народу нашему, как прибудем к своим аилам. Собрать всех — и молодых, и стариков — и объявить. Но джигиты наши устали, трудно будет вновь собрать их, когда разойдутся они по домам. На это уйдет много времени. Значит, не собирать их надо лишний раз, а распустить по домам так, чтобы они готовы были по первому боевому зову вскочить в седла, чтобы знали, под чье знамя зовут их.

Бий сделал паузу и сказал значительно:

— Если тебе понадобится наш совет, совет старшего, умудренного жизнью, мы готовы дать тебе этот совет, готовы помочь тебе.

Пансат ожидал, что после таких слов Бекназар вскочит, начнет кланяться и благодарить. Но тот ничего не

сказал, не шевельнулся, даже не изменился в лице. Проницательный Абиль-бий понял, конечно, что значило это молчание: «Я могу договориться с джигитами и без твоей помощи, бий. Я проживу и без твоих советов». Неужели понапрасну все это говорится? Неужели он чересчур избаловал сотника, дал ему много воли? Пансат еле сдерживался. А Бекназар в свою очередь хорошо чувствовал, какая буря бушует в груди у пансата, но не боялся этой бури ничуть. Снежный вихрь силен, но разбивается, налетев на скалу.

— Попробуем,— сказал сотник, и небрежный ответ уверенного в своих силах человека только подлил масла в огонь. Абиль-бий все же овладел собой, изо всех сил стиснув зубы. Ладно, пусть сотник берет на себя воинские заботы. Пусть водрузит на свои плечи весь груз смут и междоусобиц, пусть отвечает за все своей головой! Пансат шевельнул губами, спрятавшимися в седой щетине усов и бороды, и сказал еле слышно:

— Тогда надо объявить.

Пока шла беседа у костра Абиль-бия, воинский табор гудел, подымаясь в дорогу. Джигиты ловили коней, седлали их, затаптывали костры, шумно переговаривались. Теперь все воины по приказу сотников, пятидесятников, десятников двинулись к костру пансата, чтобы услышать новость.

Абиль-бий, Карачал и Бекназар сели в седла. Бекназар поднял вверх согнутую пополам плеть, повернулся к Абиль-бию, этим безмолвным жестом предоставляя ему слово. Пансат пристальным взглядом поглядел на стоящих в первых рядах вожаков, откашлялся. Передние приумолкли.

— Батыры,— начал пансат,— долгие речи разводить не к чему. Мы вступили на свою землю. Дальше пути наши начнут расходиться, джигиты разъедутся по родным аилам. Надо, чтобы, уезжая, каждый крепко запомнил одно. За этим и собрали мы вас...— Абиль-бий заговорил о древних обычаях почитания старших, о том, что младшему надлежит оставаться скромным, даже если он возвысится до небес,— так велит и шарнат. Только после этого перешел он к сути дела.

— Вы сами видели, орда снова распалась. Видели вы и то, как наступают русские. В это тяжкое время безвластие приведет к разладу, свяжет нас по рукам и по ногам, лишит нас сил перед лицом наступающего врага.

Надо, чтобы войско наше подчинялось одному предводителю, батыры. Я старый человек. Выберите себе военачальника-саркера из молодых — такого, чтобы и на язык и на руку был он силен. Такой у нас Бекназар. Что вы на это скажете? — Абиль-бий повысил голос, чтобы все слышали его.— Что бы ни случилось, мы его на произвол судьбы не оставим. Во всех начинаниях, во всех свершениях поддержим его, сколько хватит у нас сил. Ошибется он, свернет с прямого пути,— выведем на прямую дорогу, направим, сколько хватит у нас ума.

Новость взволновала всех, все пять сотен, приготовившиеся двинуться к родным кочевьям. Одни открыто радовались, громко выкликая имя Бекназара, другие было заспорили между собой, загудели, но успокоились, услыхав последние слова Абиль-бия. Пансат это заметил, и душа его снова закипела обидой, но внешне он оставался невозмутим.

Бекназар поклонился войску. Кто-то из джигитов еще раз громко выкрикнул его имя. Бекназар присмотрелся — кто? — но так и не узнал, увидел только в предрассветной мгле, что это всадник на горячем, нетерпеливом вороном коне. Конь гарцевал на месте, а всадник крутил над головой зажатую в руке камчу.

— Джигиты! — крикнул Бекназар, и голос его покрыл разраставшийся шум.— Вы слышали волю пансата. Если вы хотите в смутное время доверить мне ваши головы и силу ваших коней, хотите идти за мной, так дайте мне самому выбрать для вас дорогу. Слушайте меня беспрекословно, выполняйте мои приказы и не обсуждайте их, не вмешивайтесь в мои распоряжения. Это первое мое условие...

Сразу понял лукавый Абиль-бий, к кому прежде всего относятся эти слова. К нему, конечно! Старый хитрец потемнел лицом,— понял, что обманулся... Да, он, который участвовал в стольких интригах и переворотах, обманулся. Но понял он своим изворотливым умом и то, что не надо сейчас ссориться с Бекназаром; надо скрыть обиду и злость до поры до времени. И он бровью не повел на слова сотника. Бекназар честолюбив и самолюбив, он берет власть не для того, чтобы стать послушным орудием в чужих руках и выполнять чужую волю. Он и сам умеет властвовать. И это нравилось Абиль-бию. Он оценил слова Бекназара по достоинству, хоть они больно задели его самого.

Гудели голоса, приветствуя Бекназара; всадники напирали со всех сторон, круг в центре сузился.

— Джигиты! — снова крикнул Бекназар.— Полгода не снимали мы поясов, рубахи приросли к спинам...

Снова гул одобрения.

— Нам надо отдохнуть. Чем ближе к горам будем мы подъезжать, тем больше встретим наших аилов. Мы разойдемся по домам, мы должны сообщить родным о наших товарищах, павших в бою. Мы почтим их память, а потом каждый вернется в свою семью. Но не надо терять связь друг с другом. Пусть от каждого аила один джигит держит связь со мной. Это необходимо. Во всеоружии надо встречать беду, а там видно будет. Батыры! Хочу сказать о последнем моем условии...

Какое еще условие? Голоса стихли.

— Пусть не придется мне дважды повторять мои приказания! Никто не смеет перебивать меня, когда я говорю. Никто не смеет обгонять меня, когда я веду войско.

Его снова шумно поддержало большинство. Бекназар подтолкнул ногами своего скакуна.

— В дорогу!

Отдохнувший за время привала аргамак резко взял с места и, гордо подняв голову с яркой белой отметиной на лбу, понесся вперед.

Загудела земля от топота копыт. Разобравшись на ходу по десяткам, потянулись всадники к горам.

У Кулкиши, который впервые в жизни попал в самую гущу конного войска, закружилась голова. Растерянный, стоял он и не знал, как быть и куда податься. Он не мог везти уголь назад, а бросать его так не хотелось... Отвез бы он этот уголь кузнецам-сартам [1], своим давним приятелям, купил бы толокна, сушеного урюка, бязи на рубаху.., а послезавтра вернулся бы к своим. Ребятишек обрадовал бы, аильчанам новости привез, самому приятно, что на базаре хорошо побывал. Кулкиши до крайности огорчался тем, что приходилось возвращаться с полдороги, не сделав задуманного. Но и отправиться туда, куда собирался, он не посмел. Подпихнув себе под зад пустые мешки из-под угля, пристроился он к послед-

---

[1] Сарт — так называли в Коканде оседлых узбеков, занимавшихся различными ремеслами и торговлей.

нему десятку конников и потрусил за ними, непрерывно подгоняя ленивого, как вол, гнедого...

Бекназар впереди. Вороной аргамак шел теперь иноходью. Следом за Бекназаром скакал Эшим.

Пансат ехал, погруженный в размышления. Изредка поглядывал он в сторону Бекназара. Душа у Абиль-бия горела, он никак не мог успокоиться, злоба захлестывала его. Нет, с этим нельзя, невозможно примириться! «Никто не смеет спорить со мной, вставать мне поперек дороги!» Это первое и последнее его условие, а? Да кто он такой, проклятие его отцу, чтобы говорить слова, которые не шли на язык темникам, а темники [1] эти сшибали с трона ханов не хуже, чем бабки с кона! У пансата сжалось сердце.

4

Айзада пришла с ведрами к роднику. Из родника только что напился небольшой табунок лошадей; лошади негромко фыркали и в нерешительности топтались на месте. Чистая, прозрачная вода выбивалась толчками и растекалась по земле среди густых зарослей пахучей мяты. Пестро-голубые бабочки опускались на сырой песок и тут же снова взлетали, тонкотелые стрекозы трепетали прозрачными крыльями над самой водой. Завидев Айзаду, лошади, неторопливо и осторожно ступая, начали одна за другой подниматься вверх по зеленому склону.

Молодуха опустила ведра на землю и склонилась над неверным, подвижным зеркалом воды. Вихрем крутились песчинки, поднимаясь со дна; дрожало, меняло очертания отраженное водою лицо молодой женщины, хмурое, бледное от тоски и тревоги. Так не шла тоскливая озабоченность красивому лицу, словно созданному для того, чтобы сиять радостью жизни. Женщина и сама удивилась своему отражению: слегка коснулась рукою лба, исхудавших щек,— в жесте был немой вопрос. Как же она изменилась... Айзада вздохнула и запела негромко и грустно.

Ветер подхватил жалобу женского сердца, пронес ее над благоухающими цветами; пронзительно тоскливой нотой ворвалась эта жалоба в беспечное пение птиц и унеслась в высокое синее небо.

---

[1] Темник — начальник десяти тысяч конницы.

Года не прожили они с Темиром, как забрали его в войско. На битву за веру, за хана — так говорили... Ускакали воины, только прогремел над землею топот конских копыт. Прошел год. Никаких вестей. Сколько раз вскакивала она по ночам и бросалась к двери, едва залает собака. Чутко прислушивалась к каждому звуку, долго стояла возле юрты, затаив дыхание, а в юрте тем временем просыпалась старуха свекровь, натужно кашляла, ворочалась беспокойно,— где невестка, что она делает, чего ждет в ночной темноте? Айзада понимала, что кашель этот — некое повеление ей возвращаться в юрту, и Айзада возвращалась, тихонько ложилась на свою постель.

— Что там? Скотина испугалась чего? — стонущим голосом спрашивала старуха, пустым вопросом прикрывая истинные свои мысли. Зачем невестка так часто выходит из юрты по ночам, как бы не сбилась с пути, не завела с кем-нибудь шашни...

— Нет, я просто так...— сдавленно отвечала Айзада и потом долго лежала без сна, думая о своем. В юрте раздавался храп стариков; доносился снаружи унылый крик козодоя. Женщина, не смыкая глаз, глядела в темноту и не замечала иной раз, как наступало утро.

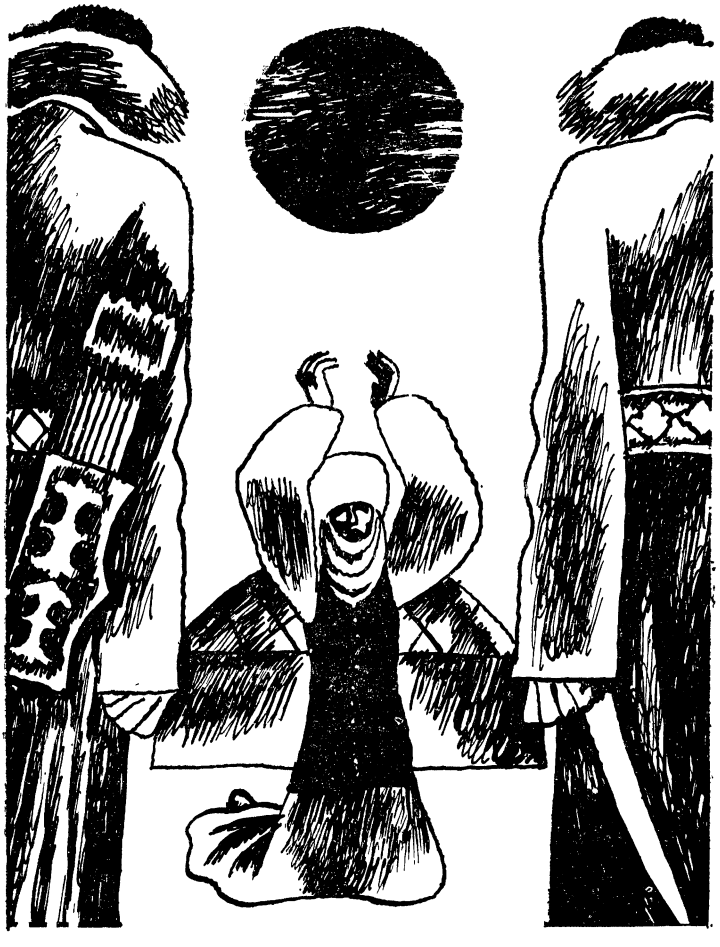
...Айзада утерла рукою слезы, набрала воды и, повесив ведра на коромысло, пошла по тропке вверх. Вдруг увидела: по дороге со стороны зимовки темной тучей движутся всадники,— быстро, словно тучу эту ветер гонит. Айзаде показалось, что она узнает бег некоторых коней. Нет ли среди всадников Темира? Женщина заспешила навстречу им, не обращая внимания на то, что вода из ведер расплескивается по земле. Всадники уже совсем близко... Чужие? Темира пока не видать. Всадники резко свернули к аилу, понеслись по нему, громко причитая на скаку.

— Дорого-ой мо-о-ой!

— Друг и сверстник мо-о-ой!

— Разлучился я с другом, о-о-ой!

Ведра покатились наземь. Зарябило у Айзады в глазах, покачнулись перед нею высокие горы... Темные ели на их склонах — будто вдовы в траурных платьях. Кто? Айзада все еще не теряла надежду, но дрожь сотрясала ее тело. Кто? Вдруг она увидела свою свекровь. С кри-



ком выбежала та из юрты, распущенные седые волосы метались у старухи по плечам, она бросалась от одного всадника к другому, цеплялась за стремена.

К Айзаде тем временем скорым шагом подошли две женщины, и на их напряженных лицах прочла она свой приговор. Пятясь от страшных вестниц, Айзада только спрашивала заплетающимся языком:

— Что?.. Что?..

Одна из женщин взяла ее за руку.

— Улетел от тебя твой сокол, бедная моя...

Больше она ничего не слыхала. Окаменела. И только губы едва шевелились, повторяя: «Нет. Не говори так. Не шути надо мной. Нельзя так... шутить»... Лица женщин были мокры от слез. Она увидела эти слезы, вздрогнула, рванулась всем телом, будто убежать хотела от злой вести... и упала без памяти.

Собрался народ. Кажется, горы содрогались от рыданий. Бекназар и джигиты теперь уже не причитали; в суровом молчании опускались они один за другим на колени прямо наземь. Только Эшим все рыдал, вскрикивая глухо:

— Опора моя! Нет больше опоры мое-ей...

Бекназар застыл, как изваяние, стоя на коленях и опираясь о землю согнутой вдвое плетью. Тенирберди стоял, бессильно привалившись спиной к юрте. Покрасневшими пустыми глазами глядел он в сторону кыблы [1]. Слез у него не было: лицо мертво побледнело, жалко торчала борода, а руки тряслись.

— Родной, желанный мой...

Женщины ввели в юрту Айзаду. Набросили ей на голову черное покрывало, усадили рядом со свекровью спиной к людям. Старуха сидела простоволосая, седые длинные пряди рассыпались у нее по спине и по плечам.

Молодая все еще не могла прийти в себя.

Одна из старух — согбенная, горестно шамкающая беззубым ртом — брызнула водой из деревянной пиалы Айзаде в лицо.

— Сирота бессчастная...

Айзада очнулась. И снова горе обожгло ее огнем.

— А-а-а... куда же я теперь? Как же я теперь? — крикнула она и, вырвав руки у державших ее женщин, со стоном расцарапала себе ногтями щеки до крови.

Когда немного утих первый взрыв горя, Бекназар поднял голову.

— Крепись, отец! — сказал он, обращаясь к Тенирберди.— Так, видно, было суждено...

Его поддержал нестройный гул многих голосов:

— Да, да... так суждено... От судьбы не уйдет ни-

---

[1] Кыбла — сторона Мекки; в эту сторону поворачиваются мусульмане лицом во время молитвы. Для Средней Азии это юго-запад.

кто... Не поддавайся горю, Тенирберди-аке, покрепче затяни свой пояс, получше держи себя в руках.

До сих пор Тенирберди действительно держал себя в руках и не проронил на людях ни слезинки. Слова сочувствия сломили остатки его воли, старик заплакал, громко сетуя:

— Судьба моя, судьба! Чем же я провинился перед тобою на старости лет?

— Славный Темир наш... Слезами его не вернешь, нет, не вернешь, Тенирберди-аке! Не обижайтесь на судьбу, вы не одиноки. Нет Темира, но жив Болот.

Восьмилетний Болот был тут же, оплакивал погибшего брата.

— Мы потеряли Темира. Но никого из нас не минует судьба в свое время. Все примем смерть — кто от коня, кто от камня, кто от пули. Никто не вечен в этом мире и ничто не вечно. Высоко подымает вершину могучее дерево, но и оно засыхает и падает мертвым на землю. В синем небе парит белокрылая птица, но и ее настигает гибель в свой час. Таково веление судьбы,— продолжал Бекназар, глядя на людей, сидевших в молчании, с опущенными головами.— В тот день, когда убили Темира, мы находились под Ташкентом. В тот же день предатель выстрелом в спину сразил нашего аскербаши Алымкула. Как убили его, в войске пошла смута, пошли раздоры, каждый род делал, что хотел, войско распалось. Мы не могли оставаться там. Мы беспокоились за свой народ, за его будущее. Похоронили наших убитых и двинулись к родным горам.

Бекназар вздохнул.

— С незапамятных времен спали мы, подложив под себя меч, просыпались от звона меча. Без него не прожить нам и дня. Может, еще пригодится и этот меч, а не пригодится — пусть будет памятью о погибшем батыре. Повесьте этот меч на решетку юрты...

При этих словах Эшим поднялся и, отвязав от своего пояса Темиров меч, взял его в обе руки и поднес Тенирберди, почтительно преклонив перед стариком колени. Все затихли.

Тенирберди смотрел на испачканные засохшей кровью ножны с выражением горькой беспомощности.

— Жеребенок мой... Свет мой ясный...

5

Сомнения терзали Абиль-бия.

Проклятье! Можно, конечно, неожиданно схватить его... ну, а потом что? Куда его девать? Перед кем поставить на колени? Что государство? Что власть? Караван жизни подошел к неведомому распутью и остановился. Пока этот караван не выберет дорогу, неизвестно, кто кому может приказывать. Если бы он из простых джигитов... но он не из простых, этот Бекназар. Надо сохранять спокойствие, надо выждать, поглядеть, как повернутся дела, черт их дери! Сдвинулся с места камень Бекназарова счастья, но неясно, то ли на гору подымет судьба этот камень, то ли сбросит на дно ущелья... Все так, но не упустить бы время, когда еще можно действовать, не опоздать бы...

Покуда Абиль-бий размышлял да прикидывал, прибыл к нему посыльный из орды.

Сбор созвали на зеленом горном пастбище.

Бии и аксакалы в громоздких тебетеях, едва услыхали известие о спешном сборе, двинулись в путь — кому как не им решать судьбы народные. Они ехали в сопровождении своих джигитов, которые держались поодаль от старейшин. Народу собралось много; узнав, что явился ханский посол, поднялись все, кто мог держать в руке камчу и имел хоть плохонького верхового коня. Рядом с горделивыми и нарядными молодыми джигитами топтались на тощих своих лошаденках худо одетые бедняки. Прибывшие размещались в юртах, которые Абиль-бий приказал установить на ровных прогалинах, поросших травой. Размещались по обычаю, занимая юрты в соответствии со значением своего рода и племени. Неумолчный людской гомон гудел над стоянкой; кучно толпились кони — им не хватало места на ближних склонах.

Но вот съехались все, кого специально звали на сбор. В полдень на вершине холма заревели огромные медные трубы-карнаи[1]. Из юрты Абиль-бия вышло несколько человек. Карнаи ревели все громче, все оглушительнее, они сзывали людей, и горы повторяли их зов многократным, величественным эхом. Абиль-бий шел

---

[1] Карнай — музыкальный инструмент, прямая труба большой длины.

важно; рядом с ним шагал незнакомый человек, высокий и большелобый, с коротко подстриженной черной бородой — ханский посол. Внимательным, острым взглядом присматривался он к людям, но старался делать это незаметно для них. А люди глядели на него во все глаза, кто с интересом, кто удивленно, глядели и тут же негромко обменивались мнениями.

— Это, значит, посредник хана...

— Видный человек...

— Он, стало быть, с самим ханом разговаривал?

— Если бы не разговаривал, не приехал бы сюда передать ханскую волю.

Абиль-бий настороженно прислушивался к этим негромким разговорам. Он сегодня оделся так, как одевался, когда ездил в орду: расшитый узорами красный халат из дорогой ткани, богатая шапка из пушистого белого меха, украшенная султаном, какой носят пятисотники.

— Ассалам алейкум! — прижимая руки к груди, громко и торжественно здоровались аксакалы.

— Алейкум ассалам! [1]

Посол и Абиль-бий попеременно отвечали на приветствия, вежливо наклоняя головы. Народ двинулся вслед за аксакалами. Карнаи не умолкали до тех пор, пока посол не ступил на ковер, разостланный на вершине небольшого холма. Абиль-бий, опустившись наземь, воздел руки вверх и громко произнес молитву; множеством нестройных голосов народ, расположившийся у подножья холма, подхватил ее. После этого Абиль-бий снова поднялся и, дождавшись, когда наступит тишина, заговорил громко и внятно:

— О люди, к нам прибыл посол из орды. Он не какой-нибудь чужак. Он сын известного нам Мусулманкула-аталыка Абдурахман. Вы хорошо знаете, что почтенный аталык приходился нам, нашему племени, родственником. Как родственник прибыл к нам и дорогой наш Абдурахман. Орда поручила ему посредничество между нею и нами.

Лицо у Абиль-бия было мягкое, просветленное. Сбор зашумел, заголосил, и Абиль-бий сразу нахмурился, крикнул:

— Отцы народа! Батыры!

---

[1] Приветствие по происхождению арабское. Первая фраза означает: «Мир вам!», вторая — ответная: «И вам мир!»

Почти сразу стало тихо: все, кто хоть в малой части мог отнести это обращение к себе, смолкли. Слушали теперь с видом важным и горделивым, каждый чувствовал себя ответственным за всех. Абиль-бий медленным взглядом обвел толпу, продолжал:

— Есть у нас заботы, которые стоят на пути к нашему общему благополучию, заботы, отягчающие сердца всех благородных духом... Как сообщил нам посол, отрок Султансеид ушел из этого мира. Судьба не сулила ему быть ханом. Но, почтенные,— здесь голос Абиль-бия зазвенел радостью,— бог открыл путь счастливому сеиду Кудаяру, он вернул ему былую силу, духи предков благословили Кудаяра, он ныне вновь воссел на трон.

Люди слушали в полном молчании. Заговорщики, подославшие предателя-убийцу к Алымкулу, действовали теперь в открытую. Они зарезали хана-отрока Султансеида и, встретив подоспевшего к тому времени с войском из Бухары Кудаяра, возвели его на трон. Дивились люди судьбе Кудаяр-хана — дважды сбрасывала она его с ханского трона и дважды возвращала ему власть. Есть о чем подумать, есть отчего покачать головой...

— Люди! Посол от хана прибыл к нам неделю назад. Мы открыто высказали все, что думали, омыли наши сердца правдивым разговором. Кудаяр-хан просит, чтобы мы признали его. Разве сможем мы отказать хану в этом? Народ без хана все равно что юрта без хозяина.

В эту минуту Абиль-бий увидел Бекназара; не сходя с коня, остановился Бекназар поодаль и внимательно слушал, опершись на согнутую пополам камчу. Он был не один. Человек десять джигитов окружали его. Десять джигитов на взмыленных конях,— видно, крепко погоняли коней хозяева, спеша на сбор. Десять джигитов, которые стояли теперь тихо-тихо и настороженно поглядывали на собравшихся по вызову Абиль-бия людей. Абиль-бий не позвал на сбор Бекназара, хотел наказать его тем, что намеренно отстраняет от участия в таком важном деле. И теперь не нахмурился и не испугался Абиль-бий. «Постой-ка там, в сторонке»,— подумал он только и продолжал важную, неторопливую речь.

— О, умудренные разумом, соберитесь с мыслями, подумайте о том, какие тревожные наступили времена. Владыка взошел на золотой свой трон, и сердце его ра-

дуется, но не может он и не огорчаться, думая о своем народе. Разве не слышали вы о том, что Чырнай-паша занял Ташкент?

В страхе зашумел народ, раздались тревожные голоса.

— О создатель, что теперь сделают с нами?

— Перебьют нас всех...

— Не приведи, создатель, увидеть черный день!

Абиль-бий внимательно наблюдал за тем, как откликнется народ на его слова, но не терял и нить своей речи.

— Еще недавно датхи [1] кочевников, собрав равнинные и горные племена, напали на орду, сняли корону с головы Кудаяр-хана. Что скрывать, были там и наши джигиты, это известно и богу, и Кудаяр-хану. Теперь поглядите, ради единства народа хан простил им их вину и просит нас простить ему, если он сам в чем грешен был перед нами. Он прислал к нам уважаемого человека, оказал нам честь. Будь гордым перед гордецом,— ведь он не сын святого, а тому, кто тебе кланяется, поклонись и ты,— ведь он не твой клейменый раб! Я хочу сказать вам, что орда — наша, значит, наш долг — повиноваться ей, выполнять ее волю.

— Святые слова! — подался вперед Домбу.— Надо успокоить хана, написать ему ответ на чистой, как совесть, бумаге и попросить посла передать письмо.

Кудаяр-хан спешил укрепить свой трон; особенно беспокоился он о том, чтобы привлечь на свою сторону кочевников. Он рассылал повсюду своих послов, чтобы восстановить старые родовые связи. Это было прежде всего необходимо орде, но не только об этом думали, не только на это рассчитывали многие прозорливые и предусмотрительные умы. Не стал бы и Абиль-бий только для того созывать большой сбор, чтобы выразить преданность и повиновение хану.

— Пансат-уке! И вы, почтенные... можно мне спросить?

Все обернулись в ту сторону, откуда донесся этот неуверенный голос. Заговорил, оказалось, старик Тенирберди. Опираясь на палку, стоял он в гуще людей и, сощурив глаза, пристально глядел на власть имущих. О чем собирался говорить здесь немощный старик? Что ему здесь надо, сидел бы дома да оплакивал, как поло-

[1] Датха — высокое чиновное звание в Кокандском ханстве, управитель какой-либо области.

жено, погибшего сына. Никто, однако, не сказал ни слова.

Тенирберди откашлялся и начал, запинаясь:

— Услышал, что прибыл посол... я тоже... решил поехать сюда...

— Ничего не слышно, милый человек, подойдите поближе или говорите погромче! — предложил Абиль-бий.

— Как? — не понял было старик, но, когда ему растолковали, чего хочет от него Абиль-бий, начал медленно пробираться вперед.— Я был в долине... поле там у меня, просо я посеял. Так я пошел поглядеть, нельзя ли хоть один сноп спелого срезать... Жить надо... заботиться о хлебе насущном. Никто не может покинуть мир по своей воле, уйти вслед за умершим...

— Спятил ты, старик! — перебил его потемневший от гнева Домбу.— Не о твоем просе здесь речь, глумная голова!

Тенирберди только глянул покрасневшими, мутными от слез глазами в лицо Домбу и, побледнев от обиды, выпрямился и заговорил уже твердо и решительно:

— Слово мое короткое. Почтенные, разве мы не видали Кудаяр-хана, разве мы его не знаем? Он родился и вырос среди кочевников. На радость себе или на горе, бог весть, только он два раза уже был ханом, а теперь аллах в третий раз возвел его на трон. Что ж, мы только можем пожелать ему счастья, больше нам ничего не остается. Кудаяр так Кудаяр, ладно, да только скажите, что доброго сделал он для народа?

— Придержи язык! — выкрикнул, вскакивая с места, Домбу.

Народ заволновался, зашумел, как шумит густою листвой большое дерево, когда налетит порыв ветра.

— Ой, Домбу! — погрозил пальцем Тенирберди.— Если я, как ты говоришь, спятил, то на старости это простительно. А ты, Домбу, спятил, не дожив до старости. Здесь сходка, здесь представитель орды. Разве нужно в таких случаях удерживать язык, разве мы собрались, чтобы молчать?

Домбу сник.

— Абиль, твой отец и наш дорогой старший брат, Караш-бий, царствие ему небесное, был хороший человек, да и ты вроде неплох, отца не посрамишь. Скажи нам, уважаемый, что пообещал своим подданным, своему народу этот Кудаяр?

Вопрос попал в цель. Только теперь спохватились те, кто слушал велеречивого Абиль-бия, не смея рта раскрыть, не то что возразить ему. Только теперь осознали люди, что дело идет об их же будущем. В самом деле, чего ждать им от хана, что он обещает народу? Вопрос умудренного жизнью старика изменил общее настроение.

— Правильный вопрос! Пускай посол ответит!

— Может, он сулит нам тот самый рай, который показал кипчакам.

— Пускай посол ответит прямо!

Абдурахман поднялся. Все притихли, приготовились слушать. Посол держался сейчас просто, скромно, как в тот день, когда прибыл к Абиль-бию. Сохраняя полное спокойствие, стоял он на холме и сверху вниз смотрел на собравшихся, смотрел проницательным и острым взглядом.

— Дорогие родственники,— громко начал он,— единоплеменники мои, бий откровенно сказал о том, что между ханом и кочевниками были ссоры, были взаимные обиды. Если бы не так, не пришлось бы нам спешить сюда, дорогие родичи. Но все эти ссоры и обиды — дело прошлое. Это заживающая рана, не надо снова бередить ее. Не на пользу это пойдет нашему единству. Более того, если есть какие не совсем зажившие раны, надо думать лишь о том, чтобы поскорее залечить их. Верно или нет? По-моему, верно, дорогие мои! — говорил он приятным голосом, ласково блестя глазами и слегка склонив голову к плечу.— Подумайте хорошенько, о вы, мудрые старики, подумайте и вы, горячие джигиты. Не только в государстве, в каждой семье бывают нелады. Глава семьи должен вовремя решить все споры, наставить на путь истинный тех, кто заблуждается. Разумный человек всегда послушается доброго совета. Семью надо беречь от ссор и раздоров. Но если глава семьи вместо того, чтобы рассудить по справедливости, начнет не по достоинству хвалить одного и унижать другого— добра не жди. Где нет согласия, там нет и благоденствия.

— Вот-вот! — подхватил Абиль-бий.— Уместно сказано, уместно!

Абдурахман приложил правую руку к сердцу и продолжал:

— Отец наш, как вы знаете, был аталыком. Как стра-

дало тогда наше ханство из-за грязных поступков подлых нечестивцев, старавшихся развалить государство! Сколько пролито было невинной мусульманской крови! Пал тогда жертвой и наш дорогой отец, а потом хан Кудаяр лишился трона. Я бы затаил месть, дорогие сородичи, да и затаил, действовал совместно с Алымкулом-аталыком и Алымбеком-датхой, но из этого ничего не вышло, кроме бесполезных раздоров. Если бы я попросил сегодня вас о помощи, о поддержке, вы не отказали бы мне, верно? Но я не затем сюда приехал! Я приехал помирить Кудаяра с вами, его родственниками по материнской линии, и сделаю, что в моих силах...

Абдурахмана слушали внимательно и вдумчиво. Верно он говорит! Единодушие, родство — вот главное, а остальным бог не обидит. Верные слова! Что священнее, что выше единодушия! Мало-помалу сбор расшевелился и, негромко обсуждая речи посла, гудел согласно. Абиль-бий просиял, даже его волновало явное стремление народа к единству. Он высоко поднял обе руки.

— Аллау акбар! [1] Бог один и хан один. Аллау акбар!

Но вот Абиль-бий снова обратился к толпе.

— Народ! — крикнул он властно.— Отныне мы подчиняемся воле Кудаяр-хана. Мы поклялись в этом именем бога. Для того, кто нарушит эту клятву, нет ни семьи, ни жены, он вероотступник!

Обеими руками принял он от Абдурахмана бумажный свиток, скрепленный печатью хана, торжественно поднял свиток кверху, потом поднес его ко лбу, губам и склонился в низком поклоне.

— Вам говорю, отцы народа, вам, его бесстрашные защитники, истинно это ханский ярлык, посланный нам повелителем!

В молчании смотрели все на грозный свиток в руках у Абиль-бия. Слышно было только негромкое пофыркивание сытых лошадей, да чуть шелестела от ветра трава.

— Чтобы защитить государство, нужны резвые скакуны, нужны храбрые джигиты, могущие направить на врага бег этих скакунов. Никто не смеет отказаться! Ханский указ один! Все джигиты, что вернулись с поля битвы, должны снова седлать коней! Поможем им собраться в дорогу. Пусть каждый запасется едой на ме-

---

[1] Мусульманский молитвенный возглас, в переводе означает: «Велик бог!»

сяц, возьмет второго коня, полное вооружение. Я сам поведу войско. Медлить нельзя! У нас нет больше времени на сходки и совещания. Быстрей собирайте джигитов, через месяц все должно быть готово. Мы все до одного двинемся в Коканд, принесем присягу короне.

— Пансат-аке! К послу вопрос!

Все разом обернулись к тому, кто посмел перебить Абиль-бия. Бекназар! Крепко упершись ногами в стремена, приподнялся он в седле. У Абиль-бия глаза налились кровью.

— Родич! — крикнул Бекназар.— Вот, значит, какой подарок преподнес нам хан! Завтра он тысячами погонит нас под выстрелы русских винтовок. Мы с вами знаем, как метко бьют эти винтовки, как далеко они бьют! Хороший рай готовит повелитель своим подданным!

— Повелитель не собирается гнать ни вас, ни нас под выстрелы русских. Он хочет прогнать врага, напавшего на мусульман. Если вы скажете так, это будет верней, смелый джигит,— ответил Абдурахман.

— Ладно, можем сказать и так... Мы, родичи, о том толкуем, что это воля хана, приказ орды. А нам-то какой прок от того, что мы воюем? Если никто одолеть не может, надо, куда ни кинь, думать о мирном согласии. Хан только сел на трон — посылает нас походом на Чырнай-пашу. Ладно, оседлаем мы своих коней, пусть орда даст нам ружья меткие, дальнобойные, скорострельные, такие, как у солдат Чырнай-паши. Пушки пускай даст! Не годятся кривые мечи! — Бекназар выхватил меч из ножен и, подбросив его вверх, на лету поймал за рукоятку.— Это оружие годится теперь только ночным разбойникам. А нам нужны винтовки! Пушки нужны, слышите!

Посол думал. Все молча смотрели на него.

— Дозволенное аллахом оружие найдется, батыр,— сказал наконец Абдурахман.— Все мы рабы аллаха, у него будем мы просить помощи. Будем молить его, чтобы он ниспослал нам оружие. Без его воли и муха не погибнет. Кроткого раба своего аллах сохранит. Он может сделать так, что и камча окажется сильнее пушки.

Бекназар покачал головой.

— Не может камча оказаться сильнее пушек. Это слова бессильного. Бессильный всегда прикрывается именем аллаха...

Абдурахман не нашелся, что ответить. Абиль-бий вспыхнул.

— Бекназар! Перестань, Бекназар! — стонущим голосом выкрикнул он, но Бекназар не обратил на него никакого внимания и продолжал:

— Родич! Сделайте нам родственное одолжение, передайте нашему хану поклон от нас. Но пусть орда не беспокоится понапрасну, мы не двинемся с места! Вы сами знаете, кони — наши крылья. Мы не дадим сломать себе крылья, мы не хотим ползать на четвереньках! Наши джигиты — это сердце наше, мы не хотим подставлять наше сердце под пули! Не забудьте передать это, когда вернетесь в орду, не забудьте, если вы настоящий наш родич!

— Смутьян! — весь затрясся Абиль-бий, гневно сверкая маленькими красными глазками.

— Разве это называется сеять смуту, пансат-аке? Нет! Я выложил всю правду как на ладони. Я хочу уберечь джигитов от верной гибели. Но если кто хочет идти в поход, я тому не препятствую. Пускай идет, но я не пойду! Теперь вы довольны?

— Ты на свою голову беду кличешь, скажу я тебе, на свою голову, Бекназар. Разорю! Не посмотрю ни на какую родню! Ой, Бекназар, Бекназар!

Бекназар и бровью не повел, отвечал с издевкой:

— Разорите? Пожалуйте в любой день. Вы знаете, где стоит наш аил,— у зеленой долины... Поехали! — бросил он своим джигитам и поскакал прочь, не оглядываясь. Джигиты понеслись за ним. Никто не посмел остановить их. Ни посол, ни Абиль-бий, ни один из почетных стариков, испытавших на своем веку все, кроме смерти, не двинулись с мест.

— Чтоб их кровью рвало! — выругался Абиль-бий, хватая себя за пояс трясущимися руками.

И тогда лишь все вышли из оцепенения.

— Что делать, а? — сказал кто-то, и тут же прорвало плотину молчания, сходка загомонила.

— Не пойдем в поход! На что он нам?

— Пропади оно пропадом! Не только коня, навозу конского не будет им! Лишимся коней своих — крыльев лишимся.

— Верно Бекназар говорил! Пусть идут, кому жизни не жалко!

Ударами камчи хлестали воздух выкрики.

— Они хотят лишить нас коней, годных для похода, а потом нас самих начнут избивать, как избивали тогда кипчаков...

— Проклятие!..

Вскакивали с мест, бежали к своим коням. Брови нахмурены, у каждого в руке стиснута камча. С шумом растекался людской поток, и ничто не могло остановить его. Старейшины во главе с Абиль-бием, аксакалы из аилов, посол Абдурахман, бледные и растерянные, провожали народ глазами. Ринулись люди прочь, скорей, скорей,— кто на коне, кто пешком, кто бежал, ведя коня в поводу, не успев подтянуть подпругу. За Бекназаром, туда, куда ускакал он и его джигиты. Гудела земля от конского топота...

На другой день Абиль-бий собрал около себя аксакалов, сверлил каждого грозным взглядом, говорил зло:

— Слушайте хорошенько! Не говорите потом, что не слыхали! У меня слово одно! С теми, кто пойдет за Бекназаром, я разорву всякие отношения. Будь это хоть старший брат моего отца, не спущу, не прощу, каленым железом прижгу ему задницу...

Съежившись, садились аксакалы в седла, а Абиль-бий даже не пошел, как положено, проводить их.

В этот день Абиль-бию больше не пришлось улыбаться. Желтый, злой сидел он и даже не мог по-прежнему любезно разговаривать с послом. Промаялся без сна всю ночь, на рассвете молча пошел совершать омовение перед молитвой.

После молитвы Абдурахман сказал со вздохом:

— Эх, пансат-аке... Мы-то с вами чем виноваты... С одной стороны хан, с другой — народ. Мы исполнили свой мусульманский долг, были между ними справедливыми посредниками. Наша совесть чиста на этом и на том свете. Остальное пусть решают сами.

— Абдурахман...— заговорил со страстью Абиль-бий.— Пошли мне две сотни сипаев из Андижана. Если погибнет хоть один, я заплачу виру. Они нужны мне для устрашения... Абдурахман! Двести сипаев...

Абдурахман посмотрел на пересохшие губы Абиль-бия, на его бледное лицо и улыбнулся.

— Так не годится, пансат-аке. Вы поддаетесь озлоблению. Поступить так, как вы хотите, это все равно, что бросить горящую головню в пересохшей степи. Пожар будет, пансат-аке.

Абиль-бий, высоко подняв брови, удивленно и вопросительно смотрел на посла.

— Повелитель сейчас беспомощен,— продолжал посол.— У него только и есть, что ханский титул да показное величие. Казна пустая, войско разбежалось. Не лучше ли нам не обострять отношения с народом, а, пансат-аке? Если вспыхнет пожар, первым сгорит наш дырявый сеновал. А сеновал-то этот нам с вами очень нужен, и надолго нужен...

Заныли кости у Абиль-бия, он угрюмо опустил голову. Зло засмеялся:

— Значит, у вас, как у филина, нет ничего, кроме громкого голоса да важного вида?

— У нас нет другого пути, пансат-аке, кроме как передать повелителю слова Бекназара, его поклон, как он сказал. Я много слышал таких приветствий от других кочевых родов, надо суметь передать их как можно мягче. Для повелителя важна поддержка хотя бы части племен, наша с вами поддержка нужна.

Потом они долго сидели молча, погруженные каждый в свои размышления. Абдурахман наконец поднял опущенные веки.

— Здесь никто не был из Сары-Узен-Чу?

— Нет... А что? Нужен кто-нибудь оттуда?

— Черту они нужны! — с сердцем ответил Абдурахман.— Я было решил, что тамошние смутьяны на здешний народ повлияли.

— Боже упаси!

Снова замолчали. Сидели, как в воду опущенные,— замучили, видно, обоих беспокойные мысли.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Год 1842-й. Лето...

Шералы вел на далеком горном выпасе жизнь спокойную и беспечную. Нынче с утра он вдоволь напился холодного, как лед, кумыса, разбавленного водой, потом сел на выносливую, ходкую сивую лошадь и пригнал из ночного косяк дойных кобылиц. Завернув косяк к коно-

вязи, начал он ловить укрюком[1] жеребят. Обыденное, привычное дело; Шералы и делал его с привычной сноровкой, ни о чем не думая. Почти все жеребята были уже привязаны, когда к нему подошел джигит.

— Тебя датха зовет, Шералы, идем,— сказал он.

Шералы привязал последнего жеребенка и поплелся за джигитом, озадаченный. Чего это старик вдруг вспомнил о нем? И поглядит-то, бывало, в год раз, а тут — на, вызывает.

Справа от входа с большую юрту укреплен на высоком шесте белый бунчук. Чужие, незнакомые люди стоят у коновязи возле юрты. Еще со вчерашнего дня начали съезжаться сюда старейшины из аилов. Шералы их не знает, да и откуда ему знать? Он решил, что к Аджибаю-датхе заявились в очередной раз какие-нибудь льстецы и прихлебатели, которым только и нужно, что даровое угощенье. Когда подошли поближе, он понял, что народу прибыло много,— от людского говора юрта гудела, как пчелиный улей. Шералы вдруг оробел. Почесав в затылке, он собрался с духом, вошел в юрту и неуверенно поздоровался. Юрта была полным-полна людей — перед Шералы восседала знать со всего Таласа. В ответ на его робкое приветствие все, кроме сидевшего на почетном месте Аджибая, шумно поднялись и учтиво поздоровались. Что это? Никогда в жизни никто не оказывал Шералы такого почета, да он к этому и не стремился. Теперь он стоял растерянный и, куда ни обращал лицо, встречал радостные, умиленные взгляды.

Аджибай-датха сидел, ссутулившись так, что острые коленки едва не касались плеч. Низко опущенная голова беспомощно тряслась, щеки глубоко запали. Старик чем-то напоминал опустившегося на колени тощего верблюда.

Но вот Аджибай поднял голову.

— Это ты, Шералы? Пришел? — сказал он, глядя на Шералы тусклыми, безжизненными глазами.— Подойди поближе, свет моих очей...

Шералы, склонившись в низком поклоне, приблизился и осторожно пожал обеими руками худые, костистые руки старика.

— Пришел, дядя... Вы, кажется, звали меня...

---

[1] Укрюк — шест с петлей на конце, служит для ловли коней в табуне.

— Садись, дорогой мой.

Шералы опустился на одно колено. С почтительным и пристальным вниманием смотрел он на лицо Аджибая, темное от старости, усеянное крупными веснушками, маленькое — с кулачок, умное лицо. Старик не поднимал опущенных век, и нельзя было понять, то ли дремлет он, то ли задумался. Вдруг он заговорил медленно и устало:

— Все эти люди надеются на тебя... Ты хорошо слушаешь меня, свет моих очей?

— Я весь внимание, дядя.

Аджибай-датха провел трясущейся рукой по белой-белой и реденькой своей бородке. Откашлялся негромко.

— Глупый сын черпаком расплескивает добро, которое умный отец собирал по ложке. Обширное и могучее государство, созданное эмиром Тимуром Гураганом, после его смерти не продержалось и ста лет. Сыновья получили в наследство благоустроенные города и области, но не могли прийти к согласию между собой, каждый тянул в свою сторону, и скоро держава распалась. Старшим сыном Тимура был Мираншах, а у него был сын Султан-Мухаммед, родивший Абусаида. У Абусаида был сын Омар-Шейх, которому досталась в удел Фергана. Он отпал от Самаркандского эмирата и стал править самостоятельно. В те времена государи для вящей славы своей содержали при себе поэтов, музыкантов, мудрецов. Во дворцах были клетки с попугаями, голубятни, полные белых голубей. Однажды Омар-Шейх кормил голубей, восседая у голубятни, которая находилась на крепостной стене в городе Аксы. Голубятня неожиданно обрушилась на Омар-Шейха, и он погиб. Его старшему сыну Бабуру было в то время двенадцать лет. В том же восемьсот девяносто девятом году[1] возвели Бабура на отцовский трон и провозгласили султаном. Впоследствии он оказался умным и сильным государем. Он решил объединить когда-то могущественное, а теперь раздробленное государство, созданное его великим предком Тимуром. Но тут объявился грозный Шейбани-хан, принявший имя своего предка, который был младшим братом славного Саин-хана[2]. Новому Шейбани-хану ни

---

[1] Имеется в виду мусульманское летосчисление «хиджра». По христианскому календарю — 1493 год.

[2] Саин-ханом на Востоке называли Бату, или Батыя.

косточки не досталось ни от Синей орды, ни от Белой орды, чьи земли раскинулись по берегам Итиля. Он предпринял поход против Самарканда и занял его. Бабур-султан терпел неповиновение своих родичей, их своеволие, но стерпеть, чтобы дедовский священный трон занял чужак, он не мог. Бабур вступил в жестокую борьбу с Шейбани-ханом, трижды изгонял его из Самарканда, но окончательно одолеть так и не смог, ибо упрямые и своевольные родичи не поддержали его в нужную минуту. Кто своего не почитает, тот чужие пороги обивает. Родичи Бабура переметнулись на сторону Шейбани-хана и принялись оспаривать у Бабура Фергану. Потерпевший поражение на родине Бабур вынужден был искать приюта на чужбине, он ушел в Афганскую землю.

Аджибай говорил медленно, хрипло, то и дело откашливаясь. Шералы сидел, опустив голову, и тупо моргал, не понимая, к чему клонит датха и для кого он все это рассказывает.

— Султан Бабур взял с собой только свою семью и несколько особо приближенных людей. О несчастный, безумный мир... Если судьба велит, так и тигр подохнет с голоду в своем лесу. На кровной, родной земле не осталось для Бабура угла, в котором он бы мог приклонить голову. Жена его Сейдефак была беременна и вот-вот собиралась родить. Схватки начались у нее во время пути по горам. Деваться некуда. Сейдефак пришлось рожать сына, держась за рукоятку меча [1]. Что же делать дальше? Погоня настигает. Впереди тяжелый путь. Надо скорее спешить вперед. Если везти младенца с собой, измучается он, не выдержит скачки на коне по горам, в жару днем, в холод ночью. А если двигаться не спеша, осторожно, нагонят их и всем снимут головы с плеч. Какой же выход, скажите мне, какой? Конечно, надо спешить, надо гнать коней изо всех сил, чтобы уйти от преследования. А ребенок? С собой везти его — умрет, на дороге оставить — тоже умрет. Но, может быть, кто-нибудь увидит, подберет, выкормит невинного младенца? Подумали и решили оставить мальчика на дороге. Мать покормила его грудью, уложила в позолоченную колыбель, накрыла белым шелковым платком. Султан Бабур попрощался с сыном, коснулся рукой его невин-

---

[1] Тюркские женщины рожали стоя, держась при этом обеими руками за какую-либо опору.

ного лба, вздохнул тяжело и, сняв с себя драгоценный пояс, повесил его на край колыбели. Все они двинулись дальше, поддерживая рыдающую мать. Слезы текли по лицу Сейдефак и капали на грудь, смешиваясь с молоком из ее сосцов. Страдая всем сердцем, уходил отец от сына, который заливался горьким плачем...

Трепетный вздох пронесся по юрте, потом снова наступила мертвая тишина.

— В те времена жили там племена киргиз, кипчак, кырк, минг. Мимо места, где Бабур оставил новорожденного сына, случилось проезжать какому-то человеку, который забрался в безлюдный уголок в поисках хорошего пастбища. Человек услыхал детский плач и вскоре нашел под кустом золоченую колыбель.

Слушатели встретили эти слова негромкими возгласами удивления,— не один Шералы, но все, кто сидел в юрте, никогда не слыхали ни о чем подобном.

— Господь всемогущий! Кто храним тобой, перейдет через огненную пропасть по мосту толщиной в один волосок... [1]

— Человек, который нашел колыбель, отнес ее и младенца в аил,— продолжал Аджибай.— Старейшины родов киргиз, кипчак, кырк и минг собрались, чтобы решить судьбу найденыша. Совещались долго: семь раз примерь — один отрежь, как говорит пословица. Новорожденный... Золоченая колыбель... Драгоценный пояс... Ясно, что не у простого человека родился этот ребенок. Весть о нем постарались разнести повсюду, но никто не откликнулся. Старейшины посоветовались еще раз, нашли кормилицу из рода минг и отдали ей ребенка на воспитание. Алтынбешик — «Золотая колыбель» — такое имя дали найденышу... Ты внимательно слушаешь меня, Шералы?

Шералы смотрел на Аджибая широко раскрытыми глазами.

— Ты потомок Алтынбешика. Слышишь, ты потомок султана!

Юрта снова загудела множеством голосов. На Шералы смотрели так, будто видели его впервые. А он сидел растерянный, то бледнел, то краснел и не знал, радоваться ему или огорчаться.

---

[1] По мусульманским верованиям душа каждого умершего должна пройти такое испытание по дороге в рай.

— Потом... потом Бабур-султан стал падишахом всего Хиндустана и, говорят, направил своих послов на розыски сына. И послы отыскали Алтынбешика, но народ, воспитавший его, не отдал послам своего воспитанника. Пусть среди нас живет потомок султана — так решили люди. Когда Алтынбешик достиг совершеннолетия, ему дали в жены четырех девушек, по одной от каждого племени. Была у него жена из племени киргиз, была жена из племени кипчак, из племени кырк, а старшая жена — из племени минг. Ее звали Кутлуккан, и она родила Алтынбешику сына Тенир-Яра.

Аджибай-датха устало приоткрыл рот, обнажив беззубые десны. Ему поднесли резную деревянную чашу с кумысом. Старик пригубил кумыс с явным удовольствием и, собравшись с мыслями, заговорил снова:

— Потом... о, многое потом случилось. Властитель Бухары Абдулмомун, потомок Шейбани-хана, напал на Фергану, которой правил тогда его родственник Узбек-хан. Абдулмомун расправился с Узбек-ханом, но сам был убит заговорщиками, когда возвращался в Бухару. С тех пор потомки Шейбани потеряли бухарский престол. Бухарой овладел род Аштархани из племени мангыт. Но грызня за престол никому еще добра не приносила. Междоусобицы в Бухаре привели к тому, что власть бухарских правителей над Ферганой ослабела. Ферганцы, особенно те, кто чувствовал себя сильным и влиятельным, перестали считаться с бухарским эмиратом, начали бороться за самостоятельность и объявили своим бием Тенир-Яра. Случилось это в году тысяча шестом по летосчислению пророка [1]. Тенир-Яру тогда было шестьдесят лет. Начиная от Тенир-Яра и кончая Нарбото-бием, сменили друг друга тринадцать биев и потомков Алтынбешика. Слушай, свет моих очей, всем сердцем слушай меня...

В 1174 году [2] китайцы напали на джунгарских калмыков, многих истребили, а прочих оттеснили в Кашгар, а потом и дальше — в наши края. Калмыки в поисках новых земель хлынули в Фергану... Вот когда показали себя потомки Алтынбешика — они первыми вышли в поход, они стали во главе войска и остановили нашествие, и заставили калмыков свернуть в другую сторону. Нар-

---

[1] 1597 год.
[2] 1760 год.

бото-бий решил создать крепкое государство, способное противостоять врагам внутренним и внешним. В 1216 году[1] его старшего сына Алыма подняли на белом войлоке и объявили ханом...

С неослабным вниманием слушала таласская знать своего датху, слушала и все присматривалась к Шералы. Невзрачный, худощавый и усталый на вид человек средних лет с негустой черной бородкой...

— Вот откуда пошло Кокандское ханство. Основали столицу. Начали чеканить золотую и серебряную монету от имени хана, начали собирать казну. За счет казны содержали войско. Любой указ объявляли именем хана, власть была теперь в одних руках. Я сам видел Алым-хана. Неукротимый был он, как вода в половодье. Хитроумный, ловкий, никому не верил на слово и не знал жалости. Он скоро понял, какие выгоды дает ему новое положение; он теперь не просто бий, он глава самостоятельного государства, единого и независимого. И тогда Алым-хан с новым усердием начал расширять и укреплять свои владения. Его предки делали все это осторожно, постепенно. Завязывали дружбу с соседними племенами, роднились путем браков. Алым-хан действовал мечом. Он не жалел ни копыт скакунов, ни крови джигитов. Все время своего правления провел он в походах и набегах. Мы тогда, свет мой, в любое время дня и ночи готовы были вскочить в седла. Во времена Алым-хана Кокандское ханство разрасталось быстро... как огонь, подхваченный ветром. Но я уже сказал, что Алым-хан был недоверчив и жесток. После смерти Нарбото-бия он по малейшему подозрению казнил своих родичей из страха, что кто-нибудь из них заявит право на престол. И первой, свет моих очей,— слышишь? — первой скатилась с плеч голова твоего отца Хаджи-бия.

Шералы при этих словах вздрогнул.

— Хаджи-бий и Нарбото-бий были братья по отцу. Они друг с другом не ужились, и Хаджи-бий большей частью жил в Чаткале у своих дядьев. Здесь, в Таласе, женился он на твоей матери и породнился с нами. Когда Нарбото-бий скончался, он поехал на его похороны, а потом остался в орде.

Жил, ни о чем худом не думая, но Алым-хан нашел случай расправиться с ним, с дорогим нашим родствен-

---

[1] 1801 год.

ником. Это случилось в 1223 году[1]. Я тогда тоже находился в орде. Я собрал своих джигитов, взял с собою сестру и тебя и темной ночью покинул ханскую ставку.

Шералы весь вдруг опустился. Слезы блеснули у него на глазах. Он, давно уже взрослый человек, ничего до сих пор не знал о себе, кроме того что он безродный и что его привезла с собой любимая сестра Аджибая-датхи.

— Ты этого не помнишь... Да и откуда тебе помнить, ты был мал тогда, ничего еще не понимал. Я растил тебя, свет мой, под своим крылом подальше от хана и его придворных, от их глаз и ушей. Я скрывал твое происхождение. После Алыма ханом стал его брат Омар. Он тоже боялся за свой трон и действовал так же, как Алым-хан. Первому он снял голову сыну Алым-хана Шахрух-беку, который уже достиг совершеннолетия и мог возглавить войско. У Алым-хана оставалось еще два сына — Ибрагим-бек и Мурад-бек. Мать увезла их в Самарканд и тем спасла от смерти. Омар-хан был гибче своего брата, он решал вопросы не только мечом, но и умом. Алым-хан не носил корону, не умел восседать на троне. Он и ел и спал, можно сказать, в седле, и всю свою жизнь воевал. Омар-хан первым надел корону, первым начал устраивать приемы, сидя на троне. Он строил в городах мечети и медресе, проводил арыки на целине. Он старался дружить с соседями и тем самым уменьшил количество врагов. Так укреплял он государство, которое его брат Алым замесил на человеческой крови. Но вот закрылись глаза Омар-хана, и трон занял его сын Мадали. Ай, верно говорит пословица, тысячу раз верно! Добро, которое умный отец собирал по ложке, глупый сын расплескивает черпаком. Я сам был на торжествах по случаю провозглашения ханом этого грешника окаянного. Избалованный лестью прихлебателей, вздорный, злой, он любил только баб да вино. Кокандское ханство к тому времени простиралось от Бадахшана до Семи городов[2], от Семи городов до Аральского моря. Ну, отдал бы этот глупец Мадали один, два города с их землями — ладно! Нет, он разорил, выпустил из рук все, что создали его мудрые предки. Нынешней весной эмир Бухары Насрулла-батыр-хан разбил войско

---

[1] 1808 год.

[2] Страна Семи городов — Кашгар (нынешний Синцзян).

Мадали-хана под Ходжентом и вошел в Коканд. Слышишь? Он вошел в Коканд.

Омар-хан незадолго до смерти женился на красавице — дочери одного ходжи. Когда Омар умер, этот вероотступник Мадали взял ее себе в жены, прельстившись ее красотой. На этом и поймал его Насрулла-батыр-хан. «Мадали женился на своей мачехе, он нарушил шариат. Не может вероотступник, осквернитель шариата занимать мусульманский престол!» И Насрулла-батыр-хан пошел войной на вероотступника, опозорив его перед народом. Мадали-хана убили, можно сказать, на пороге его собственного дворца. И объявили, что народ Коканда отныне будет находиться под властью и защитой счастливого и справедливого эмира благородной Бухары Насруллы-батыр-хана. В Коканде эмир оставил своего наместника. Понял теперь, свет моих очей? Ты рос сиротой, но расправь свои крылья. Жизнь согнула тебя, но ты распрями плечи. Время обратило к тебе свое лицо. Садись на боевого коня, отвоюй свое счастье у Насруллы-батыр-хана! За счастье надо бороться. Случай, какой выпал тебе, приходит раз в жизни...

Аджибай-датха закашлялся, отпил из чашки глоток кумыса и, поставив трясущейся рукой чашку на кошму возле себя, повернулся к Шералы. Он ждал от него умного слова. Слезы потекли у Шералы по лицу.

— Дядя... Куда же мне одному...

Аджибай-датха покачал головой.

— Об этом ты не беспокойся, свет моих очей,— ласково сказал он.— Все, кто собрались здесь, тебя не оставят. Аксы, Талас, Чаткал в твоей воле. Все, кто способен сесть на коня, придут в твое войско. Что? Боишься? Не бойся ничего. Смерть никого не минует, а когда она придет — сегодня или завтра,— не все ли равно? Потомок султана должен отстаивать свою честь, наследие своих отцов, свой законный престол. Честь превыше смерти. Дабы не осквернить твою священную кровь в потомстве, я дал тебе в жены дочь бия Токтоназара из рода тубай. Род твой не иссяк, у тебя трое детей. Нет у тебя причин для страха, все четыре стороны света для тебя безоблачны и святы.

Одряхлевший датха тяжело дышал, долгая речь утомила его, но он нашел силы поднять руку и указал Шералы на незнакомого человека, который сидел справа от Аджибая.

— Вот Юсуп, бий Аксыйской области...

Шералы глянул на щуплого незнакомца, и глаза его встретились со взором острым и светлым, как у степного сокола-ителги. Аджибай-датха тем временем повел рукой влево, где сидел рослый, могучий и темнолицый джигит.

— А этого ты знаешь. Наш младший брат Сыйдали-бек. Один из них будет твоим наставником, другой — предводителем войска.

Шералы не смел распрямить спину, не смел поднять голову. Склонился, словно в порыве благодарности, к подолу богатого халата Аджибая-датхи. Аджибай продолжал говорить:

— О, бренный мир! Если бы свет молодости снял на моем лице, если бы силы в руках! Ты сам видишь, дорогой мой, состарился я... Следуй за этими двумя людьми, которых я указал тебе, сынок, и ты достигнешь цели, а достигнув, отблагодаришь и возвеличишь их. Пусть поможет тебе твой разум. Умей быть благодарным за бескорыстную помощь, за верную службу. Будь щедр к народу, который склоняется перед тобой.

Шералы обливался потом. Он не в силах был слово вымолвить.

Аджибай-датха обратился к Юсуп-бию.

— Брат мой Юсуп, ты начинаешь трудное дело,— раздумчиво сказал датха.— Но время на твоей стороне, ты исполнишь желаемое. Море волнуется не оттого, что бьется о скалы,— буря поднимает волны. Народ подобен морю. Нашествие Насруллы-хана подняло, взбудоражило народ. Пользуйся моментом и не медля седлай коней. В обычное время ты этот народ даже на охоту не скличешь, а сейчас он неудержимым потоком ринется в ту сторону, куда ты его направишь. Ты это и сам знаешь, брат мой, аллах дал тебе зоркий взгляд и твердый разум. В добрый путь! Пусть хранят тебя духи предков. Аминь! — и датха молитвенно провел по лицу худыми руками.— Я поручаю вам Шералы, а вас поручаю вашей совести. Аллау акбар!

— Аллау акбар...

Все громко произносили благословения. Юсуп, светло блестя глазами, склонился перед Аджибаем и обеими руками взял его руку.

— Положитесь на нас, как на самого себя...— сказал он,

Назавтра Юсуп, Шералы и семьдесят джигитов, выделенных Аджибаем, двинулись через перевал Кара-Бура в сторону Аксы.

2

Едва прибыли, Юсуп собрал самых влиятельных и знатных людей от всех родов и представил им Шералы. Потом он поделился своими сокровенными замыслами.

— Я иду на Коканд! — объявил он.

Не медля понеслись во все концы глашатаи верхом на светло-сивых конях, хвосты и гривы которым выкрасили кровью — в знак святости предпринимаемого дела.

— Почтенный Юсуп-мирза решил идти на Коканд. По коням! Юсуп-мирза решил освободить орду от бухарцев. По коням! С Юсупом-мирзой законный наследник короны. Юсуп-мирза устроит справедливое, милостивое к народу государство. По коням, верные рабы аллаха, исполните свой долг перед золотой короной! По коням! По коням! По коням!..

Развевались по ветру окрашенные кровью хвосты и гривы коней, криком исходили усердные глашатаи. Сладкоречивые послы отправились в Междуречье[1] к кипчакам, в сторону Ташкента — к роду курама... Поднялся народ. Со всех сторон съезжались конные ратники, собирались под сень белых и зеленых знамен. Дым костров стлался над землей...

...Зеленеющее предгорье. Высоко поднялись над ним сверкающие снегом и льдом вершины. Бежит по долине бурная река. По берегам, холмистым и зеленым, белеет множество небольших походных шатров. Войско остановилось на отдых. Возле шатров людей немного: это в основном те, кто присматривает за лошадьми. Остальные ушли к реке. Шутки, хохот, вскрики; кто затеял борьбу, кто рассказывает соленую историю, такую, что все вокруг держатся за животы от смеха.

Чуть поодаль от берега на округлом, как будто руками человеческими насыпанном холме возвышается большой белый шатер, расшитый красным узором. Над ним полощется на ветру зеленое знамя с белым полумесяцем. Дверь шатра открыта, по обеим сторонам ее застыли два караульных воина с обнаженными мечами.

---

[1] Область между реками Нарын и Карадарья.

Из шатра вышел Юсуп; караульные слегка отступили и склонились перед ним в почтительном поклоне. Юсуп в красном бенаресском халате, на голове у него зеленая чалма. Надетый под халат белоснежный камзол перетянут зеленым поясом, а на поясе кинжал в ножнах, усыпанных драгоценными камнями по золотой чеканке,— изделие бухарских ювелиров. Круто загнуты вверх носы желтых кожаных сапог. Сощурив острые, зоркие глаза и крепко сжав губы — так, что резко вздернулась вверх короткая рыжая борода, Юсуп глядел вперед, туда, где на берегу реки шумело разгулявшееся воинство. Свита Юсупа в выжидательном молчании стояла позади. Не двигался и сам Юсуп; лицо его было серьезно, почти мрачно, всем своим видом выражал он уверенность и силу, но чувствовалось в нем большое, тревожное беспокойство за судьбу предстоящего похода, за свою судьбу...

— Карнай! — сказал вдруг негромко Юсуп.

Двое карнайчи-трубачей тотчас подняли карнаи и затрубили во всю мочь, сзывая войско к шатру предводителя. Первым прискакал на зов ловкий джигит из группы, что стояла у самой воды.

— Все готово? — спросил его Юсуп, не дожидаясь приветствия.— Поторопи их, Кедейбай!

Кедейбай спрыгнул с коня и, не глядя, бросил поводья другому джигиту, который нагнал его.

— Готово! Все готово, Юсуп-аке...

Чуть смягчилось лицо Юсупа.

— Выводите его скорей! — распорядился он почти весело.— Оружие, знамя! Живей!

Зашептались, засуетились бии. Кедейбай шагнул в шатер, где сидел истомившийся, возбужденный Шералы. При виде Кедейбая он обрадованно вскочил.

— Добро пожаловать!

Но Кедейбай, не обратив внимания на его слова, зашептал:

— Идем... все готово...

Дрожащими от волнения руками надел он на Шералы потрепанный тебетей, помог ему натянуть засаленный чепан, сам его подпоясал. Шералы был женат на сестре Кедейбая, и Кедейбай вдруг почувствовал обиду на Юсупа. Почему не одели Шералы, как подобает хану, который должен предстать перед народом? Что он за хан в таком виде? Бродяга какой-то оборванный...

Шералы вышел из шатра. Он не мог скрывать неудержимую радость; капли пота выступили у него на висках и на лбу. Счастливыми и благодарными глазами глядел он на всех, губы расплывались в улыбку. Под правый локоть поддерживал его Кедейбай, под левый — кипчакский бек Мусулманкул.

— Оружие! Знамя!

Загремели ружейные выстрелы. Барабанщики, которые стояли неподалеку от шатра, ударили в свои барабаны так неистово, что, кажется, земля загудела. Кони, мирно щипавшие траву, подняли головы, насторожились. Войско потоком начало стекаться к шатру, к зеленому знамени, которое трепетало над головами медленно движущихся знаменосцев. Впереди знаменосцев выступали два воина с поднятыми к плечу обнаженными кривыми мечами. Под сенью знамени шел Юсуп; глаза у него покраснели, лицо то вспыхивало румянцем, то бледнело. Тут же был и Шералы; он все так же улыбался и смотрел на приветствовавших его воинов все теми же благодарными и счастливыми глазами. Неспешным размеренным шагом вышли они на цветущий прибрежный луг. Сверкала на солнце серебряным чешуйчатым блеском веселая река; посредине луга белел квадрат тщательно расстеленной кошмы. Вокруг него со всех сторон сгрудились люди — словно муравьи вокруг пролитого на землю молока. Юсуп, Шералы, знаменщики, свита направлялись прямо к белой кошме, к белому ханскому войлоку.

Люди расступались, давая дорогу, кланялись, молитвенно прижимая руки к груди.

— Где он, где? Который? — спрашивали, друг друга.

— Вот он, вот!

— У него на ногах сыромятные чокои... Боже милостивый, стоптанные, кривые чокои!

— Хи, хи...

— Ты потише! Как бы голову не сняли с плеч...

Дьявольски чуткие уши Юсупа все это слышали. «Хорошо. Очень хорошо,— думал он.— Пускай люди видят. Пускай видят, кем был этот Шералы. Пусть знают, чьи сильные руки подняли его на белом войлоке. Пусть рассказывают из поколения в поколение...»

Процессия остановилась у белого войлока. Гремели карнаи, сыпалась дробь барабанов, сладким холодом замирали сердца.

У войлока восседали седобородые. Они поднялись, приветствуя подошедших.

— Ассалам алейкум, почтенные старцы! — нараспев поздоровался первым Юсуп.

Старики откликнулись нестройным хором.

— Ваалейкум ассалам, сын своего отца! Доброго пути тебе! Да сопутствует вам святой Хызр...

Острые глаза Юсупа сверкнули, остановились на фигуре подростка лет пятнадцати, стоящего у края кошмы. Мальчика окружали вооруженные воины. Изжелта-бледный, с синими дрожащими губами, он бессильно клонился набок, согнув в колене одну ногу. Безжизненно висели опущенные руки. Юсуп отвернулся...

— Начинайте...— негромко бросил он.

Смолкли карнаи и барабаны, люди все до единого опустились на землю. Седобородый улем [1]-богослов начал читать хутбу из Корана. Его слушали, затаив дыхание. По окончании молитвы каждый, как положено, провел ладонями по лицу, и тут же снова заревели карнаи, затрещали барабаны.

— Аллау акбар! Аллау акбар! — хрипло выкрикнул улем несколько раз подряд.

Воины, подхватив подростка под мышки, подталкивали его к кошме.

— Не бойся... не бойся...— уговаривали его.— Ничего страшного не будет, ничего тебе не сделают...

Как завороженные, смотрели все в искаженное ужасом бледное мальчишечье лицо. Он задыхался, слезы стояли на глазах, готовые вот-вот пролиться. Хриплые призывы улема тонули в грохоте барабанов, в завывании труб.

— Аллау акбар... аллау акбар... На путь, указанный предкам... во имя султана... во имя духа священного пророка!

И вдруг высоко вознесся пронзительный женский крик:

— Мой родной! Единственный мой! А-а-ай!

Дрогнули люди, а Юсуп, вспыхнув от гнева, обернулся туда, откуда долетел крик. Высокая женщина в черном платье отчаянно пробивалась сквозь толпу. Ни у кого не поднималась рука остановить, удержать ее. Смертельный страх округлил остановившиеся глаза жен-

---

[1] Улем — ученый-богослов.

щины, по плечам ее метались пряди седых, как степная полынь, волос.

— Люди! Смилуйтесь! Пощадите! Он единственный... еле жив он, несчастный мой! — выкрикивала она сквозь рыдания.

Прикидываясь, что стараются схватить ее,— еще бы, на глазах у биев и аксакалов происходило все это! — люди на самом деле помогали женщине пробираться к белому ковру.

Вооруженные воины окружили подростка, но женщина тигрицей кинулась на них, и они отступили. Старуха изо всех сил прижала к себе мальчика.

— Мама... мама...— всхлипывал он, спрятав голову у нее на груди.

Вдруг чьи-то сильные руки растащили их в разные стороны. Старуха и мальчик рыдали в голос, тянулись друг к другу, но их держали крепко.

— Стойте!

Властный окрик Юсупа будто в камни обратил мрачных воинов; с нескрываемой злостью глянул Юсуп на аксакалов, которым поручено было подготовить жертвоприношение. Потом обратился к женщине.

— Байбиче, это твой сын?

Тяжело дыша, женщина накинула на шею изорванный черный платок и упала Юсупу в ноги.

— Смилуйся! Смилуйся, господин... Он больной, паралич у него, господин! Разве мало еще наказал его аллах, поразив болезнью? Смилуйся, повелитель наш! Единственный внук у меня остался. На могиле его отца земля еще не затвердела. Я, горемычная, пошла помолиться над прахом дорогого покойника, поплакать на могиле, а без меня пришли и забрали у моей невестки, несчастной вдовы, сына-сироту...

Юсуп сверху вниз смотрел на седые волосы, на узкие, слабые старушечьи плечи. Наклонился, поднял женщину.

— Байбиче, я возвращаю тебе твоего внука, не плачь, уведи его, байбиче,— сказал он тихо.— По неразумию забрали его, уведи...

Старуха опешила. Не веря ушам своим, она, раскрыв рот, смотрела на Юсупа. Слезы и пот текли у нее по лицу, капали на платье...

— Ступай... Бери своего внука, байбиче,— повторил еще раз Юсуп и кивнул.

— Спасибо... Пошли тебе счастье господь на этом и на том свете... Ты спас обездоленного, бог тебя наградит... Спасибо... спасибо...— дрожащими губами лепетала старуха, крепко прижимая к себе мальчика и прикрывая его подолом своего черного платья. Она гладила его по спине и все пятилась, пятилась подальше в толпу, спешила уйти поскорей.

Церемония прервалась. В растерянности стояли аксакалы, бии... Растерялся и Шералы. А Юсуп, бледный от гнева, шарил взглядом вокруг себя, искал виновного, на чью голову можно было бы обрушить злость и досаду.

— Старуху надо было дома успокоить,— еле шевеля губами, выговорил он наконец.— Нельзя было пускать ее сюда ни под каким видом.

Абиль-бий при этих словах оглянулся через плечо и позвал:

— Ашир!

К нему тотчас подбежал румяный, миловидный юноша с красной повязкой на голове.

— Слушаюсь, Абиш...— сказал джигит, и видно было, что по одному слову Абиль-бия он готов пойти в огонь и в воду.

Абиль-бий указал на него рукой.

— Берите его!

Угрюмые воины, только недавно державшие уведенного старухой подростка, взяли юношу под руки. Он не сопротивлялся, не вырывался, только побледнел вмиг и глянул на Абиль-бия, но тот на юношу не смотрел. Трубные звуки карнаев, глухой тревожный постук барабанов отдавались в голове у джигита одним только словом: смерть! Смерть неожиданно и неотвратимо занесла над ним свой меч, и не было у него ни сил, ни возможности противостоять ей. Улем выкрикивал имя бога, лица людей вокруг застыли в жесткой неподвижности, и никто не смел глянуть обреченному прямо в глаза. Воины понемногу подталкивали джигита к краю белого ковра.

— Не бойся... не бойся... Ничего не будет...

Ласковый голос звучал как отходная молитва. Юноша вдруг успокоился, медленно закрыл глаза, Повинуясь сильным рукам, опустился на колени. Смерть! Смерть! Гулко стукнуло сердце. Не бояться? Ничего не будет? Надежда еще не угасла, маленькой искрой далекого ко-

стра светилась она в надвигающейся тьме. Может, это не настоящее жертвоприношение, только видимость, обряд... Ударят сильно, чтобы кровь показалась... Немного крови...

Сильные руки завели джигиту локти за спину. Еще одна рука взяла его за подбородок так, что голова откинулась далеко назад. К открытому горлу прикоснулась холодная сталь. Дрожь пробежала по телу.

— Мама!

Он хотел вырваться, но успел только судорожно передернуть плечами. В следующее мгновение холодный, острый, беспощадный кинжал оборвал жизнь красивого юноши.

— Аллау акбар! Аллау акбар! Во имя бога... во имя султана... во имя духа священного... Аллау акбар!

Алой струей брызнула на белый войлок горячая кровь, сверкнув на солнце. Кровью, горячей кровью запахло в воздухе. Трубы и барабаны славили кровавое торжество.

Алые цветы расцвели на белом войлоке. Юсуп и Мусулманкул ввели Шералы на ковер и заставили его перешагнуть через голову убитого Ашира. Остановились на самой середине ковра.

— Бог тебя благослови! — с ласковой улыбкой произнес Юсуп.

— Бог тебя благослови! — повторил Мусулманкул.

Шералы не знал, что надо говорить. Стоял столбом и подобострастно улыбался в ответ на благословения аксакалов.

— Благослови тебя боже!.. Пусть упрочит бог твое счастье! Сделает незыблемым твой трон! Пришел твой черед, потомок хана, думать о судьбе народной...

Тихие голоса, громкие голоса. Слабые, хрипловатые голоса стариков. Но все они повторяют одно и то же. Все благословляют Шералы.

Мусулманкул обмакнул в кровь тяжелый обоюдоострый меч и, не вдевая в ножны, опоясал им Шералы.

— Благословенно твое оружие! Да поразит оно насмерть твоих врагов! Да охранит пределы нашей земли! Затупит вражеские мечи!

В рев карнаев и грохот барабанов ворвались ружейные выстрелы. Залп... Еще залп...

— Чье настало время? Время Шералы-хана!

Бии и почетные старики во главе с Юсупом и Мусулманкулом ухватились со всех сторон за края окровавленного войлока и подняли его. Шералы потерял равновесие, покачнулся, но удержался на ногах, опершись о плечо Юсупа. Так он и стоял, как бы согнувшись в поклоне, возбужденный и счастливый. Щеки его пылали, он не знал, нужно ли сказать хоть слово, нужно ли кого-то благодарить, он вообще с трудом воспринимал происходящее, словно был это сон.

— Чье настало время? Время Шералы-хана!

Музыка и крики не умолкали до тех пор, пока Шералы не пронесли через все войско.

— Чье же, чье настало время...

Но вот торжество закончилось. Юсуп вернулся в шатер. И здесь его будто подменили. Прикусив конец рыжеватого уса, сел он на почетное место, подогнув ноги и тяжело опершись кулаком правой руки о колено. Шералы присел рядом. Все так же радостно улыбаясь, он спросил:

— Что теперь делать будем?

Юсуп как будто и не слыхал; сдвинув брови, думал он о чем-то своем. Вошел Кедейбай с бурдюком кумыса. Юсуп облизнул пересохшие губы:

— Налей-ка...

Кедейбай налил кумыс в деревянную резную чашу; Юсуп протянул чашу Шералы.

Тот вернул чашу Юсупу.

— Выпейте сначала вы.

Юсуп осушил чашу залпом и сразу помягчел. Приказал созвать биев, почетных стариков и тех из молодых, кто уже был на виду. Собрались быстро, расселись, ожидая, что скажет Юсуп-бий. Он обвел всех хмурым взглядом.

— Не хватило сил остановить одну старуху? — бросил резко.— Из какой могилы она выскочила? Опозорились с жертвоприношением! Э-эх! Разве так надо хана подымать?

Мусулманкул вздернул брови.

— Надо было предупредить заранее, мы бы позаботились...

Пышнобородый аксакал, что сидел напротив Мусулманкула, скривил губы:

— Нечего было на старуху внимания обращать.

Юсуп остановил его:

— Погоди! Сейчас не то время, когда всего можно добиться одной храбростью, не обращая внимания ни на каких старух. Не надо было допускать ее до себя, вот в чем дело-то! А если уж она пробралась... Не зря говорят, кто увидит солнце — не замерзнет, кто увидит хана — не умрет позорной смертью. Если бедный человек просит тебя о защите, а ты ему откажешь,— худая слава пойдет о тебе в народе. А худая слава сильнее обнаженного меча, она лишит тебя счастья и в настоящем, и в будущем. Да вы и сами это знаете... С чистым

сердцем и добрыми намерениями выбирали мы нынче хана. Мы готовимся к ратному делу...

Никто не возражал Юсупу, все согласно кивали головами, но только один среди них чувствовал себя на высоте положения — достойный сын Караш-бия Абиль. В соответствии со своим возрастом сидел он у самого порога, но лицо его было радостно, с нетерпением ждал он, когда Юсуп заметит его.

— Абиль,— сказал наконец Юсуп ласковым, мягким голосом.

Абиль-бий весь подался к нему.

— Что прикажете, бек-ага?

Юсуп пристально глядел на совсем молодого мирзу, у которого едва пробивались усы.

— Сколько у тебя джигитов, младший брат мой?

— Было сто, осталось девяносто девять, бек-ага.

Юсуп кивнул.

— Спасибо, братец! Ты поступил мудро. Спасибо, большое тебе спасибо, братец, за сотого джигита.

— Для вас, бек-ага, я и собственной головы не пожалею.

— Я в долгу не останусь, братец. Ты заслужил честь быть в нашем походе знаменосцем. Иди впереди войска. Слышишь?

— Слушаюсь, бек-ага!

После этого Юсуп отдал первый приказ именем нового хана:

— Отцы народа, у нас теперь есть хан, есть наш общий глава. Пора выступать! Битва промедления не терпит. По коням! Выступаем сегодня в ночь. По ночам будем двигаться дальше, на рассвете останавливаться и весь день отдыхать. Лишнего шума, суеты чтобы не было! Следуйте за знаменем бесшумно, как змея ползет. Слышали? Таков приказ восседающего перед вами Шералы-хана.

А Шералы-хан тем временем ловил каждое слово Юсупа...

Наутро в просторной приречной долине никого не осталось; там и сям темнели на примятой траве кучки конского помета да жужжали над ними большие синие мухи. Неприметным холмиком не просохшей еще земли виднелась одинокая могила...

Усадив хворого внука на комолого рыжего вола, плелась сама пешком по степи старуха в черном платье. То

и дело раздвигала она руками густую траву, вглядывалась, искала чего-то.

— Ищи, сынок. Твои глаза видят лучше моих,— попросила она внука.

— Где же его схоронили...— негромко и медленно сказал мальчик, вытянув тоненькую шею и внимательно глядя то в одну, то в другую сторону.

— Где-то здесь лежит он, несчастный... Здесь где-то... Ему только одно и осталось — в земле лежать...

Долго искали они, переходя с места на место по измятой траве; то и дело взлетали с навозных куч гудящие рои мух, медленно брел истомленный жарою вол. Наконец старуха и мальчик увидали могилу на невысоком бугорке. Белые цветы, что росли здесь, завяли, затоптанные ногами. Когда подобрались к могиле поближе, старуха остановила вола и помогла мальчику сойти на землю.

— Поплачь, родной, помяни покойника,— сказала она, а у самой по лицу уже текли обильные слезы.

Мальчик тоже заплакал, причитая, а старуха начала кошок — поминальную песню. Внук слушал скорбные слова, утирая слезы здоровой рукой. Упершись руками в бока, сидела старая женщина возле могилы и пела о том, как погибал от ран в безлюдной степи единственный сын своего отца, храбрый батыр, пораженный летучей смертью — стрелой коварного врага. Плакала мать о своем горе, плакала о горькой судьбе всех одиноких и беззащитных.

Но вот и кончилась поминальная песня. Старуха вытерла широким рукавом черного платья слезы с лица. Мальчик, поддерживая больную руку здоровой, положил ее на колено и, медленно моргая намокшими от слез ресницами, со страхом смотрел на могильный холмик.

— Бабушка...

— Да.

— Как его звали?

— Как его звали, хочешь знать, дитя? Да как его назвать... бедняк одинокий... Если бы не был он бедным, не был одиноким, не лежать бы ему в этой могиле.

Мальчик ни о чем больше не спросил, опустив одно плечо, он смотрел и смотрел на могилу.

Бабка сняла со спины вола домотканую переметную суму, вынула из нее завернутые в скатерть боорсоки и вареное мясо. Прикрыв глаза, помолилась полушепотом

за душу убитого, чтобы на том свете пришлось ей лучше, чем на этом. Потом они с мальчиком немного поели, не глядя друг на друга и не переговариваясь. Выпили айрана из маленького бурдюка...

Солнце уже спускалось к горам, вершины которых затянуты были темными тучами, когда старуха и мальчик на рыжем воле начали подниматься по узкой тропинке на зеленое взгорье. И только ветер веял теперь над одинокой могилой...

3

Десятитысячное войско Юсупа окружило Коканд. В город вели восемнадцать ворот, и у каждых из них стоял теперь сильный воинский отряд. Все пути к городу были отрезаны, перекрыты арыки, снабжавшие Коканд водой. В виду крепостной стены, но на таком расстоянии, которое недосягаемо было для выстрела из пушки-китайки, раскинулись белые шатры. Воины состязались в силе и ловкости на глазах у осажденных.

Юсуп заранее заслал в город дервишей [1]-лазутчиков; едва началась осада, дервиши принялись за дело: бродили по улицам, заунывными, страшными голосами призывали к покаянию — пришло-де время держать ответ за содеянные грехи, гореть в адском пламени. Ужас перед неведомым врагом царил в городе. Жизнь замерла, опустели базары и чайханы. Оставленный правителем в Коканде бек Ибрагим Хаял поднял по тревоге отряды сипаев, укрепил городские ворота, разогнал оборванных дервишей, а тех из них, что попались в руки властей, бросили в зиндан [2]. Ибрагим Хаял хотел успокоить народ, предотвратить панику. Но только такими мерами достигнуть желаемого результата нельзя было: привычная жизнь города нарушилась, не хватало пропитания людям, не стало воды, не стало корма для скотины. Для того, чтобы вернуть горожанам покой, надо было разгромить вражеское войско или хотя бы заставить его отступить от города, снять осаду. Ибрагим Хаял понимал это.

Сумерки опустились на город. Ибрагим-бек в сопровождении отряда конных сипаев объезжал крепость,

---

[1] Дервиш — нищенствующий бродячий мусульманский монах.
[2] Зиндан — тюрьма.

проверял, надежны ли ворота, осматривал установленные во многих местах пушки-китайки.

— Бек, вас хочет видеть какой-то дервиш... уверяет, что должен сообщить вам важную тайну,— сказал Ибрагиму Хаялу начальник сторожевой сотни у восточных ворот.

— Откуда этот дервиш?

— Он не сказал мне.

Ибрагим Хаял молча спешился и, сопровождаемый нукерами [1], поднялся по лестнице на крепостную стену. Стена была широкая — по ней могла бы проехать арба. Ибрагим Хаял долго ходил по стене, думал, крепко нахмурив черные густые брови. Никто из свиты бека не смел заговорить с ним, дать ему совет; все молча следили за тем, как вышагивает он в тяжелом раздумье, низко опустив голову в ослепительно белой чалме. Понимали, что наместник охвачен чувством неуверенности и, может быть, безнадежности. Полное, с прямым тонким носом и небольшими глазами лицо бека, окаймленное короткой курчавой черной бородкой, было мрачно. Приближенных наместника охватывал страх перед одной мыслью о том, что придется им вместе с Ибрагим-беком держать ответ перед грозным эмиром Насруллой за сдачу Коканда.

Коканд был окружен кострами, бесчисленным множеством огненных точек,— будто звезды попадали с неба. То там, то тут пламя вспыхивало сильней, высоко взмывали подхваченные ветром желто-красные языки. Мелькали у ближних костров силуэты людей, порой доносились до города человеческий говор или ржание лошадей. А в крепости было темно. Редкие пятна света виднелись только в тех местах, где расположились сипаи. Траурно чернели купы деревьев, безмолвные, будто курганы, стояли дома. Холодом обдало сердце Ибрагима Хаяла.

— Приведите сюда того дервиша!

К наместнику подвели, подталкивая сзади, высокого человека.

Дервиш поздоровался. Ибрагим Хаял неохотно ответил на приветствие, но не повернулся к подошедшему, посмотрел на него искоса. В темноте он не мог разглядеть лицо дервиша и приказал:

---

[1] Нукер — телохранитель.

— Свету!

Принесли факел. При тусклом свете колеблемого ветром дымного пламени Ибрагим Хаял уставил на дервиша недоверчивый, изучающий взгляд.

— Ты, дервиш, звездочет или гадальщик по свиткам? — спросил он наконец.

Дервиш чуть заметно усмехнулся.

— Бек, на неделю вперед я могу все угадать и без свитка. В тайнах звезд земных я разбираюсь лучше, чем в тайнах звезд небесных.

Ибрагим Хаял опустил глаза и несколько раз удрученно покачал головой. Не простой дервиш этот человек, надевший на себя одежды нищенствующего монаха. В его смелом и прямом взгляде есть частица того огня, что зажег костры вокруг города. Бек долго не поднимал головы, физически ощущая на себе этот горящий взгляд.

— Говори, откуда пришел?

— С той стороны...

Ибрагим Хаял вздрогнул от короткого ответа. Вздрогнул и побледнел. Постарался сохранить спокойный вид под испытующим, все еще прикованным к нему взглядом.

— Кто они?

— Горцы, кочевники. Левое крыло [1], Завтра или послезавтра подоспеет и правое.

Нукеры вытаращили глаза, зашептались.

— Ты своими глазами видел? Скажи тогда, сколько человек у каждого костра?

— У каждого костра по одному пансату, бек!

Ибрагим Хаял задумался. Лазутчик молча смотрел на него, прикусив губу. Он-то знал, что Юсуп приказал, чтобы каждый джигит развел себе костер. Ибрагим Хаял недоверчиво покачал головой.

— У каждого пансата должно быть пятьсот воинов... верно?

— Вы сами знаете, бек!

— Гм...

В это время поднялся шум в самой крепости. Хриплая, озлобленная брань, лязг железа о железо, чей-то стон... Ибрагим Хаял вздрогнул. Обернулся, внимательно прислушиваясь. Кто-то поспешно поднимался по лестнице на крепостную стену.

---

[1] Киргизские племена с давних времен делились на два крыла: левое и правое.

— Где бек? Где бек? — задыхаясь, громко спрашивал он.

Ибрагим Хаял и его свита тревожно смотрели на приближающегося бегом человека. Тот вдруг упал, наступив на полу длинного и широкого халата.

— Бек... бек...

У Ибрагима Хаяла гневом сверкнули глаза.

— Что? Говори скорей! Что случилось?

— Сипаи дерутся между собой, бек... Сотни, которые остались от прежнего кокандского войска.

Эта весть, которую Ибрагиму Хаялу сообщили в присутствии чужого и подозрительного человека, ударила бека стрелой в сердце. Он застонал, не разжимая губ, потом сказал тихо:

— Иди, пансат. Успокойте их, помирите, не допускайте кровопролития. Сделайте, что они хотят...

— Бек... они хотят... открыть ворота!

Ибрагим Хаял онемел. Свита была в смятении. Бек махнул рукой.

— Ступай! Я сам приду сейчас, а до моего прихода ворота не открывайте!

Пансат заспешил по лестнице вниз, и скоро из темноты донесся топот его коня. Ибрагим Хаял смотрел вслед ушедшему и слушал, пока топот не стих вдали. Что делать? Сил мало. Бухара далеко. Дороги отрезаны. Смута... По очереди обвел он взглядом всех приближенных.

— Ну, что будем делать?

Никто не ответил.

Ибрагим Хаял продолжал:

— Будем защищаться? Или сдадим город?

Снова никакого ответа. Ибрагим Хаял начал злиться. Он чувствовал, что дервиш продолжает смотреть на него.

— Что вы молчите? Знаю я вас, надеетесь остаться в стороне, спрятаться за моей спиной! Ладно, я сам буду держать ответ перед повелителем, я один! — крикнул Ибрагим Хаял. Придворные съежились. Ибрагим-бек отвернулся от них и, глядя на огни окруживших город костров, постепенно успокоился.

«Есть ли у них предводитель?» — снова и снова спрашивал он самого себя. И вдруг услышал негромкие слова, сказанные дервишем:

— Без предводителя войска не бывает.

Ибрагим Хаял вскинулся:

— Что?

— Я сказал, что не бывает войска без предводителя,— повторил дервиш.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю по воле всемогущего бога, бек.

— Гм...

— Предводитель у них жестокий. Он требует, чтобы ключи от города вручили ему не позже чем через семь дней. Иначе, говорит, не выпущу из этой сурчиной норы живым ни одного мангыта.

Ибрагим Хаял мысленно произнес молитву. Глаза его встретились с глазами дервиша; подозрение и гнев вновь охватили правителя.

— Взять его!

Вооруженные телохранители заломили дервишу руки за спиной. Жизнь кому не дорога — дервиш на мгновение побледнел, но тут же справился со своим страхом и посмотрел на Ибрагима Хаяла смело, с улыбкой.

— Ты лазутчик! Голову отрублю тебе! — бросил Ибрагим Хаял.

Дервиш согласился:

— Воля ваша, бек, рубите, но сначала подумайте...

Нукеры стояли в нерешительности. Ибрагим Хаял нахмурился. Вот оно, пламя тех костров! Гнев отпустил правителя, в тяжелом раздумье застыл Ибрагим-бек, потом сказал медленно:

— Оставьте его... Ты что же, пришел ко мне только за тем, чтобы сообщить?..

— Только за этим бек! Чем скорее сдадите город, тем лучше!

Ибрагим Хаял подошел поближе к светильнику и долго смотрел на трепещущий язычок пламени. Язычок все слабел, уменьшался, таял в холодном ночном воздухе; темнота опускалась на лицо Ибрагима Хаяла, но сам он хорошо видел, как отступают все дальше от него некоторые из телохранителей,— должно быть, норовят убраться отсюда, спасая себя. Он видел и молчал, подавленный ощущением собственного бессилия.

— Эй, молодец, надевший халат дервиша, подойди-ка сюда,— негромко и устало позвал наконец правитель.— Выходит, что войско диких кочевников — рука судьбы, схватившая нас за глотку. От судьбы куда денешься, мы все ее рабы... Передай своему предводителю

нашу просьбу. Пусть он освободит нам путь, отведет войско от городских ворот.

— Слушаюсь!..

С кошачьей ловкостью сбежал Ибрагим Хаял по лестнице.

— Выпусти дервиша через ворота! — крикнул он сотнику, что стоял внизу. Потом одним броском кинул себя в седло и поскакал вдоль стены, сопровождаемый остатками свиты.

Костер Юсупа.

Гибкие языки желтого пламени лизали черный полог ночи, красные искры взлетали высоко вверх и гасли во тьме.

Юсуп лежал, опершись на седло, и молча, неподвижно следил за игрой огня. Шералы сидел тут же. Неспокойно, смутно было у него на душе. Время от времени он искоса взглядывал на Юсупа. Казалось, надо ему, очень надо о чем-то откровенно поговорить с бием. Вспоминал он такие же темные ночи в горах, в ту пору, когда он сторожил кобылиц, когда сиживал у костра в кружок с другими табунщиками. Мирный ветер с близких гор колебал пламя костра... Некого было бояться тогда и нечего, незачем было держаться все время начеку, осторожно, с оглядкой. Он был сам себе хозяин — такой же, как другие джигиты, радушные, откровенные, беззаботные. Можно было говорить все, о чем думаешь, не опасаясь заплатить дорогую цену за необдуманное слово. Шералы привык к беспечному существованию в глуши, привык к свободе — пусть это была свобода, какой пользуются животные, но, утратив ее, он чувствовал себя загнанным и подавленным.

Юсуп тем временем думал свою думу. Вспомнился ему сон, который увидел он однажды. Давным-давно это было...

...Юсуп не знал отцовской ласки. Эсенбай-бий бросил его мать, и она с сыном жила на окраине аила в простой серой юрте. Жили они плохо, перебивались кое-как, никому не нужные, всеми забытые. Еще мальчишкой Юсуп заболел стригущим лишаем и начисто облысел. Чванливый бий не хотел признавать его своим сыном, никуда с собой не брал. Но плешивый Юсуп рос крепким и упорным парнем, перед отцом и его родней

не унижался, заносчивым сводным братьям спуску не давал.

Сон, о котором вспомнил он, лежа у костра под стенами осажденного Коканда, приснился ему однажды под утро. Юсуп вскочил с постели как встрепанный и велел созвать в гости аксакалов и почтенных улемов со всего аила. Угощение приготовили обильное, потом Юсуп роздал подарки: самым уважаемым — халаты, а кому попроще — кушаки. Что такое? Никто не мог взять в толк. Собирались уже читать благодарственную молитву, но тут Юсуп опустился на колени у порога юрты и сказал:

— О люди, я собрал вас вот зачем... Видел я сон и хочу, чтобы вы помогли мне его истолковать.

В юрте наступила тишина.

— Говори. Расскажи свой сон, мирза, мы попробуем разгадать,— отозвались сидевшие на почетных местах белобородые старцы.

Запинаясь, Юсуп начал рассказывать:

— Снилось мне, что я хожу по зеленым горам... Нет, я не хожу, а перепрыгиваю с одной горы на другую... Стоя на одной вершине, рукой могу дотронуться до другой. Крикну с этой горы — разбегаются косули на той... Что это значит? Не насладился я, однако, своим сном, неожиданно пробудился... Что это значит?

В юрте все молчали. Кто еще видел такой необыкновенный сон? Кому довелось подобное разгадывать?.. С замирающим сердцем ждал Юсуп ответа.

— Хорошо...— хрипло выговорил было кто-то из аксакалов, но Юсуп перебил его:

— Подождите! Мне кажется, не сумеете вы правильно истолковать мой сон. А ведь говорят, что одним словом можно испортить доброе предвестие. Два раза сон разгадывать нельзя. Слушайте, как я сам свой сон понимаю. Я поднялся на горы — это значит, будут меня высоко почитать. Прыгаю я с одной горы на другую, достаю рукой до вершин, голосом своим пугаю косуль, значит, власть у меня будет большая, слава обо мне далеко разнесется... Ханом стану я, аминь, аллау акбар! — вдруг выкрикнул он.

Его начали благословлять — одни искренне, другие насмешливо. Скоро все разошлись.

В народе пошли разговоры. За глаза смеялись все над Юсупом, над непризнанным сыном своего отца, над

плешивым, который, видали, чего захотел. Потом все забылось, только сам Юсуп не мог забыть — он ждал и надеялся. Все больше росла в нем злоба против отца, который ни разу не помог ему, нигде не поддержал; и вот решился Юсуп на смелую выходку; угнал прямо с пастбища сорок кобылиц из отцовского табуна и обменял их на жеребца-трехлетку арабских кровей — горячего, стройного, со звездочкой. Юсуп ухаживал за конем, как за сыном, покрывал его парчовым чепраком, в челку вплетал бусины. Лихо гарцевал он на своем скакуне. Люди смотрели и посмеивались, а Юсуп и ухом не вел.

Эсенбай-бия в это время дома не было: он уехал к ханскому двору, захватив с собой недавно пойманного и обученного ловчего сокола. В столице он задержался надолго, пируя на пышных приемах. Встречать уставшего от поездки бия шумно собралась вся община; склонялись люди в низких поклонах, почтительно расспрашивали о здоровье, о делах. Злопамятный и самолюбивый Эсенбай-бий зорко приглядывался, все ли явились приветствовать его, поздравить с благополучным возвращением. Не дождался он одного лишь Юсупа. Когда вошла к Эсенбаю его постылая жена, мать Юсупа, бий не выдержал:

— Эй ты, скажи-ка, куда девался твой чесоточный плешивец? Что-то его не видать!

Прежде чем женщина успела раскрыть рот, один из собравшихся заговорил с притворным сокрушением в голосе:

— Бий, ваш сын выменял на сорок кобылиц какую-то клячу — возится с ней, до людей ему дела нет, на родню ему наплевать. Хоть бы вы ему попеняли.

Эсенбай нахмурил брови.

— А, чтоб тебе! Кто ему позволил выменивать коня за сорок кобылиц? На что ему конь? Или у коня этого вместо навоза золото из-под хвоста падает? Нашел себе дело, плешивец! Лучше бы позаботился о пропитании для своей злополучной матери!..

Когда Юсуп явился домой, он нашел в юрте плачущую от унижения мать.

— Ходили, наверное, к этому чванному хитрецу? — начал расспрашивать он.— Я слыхал, что он приехал. Чего он вам наговорил?

Мать боялась рассказывать, боялась разжечь ссору между отцом и сыном. Но Юсуп упорно допытывался и добился-таки своего. Женщина рассказала о разговоре у Эсенбай-бия. Взбешенный Юсуп тотчас выскочил за дверь.

— Что за наказанье! Хорош отец, он не дорожит добрым именем сына, не хочет его возвеличить! Добыл я себе коня, выходил его, думал — если отец не прославит имя мое, то мой конь принесет мне славу, а вы глядите — нашему бию это кажется разореньем, он позорит меня и мою мать! Сколько можно терпеть! Господь всемогущий, сколько же можно терпеть!..

Юсуп сел верхом, кликнул своих джигитов и вместе с ними понесся к Эсенбай-бию. Выкрикивая ругательства, размахивал обнаженным кинжалом. Никого к себе не подпуская, подскакал он к отцовской юрте и сорвал с нее дверь.

— Выходи! Выходи, Эсенбай! — кричал он, еле удерживая на месте разгоряченного коня.

Эсенбай-бий заорал из юрты:

— Хватай его! Хватай поганого плешивца!

Вспыхнул еще жарче Юсуп и направил коня прямо на юрту. Люди повисли на поводьях, пытались вырвать у Юсупа кинжал. Загудел, всполошился весь аил. Юсуп скрипел зубами, глаза у него налились кровью, он неистово отбивался.

— Я отрекаюсь от тебя! Отрекаюсь! Отрекаюсь! Отрекаюсь! — кричал между тем Эсенбай.— Сгинь! Позор тебе, отступник, поднявший руку на отца! Прочь с моих глаз!

— Ты отрекаешься от сына, а я отрекаюсь от такого отца! — отвечал Юсуп.— Все! Хватит! Ты ни разу не сказал мне доброго слова...

Тут вступили в дело аксакалы: тянули за повод Юсупова коня, уговаривали непокорного сына: «Эй, мирза, опомнись, не перечь отцу, берегись отцовского проклятия — оно тебя сделает несчастным на всю жизнь. Повинись, встань на колени, проси у отца прощенья...» У Юсупа перехватило горло, зубы стучали, как в лихорадке. Никому не поклонившись, пробрался он верхом на коне через толпу и, не оглядываясь, уехал из аила.

Он понимал теперь, что не ужиться ему с отцом никогда. Если Эсенбай-бий и раньше терпеть его не мог,

то после сегодняшнего случая и подавно. В ту же ночь Юсуп усадил мать на своего любимца-трехлетку, собрал джигитов, которые захотели последовать за ним, и двинулся в Талас. Перед самым отъездом поджег юрту — ни одной нитки не хотел он брать у отца; сидя в седле, смотрел Юсуп, как догорает юрта, а когда огонь погас, дал ходу коню.

Укрылся он у Аджибая-датхи.

С тех пор жил Юсуп чужаком в Таласе, о себе вестей не посылал и сам их не получал. Мать была уроженка Таласа. Носился Юсуп со своими джигитами, как волк со стаей, не пропускал ни скачек, ни козлодранья, где бы их ни устраивали — на пиру ли, на поминках. Чистокровный конь его показал теперь все свои стати, ни одному скакуну не давал себя обогнать. Оправдал надежды хозяина. Молва о Юсупе разнеслась по всему Таласу. Говорили о нем не только как о лихом наезднике; из уст в уста передавали рассказы о его прямоте, о его благородстве. Юсупа называли мирзой, день ото дня росло в народе уважение к нему, росло число его друзей, сторонников, единомышленников.

У Аджибая-датхи встретил Юсуп Шералы.

Как-то раз отправился Юсуп в Сары-Узен-Чу на большой той. Там устраивали скачки — байгу.

Уже к концу байги прискакал взбешенный конюх. С ним вместе на коне сидел мальчик-наездник [1], лысого Юсупова скакуна конюх держал в поводу.

— Что это за дела такие? Что здесь за люди? — жаловался конюх.— Мало того что коню дорогу загородил, еще и плетью его ударил прямо через лоб!

Юсуп побледнел, ни кровинки будто не осталось в его смугло-желтом лице. Глазами, полными дикого гнева, сверлил он мальчишку-наездника.

— Знаешь ты его? — спросил он негромко, ледяным голосом.

— Не знаю, черный какой-то человек...

Юсуп подумал немного.

— Ищите его! Ищите повсюду! Чтобы до конца тоя нашли! — приказал он своим джигитам.

Скоро джигиты отыскали черномазого, ухватились за повод его коня. Черномазый отмахивался, отбивался плетью — росту он был богатырского.

---

[1] Во время скачек на коня сажают подростка-жокея.

— Вы что! Уволочь меня хотите? Пошли прочь! — орал он.

Тут подоспел и Юсуп.

— Не трепыхайся! Слышишь, не трепыхайся, если тебе жизнь дорога! — пригрозил он с каменным лицом.— Это ты ударил лысого скакуна?

Черный, услышав вопрос, заерзал, завертелся, беспомощно оглядываясь по сторонам.

— Я не бил... Кто это видел?

Юсуп, не владея собой, хватил обидчика саблей плашмя по спине.

— Отвечай, не выкручивайся. Не думай, что тебе удастся отвертеться!

— Люди, на помощь! Убивают! — перекосив рожу, заорал черномазый.

Юсуп ударил его еще раз.

Тот затрясся.

— Аке... ударил я... да, я ударил...

— Так... А знал ты, чьего коня бьешь? Знал или нет, говори!

— Клянусь жизнью своего сына, не знал! Не знал и не знаю, клянусь!..

— Меня знаешь?

— Не знаю, клянусь жизнью своего сына! Не знаю!

Бледный Юсуп долгим взглядом впился ему в лицо. Медленно вложил саблю в ножны.

— Ну, счастлива твоя судьба, живи пока... Если бы ты знал, на чьего коня подымаешь руку, не сносить бы тебе нынче дурацкой твоей головы. Открой глаза пошире. Этот сивый конь с лысиной принадлежит беку Аксы!

Черномазый съежился.

— Не знал я, батыр... Несведущий глотает яд... Не знал я.

— Кто тебя подговорил на это дело?

— Сам... сам Карабек-мирза.

— Очень хорошо! А теперь слушай. Вину свою службой искупишь. Понял? Службой искупишь вину...

— Что я должен сделать, батыр?

— Ничего особенного, спина не переломится. Всего-навсего повторить перед всеми свои слова. Скажешь: меня послал Карабек-мирза. Понял? Только это и скажешь. Что мнешься? Если скажешь — спасешься от смерти, а нет... Сам понимаешь.

Черномазый еле выдавил:

— Согласен...

Краска вернулась на лицо Юсупа.

...Карабек сидел верхом на коне, тесно окруженный гостями, и слушал, как нанятый им акын поет ему хвалебную песню.

О Карабек, дорогой,
Счастье сдружилось с тобой.
Твой скакун золотой
Шестьдесят коней обогнал...

У Карабека лицо горело румянцем удовольствия; скромно улыбаясь, опустив глаза, слушал он приятный, густой голос певца.

Знатный наш Карабек,
Долгим будет твой век!
Конь твой, ускорив бег,
От семидесяти ускакал...

Юсуп, не сдерживая коня, врезался в толпу и с размаху хлестнул Карабека плетью по голове. Кунья шапка слетела у Карабека с головы, он вздрогнул от неожиданности и теперь лишь увидел Юсупа.

— Что ты делаешь, аксыйский бродяга!

Барсом вскинулся Юсуп. Забили бы они с Карабеком друг друга плетьми до полусмерти, да люди бросились, растащили их.

— Он еще называет себя беком, сыном бека! Разбойник с большой дороги! — крикнул Юсуп, который быстро опомнился.

Карабек тем временем ругался, кричал, размахивая руками. Конь его, взвившись на дыбы, рвал повод из рук повисших на нем людей. Джигиты Карабека сгрудились, готовые к драке, крепко сжимая согнутые вдвое плети со свинцовыми рукоятками. Народ гудел, кто был пешком — отбегал подальше.

— Наглец не хочет признавать свою вину! Хватайте его! Бейте! — крикнул Юсуп своим джигитам.— Бейте, нечего его жалеть! Пусть знает, как бродяги мстят за оскорбление!

Джигиты один за другим выхватывали из ножен короткие сабли, били ими плашмя, сшибли с коней троих джигитов Карабека. Прочие его сторонники растерялись, стояли, не смея вступиться.

— Батыр, дорогой, помилуй...— припал к стремени Юсупа старик с бородой по пояс.— Помилосердствуй...

Белая как снег борода старика, живые глаза его подействовали на Юсупа, умерили гнев.

— Что вы хотите? — спросил он, наклоняясь к старику.

— Пощади, батыр! Что случилось? И голову рубят рассудивши... Что стряслось? Из-за чего ваша ссора? Объясни, дорогой.

— Вы рассудите по справедливости?

Старик провел рукой по бороде.

— Поверь моей седине, батыр... мне в моем возрасте, сам понимаешь, пристало судить по справедливости. В могиле лежа, никого уж не рассудишь, поздно будет!

Этого и надо было Юсупу. Он вложил саблю в ножны. Легкой не по возрасту походкой приблизился белобородый старик к Карабеку, успокоил и его. Скоро все гости собрались в круг. Юсуп начал громко — так, чтобы всем было слышно:

— Люди! — резкий голос его рассек воцарившуюся было тишину.— Люди! На меня поднял руку разбойник Карабек.

— Это ты разбойник! — огрызнулся Карабек.

Кто-то из стоявших в первом ряду сказал возмущенно:

— Бога не боишься! Ты первый ударил его камчой!

Юсуп на эти слова не обратил никакого внимания и продолжал:

— Люди! Если в ком есть совесть, станет ли он преграждать дорогу коню на скачках? Ударит ли он камчой по голове скакуна, который, напрягая силы, выигрывает байгу? Ну-ка, ответьте мне на это вы, кто считает себя умными! Бессовестный Карабек устроил сегодня ловушку моему скакуну. Разбойник Карабек подкараулил коня на бегу и ударил камчой по голове. Моего коня! Ну-ка, скажите, разве не поднял он тем самым руку на меня?

Народ загудел.

— Ложь! Клевета! — крикнул Карабек.

Юсуп, указывая на него, вытянул руку с зажатой в ней, согнутой пополам плетью, зло рассмеялся:

— Карабек! Достойный человек на твоем месте опустил бы голову. Я ударил тебя и думал, что ты спохватишься, опомнишься, признаешь свою вину. А выходит — не камчой тебя надо было бить, а мечом...

Джигиты Юсупа вытолкнули вперед черномазого.

— Спросите у него! — обратился к людям Юсуп,

Снова загудели голоса. Старик-посредник приблизился к черномазому.

— Кто ты такой, сын мой? — спросил он негромко.

— Я-то... Я Борубай...— упавшим голосом ответил тот.

Старик смотрел на него с жалостью.

— Ну, Борубай, сын мой... Отвечай, как перед богом. Ты сам видел, как мирза Карабек преградил путь коню Юсупа-мирзы? Говори правду, не бойся ничего.

Опустив голову, черномазый сказал:

— Я это... Я преградил дорогу... И я ударил.

— Ты?!

— Я... Меня послал Карабек-мирза.

Радость охватила Юсупа, он привстал в стременах, потом снова опустился в седло.

— Ну? Слыхали? Вот! Если ваш мирза творит такие дела, то по каким дорогам рыщут ваши воры? — закричал он.

Карабек побледнел. Старик-посредник повернулся к нему с укоризной.

— О Карабек... ты повел себя недостойно. Нечестно ты поступил, опозорил не только себя, но и весь свой род.

В тот же день Юсуп уехал в свой аил. Не ради корысти участвовал он в скачках. Хозяин тоя предложил ему первый выигрыш — он отказался. Принял третий — оседланного иноходца и отдал его своему наезднику. По дороге Юсуп ни с кем словом не обмолвился, ехал мрачный, насупленный. Он унизил Карабека, опозорил его перед всеми, но тягостные мысли не давали ему покоя. Бродяга! Плешивец! Слова эти жалили его в самое сердце. Вот что значит жить среди чужих людей! Домой Юсуп вернулся удрученный.

А на другой день прибыл гонец из Аксы. Скончался Эсенбай-бий. Услышав эту весть, Юсуп вскочил.

— Чуял я недоброе... Чуял еще вчера, когда ударили плетью по голове моего скакуна... Что бы там ни было между нами, Эсенбай моя опора, моя сила... Приведите коня!

Он двинулся в Аксы через перевал Кара-Бура, скакал без остановки днем и ночью. В эту осень аил Эсенбай-бия стоял на берегу реки Ит-Агар. Юсуп прибыл на поминки, рыдая, сошел с седла...

Он занял место отца, стал бием в Аксы...

Тогда он не раз вспомнил свой сон — вроде сбылся он. Но не было покоя на душе, не было удовлетворения, радости. Бийство в Аксы никуда бы от него не ушло. Он наследник своего отца! Рано или поздно Юсуп все равно занял бы его место. Этого ему было мало, он ждал другого. Ждал долгие годы...

Морщины изрезали лоб, отяжелело когда-то легкое, беспокойное тело. Юсуп все реже вспоминал вещий сон, и вдруг в орде произошел переворот. Снова вспыхнуло в нем тревожное ожидание, ожила надежда. Опытный, наблюдательный Юсуп видел, как взбудоражен народ; умелый человек многого мог бы добиться сейчас. Юсуп начал приискивать повод оспаривать престол. Повод нашелся.

И вот рядом с ним сидит Шералы, угрюмый, словно пойманный вор. Сидит и молча смотрит в огонь. Юсуп искоса, незаметно, но пристально поглядел на Шералы — маленького, сутулого, с отупевшим неподвижным лицом, на котором написаны испуг и подобострастие.

— Бек-ага, вести из города...— сказал Абиль, поспешными шагами подходя к костру.

Юсуп встрепенулся.

— Кто принес? Зови сюда... Где он там? — приподнялся он нетерпеливо.

Абиль едва успел оглянуться, как из темноты на освещенное костром место выступил высокий человек в одежде дервиша.

— Ассалам алейкум, предводитель!

— Алейкум ассалам...— Юсуп быстрым взглядом окинул лазутчика.

Лицо у того было веселое, но Юсуп, все еще не веря себе, посмотрел дервишу прямо в глаза. Потянул его за руку.

— Иди сюда, батыр. Садись.

У дервиша заблестели глаза. Все в порядке! У Юсупа потеплело на сердце.

Дервиш после Юсупа пожал руку Шералы, опустился на колени возле костра и швырнул в огонь дервишескую чашу для подаяния.

— Дело сделано, предводитель! Святой Хызр благословил вас... Дорога свободна, завтра Ибрагим Хаял откроет вам ворота Коканда,— громко и радостно, точно поздравление, произнес он.

Кровь хлынула Юсупу в лицо.

— Ну? — хрипло спросил он, жаждая услышать подробности.

— Войска у Ибрагима Хаяла мало. Семь сотен всего. Сотни, оставшиеся ему после Мадали, перешли на нашу сторону, взбунтовались и сами хотели открыть нам городские ворота. Ибрагиму Хаялу их не усмирить, у него нет для этого ни сил, ни смелости.

— Ну?..

— Простой люд тоже будет за нас. Вы сами знаете — чернь всегда на стороне того, кто сильнее.

Юсуп слушал, глядя, как взрывается искрами, трещит на огне кусок коры.

— Ну?..

— Я говорил с Ибрагимом Хаялом с глазу на глаз.

— Расскажи,— коротко попросил Юсуп.— Он поверил, что ты дервиш?

Лазутчик рассказал о разговоре с Ибрагим-беком. Юсуп хохотал. Шералы в изумлении широко раскрыл глаза.

— Бедняга! Он хотел узнать у посланного самим аллахом дервиша свою судьбу! Ха-ха-ха! Хорошо ты нагадал ему,— приговаривал довольный Юсуп.

— Я передал ему ваши пожелания. Ваша сила и ваше грозное величие потрясли его, сбили с ног. Он только просил, чтобы вы немного оттянули войско от городских ворот, оказали бы ему, ничтожному, милость, дали возможность уйти подобру-поздорову!

— Молодец! Ты выполнил трудное дело, рискуя головой. Тысяча благодарностей богу, открывшему нам путь. Не мне одному, всем нам он открыл его,— Юсуп ласково посмотрел на лазутчика-дервиша, несколько раз довольно кивнул головой.— А что мы ответим на просьбу Ибрагима Хаяла? Как ты думаешь, батыр?

— Если враг сам хочет уйти, зачем его удерживать?

Юсуп опустил голову.

— Так, батыр... допустим, что Ибрагим Хаял ускользнет из сурчиной норы цел и невредим... Допустим. А что, если, добравшись до Бухары, получит он от эмира большое войско и двинется с ним сюда? Тогда как?

Лазутчик, начавший было сбрасывать с себя лохмотья дервиша, замер, глядя на Юсупа.

— Тогда как, батыр? — еще раз спросил Юсуп.

— Тогда придется воевать...

— Верно...— Юсуп коротко усмехнулся.— Придется воевать. Но если воевать все равно придется, если не сумеем мы добиться бескровной победы, не лучше ли уже теперь, пока неприятель у нас в руках, нанести ему первый удар, уменьшить его силы? Как ты думаешь, а?

— Думаю, что это правильное решение, предводитель.

— Ладно... Кто щадит врага, тот от него и пострадает, запомни это крепко, батыр.

Шералы, в волнении глотая слюну, переводил взгляд с одного на другого и не мог понять, о чем они спорят. Но до его волнения, до его мыслей ни Юсупу, ни лазутчику не было дела...

Наутро Ибрагим Хаял, поднявшись на крепостную башню, увидел, что огни костров горят теперь далеко от городских стен. Он вспомнил ночного пришельца в дервишеской одежде. Отдал приказ немедленно собираться в путь. Он не знал, не догадывался о том, что коварный Юсуп велел разжечь ложные костры, что войско, разделенное на мелкие отряды, укрывается в засаде совсем близко от города.

Едва забрезжил рассвет, растворились ворота на дорогу к Бухаре. Беспорядочным строем двинулись по дороге бухарцы, неся белое знамя. Но едва последние воины покинули город, ринулись из засады на отступающих отряды Юсупа. Никто не успел опомниться; тяжело груженные арбы бухарского обоза загородили всю дорогу, бухарцы метались в ужасе и смятении, но куда бы ни поворачивали — всюду встречали их меч или копье. Обманутый, охваченный страхом Ибрагим Хаял ускакал без оглядки; с ним спаслись десяток-два джигитов на быстроногих скакунах.

Торжественно въехал Юсуп на своем любимом сивом аргамаке в главные ворота Коканда. Гремели в честь победителя карнаи, грохотали пушки с крепостной стены, а он сидел в седле, подбоченившись, и слушал приветственные клики.

— Воитель Юсуп-минбаши! Воитель Юсуп-минбаши! [1]

Глашатай прославлял его, надрываясь от крика. Тол-

---

[1] Минбаши — тысяцкий, высшая военная должность в Кокандском ханстве.

пы встречающих запрудили улицы, люди взбирались на заборы, на крыши домов, громко приветствовали победителя.

Воитель Юсуп-минбаши занял столицу.

На поклон к новым властителям потянулась в ханский дворец городская знать с подарками и подношениями. Юсуп сам встречал всех, сам вел беседы, сам провожал.

Однажды вечером он приказал позвать городского судью — кадия. Сидя за богато накрытым достарханом, они беседовали с глазу на глаз. Юсуп завел речь о порядках в государстве, об уложениях шариата, об истории — прежде всего, конечно, об истории ханства. Расспрашивал о том, как должен держаться хан, о правах и обязанностях визирей и военачальников.

Кадию не привыкать было к перемене власти. В свое время он почтительно склонялся перед Мадали-ханом и, когда тому понадобилось жениться на бывшей наложнице родного отца, нашел подходящую оговорку в шариате; не далее как прошедшей весной встречал он с распростертыми объятиями эмира Насруллу и называл его справедливым мечом веры; теперь он, обращаясь к Юсупу, говорил, что видит в нем очистительный огонь, испепеливший захватчиков. Настороженным, жадным взором следил он за выражением лица Юсупа, подхватывал каждое его слово, читал его мысли. Восхвалял мудрость визирей и храбрость военачальников. Юсуп не мешал ему говорить, но и не поддакивал. Слушал молча, глядел на кадия внимательно. Хитрый кадий почувствовал, что победителю нужен другой ответ, другие примеры.

— О повелитель, законы и порядки в ханстве менялись. Каждому времени свой обычай,— начал он вкрадчиво, краешком глаза следя за тем, как поведет себя Юсуп при этих словах.— От начала мира, с незапамятных времен руководил людьми разум. Не каждый царь есть истинный повелитель, так было, так есть и так будет. Прежде всего — дорога разуму.

Юсуп кинул на кадия острый взгляд. У того от волнения язык прилип к небу. Угадал! Искушенным своим сердцем кадий верно угадал, что этот темнолицый горец со светлыми и зоркими глазами на все готов ради власти. Надо помочь ему. Немедленно, сейчас надо подсказать ему путь, завоевать его доверие. Если кадий не сделает этого сейчас, завтра сделает другой. И кадий заговорил мягко, тепло, убедительно:

— О повелитель! Хозяин власти, конечно, царь. Но... если хозяин по молодости лет или по иной какой причине не может распорядиться властью так, как это угодно богу, нужно помочь ему. Во имя благополучия государства, во имя мира среди мусульман должно пригласить для управления государственными делами человека мудрого и умелого. Бывает и так, что хозяин власти

по возрасту своему созрел для дел государственных, но не имеет ни опыта, ни соответствующего воспитания. Тем более необходим ему аталык, умелый наставник, опытный управитель... Это в интересах государства... Здесь нет ничего незаконного, никакого насилия над хозяином власти! Необходимо лишь согласие хана... Должность аталыка — важная, великая должность, повелитель! Аталык — это падишах, не возведенный на престол, это некоронованный властитель государства.

— Так ли это, кадий?

Юсуп, как ни старался, не мог скрыть волнения. Кадий благолепно засиял.

— Истинно так, повелитель, истинно...

— Ты можешь привести пример?

— Эмир Тимур! Победоносный Тимур Гураган. Он вступил в брак с дочерью одного из потомков Джагатая, сына Чингиз-хана, возводил на престол сыновей своего тестя, а власть держал в своих руках! Их лица, их имена чеканили на золотых монетах, но распоряжался деньгами эмир Тимур.

Из уст кадия посыпались другие имена, но Юсуп уже не слушал его. Достаточно одного повода, одного имени — имени Тимура Гурагана! Юсуп глядел на кадия, как индус-факир смотрит на извивающуюся по его воле змею, но думал о своем.

— Так...— сказал Юсуп, когда иссякло наконец красноречие кадия.— Ну, кадий, ответь мне прямо: сможет ли наш хан вести дела, как это велит аллах?

Кадий поспешно замотал головой.

— Нет, повелитель! — с готовностью выговорил он, хватаясь дрожащими руками за воротник.— Нет, нет и нет... Неискушенный, неопытный в таком деле человек...— кадий даже зажмурился, склонив голову.— О повелитель, повелитель...

— Кадий! Подними голову!

— А... А...— кадий повиновался, выцветшие глазки его забегали.— Слушаю и повинуюсь.

— Подними голову, кадий. Разговаривай, глядя прямо в лицо. Я не люблю, когда собеседник прячет от меня глаза.

— Повелитель, ваш покорнейший раб высказал вам всю правду. Помилуйте его... я видел... говорил... слушал.

Коканду нужна мудрая голова и сильная рука, повелитель.

— Ты, значит, считаешь, что государству нужен аталык? — Юсуп смотрел на кадия так, будто хотел вывернуть его наизнанку.

— А... А...

— Ну, а где мы найдем такого человека? Кто он? Говори, ты знаешь двор, знаешь всех его людей... Говори!

Кадий запнулся, проглотил слюну и начал, искусно изображая глубокое волнение и восторг:

— О повелитель! Помыслы ваши святы, вы предуготованы для святых дел! И вы еще спрашиваете? — он придал своему лицу выражение страдания.— Вы, оказывается, не знаете себя, не знаете истинную цену себе, повелитель.

Юсуп жестом остановил его. Затем приказал принести дорогой чапан из белой верблюжьей шерсти; чапан накинули кадию на плечи.

...Понедельник — день, когда аллах завершил сотворение мира. Городская знать, все, кого причисляли к богатым и сильным мира сего, собрались в дворцовом зале приемов и совещаний — диванхане. Места заняли строго по праву, по знатности и молча ждали, когда раскроются парадные двери.

— Святейший хан!

Легкий говор пронесся по диванхане и тут же стих. В дверях показался Шералы. Все, кто ждал ханского выхода, почтительно склонили головы, сложили руки на груди. Справа от Шералы выступал Юсуп, слева — Мусулманкул, следом за ними шли кадий и начальник городской стражи. Шералы все тот же — пустой взгляд, неподвижное лицо. Еле шевеля губами, он приветствовал собравшихся,— должно быть, ему подсказали, как это нужно делать. На приветствие хана все отвечали громко, радостно, оживленно. Все ниже склонялись головы, все почтительнее изгибались спины; кто-то уже простерся ниц, всем телом устремившись к ногам повелителя. Шералы медленно шел, осторожно переступая ногами, обутыми в истоптанные чокои. И одет он был сейчас в свой изношенный домотканый чапан, а на голове красовался старый белый тебетей. На поясе — меч без ножен. Тот самый меч, который омочен был кровью Ашира.

Шералы возвели на престол, усадили. От громких благословений гудела диванхана, а у Шералы гудело в голове. Он не знал, на кого смотреть, куда деть руки.

Юсуп подошел к одному из тех, кто находился близко к престолу, резким движением выхватил из висевших у того на поясе ножен остро отточенный кинжал и протянул удивленному владельцу.

— Мирза, воткни кинжал вот сюда,— он показал на стену прямо против трона.— Вот в это место.

— Слушаюсь, господин...

Изумленная тишина воцарилась в диванхане. Владелец кинжала низко поклонился и пошел выполнять приказание. Никто ничего не понимал, даже соратники Юсупа. Зачем это? К чему? Что это значит?

Владелец кинжала привстал на носки и хотел было воткнуть кинжал, насколько достанет рука. Юсуп бросил:

— Выше!

Тот удивленно оглянулся: выше он дотянуться не мог.

— Поднимите его! — приказал Юсуп.

Несколько человек суетливо бросились поднимать, Юсуп остановил их новым окриком:

— Посадите его кому-нибудь на плечи!

Так и сделали. И когда кинжал был сильным ударом воткнут в изукрашенную стену диванханы, Юсуп повернулся к тем, кто окружал Шералы.

— Разуйте его!

Ближе всего к трону находились почтенные седобородые ходжи[1] в огромных чалмах. Они начали недоуменно переглядываться, поглаживая свои драгоценные бороды.

— Эй вы, носящие чалму! Я вам говорю: разуйте его! Не пристанут к вашим рукам эти чокои!

Гневом сверкнули глаза у Юсупа, и ходжи теперь поняли приказ, склонились к ногам Шералы. Юсуп успокоился. Попробуй они воспротивиться — не посмотрел бы он на то, что это седобородые ходжи: он из кочевников, ему не свойственно почтение перед теми, кому обычай дал право называться потомками пророка. Диванхана молча наблюдала за тем, как, преодолевая брезгливость, почтенные старцы стаскивали с ног Шера-

---

[1] Ходжа — тот, кто ведет родословную от пророка Мухаммеда.

лы пыльные, пропахшие конским потом чокои, разматывали грязные, вонючие портянки, а потом дрожащими от унижения руками засовывали эти портянки в голенища чокоев. Красный от стыда Шералы кое-как прикрыл босые ноги полами чапана.

— Сними пояс! — сказал ему Юсуп.

Шералы молча повиновался и протянул Юсупу старый ремень из сыромятной кожи. Юсуп связал чокои ремнем и коротко приказал:

— Повесьте!

Чокои повесили на воткнутый в стену кинжал. Никто не смел спрашивать, но все с нетерпением ждали, когда же Юсуп объяснит свои загадочные действия. А Юсуп не спешил. На Шералы накинули заранее приготовленный красный шелковый халат, на ноги ему натянули узорные синие сапоги. Только тогда Юсуп заговорил — громко, чтобы слышали все.

— Шералы! Ты теперь хозяин целого народа, свет мой! Будь к нему милостив. Храни верность друзьям, прислушивайся к советам мудрецов, следуй указаниям прозорливых.

Он показал рукой на чокои.

— Вот висят твои старые чокои. Ты узнаешь их, Шералы? Это твои чокои, это твое прошлое, Шералы. Никогда не забывай свое прошлое, помни дни, проведенные в нищете и страданиях. Пусть каждый взгляд на эту стену напоминает тебе о милости и всемогуществе бога, вознесшего тебя на золотой трон. Смотри на эти чокои, когда решаешь судьбу человека или судьбу народа. Не давай гордыне свить гнездо в твоем сердце, помни это...

Юсуп кончил, и диванхана ответила ему гулом одобрения.

— Верно! Воистину так! Живи тысячу лет, достойный сын своего отца!

Кадий прочел короткую молитву и надел на голову Шералы ханскую корону. Потом привел суждение шариата о мудрых наставниках и обратился прямо к Шералы:

— О хозяин власти! Верите ли вы, что Юсуп-бий, ваш старший брат, будет помогать вам от всего сердца? Готовы ли вы возложить на него обязанности аталыка, о святейший повелитель?

Шералы дал заранее затверженный ответ:

— Верю... Готов...— и снова покраснел.

Кадий вручил Юсупу поводья — символ власти. Разразился новый гром приветствий и поздравлений, полились лицемерные слезы умиления. Некий мирза торжественно развернул бумажный свиток и начал поздравительную песнь. Собравшиеся на торжество хором подхватили пышную хвалу.

4

Простодушный Шералы, выросший среди кочевников и вобравший в себя все их привычки и обычаи, в ханском дворце не мог держаться так, как подобало его новому положению; он затерялся в пышном великолепии дворцовых покоев; он, как ребенок, забавлялся драгоценными безделушками, наивно преклонялся перед теми, кто умело громоздил одно на другое велеречивые слова о боге и загробном мире. Ограниченный и неискушенный, Шералы не смел вмешиваться в государственные дела. При нем теперь больше находились лица духовного звания. Ему читали жития пророков и святых, дотошно растолковывали их, твердили о муках ада, уготованных тем, кто грешит на земле; он посещал по ночам радения суфиев. Было и другое; если жизнь во дворце лишила Шералы привычных радостей и удовольствий, то взамен он получил радости иные: много пил сладкого вина, любовался танцами прекрасных девушек, а потом эти девушки попадали к нему в объятия. «Наслаждайся, жизнь дается один лишь раз!» — от этой мысли кружилась у Шералы голова.

Эмир Насрулла не пожелал мириться с потерей Ферганы. Он собрал все свое войско, занял сначала Оро-Тюбинский вилайет, затем — Ходжентский и скоро осадил Коканд.

Кокандцы оборонялись отчаянно. Билось ханское войско, билось с врагом и ополчение, в которое пошли все, кто мог держать оружие в руках. У восемнадцати городских ворот и вдоль крепостной стены стояли защитники Коканда, грудью встречая нападающих. Сорок дней теснил их Насрулла, не давая отдыха ни днем, ни ночью; девять раз пытались его воины взять город приступом, карабкаясь вверх по стене, будто муравьи. И все девять раз вынуждены были отступить. Эмир Насрулла, потеряв надежду захватить Коканд силой, решил действовать хитростью. Он отправил во дворец посольство. Пусть посол напомнит Шералы, что хозяин орды

он, а не какой-то безродный кочевник. Эмир Насрулла хочет-де одного: вернуть истинную власть тому, кто наследовал ее по праву. Тем самым эмир рассчитывал внести раскол в ряды защитников города...

По приказу Юсупа посла встретили у ворот вооруженные воины. Абусатар-Хальфа, эмирский посол, препровожден был затем перед очи самого Юсупа. Тут же находился сотник Абиль.

— Я слушаю тебя, посол,— не поднимая головы, сказал Юсуп.

Посол осторожно объяснил ему, что прибыл беседовать только с самим Шералы-ханом. Юсуп смотрел на посла, чуть приподняв брови,— будто и не слыхал сказанного. Улыбнулся холодно. Абусатар-Хальфа, повидавший на своем веку немало властителей, при одном взгляде на эту улыбку почувствовал страх.

— Может, он и примет... Подождем, посол?

— Хорошо, господин...

Абусатар-Хальфа склонился в почтительном поклоне и вышел, пятясь задом,— чтобы не поворачиваться к Юсупу спиной.

Посол ждал во дворце до вечера — никто не звал его к хану. Все занимались своими делами, множество людей сновали то туда, то сюда,— все больше вооруженные воины. На Абусатара не обращали внимания — будто и забыли о его присутствии. Голос азанчи [1], призывающего мусульман на вечернюю молитву, застал Абусатара все в том же томительном ожидании; посол не совершил омовение и не молился в этот раз. Стемнело. Терпение Абусатара истощилось, он готов был взорваться, но тут ему сообщили, что хан решил принять его.

Шералы восседал на троне. Посол Абусатар-Хальфа сделал земной поклон и громко приветствовал хана и всех прочих. Никто не откликнулся.

— Ну, зачем пожаловал? — отрывисто спросил Шералы-хан.

Быстрым взглядом окинул посол тронный зал. Справа от хана сидел Юсуп. У Абусатара похолодело сердце, но на лице он сохранял светлое, умиленное выражение.

---

[1] Азанчи (муэдзин) — служитель мечети, который провозглашает с высокой башни-минарета призыв к молитве — азан.

— Повелитель! — торжественно провозгласил он и, вынув из рукава бумажный свиток, протянул его хану.— От потомка пророка, неустрашимого властелина благородной Бухары, Насруллы-батыр-хана принес я вам, счастливому повелителю народа Ферганы, истинному потомку великого эмира Тимура Гурагана, чистосердечный привет светлей и теплей солнца!

Все замерли, ожидая, ответит ли Шералы. Тот молчал, к вящему удивлению посла. Гневается? Решил отменить прием? Посол, чуть приподняв голову, глянул краем глаза на Шералы и увидел на его лице выражение, какое бывает у обиженного мальчика. Хитрец Абусатар почувствовал некоторое облегчение. Шералы молча принял свиток и передал его сидящему слева советнику, который имел своей обязанностью оглашать послания. Тот почтительно подался вперед и, подняв свиток обеими руками вровень с лицом, приготовился читать.

Абусатар запротестовал:

— О властитель! Послание предназначено вам одному.

Шералы не успел ничего сказать: Юсуп опередил его.

— Шады! Остановись! Не читай, если это тайна!

— Слушаюсь, аталык,— сдавленно отвечал советник.

Шералы растерялся. А Юсуп, глядя на посла покрасневшими от злобы глазами, продолжал:

— Тайна, значит? Виляешь, лисий хвост? — он не мог уже сдерживать себя.— Знаю я, что там за тайна в этой твоей бумажной трубке!

Абусатар опешил. Ему еще не приходилось разговаривать с власть имущим, столь откровенно пренебрегающим всеми правилами придворного обращения. Посол повернулся к Шералы, надеясь, что тот своей волей остановит Юсупа, но хан и бровью не повел. В то же мгновение посол случайно поймал взгляд советника Шады, и взгляд этот показался ему ободряющим. Абусатар-Хальфа воспрянул духом.

— Господин! Я всего лишь раб, исполняющий приказ...

Юсуп, кажется, смягчился. Хмыкнул громко и начал:

— Жил, говорят, когда-то один очень гордый молодой человек... Ты слушай, посол!

— Я весь внимание, господин!

— Да... Отец решил мало-помалу приучать его к хо-

зяйству и начал посылать то по воду, то по дрова. Видит, сын с работой справляется быстро: не успеет пойти по дрова, как уж, глядь, и вернулся. Отец спрашивает: «Сынок, разве в лесу так много дров? Ты что-то очень рано вернулся». А тот отвечает: «Заготовленных дров там сколько угодно. Иди да бери!» «Сын мой, а что тебе скажут хозяева этих дров?» «Ну, отец, кто их слушать-то станет! Они еще помогают мне нагружать дрова. Попробовали бы они этого не делать!» «Так,— говорит отец,— ты, стало быть, силой у них дрова отнимаешь...» Сошла эта проделка. Потом забияка отправляется на мельницу и тоже быстро возвращается. Отец опять спрашивает: «Отчего ты так быстро вернулся, сынок? Народу теперь на мельнице немало, к зиме люди готовятся, как ты успел!» А сын в ответ: «Да что спрашивать, отец! Был там какой-то недотепа, молол свою кукурузу. Я его отпихнул и смолол нашу пшеницу». Покачал отец головой и говорит: «Ты бы, сынок, поменьше нос задирал. Знай, с кем связываться, не то налетишь на такого, кто посильней тебя!» Сын только расхохотался: «Посмотрел бы я на него!»

Вот поехал он в следующий раз на мельницу и вернулся поздно вечером избитый, как последний пес. «Что случилось?» Молчит. «А, видно, прав я был,— говорит отец,— нарвался ты на более сильного». Раньше с парнем одни не связывались потому, что были слабее, другие не любили драться, третьи — из уважения к имени его отца. Известное дело, кто привык бесноваться, тому воспитанный кажется трусом. Наш парень совсем зазнался. Приехал на мельницу и по своей глупой привычке начал орать: «Пошли прочь! Уберите свои мешки! Пропустите меня!» Не тут-то было: тот, кто в это время стоял у жернова, оказался не робкого десятка. Схватил он нашего зазнайку за грудки, стукнул раза три об стенку головой да еще отлупил изрядно. Что же отец сказал, услыхав про эту историю? А что сказать, кроме как повторить прежние слова: «Я предупреждал, знай, с кем связываться, не то налетишь на такого, кто посильней тебя! Теперь будешь вести себя умней». Ты понял, посол?

Посол Абусатар-Хальфа не вытерпел:

— Аталык! Эта притча унижает Насруллу-батыр-хана, прозванного мечом ислама.

Юсуп поднял брови.

— Что?

Стало очень тихо.

— Унижает? Да знаешь ли ты, кто твой эмир? Он не эмир Насрулла, а выскочка Насрулла! Кто из его предков был властителем? Кто владел Бухарой и Самаркандом? Ими владел эмир Тимур! И вот потомок эмира Тимура! — Юсуп ткнул пальцем в сторону Шералы.— Вот его наследник! Насрулле надо бы не город наш осаждать, не передавать через кого-то свои послания и приветы, а смиренно припасть самому к стопам Шералы-хана. Слышал? Пусть он придет, повесив свою плеть себе на шею!

Шералы-хан привстал на своем троне, словно озаренный внезапной мыслью:

— Эх, мать твою...

Посол Абусатар-Хальфа открыл было рот, но Юсуп не дал ему выговорить ни слова:

— Молчать! Больше разговаривать не о чем!

— Даже того, кому должны отрубить голову, не лишают слова, повелитель!

Шералы вскочил.

— Эй, ты... почему это, когда рубят голову, не лишают слова? Как это? — весь красный, выкрикнул он и приказал двум караульным воинам, стоявшим у дверей: — Взять его!

Потерявший от страха весь свой важный вид Абусатар-Хальфа повалился Юсупу в ноги, но воины тут же схватили его и волоком потащили к дверям.

— Стойте! — Юсуп подошел близко, нагнулся, посмотрел послу в лицо.— Послов не убивают! Счастье твое, что это так, вставай!

Абусатар-Хальфа, дрожа, поднялся.

— Пусть Насрулла не беснуется, не то нарвется на более сильного. Передай ему это! Истинный хозяин Бухары Шералы-хан. Передай это Насрулле! Слышал? Иди!

Не в силах даже подобрать размотавшуюся чалму, концы которой волочились по полу, Абусатар-Хальфа, пятясь и не разгибая спины, вышел.

Два воина проводили его до самых ворот и выпустили из города живым и невредимым.

Сильно разгневался эмир Насрулла, но от задуманного отступиться не хотел. В эту ночь Юсуп, поручив Мусулманкулу руководить обороной города, сам с ча-

стью войска выступил за стены Коканда. Он собирался призвать на помощь сипаев из Андижана и Тюре-Коргона, чтобы дать открытое сражение явно ослабевшему, измотанному безуспешной осадой воинству Насруллы. А эмир Насрулла, обрадованный отсутствием Юсупа, немедленно снарядил в Коканд новое посольство. На этот раз он рассчитывал, что посланный сумеет завязать сношения с человеком, который показался Абусатару настроенным дружелюбно, и при помощи этого человека договориться с Шералы об удалении Юсупа с должности аталыка.

Второй посол сумел найти путь к советнику Шады. Но повлиять на Шералы советник не смог. Хан твердил одно: «Юсупа нет... а я что скажу...» В конце концов Шералы надоели и уговоры Шады, и посол; он велел позвать Мусулманкула. «Убери ты его с глаз моих!» — сказал он, указав на посла. Мусулманкул кликнул двух сарбазов и что-то негромко приказал им. Сарбазы увели посла. Подталкивая его в спину, провели через весь город к тому месту, где установлены были две пушки. Неподалеку возвышалась груда тел убитых бухарцев. Посла заставили вскарабкаться на эту груду и продержали так почти до ночи, наведя еще при этом на него заряженные пушки с подожженными фитилями. Возле орудий дежурили пушкари, и посол успел до вечера тысячу раз проститься с жизнью. В сумерках его вывели за ворота и дали пинка в зад.

Эмир Насрулла уже не надеялся взять Коканд. К тому же до него дошли слухи, что хивинский хан, воспользовавшись его отсутствием, намеревается пойти походом на Бухару. Насрулла тотчас снял осаду и двинулся прочь от Коканда. Но Юсуп успел собрать дополнительное войско и теперь спешил с десятью тысячами конницы перерезать дорогу Насрулле. Эмир заметался, точно зверь, попавший в облаву: он решил собрать все свои силы в железный кулак и пробиться из окружения. Годами создаваемое, хорошо вооруженное и обученное прославленное бухарское войско было разбито в один день; меньше половины воинов увел с собою эмир Насрулла в поспешном бегстве.

Юсуп еще раз вошел в Коканд торжествующим победителем.

С этого времени кокандское ханство начало восстанавливать свои прежние границы. В 1843 году Юсуп,

взяв с собою второго сына Шералы — Мала-бека, предпринял поход на Ташкент. Ташкентом правил от имени бухарского эмирата некто по имени Ма-Шериф. В сражении у Шор-Тюбе, недалеко от Ташкента, Юсуп наголову разбил войско Ма-Шерифа, самого его взял в плен и занял город. Он казнил всех ставленников эмира и поставил над Ташкентом своего правителя.

Вскоре по наущению эмира Насруллы напал на Коканд и вошел в Ляйляк сын Алым-хана Ибрагим-бек, что скрывался в Самарканде. Юсуп не хотел самолично участвовать в драке с ним и выслал против него таласского Сыйдали-бека во главе большого войска. Сыйдали-бек напал на Ибрагим-бека неожиданно,— тот еще не успел обеспечить себе поддержку среди местного населения, воинов у него было немного. Почти всех их перебили, сам Ибрагим попал в плен.

Как быть со вторым наследником престола? Путь один. Убить его, уничтожить как можно скорее. Юсуп понимал это, но не решался сам отдать приказ. Что ни говори, но Ибрагим-бек сын прославленного Алым-хана, заложившего основу кокандского государства. Не стоит брать на себя ответственность за его кровь. На троне сидит Шералы. Пусть он прикажет убить Ибрагим-бека. Пусть он отвечает за кровь своего брата и на этом свете, и на том. А Шералы не знал, что делать. Он сам никогда не отдавал приказ о казни, никого не велел убивать. «А что будет, если его не убивать? Ничего особенного. Пускай живет...» — нерешительно говорил он. Юсуп пожимал плечами. «Решай сам. Он твой родич. И твой враг. Твой престол он будет оспаривать. Престол один. Либо он останется за тобой, либо Ибрагим-бек отвоюет его у тебя. Не убьешь ты его — он тебя прикончит. Власть — такое дело. Решай сам...» Как же быть? Юсуп, который до того все решал без помощи Шералы, теперь хотел остаться в стороне. С кем еще посоветоваться? К кому из придворных Шералы ни обращался, все отвечали одно: надо избавиться от Ибрагим-бека, убить его поскорее. В конце концов Шералы был вынужден принять этот совет. «Убейте его где-нибудь подальше отсюда, чтобы глаза мои не видели»,— сказал он, и это похоже было не на ханский приказ, а на мольбу о пощаде.

На следующий день Ибрагим-бека увезли в глухой кишлак Япан и там обезглавили.

До этого случая над Шералы посмеивались при дворе, называя его за глаза «пустым местом» и «размазней»; теперь прозвания эти разошлись по всему Коканду, их произносили вслух на базарах и в чайханах.

Шералы, живя в горах, не научился разговаривать грозно и сурово, ни на кого никогда не повышал голос. Стал ханом, надел на голову корону, но не смел приказывать не только Юсупу, а и вообще никому из придворных. Мягкость и нерешительность Шералы расценивали как слабость и глупость; такие его черты особенно не по нутру были противникам Юсупа, которые осуждали хана за то, что он идет у аталыка на поводу.

А Юсуп тем временем пытался поправить внутреннее положение ханства. Постоянные междоусобицы принесли Коканду неисчислимые беды. Оседлое население беднело, ибо испытывало частые и разорительные набеги; особенно пострадали пограничные города и селения. Хлеба сеяли мало, торговля шла плохо, толпы нищих бродили по дорогам, народ сильно роптал. Юсуп запретил до поры до времени брать из казны и расходовать налоговые поступления за хлебопашество и торговлю. Он жестоко преследовал казнокрадов. Сократил дворцовые расходы. Оставалась еще одна ненасытная утроба — непомерных и непосильных для казны расходов требовало огромное войско. Чего стоило только прокормить его, а ведь пока не было набегов и походов, не было и добычи, казна ничего не получала. Юсуп распустил большую часть войска, сохранив лишь отборные части. Из тех сотен, что подчинялись ему лично, Юсуп оставил лишь одну во главе с Абилем. Зачем зря содержать их, если в случае нужды по первому зову на первый дым сигнального костра спустятся с гор верховые кочевники-воины!

Развращенные роскошью беки-управители, казнокрады-придворные, кадии, которым отныне запрещено было самим взимать поборы, были недовольны этими новшествами. Недовольны были и те, кто привык ежедневно пировать за счет казны,— какой же это двор без пиров и торжеств? Юсуп знал, что наживает себе множество врагов, но он верил в себя, в свои силы и не страшился ничего. И даже если бы он знал, что сломит себе на этом шею, не отступил бы, не сошел с избранного пути; ему, прожившему жизнь без всех этих лишних, ненужных,

разорительных пиров,— ведь кочевники празднуют редко, только в тех случаях, которые освящены обычаем,— придворная роскошь претила.

Эмир Насрулла получал все новые и новые сведения о том, что в Коканде растет день ото дня число противников Юсупа. Эмир воспрянул духом: теперь можно было снова начать борьбу за кокандский престол. Он натравил на Коканд Мурад-бека, второго сына хана Алыма, но не послал его в поход одного, как это было с Ибрагим-беком, а двинулся и сам во главе большого войска. Густые тучи собрались над Кокандом, надвигалась страшная гроза. И в ожидании этой грозы те, кто недоволен был властью Юсупа, но не смел выступить против аталыка открыто, готовились переметнуться на сторону Мурад-бека, едва его войско приблизится к стенам Коканда. И тут вдруг поднял голову Мусулманкул — он решил, что настало удобное время спихнуть Юсупа и самому занять его место. Юсуп не стал выжидать. Опираясь на помощь Мала-бека, обрушился он на кипчаков. Сил у Юсупа было много. Кипчаки, вернее, наиболее благоразумные из них, скоро поняли, что с Юсупом им не совладать, и покорились, пришли с повинной. Но грозный аталык не склонен был к милосердию. Захватив Мусулманкула, а с ним еще человек сорок преданных ему беков, он решил передать их всех в руки палача немедленно по прибытии в столицу. Весть об этом прилетела в Коканд впереди Юсупа.

Узнав о предстоящих казнях, возвысил свой тихий голос осторожный Шады-советник. Он неустанно твердил Шералы о том, что расправа с кипчакскими беками ни к чему доброму не приведет.

— О, повелитель! Ведь я несколько раз читал вам тайное послание эмира. Эмир Насрулла выступает только против Юсупа, против выскочки, который отобрал у вас власть... Мы многое терпели, стиснув зубы, но нынешнее злодеяние Юсупа, казнь, которую он готовит кипчакам, не можем мы стерпеть! Мы вынуждены сказать об этом. Что будет? Юсуп снимет голову Мусулманкулу и сорока кипчакским бекам. Но разве кипчаки враги нам? Кипчаки — преданное нам племя! Возможно, они враги Юсупу, но не вам, законному властителю, аллах свидетель! Что получится, если Юсуп совершит это безумное дело? Все кипчакские роды отвернутся от вас, возмущенные злодейством, они не станут подчи-

няться вам, и золотой ваш трон пошатнется. Кипчаки открыто перейдут на сторону Мурад-бека. А разве их мало, кипчаков? Ну, а потом что? Уста отказываются произнести, не дай и не приведи бог увидеть, избавь нас от этого, иначе одно нам только и останется — принять яд, чтобы не видеть, как закатится сияющее солнце вашей славы.

Советник Шады был не одинок. Вокруг него собралось немало единомышленников. Они открылись Шералы и сумели убедить его в своем доброжелательстве.

— Что нам делать? — со страхом и растерянностью спрашивал он.

Шады низко склонился перед ним.

— О золотой чинар, всех нас укрывающий своими ветвями! Прежде всего надо сохранить жизнь кипчакским бекам,— принялся втолковывать он.— Надо лишить Юсупа его должности, а затем... изгнать его...

Шералы от неожиданности даже рот раскрыл.

— Другого выхода нет,— продолжал Шады.— Нет другого средства. Мы тоже любим аталыка. Он хороший человек. Сильный человек. Он сделал вам много добра. Но интересы вашего государства вынуждают принять такое решение. Выхода нет. Надо успокоить кипчаков, успокоить эмира.

Шералы удрученно вздохнул.

— Как же мы его...

— Отец наш! Поручите это нам...

Едва Юсуп с Мала-беком вернулись в столицу, им сообщили, что хан ожидает их в диванхане. «Опять собрались, бездельники! Им только повод нужен. Попраздновать захотелось...» — с досадливым пренебрежением подумал Юсуп и пошел в диванхану, волоча плеть по земле. Все, кроме Шералы, поднялись приветствовать Юсупа. Поздравили его с победой,— но сдержанно. Место Юсупа справа от трона было свободно, Юсуп не стал садиться. Он подошел к забранному узорчатой решеткой окну. Во дворе воины сталкивали пленных по одному в зиндан. Юсуп, крепко сжав губы, внимательно следил за этим, словно хотел пересчитать пленных еще раз. Шералы поднялся и подошел к нему. В диванхане все обеспокоенно повернулись к окошку. Дрожа от ярости, Юсуп сказал тихо, зло:

— Гляди! Наш доверенный человек, Мусулманкул! Подстрекатель!..

Не в силах сдержать себя, перешел на крик:

— Всех! Никого не щадить! Никакой пощады ни одному из них!

Шады краешком глаза глянул на Шералы: слыхал, мол? И еле заметно покачал головой.

Шералы только заморгал растерянно.

Все снова заняли привычные места, уселся и Юсуп.

— Кто мог подумать такое на Мусулманкула! — сказал он с горечью, и Шады тут же подхватил:

— У скотины пятна снаружи, а у человека — внутри! Его надо строго наказать! Чтобы неповадно было в следующий раз...

— Что? Голову ему надо снять долой! Завтра и снимут! Перед всем народом!

Шады позволил себе легонько пожать плечами. Улыбнулся.

— Это непростительно, аталык. Воля светлейшего хана...

Юсуп побледнел. Шады говорил, как всегда, нудным и негромким голосом, как всегда, прятал под густыми, клочковатыми бровями маленькие невыразительные глазки. Только бледный длинный нос выделялся у него на лице. И все же сейчас в его словах прозвучала некая дерзость.

— Что ты там болтаешь?

— Я сказал, аталык, что светлейший хан не согласен с вашим решением.

Юсуп подскочил.

— Что? С чем он не согласен? Не согласен с тем, что я собираюсь разделаться с врагом, который лютее волка?

Шералы сидел, сдвинув брови. Говорил советник Шады.

— Аталык, вы хотите казнить сорок кипчакских беков. Ладно, мы, предположим, согласимся с этим: они совершили преступление и достойны такой кары. Но ведь вы не сможете снять головы всем кипчакам, не так ли? Или сможете? Тогда мы согласны — казните сейчас хоть восемьдесят беков. Но ведь народ-то останется, аталык. А если останется — не простит, не успокоится. Более того: затаит злобу!

— Хотя бы эти проклятые кипчаки были малочисленны...— негромко и сожалительно поддержал кто-то слова Шады.

— Все они поднимутся против нас. А нам и сейчас не дают покоя вести о Мурад-беке, что же будет, если мы начнем междоусобную резню? Как вы скажете, аталык? Вот почему светлейший хан, все обдумав, не соглашается с вашим решением.

Юсуп оценил этот веский довод и внимательно поглядел на Шералы: «Неужели ты сам додумался?» Но Шералы на него не смотрел. У всех собравшихся мрачные лица. Брови нахмурены. Кажется, все согласны с тем, что говорит Шады, хотят помилования. Юсуп внутренне протестовал.

— В твоих словах, Шады, с одной стороны, есть смысл,— сказал он.— Но, с другой стороны, рассуди сам: ты опасаешься нападения кипчаков завтра, а ведь кипчаки уже напали на нас вчера. Мы для того и схватили их главарей, чтобы больше нападений не было.

— Это верно. Но, аталык, они ведь осознали свой поступок, они покорились, сдались, пришли с повинной! Нельзя с этим не считаться, определяя им наказанье.

— Пришли с повинной! А что им еще оставалось делать?

— И это верно! Но хотя бы на пробу и ради того, чтобы наладить хорошие отношения, надо проявить мягкость, аталык, надо проявить великодушие.

— Пускай будет так, Юсуп,— с трудом выговорил Шералы.— Провались оно пропадом, дело-то тяжелое...

Его шумно поддержали. Юсуп кивнул:

— Ладно! Пусть беков освободят. Всех, кроме одного.

— Всех, аталык! — настаивал Шады.— Вы хотите задержать Мусулманкула, я понимаю. Но поймите и вы: казнь Мусулманкула обойдется хуже, чем казнь всех прочих тридцати девяти. Он пользуется уважением всех кипчаков...

Юсуп вспыхнул:

— А ты, Шады, уверен, что Мусулманкул успокоится на этом? Посмотри мне прямо в глаза и ответь!

Шады небрежно поднял брови — он видел, что Юсуп поддается.

— Куда ему деваться? — только и спросил он.

Впервые Юсуп испытал сопротивление двора, впервые Шералы говорил не с его голоса...

— Ладно...— согласился он.— Пускай будет по-вашему. Я не верю в то, что Мусулманкул станет жить

в мире с нами. Не верю! Но если он, получив свободу, свяжется с эмиром или сам, один, пойдет против нас, то я тебя, плут Шады, живым в землю зарою, запомни это!

Шады только усмехнулся слегка. Юсуп, не оглядываясь, ушел из диванханы.

Назавтра Мусулманкул припал к ханским стопам. Помирился с Юсупом, они обнялись. Но про себя Мусулманкул затаил вражду. Борьба между ним и Юсупом из открытой перешла в тайную, еще более опасную. Плоды этой борьбы пожинал Шады. Скромный советник, на долю которого раньше доставалось только развлекать хана чтением да занятными россказнями, теперь превратился в деятеля, от которого многое зависело в государстве.

Весна года 1844-го.

Диванхана. Шералы-хан. Вокруг него несколько человек. На всех лица нет. Они на что-то уговаривают Шералы, но, видимо, не могут уговорить. Все смотрят на него. Шады. Кадий. Рядом с ним ходжа, которого хан недавно сделал шейх-уль-исламом — главой верующих и сам стал его мюридом. Военачальники.

Шералы хмурится. Он теперь уж не тот, что в прежние времена. Усы и борода красиво подстрижены, лицо стало белое, тело — пухлое, изнеженное. Держится он уверенно, даже надменно, глаза приобрели выражение живое, твердое и даже высокомерное. Сейчас Шералы размышлял о чем-то и застыл в неподвижности.

— Подумайте сами, о взысканный милостью бога... Мы кто? Мы ваши преданные рабы, мы хотим лишь одного — чтобы слава о вашем величии разнеслась как можно дальше, поднялась как можно выше... Вы сами видите, что число наших внешних врагов растет день ото дня. Не успокаивается эмир, косо смотрят на нас управители вилайетов... А почему? Кто причиной тому? Юсуп! Против него ополчились враги за пределами нашего государства, против него настроены многие и многие в самом Коканде. Кроме того, он плохо относится к вам. На вас он глядеть не желает, а сына вашего Мала-бека — вы заметили? — постоянно держит при себе, приучает к делам, знакомит его с людьми, указывает ему пути, короче говоря, не иначе как он что-то замыш-

ляет, этот проклятый. Хочет расправиться с вами, а Мала-бека ханом провозгласить.

Шералы молчал. Время от времени поглядывал на все еще висящие на стене чокои. Наблюдательный советник Шады сказал с горечью:

— Светлейший... Вот что он сделал... Он не уважает вас, божьего избранника... он унижает, ногами попирает ваше звание и происхождение.

Ходжа сокрушенно затряс головой, жестом отчаяния ухватился за ворот халата.

— О боже... боже мой...

Кадий поклонился, сказал сощурившись:

— Это нарушение обычая, нарушение шариата.

Шады продолжал:

— Мало неверному того, что он вырвал поводья у вас из рук, он еще унижает вас...— советник приблизился к хану, осторожно взял его под локоть и заговорил с еще большим жаром: — Повелитель, государство так существовать не может. Он сравнял ваш двор с домом нищего. Где роскошь, где пышность, где величие, которые и делают столицу — столицей, двор — двором? Мы стали посмешищем для Бухары. Над нами смеются в Хорезме. Мы согласны терпеть лишения, которые обрушил на наши головы этот неверный, но как стерпеть позор, светлейший повелитель?

Шералы слушал молча, не подымая глаз. Он уже начинал колебаться: все эти слова, все эти доводы повторяли ему много раз, даже во сне слышался ему вкрадчивый голос Шады. Что отвечать? И главное — как поступить? Он попал в крепкие тиски. И вот теперь сидит, окруженный людьми, которые не дадут ему увернуться от ответа.

— Повелитель! Разрешите оружием уничтожить позор? — спросил один из военачальников, положив ладонь на рукоять меча.

Шералы резко поднял голову, обвел всех вопрошающим и полным мучительного сомнения взглядом. На всех лицах одно выражение, все уста готовы просить об одном. Неужели так надо?.. У Шералы дрогнуло сердце, он начинал верить... Да и как не верить,— конечно же, Юсуп повесил здесь его стоптанные чокои только для унижения. И власть у него отнял, это правда! Шералы закусил губу.

— Светлейший! Ваш дворец называют домом сыромятных чокоев...

— Уберите их! — приказал Шералы твердо.

Придворные расступились, а Шады тотчас подсунул хану какую-то бумагу.

— Отец наш, повелитель, блеск которого затмил свет луны, сердце которого теплее солнца...

— Что это еще?.. Прочти! — сказал Шералы, но советник не стал читать, а прошелестел хану в самое ухо:

— Указ...

— О чокоях? На это тоже нужен указ? Убери!

— О светлейший повелитель...— громче заговорил Шады, а все прочие затаили дыхание, чувствуя, что дело идет к завершению.— Забудьте вы про эти чокои, бог с ними... Голову, которая придумала повесить эти чокои так, чтобы никто из нас до них не дотянулся, голову эту надо снять с плеч, всесильный наш повелитель. Бог с ними, с чокоями...

Шералы, кажется, не понял. Ему начали растолковывать со всех сторон. Шералы перепугался:

— Как?!

— Это необходимо... Другого пути нет,— загудели голоса.

Ходжа:

— Он вероотступник! Не будет божьего благословения государству, которым правит вероотступник! Никогда и ни в чем не будет ему успеха. Подумай, сын мой. Хорошо подумай...

Кадий:

— Если вы доверили и вручили кормило власти некоему лицу, а оно поступает не в соответствии с вашими пожеланиями, не по воле бога, вы можете подобного человека покарать, кем бы он ни был...

Ходжа:

— Ханская кара — это кара божья. Божья кара уничтожит виновного, а вместе с ним совершенный им грех. Этот неверный с головой погряз в пучине грехов. Пока не снимем у него голову с плеч, мы не можем быть спокойны.

Шады:

— Шила в мешке не утаишь. Невозможно скрыть очевидное, повелитель. Ни одному из нас, кто бы он ни был, теперь не получить пощады. Вот почему должны

быть беспощадными прежде всего мы. Иначе смерть всем нам.

Шады откровенно запугивал хана. Шералы снова поглядел на всех — быстро, искоса. То же выражение на лицах, та же мольба на устах... Молчать дольше нельзя. И хан выдавил из себя:

— Ладно... отберем у него поводья. Пусть возвращается в горы и живет там...

Шады:

— Разве Юсуп — бродяга, который притащился в Коканд следом за вами? Юсуп родовитый бий, ему подвластны многие кочевые племена. Из них он всегда может набрать огромное войско. Ну, отпустим мы его в горы живым и невредимым, но он-то разве на этом успокоится? Вернее всего, нет, вернее всего, нахлынет он на нас же со своим войском, как неудержимый горный поток, все сметающий на своем пути. Кто тогда поручится за вашу священную голову, повелитель? Нет! Если уж решился кого покарать — не щади его, уничтожь, а не то он тебя уничтожит. Таково веление разума.

Ходжа:

— Хорошо, когда враг становится трупом. Мертвый не может причинить зло...

— Войско кочевников... Несметное войско...— бормотал между тем Шералы.— Так-так... А разве это войско дало обещание, что после смерти Юсупа не двинется против нас?

— О, повелитель...— Шады позволил себе чуть-чуть улыбнуться.— О, повелитель, издревле так повелось, что за мертвым никто не следует. После смерти Юсупа единство кочевников сойдет на нет. Каждый род устремится к самостоятельности, а биям поневоле придется искать поддержку при дворе. Слава богу, у вас родичей среди кочевников не меньше, чем у Юсупа. Взять хотя бы потомков Токтоназара, отца высокородной ханши Джаркын-аим, или потомков вашего высокочтимого дяди Аджибая-датхи! За кем и следовать им всем, как не за вами? Мы все приняли в расчет.

Советник Шады ловко вытянул из рукава еще одну свернутую трубкой бумагу.

— Вот, пожалуйста...

— Это еще что?

— Ваш высочайший указ.

— Какой указ, о чем?

— У Юсупа есть младший брат по отцу, Коджомурат. Это указ о назначении Коджомурата датхой.

Шералы глядел на советника в явном недоумении.

— Всем хочется жить,— продолжал Шады.— И жить при этом как можно лучше. Всем хочется почета, славы и власти. Такими уж создал господь своих рабов. Перед Коджомуратом лежит одна только палка, но палка эта о двух концах. Либо враждовать ему с ордой, мстить за смерть брата, но тогда сомнительно, добьется

он чего хорошего для себя или нет. Либо помириться с ордой, подружиться и, значит, поднять себя в глазах тех же кочевников. Коджомурат такой же раб божий, как и все. Он возьмет палку именно с этого, второго конца... У кочевников есть обычай мстить за убитого, это для них дело чести... Мы должны заставить Коджомурата забыть обычай. Отвлечь его. А отвлечь можно только так.

Шералы сдался. Нахмурив брови, он еле заметно кивнул. В сердце росла ненависть к Юсупу. Шералы покусывал побелевшие губы. А участники заговора против Юсупа вдруг зашумели разом — точно прорвало их. Тот самый кадий, который в свое время в разговоре с Юсупом приводил убедительные доводы, примеры из истории, обоснования из шариата в пользу того, чтобы учредить в ханстве должность аталыка, теперь произносил новые наставления, указующие на правоверность, святость, необходимость затеваемого убийства. Советник Шады держал перед Шералы первый указ. Руки у Шады дрожали. Шералы все еще сомневался. Вот он протянул было руку к указу и тут же попытался ее отдернуть. Шады перехватил это движение жестом мягким, но решительным.

— Повелитель...

Шералы больше не противился. Шады, удерживая руку хана в своей, смазал чернилами печать, которая была в виде перстня надета на указательном пальце хана, и прижал печать к указу.

— Как же это...— растерянно проговорил Шералы.

— Предоставьте все нам!

Глубокие морщины собрались на лбу у Шералы. А советник Шады высоко над головой поднял указ с ханской печатью, издали показал его всем.

— Повелитель! Теперь отступать нельзя! Некуда отступать! Ежели этот указ, к примеру, передать в руки главного палача, Юсупу не сносить головы. Ну, а если попадет указ... случайно... в руки самого Юсупа-аталыка... не дай бог, конечно... Но если так будет, тогда вам, повелитель, придется расстаться с вашей священной головой. Дело начато, и мы должны держаться твердо!

Прочие участники заговора вели себя так, как было условлено заранее: улыбались, достойно кивали головами в поддержку слов советника Шады.

Шералы ушел из диванханы сам не свой. Евнухи-рабы Эшмат и Ташмат под руки отвели его в опочивальню и уложили. Немного погодя вошла к нему Джаркын-аим.

— Падишах,— негромко окликнула она, вглядываясь в лицо мужа.

Шералы открыл глаза. Джаркын увидела в них страдание.

— Что случилось? Ты заболел? Позвать лекаря?

Шералы хмуро отвернулся. Он здоров. В душе у Джаркын шевельнулась тревога, смутное подозрение:

— Падишах мой... Что произошло? Отчего ты такой невеселый?

Шералы не ответил.

— О чем вы совещались нынче в диванхане? Начальник дворцовой стражи поставил у дверей большую охрану. Тайное дело было? Да, падишах мой?

Шералы резко повернулся, сверкнул на нее полными гнева глазами. У Джаркын-аим упало сердце. В это время в опочивальню пришел маленький Кудаяр, младший сын хана.

— Иди... поиграй там...— нетерпеливо выпроводила Джаркын ласкавшегося к ней мальчика. Когда он ушел, обратилась к Шералы ласково и весело: — Падишах мой, сегодня у тебя злое лицо. За двадцать лет я тебя ни разу таким не видела. Должно быть, ты становишься сильным, падишах мой!

— А вы думали, что я никогда не стану сильным, так? Поэтому и унижали меня! — выкрикнул вдруг Шералы.

Веселости Джаркын-аим как не бывало. Лицо ее побагровело, потом мертвенно побледнело.

— С ума ты сошел! Кто тебя унижал, кто? — впилась она глазами в Шералы.— Что-то неладно с тобой. Уж не наслал ли кто на тебя злого духа?

— Злого духа? Мне верные люди говорят!

— Какие верные люди? И кто тебя унижал?

Шералы снова отвернулся. Джаркын, ничего не понимая, сидела в недоумении. Потом не вытерпела:

— Да повернись ты ко мне и расскажи! Кто тебя унизил? Рассказывай! Вернулся уже из Маргелана наш Юсуп? Что он говорит?

Она потянула к себе одеяло, которым укрылся Ше-

ралы. Тот рванулся, привстал на локте и закричал жене в лицо:

— Юсуп! Твой Юсуп с головой погряз в пучине греха! Я приказал казнить его за это, поняла?

Джаркын-аим оцепенела.

— Замолчи! — еле выговорила она.— Что ты болтаешь?

Шералы опустил голову.

— Вот так... он погряз в грехе, он виноват сверх меры...

— Помилуй боже, что несет этот полоумный! Ты сказал мне правду? Он виноват только в том, что привел тебя, который пас кобыл в Таласе, сюда, во дворец! А я-то думаю, о чем они там бубнят, заперев все двери... Горе мне, горе!.. Да если нынче отрубят голову Юсупу, завтра твоя слетит с плеч! Понимаешь ты это, полоумный? Ты человек только при нем, при нем, убогая твоя душа!

Шералы вдруг опомнился. В ушах снова прозвучали последние слова советника Шады. Как он смотрел на Шералы... Страх охватил беднягу. Что теперь делать? Как быть? Сообразить он ничего не мог, в голове было пусто. Куда ни кинь — всюду пропасть под ногами. Он повалился на постель.

— Что же ты теперь прикажешь мне делать? — простонал он, раздавленный ужасом, обессиленный.

— Чтоб тебе провалиться! Эшмат! Эшмат!

В опочивальню, громко топая, вбежал вооруженный евнух.

— Слушаю, высокочтимая повелительница...

Прижав руку к сердцу, евнух застыл у дверей.

— Эшмат, дорогой... Ты знаешь сотника Абиля? — спросила Джаркын.

— Знаю. Этот сотник доводится младшим братом госпоже.

— Да! Эшмат... дорогой Эшмат! Найди его и приведи сюда.

— Повинуюсь, госпожа!

— Иди! Скорее!

Евнух, пятясь, вышел из опочивальни.

Часа через два Абиль вместе со своими джигитами тайно покинул Коканд и направился в Маргелан. Он вез новый указ, скрепленный печатью Шералы,— указ об отмене того, что был дан в диванхане...

Маргелан. Дворец бека. Юсуп лежал на постели, разостланной на балконе верхних покоев. Отдыхал. Думал о маргеланском войске, припоминал свои разговоры с некоторыми джигитами... Порядка в войске нет. Сипаи слоняются по базару, затевают ссоры и драки, пьянствуют, избивают мирных людей. Говорят, что прошлой ночью несколько конников отправились в ближайший кишлак, ограбили чей-то дом. А бек и не ищет виновных... Чем больше думал Юсуп, тем дальше бежал от него покой. Он не мог уснуть, как ни старался...

Во дворе послышались голоса, и вскоре на балкон к Юсупу вошел бек Маргелана в сопровождении стражника-миршаба. Юсуп не двинулся с места.

— Повелитель,— тихо сказал бек,— из столицы пришел указ.

— Какой указ? Кто дал его? — не оборачиваясь, спросил Юсуп.

Бек, усмехнувшись, вдруг повысил голос до крика.

— Такой указ, которого ждали мы, не могли дождаться!

— Что такое?

В гневе обернулся теперь Юсуп и увидел, что бек, еще недавно пресмыкавшийся перед ним, смотрит ему прямо в глаза, смотрит зло и смело. Увидел он и вестника из Коканда... палача Маткерима-есаула. Густо покрытый дорожной пылью до самых бровей, Маткерим, измученный, должно быть, бешеной скачкой, стоял, обессиленно прислонившись к резному столбу балкона.

Бек обеими руками принял указ и высоко поднял его над головой.

— Указ его величества, потомка пророка Шералы-хана!

Юсуп поднялся, набросил на себя парчовый халат.

— Дай-ка сюда...

Бек усмехнулся с откровенной издевкой.

— О повелитель наш аталык... Что поделаешь, такова судьба! Еще недавно вы, забыв о боге, хотели отдать нас в руки палача, а теперь, по воле бога, не мы, а вы предстанете перед палачом. Вот! Потомок пророка Шералы-хан прислал мне свой высокий указ о том, чтобы сняли голову с плеч у Юсупа-аталыка и представили эту голову во дворец...

— Что?!

Бек предостерегающе поднял указательный палец.

— Не поднимайте шума. Это бесполезно.

И он швырнул указ на пол у ног Юсупа. Юсуп не поднял его, только глянул на печать и безошибочно узнал ее: да, печать Шералы.

Бек продолжал.

— Вы должны знать свое положение, аталык. Вы окружены. Телохранители ваши уничтожены. Все ваши попытки изменить что-либо в вашу пользу обречены на неудачу.

Юсуп не сказал ни слова в ответ, не пошевелился, даже не глянул на распоясавшегося врага. Он думал. Этот указ не шутка. И поблизости нет никого, кто мог бы помочь ему, вызволить его.

Не поднимая головы, обратился он к Маткериму-есаулу:

— Палач...

— Слушаю, господин...

— Где ты взял эту бумагу?

— В диванхане, господин. Я получил ее из рук повелителя.

— Так... Палач...

— Слушаю, господин...

— А видел ли ты чокои, что висят на стене напротив престола?

— Нет, не видел, господин.

— Так. Верно, значит. Палач!

— Слушаю, господин...

— Был в диванхане Мусулманкул?

— Нет, господин. Этого человека там не было.

— Так... А он-то и поднял смуту. Гляди, он осторожнее змеи. Удастся дело — он выползет на свет, не удастся — останется в тени.

Юсуп умолк; мысли текли вяло и не было сил говорить: все в нем будто оцепенело. Но вот зашуршали полы парчовой одежды маргеланского бека, и Юсуп от этого негромкого звука очнулся. Пришел в себя. Снова почувствовал на себе полный злой радости взгляд бека. Собрал воедино расслабленную волю. «Что ж, видно, судьба такая... Никто от судьбы своей не уйдет». Юсуп поднял голову.

— Так ты говоришь, палач, что указ этот получил из собственных рук Шералы-хана?

— Точно так, господин.

— Что ж, ладно... Я доверял ему. Мое доверие, до-

бро, которое я сделал для него, падут на его голову. Руки, убивающие меня, скоро расправятся и с ним.

— Господин... Мне велено возвращаться как можно скорей...— забормотал палач.

Юсуп, высоко вздернув брови, слегка кивнул головой.

— Хорошо. Если хочешь вернуться поскорей — возвращайся. Чем ты виноват, ты делаешь свое дело. Ладно... я хочу совершить намаз. Подожди, пока я кончу молиться. А не хватит терпения дожидаться, соверши казнь тогда, когда я поверну голову вправо... Сделай именно так.

— Слушаюсь, господин...

Юсуп пошел было, но бек преградил ему дорогу.

— Во двор не выходить, повелитель!

— Я хочу взглянуть на солнце в последний раз, не препятствуй мне, если ты не глупец. Я хочу совершить омовение, не препятствуй, если ты не вероотступник,— отвечал Юсуп, не глядя на него.

Пройдя мимо мрачных стражников, Юсуп спустился с балкона по скрипучей деревянной лестнице. Все чужое и все чужие. Человек двадцать вооруженных сарбазов, разделившись на две кучки, о чем-то оживленно переговаривались. Завидев Юсупа, удивленно замолчали и воззрились на него. Юсуп признал одного сотника из Джар-Мазара.

— Ассалам алейкум,— негромко приветствовал воинов Юсуп, и они нестройно ответили ему, и каждый склонился, почтительно сложив руки на груди.

Юсуп совершил омовение под большим чинаром. Миршабы сторожили его. День кончался, и в предвечерней тишине хорошо было слышно, как трепещет крыльями птаха, перелетая с ветки на ветку. Дневной жар еще чувствовался в воздухе. Юсуп повернулся в сторону Мекки. Солнце опускалось к верхушкам огромных тополей, что росли по ту сторону крепостной стены.

— Миршаб,— позвал Юсуп.

Один из стражников поспешно наклонился к нему.

— Скажи палачу... Пусть придет в сад... Мне хочется совершить намаз здесь, на зеленой траве.

— Хорошо, господин.

Юсуп не стал просить, чтобы ему принесли молитвенный коврик. Обошел сад, потом снял с себя широкий кушак и разостлал его на траве.

Молитвы он знал, но молился не часто — не привык. И никогда не чувствовал себя грешником из-за того, что забывал о намазе. Но теперь, перед лицом смерти, готовясь уйти в иной мир и предстать перед богом, вспомнил он о намазе...

Туман стоял в голове. Опустившись на колени, он думал, думал, но ясности в мыслях не было, нет, не было. Зачем явился он в орду? Что хотел совершить? И что успел совершить? Что не успел? Кому он мешал? Кого обидел? Почему вокруг него так много оказалось врагов? Почему?.. Если он притеснял кого, то ведь не ради себя самого — ради общей пользы, общего блага... Он хотел оградить государство от врагов, объединить его. Юсуп вдруг почувствовал облегчение. Нет, не из-за того гибнет он, что плох, что ошибался. Нет... Он сам утешал себя, готовясь к смерти. И снова вспомнился ему тот самый сон. Сбылся он, сбылся. Все вышло так, как сам Юсуп разгадывал. И даже... даже то, что не успел он тогда сон досмотреть, пробудился нежданно... Вспомнилось ему и родное кочевье, великие горы в их вечной красоте. Зеленые луговины, запах трав и цветов... Мать, давно умершая мать, встала вдруг перед глазами, как живая. Не заплакать бы... пропадет молитвенное омовение. Во время молитвы плакать нельзя...

Конец. Кончена игра. Кончены мучения.

— Именем бога милостивого, милосердного... Велик бог, велик бог, велик бог...

Юсуп низко склонил голову. Близко позади него зашелестела трава — будто змея подползала. Но он знал, что это за шелест, знал, кто подходит к нему. Дрожь пронизала все тело, только сердце билось спокойно, подчиняясь твердому разуму и могучей воле.

...Абиль опоздал. Подскакав к воротам крепости, привстал он в стременах. Потемневший от пота конь пошатнулся.

— Аталык! Ты здесь, аталык? — закричал Абиль, что было силы.

Палач сидел на земле возле обезглавленного тела Юсупа, ждал, пока перестанет течь кровь, которую сам он выпустил из жил. Сидел, пьяный от запаха этой крови, и глаза у него покраснели, а плечи были вяло опущены. Равнодушно глянул он в ту сторону, откуда донесся зов.

5

Мир и согласие покинули орду. Юсуп был той силой, на которой держалось единство. После его смерти начались междоусобицы — каждый из беков, особенно кто чувствовал себя посамостоятельней, тянул в свою сторону и вооружал против всех других. Шералы-хан, уничтожив аталыка, почувствовал себя истинным властителем и сам решал государственные дела, но ни у него, ни у нового минбаши — Шады — не хватало сил покончить с раздорами. Мусулманкулу отдали бекство в Шариханском вилайете. Мусулманкулу этого было мало. Он понимал, что после гибели Юсупа не осталось в ханстве никого, кто мог бы по-настоящему противостоять ему, и выказал открытое неповиновение. Чего не хватало Мусулманкулу? Титула минбаши, конечно! Хитрец Шады отлично понимал это. Тайно послал он палача в Шарихан, но палач не нашел Мусулманкула в Шарихане: тот успел бежать в Междуречье. Шады с большим войском двинулся походом на Мусулманкула. Враги встретились между Чустом и Тюре-Коргоном. Мусулманкул наголову разбил войско Шады, самого минбаши взял в плен, снял ему голову с плеч, положил ее в мешок и, приторочив этот мешок к седлу своего коня, пошел на Коканд. Беки всех вилайетов поддерживали Мусулманкула. Он занял столицу и, не утруждая себя поисками в шариате подходящих обоснований, принял титул минбаши. Шералы-хан до дрожи боялся этого человека — чуть прихрамывающего, сурового на вид, скрытного и подозрительного.

Борьба за престол на этом не кончилась. Весной того же 1845 года, воспользовавшись тем, что Мусулманкула не было в столице, на Коканд напал бек Исфаринского вилайета Сатыбалды-датха. Он убил Шералы и провозгласил ханом Мурад-бека, младшего сына Алым-хана.

Мурад-бек носил корону всего одиннадцать дней. Мусулманкул со своим хорошо подготовленным, сильным войском в мгновение ока разделался с поспешно сколоченными отрядами Мурад-бека и, вновь войдя в Коканд, поднял на ханском войлоке Кудаяра, четырнадцатилетнего сына Шералы.

У Шералы были и совершеннолетние дети, но Мусулманкул не случайно выбрал Кудаяра. С совершеннолетним ханом Мусулманкулу пришлось бы делить власть,

к тому же такой хан легко мог попасть под влияние кого-нибудь другого. А если хан еще совсем мальчик, вся полнота власти в государстве принадлежит аталыку. Осторожный Мусулманкул сумел уничтожить впоследствии всех других царевичей. Спасся один лишь Малабек, бежавший в Бухару.

6

Та же орда. Со стороны посмотреть — все мирно и спокойно. Мудрым — послушание, старикам — почет. Благочестие, скромность. Но за всем этим кроются злые страсти, в любезной улыбке обнажаются зубы, готовые при первом удобном случае укусить.

Мусулманкул-минбаши затеял игру в ордо, старинную киргизскую игру. Беки и простые воины поделены на две дружины, отсчитано пятнадцать горстей альчиков [1]. Игра идет вовсю. Во главе одной дружины молодой хан, во главе другой — сын Мусулманкула Абдурахман-мирза [2]. Оба своевольные, избалованные. Каждому игроку полагается по правилам игры сделать три удара, но и молодой хан, и мирза бьют, сколько захотят, бьют, пока не вышибут альчик с кона. К этому все привыкли, спускают молодым баловням орды их нарушения с улыбкой. Только одному человеку это, видно, крепко не нравится. Он стоит в стороне, кочевник с загрубевшим от горного ветра лицом, с поседевшей уже бородой, огромный и сильный человек, и смотрит на игру неодобрительно. Какая же это игра, ежели участники ее неравноправны!

Альчиков на кону оставалось немного. Молодой хан, приноравливаясь для удара, покручивая в руке биту, пошел к черте. По правилам бить полагалось так: ступить левой ногой на черту, правую ногу установить так, чтобы носком ее коснуться левой, согнуть колени, левую руку отвести за спину. Хан снова поступил не по правилам, решительно перешагнув черту.

— Бей! — подбадривали его льстецы.

Но тут громадина кочевник не выдержал. Ступая неуклюже, но быстро, подошел он к молодому человеку.

— Погоди-ка, парень...

---

[1] Альчики — народная игра; соответствует русской игре в бабки.

[2] Мирза — господин.

Сильной рукой ухватил он хана за левую ногу. Потянул назад, к черте.

— Вот... Вот как надо стоять... В игре все равны, а кто этого не признает, пускай не играет.

Молодой хан покраснел, закусил губу. Все замолчали и, вытянув шеи, уставились на великана в огромной шапке. А тот как ни в чем не бывало пошел на свое место.

— Это твой дядя, сын мой,— сощурившись, сказал хану Мусулманкул.— Такие, как он, привыкли говорить правду прямо в глаза кому угодно, хоть хану, хоть аталыку.

Хан промолчал. Он был обижен: до сих пор никто его ни в чем не упрекал, разве что сам Мусулманкул. Ударить по альчику как следует не смог, растерялся. Кругом зашептались. Задор в игре погас.

На другой день Мусулманкул пригласил кочевника к себе, усадил, поблагодарил его.

— Алмамбет-аке, вы вчера снова поддержали меня. Это иной раз необходимо.

Алмамбет не понял:

— Когда это?

— А во время игры! Дело, конечно, не в мальчишке. Есть у нас такие, кто, прикрываясь его ханским титулом, норовят вступить со мной в спор за власть. Поступок ваш был как нельзя более кстати. Вы не только ему одному, вы всем им дали подножку! — Мусулманкул не скрывал своей радости.

— Откуда мне было все это знать! — отмахнулся Алмамбет широкой, как лопата, ладонью.— Я видел, что мальчишка бьет неправильно, нарушает, значит...

— Как бы оно ни было, Алмамбет-аке, урок они получили. Сразу носы повесили! В альчики мальчишка, может, плохо играл бы, так не беда, а в делах государственных мы ему своевольничать не позволим... Он не слишком умен. Будь он поумней, я с ним иной раз и посоветовался бы о делах государственной важности... К тому же с недавних пор из его рукавов то и дело высовываются чьи-то чужие руки.

Алмамбет на все слова Мусулманкула только головой кивал,— он далек был от дел орды, не разбирался в государственных хитростях, да и не хотел разбираться. Мусулманкул же говорил медленно, раздумчиво, но на лице у него застыло мстительное выражение.

Потомки Алтынбешика издавна роднились с горцами-кочевниками через сватовство, но беки внутренних кипчаков шли дальше: не только через сватовство роднились, а и обменивались детьми,— ради единения, ради большей прочности межродовых уз. В свое время и Мусулманкула отвезли прямо в колыбели, водрузив ее на спину коня, к матери Алмамбета на воспитание. Мусулманкул и Алмамбет были молочные братья, к кипчакам Мусулманкул вернулся уже после своего совершеннолетия. Но кочевники продолжали считать его своим, а он, по долгу почитания материнского молока, уважал и помнил свою кочевую приемную родню. Приехавшего в Коканд Алмамбета встретил радушно, не кичился перед ним своим положением, усаживал чуть ли не во главе всей кокандской знати, называл братом. Как мог простодушный житель гор не радоваться этому? Он и радовался, и гордился. Особенно приятно было ему видеть и понимать, что его молочный брат знает свой народ и его обычаи, что он сам блюдет эти обычаи, что он ласков и обходителен, умен и прозорлив,— настоящая, как ему думалось, опора и защита народная.

Мусулманкул крепко держал орду. Большое значение придавал военной силе, а войско набирал в основном из числа преданных ему кочевников. Держал кипчакские отряды в Коканде, Маргелане, Намангане, Ташкенте. Оставил в Андижане Алымбека-датху, а в Намангане — Кедейбая, но в прочие вилайеты назначил своих кипчаков. Недавно выдал свою дочь за Кудаяра и, получив тем самым на хана отцовские права, укрепился еще больше. Но Кудаяру он не верит. Неумен Кудаяр, совсем неумен, и душа у него бабья. На власть Мусулманкула он не посягает, но почему? Из-за слабоволия своего, а слабоволие это Мусулманкулу не только полезно, но и вредно. Опасно. Как идет хан сейчас за Мусулманкулом, так же может он пойти и за кем-нибудь другим. За смутьяном, заговорщиком, подстрекателем. И потому аталык держит хана в железных, безжалостных руках. На людях он с ним ласков, почтителен, а наедине ругает его почем зря, не спускает ему ни малейшего промаха. Денег не дает ни полушки — с деньгами хан может найти себе друзей. Разговоров с незнакомцами, с людьми подозрительными аталык не разрешает, к решению дел государственных хана не привлекает. И все же в последнее время возле Кудаяра начали понемногу со-

бираться недовольные. Заговорщики. Пока что они не опасны, Мусулманкул просто имеет их в виду. Но враг не может не совершать враждебных поступков. И где-то в глубине сердца у Мусулманкула появился страх.

— Брат, есть ли у вас крепкие джигиты, на которых можно было бы положиться? — спросил он Алмамбета.

Алмамбет понял вопрос по-своему: крепкий для него значит лишь сильный телесно, и он, не задумываясь, дал ответ:

— Нет... Прошлой весной один парень похвалялся, что поднимет тот камень, на котором я мерил свою силу,— у начала Курпильдек-сая, помнишь? — он снял свою огромную шапку и почесал бритую голову с видом лихим и молодцеватым.— Куда там поднять — даже с места сдвинуть не мог! Да... Кроме твоего брата, пока этот камень никто не поднимал.

Мусулманкул улыбнулся.

— Чего смеешься? Я тебе правду говорю, люди видели.

Мусулманкул не стал ему возражать и заговорил о другом.

— А много ли джигитов тянется сейчас к делам воинским?

— Да найдется, наверно, немало,— как-то неохотно отвечал Алмамбет.— Но кумыса и мяса у нас нынче вдоволь, кому она особенно нужна, воинская-то служба?

— Так, говоришь,— нахмурил брови Мусулманкул, -кумыс, мясо... Возлежите на кошмах, пируете беспечно, а мечи ваши давно заржавели. А ежели налетит черной бурей вражеское войско, отберет у вас и блюда с мясом, и бурдюки с кумысом? Тогда что?

Алмамбет широко раскрыл глаза.

— Откуда налетит? Кто? У нас есть хан, у хана — ты, аталык, наш родич. Кого нам опасаться, откуда возьмется это черное войско?

— А вдруг его пошлет сам хан?

Алмамбет растерялся.

— Зачем? Он получает нашу дань исправно... налогом облагает...

Не о чем было больше говорить с ним. Мусулманкул обернулся к двери, хлопнул в ладоши и встал. Тотчас появился высокий, вооруженный мечом кипчак.

— Что прикажет повелитель?

— Казначея ко мне!

Прижимая руки к груди, джигит попятился к двери. Минбаши с улыбкой посмотрел на Алмамбета.

— Береженого бог бережет, брат. Удалите ржавчину со своих мечей!

Алмамбет и тут не понял, что аталык говорит о подготовке к кровавому делу.

— Стоит о камень поточить, ржавчина и сойдет...— начал было он, но аталык нетерпеливо перебил его:

— Ржавчину с меча смывает кровь!..

Ханская казна. Золото, серебро... слитки величиной с кулак, с лошадиную голову. Жемчуг со дна синего Хиндустанского моря. Кораллы. Драгоценные камни... одни горят, как звезды, другие мерцают тихими светильниками, третьи вспыхивают искрами, словно высеченными кресалом из кремня. Лежат они в темноте, в укромном месте, отдавая свой свет лишь один другому, и кажется, что здесь занимается рассвет.

Кудаяр-хан в длинном чапане из красной дорогой ткани, в синей чалме, ходит осторожными и неслышными шагами; дух занялся у него при виде золота и драгоценностей. По правую руку от хана мрачной тенью движется Мусулманкул, по левую руку вышагивает Алмамбет. Казначей — старенький, сгорбленный, весь седой,— склонив набок лысую голову и стараясь повыше поднять свечу, которую он держит в руке, без умолку рассказывает истории о доверенных ему драгоценностях: какой камень добыт в походе, какой получен в дань, какой подарен таким-то или таким-то беком. Алмамбет на все смотрит внимательно, слушает, удивляется, кивает.

— Брат, ваш племянник хан не хочет, чтобы вы ушли отсюда с пустыми руками,— обратился к Алмамбету Мусулманкул.

Кудаяр посмотрел на аталыка удивленно. Аталык чуть сдвинул брови — и хан удержал готовое сорваться с уст слово.

— А... спасибо...— поспешил поблагодарить Алмамбет.

Мусулманкул улыбнулся, исподтишка наблюдая за Алмамбетом. Тот взял в руки фигурку идола — изваяние из чистого золота высотою пяди в полторы, подержал, подбросил вверх, поймал и потом лишь начал разглядывать пристально, удивленно. Осторожно поставил на место.

— На человека похожа, а? — сказал он.

Мусулманкул покачал головой.

— Не в том дело, что она похожа на человека, дело в ее ценности. Эмир Тимур привез ее из Хиндустана. Это буддийское божество. Но и не в том главное. Главное, что это богатство, счастье...

Алмамбет восхищенно прищелкнул языком. Казначей затаил дыхание — как бы не взял кочевник себе драгоценного идола. Но Алмамбет поставил идола на место: что с ним делать в горах — и не съесть, и верхом не сесть, как говорится. Казначей вздохнул облегченно.

Вошли в оружейную, осмотрели ружья, мечи с серебряными рукоятями, тонкие, отливающие синевой закаленного металла кольчуги. Мусулманкул хмуро, недовольно глянул на брата.

— Видал русские ружья? Меткие — положи человеку яблоко на голову, стреляй, яблоко собьешь, а человека не заденешь!

— Да ну! — удивился Алмамбет.— Яблоко, значит, собьешь с головы у человека?

— Конечно. А надо, так попадешь тому человеку прямо в глаз... и косуле в глаз попадешь...

Алмамбет пожал широкими плечами.

— Мы косуль силками ловим. Ружейными выстрелами их так перепугаешь, что они разбегутся невесть куда.

И он зашагал дальше. Мусулманкул только головой ему вслед покачал.

Но в следующей кладовой загорелись у Алмамбета глаза. Здесь хранились груды богатых тканей — парча, бархат, разноцветные китайские шелка. Русская юфть. Куньи и собольи меха, шкуры тигров, медведей. Полосатые кашгарские халаты, персидские, бухарские ковры.

Алмамбет долго, внимательно разглядывал кашгарские халаты, каждый щупал рукой. Они его заворожили.

— Берите, дядя! — подбодрил Алмамбета Кудаяр.

Мусулманкул стиснул зубы, сощурился. Алмамбет этого не заметил и, когда хан сказал «берите», принялся с помощью казначея натягивать полосатый халат на себя. Натянул один рукав, сунул руку в другой... халат с треском разорвался по шву. Алмамбет и казначей молча смотрели друг на друга, не зная, что делать. Потом казначей спохватился, подал еще один халат, накинул Алмамбету на плечи поверх порванного.

— Убери! — приказал Мусулманкул.

Казначей в смертельном испуге сдернул с Алмамбета халат, согнулся подобострастно перед аталыком.

Алмамбет растерянно теребил жиденькую черную бородку.

— У хана слово одно. Если из всего этого несметного богатства вам пришлась по сердцу тряпка, да и та на вас не налезла, значит, не судил вам аллах никакого подарка из нашей казны!

Больше не приглашал Мусулманкул молочного брата к себе в покои. И на приемы дворцовые не звал. Только в тот день, когда Алмамбет собрался уезжать, аталык уделил ему немного времени — из вежливости, чтобы не нарушать обычай.

Мусулманкул был не в духе, долго не поднимал голову, потом сказал с притворным сожалением:

— Брат, хотел я вас назначить беком в Наманган, но другие со мной не соглашаются. Ваш брат простой человек, говорят, где ему народом управлять, добро бы о самом себе позаботиться. Смеются при этом,— Мусулманкул бросил на Алмамбета испытующий, быстрый взгляд.— Что поделаешь... Так они говорят...

Алмамбет махнул рукой.

— Не мучь ты меня! Не могу я быть беком в Намангане, не хочу, чтобы кусали меня там комары да блохи. Отдай эту должность тому, кто ее добивается.

Мусулманкул и не думал назначать Алмамбета беком в Наманган и ни с кем об этом не советовался. Просто хотелось ему заронить искру тщеславия в душу простосердечного горца, хотелось, чтобы испытывал тот страдания при мысли об утраченной возможности. Искренний ответ Алмамбета разозлил аталыка.

— Ладно, брат, тогда я вас назначаю бием [1].

— Над нашим родом? — спросил Алмамбет.

— Нет,— рассмеялся Мусулманкул.— Бием над вами, над вашей собственной головой!

Алмамбет не понял:

— Как это?

— А так! — Мусулманкул уже не скрывал откровенной злости.— Вы можете быть хозяином только самому себе!

Алмамбет никогда больше не приезжал в орду. Про-

---

[1] Бий — наследственный титул владетельной кочевой знати; позднее — родовой судья.

звище «сам себе бий» пристало с тех пор к нему, но он на прозвище не обижался, а жил себе, как и прежде, сеял кукурузу у Курпильдек-сая да ловил косуль, когда нужно было мясо для котла...

...Неспокойное лето 1853 года.

Буйно поднялись травы в то лето — в рост коня. Народ спешил откочевать на горные пастбища, когда дошли из Коканда слухи о новой смуте. Жадно, настороженно ловили люди эти слухи. Аилы снимались с мест, двигались кочевки все выше, все ближе к снежным вершинам гор.

Алмамбет тоже откочевал на летовку. До слухов ему и дела будто не было; как-то раз, когда он, вдоволь напившись кумыса и велев поднять с одной стороны кошмы на юрте, чтобы продувало ветерком, спал в холодке, явился к нему незнакомец. Поднял Алмамбета, увел в сторонку и принялся что-то шептать ему на ухо.

— Куда? — спросил Алмамбет.

Незнакомец глазами показал в сторону гор.

— Когда он прибыл? Один?

Незнакомец замялся было, потом ответил:

— Не один...

Никому не сказав ни слова, Алмамбет уехал один на Ойнок-Таш.

Спешиваться он там не стал; держа в руке сложенную вдвое плеть, оглядывал окрестность. Вровень со спиной коня торчал жесткий купырь, цвел белый горец, терпко пахла ярко-малиновая смолка. Пчелы гудели над разнотравьем, быстрыми темными точечками мелькали с цветка на цветок в поисках меда. На вершине полузасохшей арчи [1] размеренно и тоскливо куковала кукушка. Ниже по склону кудрявились заросли орешника. Серебрились по саям ручьи, горы были подернуты дымкой, а небо над ними раскинулось синим шелком. Ни души. Безмерна, бесконечна простая тишина природы...

Но вот вздернул голову, навострил уши усталый конь: из ближайшего распадка послышался шорох, потом приглушенный говор. Закачались верхушки купыря. Алмамбет потянул за повод, повернул коня в ту сторону. Из зарослей вынырнули два рослых джигита. У обоих в

---

[1] Арча — горный можжевельник.

руках по ружью, оба опоясаны мечами. Поздоровались по кочевому обычаю:

— Цел ли, благополучен ли ваш скот?

Алмамбет молча кивнул.

— Сюда пожалуйте...— один из джигитов показал куда.

Подъехали ко входу в пещеру. Человек двадцать вооруженных джигитов поднялись приветствовать Алмамбета.

Алмамбет спешился. Решительно подошел к темному отверстию входа. Кто-то из-за его спины сказал:

— Бек, он прибыл...

Алмамбет вошел, поздоровался. В глубине пещеры сидел на прикрытой подстилкой охапке травы какой-то человек в мерлушковой шапке, в старом чапане. Сидел он, скрестив ноги, угрюмо опустив голову, и похож был, как показалось Алмамбету, на странствующего торговца. Нехотя и негромко поздоровался он в ответ; Алмамбет по голосу не признал его, а разглядеть в темноте как следует не мог.

— Мусулманкула нету? — спросил Алмамбет.

Никто ему не ответил, но все повернулись к сидящему, а тот, не поднимая головы, не глядя, сказал:

— Не узнаешь?

Алмамбет вздрогнул:

— Ты?!

Пожав Мусулманкулу руку, сел Алмамбет наземь, и в пещере сразу стало светло: стоя, горец своими широченными плечами загораживал вход, не пропуская в пещеру дневной свет. Теперь Алмамбет ясно видел лицо Мусулманкула, осунувшееся и горестное, с горящими, беспокойными глазами.

Не зная, с чего начать разговор, сидели они оба как в воду опущенные.

— Вот мы и прибыли в ваш аил, Алмамбет-аке! — сказал наконец Мусулманкул и с трудом выдавил на лице улыбку.

Алмамбет откликнулся:

— Ничего, братец, что ж... вот и ладно, что приехал... Земля тебе знакомая, люди тоже.

Мусулманкулу в словах его послышалась насмешка, она больно кольнула сердце. Он-то надеялся, что молочный брат посочувствует, приободрит: «Ничего, мол, поглядим еще! Куда только не ступало копыто киргизского

коня, где только не сверкали киргизские мечи! Не угнаться за нами сартам в их черных халатах!» Мусулманкул обиженно замолк, а Алмамбету и без того слова не шли на язык. Неуклюже поднялся он со своего места.

— Ладно... пойду я...

Глаза у Мусулманкула чуть на лоб не выскочили. Во времена своего могущества он при такой оказии тотчас велел бы кликнуть палача, но теперь не тут-то было! Теперь он только и мог, что буркнуть, закусив с досады губу:

— Сам себе бий сам собой и распоряжается!

Сморщился, прилег наземь и пустил вслед выходящему из пещеры Алмамбету грубое ругательство, но тот и не слыхал.

Алмамбет вернулся домой. Долго сидел, ссутулив широкую спину. Думал. Что делать, он не знал. В конце концов велел позвать своего весьма сообразительного родственника Абиля.

Назавтра с утра явился Абиль вместе с Бекназаром — еще совсем юнцом. Абилю уже близилось к сорока; он утратил молодую подвижность и стройность, раздался вширь, отпустил бороду и усы. В юрту вошел степенно, не спеша уселся, расспросил хозяина о здоровье, о том о сем и только после этого обратился к Алмамбету со словами:

— Дядя, вы не слыхали, что аталык прибыл в наши края? Что он бежал из Коканда?

Алмамбет ответил угрюмо:

— Явился. Я потому и велел тебя позвать...

У Абиля загорелись глаза.

— Где он?

— В Ойнок-Таше... Что нам делать?

— Вы у него были?

Алмамбет кивнул.

— Говорили с ним?

— О чем мне с ним разговаривать?

Абиль досадливо хлопнул себя ладонью по ноге.

Они с Алмамбетом двоюродные братья. Наградил бог Алмамбета силой, что у верблюда, да только сила эта ему вроде и ни к чему. Правда, унес он когда-то огромный валун с горного склона на обочину дороги у Курпильдек-сая,— освободил место для пашни. Кроме Алмамбета никто не в силах даже сдвинуть этот валун, аксакал гордится своим поступком, как самым важным

делом, и при удобном случае не преминет о том сказать. Властолюбием Алмамбет и смолоду не отличался, а теперь, когда уж стал пожилым, довольствуется той необременительной властью, какую имеет на пирах чарабаши — «начальник блюда», распределяющий мясо между гостями. Абиль совсем не такой, он настоящий бий. Похоронив аталыка Юсупа в Джар-Мазаре, Абиль собрал свою дружину и ушел вместе с нею из орды. Он сумел потом поднять кочевников, чтобы отомстить за Юсупа и продолжать самому его дело, но ничего путного из этого не вышло: датхой назначили Коджомурата, в Наманган послали беком Кедейбая, а войско кочевников распалось. Абиль знал, что Мусулманкул, им названный родич, оттого и перестал открыто ссориться с ордой. Но зло против Мусулманкула таил, ибо считал его виновником гибели Юсупа,— никто другой в орде не мог бы довести дело до конца, не справился бы с Юсупом. Ни разу не ездил Абиль к Мусулманкулу, а среди кочевников Абиля почитали не меньше, чем датху.

— Брат, как же нам быть,— Абиль скорее думал вслух, чем ждал ответа от Алмамбета.— Что ни говори, он нам молочный брат. Он рассчитывает на нашу родственную помощь, хочет спрятаться за нашими спинами.

— Но как мы можем его спрятать? — беспомощно сказал Алмамбет.— Это не какой-нибудь одинокий бедняк, это же сам Мусулманкул...

— Надо съездить к нему, потолковать. Как он сбежал и почему... А там подумаем, что делать.

К полудню они были уже возле Ойнок-Таша. Везли с собой кумыс и приготовленного молодого барашка. Алмамбета Абиль пропустил вперед.

Над входом в пещеру подымался тонкий синеватый дымок.

— Здесь он...

Подхлестнули коней. Джигиты Мусулманкула, которые заняты были, как видно, сборами в путь, приостановились, внимательно глядя на подъезжающих. У самой цели Абиль вырвался вперед и первым приветствовал стоявшего у входа в пещеру Мусулманкула. Тот ответил настороженно, руку Абилю пожал с явной неохотой.

Абиль же не стал, как обычно, расспрашивать о здоровье и прочем; обведя глазами окрестность, сказал горестно:

— О злосчастье! Скрываться в пещере...

Прижал к сердцу правую руку, склонился перед Мусулманкулом, как бы уступая ему дорогу.

— Пожалуйте, бек-ага... Поднимемся повыше и посидим...

Мусулманкул радостно встрепенулся, бросил на Абиля признательный взгляд и согласно кивнул. Они двинулись вперед, следом потянулись джигиты.

Вышли на открытый холм. Абиль говорил без умолку.

— Бек-ага, земля, где вы провели свое детство, народ, который вскормил и воспитал вас, ничего не пожалеют. Народ наш живет привольно, спокойно, что имеет — не прячет, по тому, чего нет — не тужит и питается по милости бога. Наши ковры, наши мягкие подушки — это зеленые луга, усыпанные цветами. Взгляните — они прекраснее ковров и чище любой постели.

— Конечно, конечно! — отозвался Мусулманкул.

Абиль повел рукой.

— Присядем же здесь, бек-ага!

Алмамбет в разговор не вмешивался, но когда они расположились на траве, подошел и тяжело, как верблюд, опустился рядом.

Бекназар прислуживал, угадывая малейшее желание Абиля, бегал на носках, подавал, принимал. Принес в маленьком бурдючке родниковую воду, вставил в отверстие бурдючка кусок полого стебля купыря и поливал воду Мусулманкулу на руки, будто из кувшина.

Расстелил достархан, быстро разделал мясо барашка, голову, как положено, поднес Мусулманкулу. Ловко взбалтывал кумыс в огромном, точно вставший на дыбы медведь, бурдюке, наливал в чашки, разносил по старшинству.

Кумыс пили без конца. Ели мясо. Говорили долго и много. По временам разговор обрывался, и тогда все сидели и слушали голоса птиц, шелест колеблемых легким ветром трав. Потом снова говорили, но каждый был напряжен, каждый избегал упоминаний о Юсупе, о жизни его и о смерти,— это было единственное, что могло вконец испортить еще и не налаженные отношения. Мусулманкул понимал это, понимал и Абиль. Мало-помалу переходили они от пустых любезностей к вещам важным, сокровенным,— к тому, о чем и собирались поговорить.

Мусулманкул слушал вдумчиво, но все чаще поглядывал на расторопного Бекназара и вдруг протянул ему недопитую чашку с кумысом.

— Тебя Бекназаром, говоришь, зовут, свет мой? Отведай кумыс из чашки твоего незадачливого брата,— предложил он негромко.

Бекназар с готовностью подхватил чашку, выпил кумыс с довольным видом.

— Говорят, что лицо — зеркало души. У тебя, свет мой, чистое лицо, и душа, должно быть, чистая... Да будет долгой твоя жизнь,— голос Мусулманкула звучал хрипло и слабо, и не верилось, что это голос человека, привыкшего повелевать, а не просить. От выпитого кумыса Мусулманкул размяк. Горький вздох вырвался из его груди.

— Абиль! Бекназар! Почему вы не бывали у меня в Коканде? — спросил он.

Бекназар посмотрел на Абиля, Абиль — на Алмамбета, а тот, испытывая жестокую неловкость, сидел, понурившись, опустив саженные плечи.

— Правда, не бывали, бек-ата. И не потому, что не было у нас времени, не потому, что боялись, а потому, что повода не было... Мы не такие, чтобы старших не уважать.

Мусулманкул понял. Наклонил голову, потом быстро глянул на Алмамбета и надолго погрузился в размышления.

— Я всегда считал, что без пастуха отары не бывает... Не ошибался, значит...— сказал он наконец и вздохнул еще раз, готовясь приступить к рассказу о своих делах.

— На меня многие точили зубы. Вы, наверное, слыхали, что я поддержал, назначил беком в Наманган негодяя Мирзата. Когда я был в гостях у родственников в Междуречье, он собрал все тюре-коргонское воинство и неожиданно напал на меня. Схватил, связал и связанного привез в орду. А собачий сын Кудаяр, наслушавшись всяких лжецов, действовал с ним заодно. Спасибо, заступилась за меня Джаркын-аим, вызволила. Заговорщики лишили меня всего, что я имел, выгнали из Коканда и не велели туда нос показывать. Но я ведь тоже раб божий. Года не прошло — собрался я с силами, пошел на Коканд. Негодяя Мирзата повесил на городских воротах...

Алмамбет слушал, опустив голову. Абиль не сводил с Мусулманкула глаз. Тот продолжал, все чаще прерывая слова тяжелыми вздохами.

— Врага всегда берегись, не забывай о нем ни на миг. Враг есть враг. Но ежели врагом становится твой же родич, ты узнаешь об этом только тогда, когда стукнет он тебя колотушкой по голове. В прошлом году поднял на меня руку Нармамбет. Он сумел повести за собой не только ташкентское войско, но и конницу из Чимкента, Сайрама, Туркестана, Аулие-Ата. Я вышел ему навстречу с большим войском, со мной был и собачий сын Кудаяр. Ах, собака, сын собаки! Когда войска сошлись лицом к лицу, он, улучив время, воспользовавшись наступившей темнотой, перешел на сторону Нармамбета. Есть, оказывается, подлые псы и среди тех, кто носит ханское звание... Если бы войско узнало о его поступке, такая началась бы сумятица! Но я положился на свое счастье. Я никому ничего не сообщил и двинул на рассвете свои отряды против Нармамбета. Бог меня не оставил, своего верного раба. Разбил я войско Нармамбета в пух и прах. Нармамбет бежал, а подлый пес Кудаяр попал ко мне в руки. Съежившись, как вороватый кот, сидел он передо мной. Мне бы разделаться с ним тогда, освободить престол и позвать из Бухары бродягу Малабека! Ослепить бы подлого клятвопреступника, заточить его! Эх, глупая моя голова! Простил я его, ради Джаркын-аим простил, снова посадил на престол. И вот теперь моя доброта обернулась против меня же...

Замолк Мусулманкул и крепко прикусил губу. Молчали и другие. Нечего было сказать в утешение.

Восемь лет правления Мусулманкула для народа были тяжкими. Свои повеления осуществлял он с помощью палачей, действовал насилием, сжал всех в железный свой кулак. Ни с кем не считался. Больше других страдало оседлое население, жители городов, особенно те, кто занимался торговлей. Недовольство росло день ото дня. Беки, которые готовили заговор, умело направляли это недовольство против Мусулманкула. Беки Оро-Тюбе, Ходжента, Ташкента отказывались подчиняться Мусулманкулу. Вскоре к ним присоединился бек Маргелана Утембай-кушбеги[1]. Кудаяр-хан снова перешел на сторону заговорщиков, хоть и тайно. Но настал наконец день, когда заговорщики выступили открыто. Предводительствуемые Касым-пансатом, ворвались они во дворец, и Мусулманкул вынужден был оттуда бежать после жесто-

[1] Кушбеги — высшая придворная должность, первый министр.

кой рукопашной схватки. Собрав остатки преданных ему кипчакских отрядов, он ушел из Коканда, пылая жаждой мести. Он привел своих кипчаков в Междуречье и бродил с ними по горам, искал опоры и поддержки у своих родичей-кочевников.

— Вай, Утембай!.. Вай, Нармамбет! — вскинул голову Мусулманкул.— Одного из вас я сделал правителем в Маргелане, другому отдал во власть Ташкент. Приласкал вас, когда были вы щенками, а когда стали взрослыми псами — на меня же набросились... Погодите, глупцы! — в неистовстве протянул он к сидящему возле него Алмамбету руки с растопыренными, дрожащими пальцами.— Погодите... погодите, безумцы! Всех вас повешу на воротах Коканда!

Алмамбет отпрянул в изумлении. Мусулманкул уже пришел в себя, опустил руки и, помолчав, проговорил устало:

— Сколько быстрых было коней — скакуном не стал ни один... Сколько близких было друзей — братом мне не стал ни один...

Все отчаяние беглеца вложил он в эти слова и продолжал:

— Хоть и не одна утроба породила нас, мы сосали молоко одной матери. Мало возле меня таких молодцов, как вы, мало... Я теперь как волк, который отгрыз себе лапу, чтобы освободиться из капкана.

Покрасневшими глазами глянул на Алмамбета.

— Этот наш брат побывал у меня, и спросил я его тогда, есть ли у него крепкие, надежные джигиты, а он отвечал, что сильнее его никого нет. Э-эх, что там говорить, завел я его в казну, чтобы взял он из нее богатство для себя и своего племени, а он уцепился за гнилой халат... Понял я тогда, что темный ты человек, брат, к жизни неприспособленный...

Алмамбет сидел с виноватым видом. Последние слова Мусулманкула, однако, задели его сильно.

— Вот ты говоришь, Мусулманкул... а ведь каждому свое. Деды наши учили нас, что от лишнего богатства только лишнее мученье,— загудел он.— Кем был Юсуп? И кем был ты сам?

Мусулманкулу дух перехватило — по самому больному месту резанули его эти слова. Ему подали чашку с кумысом, он не принял.

— Мы и так много выпили,— сказал он и ждал, что

увертливый младший брат уладит дело, успокоит его. Но Абиль не успокаивал. Разговор оборвался, и всем стало тягостно и неловко.

Абилю сердце защемило от воспоминания о Юсупе. Хорошо, по-родственному тот относился к нему... И снова вспыхнула в нем злость против Мусулманкула, холодно смотрел он на беглого аталыка.

Мусулманкул тоже вспомнил Юсупа — на свой, правда, лад. «Не забыли они!» — тревожно стукнуло сердце. Он подался вперед.

— Несчастный брат наш Юсуп! Какого ума был человек, настоящий вожак. Но и его уничтожили эти проклятые в черных халатах.

Абиль больше не мог сдерживаться.

— Мы знаем, бек-ага. Плохо, когда огонь разгорается изнутри, еще хуже, когда свой становится чужим. Если бы один хорошо известный нам человек не вырыл Юсупу яму, не справились бы с ним придворные хитрецы. Знаем, бек-ага, все знаем!

Мусулманкул не нашелся, что ответить, не мог сообразить, как вывернуться. Молча смотрел на Абиля: «Не забыли они о его крови. А если не смогут забыть, то не смогут и простить». Потом он взял себя в руки. Разве можно терять самообладание, когда обвинение открыто бросают тебе в лицо? Чего ради? Разве так уж плохи его дела, разве удача навсегда покинула его, что он проявляет беспомощность? Мусулманкул начал приходить в ярость. Побледнел.

— Молочные братья мои, я прибыл к вам с надеждой на помощь и поддержку,— начал он.— Я не столь уж ослабел, могу вступить в борьбу, опираясь на свои собственные силы, но, братья мои, если правду сказать, мои кипчаки теперь не так едины, как раньше. Я говорил вам о Нармамбете, говорил об Утембае, вот почему вынужден я немного рассчитывать и на вас. Как-никак, я вам названый родич, не забывайте об этом, помогите мне воинской силой, поддержите меня...

Никто не отвечал. Молчание длилось несколько минут. Нарушил его Алмамбет.

— А что ты собираешься делать с этой воинской силой? — спросил он.

— Верну себе орду! Уничтожу черные халаты до последнего колена!

Алмамбет высказал, что думал:

— Прибыл ты — добро тебе пожаловать, Мусулманкул, но пора бы и успокоиться. Зачем понапрасну будоражить народ? У тебя в волосах седина, на что тебе орда? На что тебе власть? На что тебе богатство?

Мусулманкул вспыхнул:

— Ой, брат! Ой, темнота твоя! Я же сказал, что хочу уничтожить черные халаты!

Абиль, приподнявшись на колено, ответил ему резко, зло:

— Бек-ага, не задевайте нашего аксакала! Что бы там ни было, мы его ни на кого не променяем.

Мусулманкул уставился на Абиля.

— Бросьте. Из-за чего вы горячитесь? — вмешался Алмамбет.— Не будет по-твоему, Мусулманкул. Ты хочешь уничтожить тех, кто носит черные халаты, так не будет этого! Ну, станешь ты их убивать, ведь богатые и сильные среди них не будут сидеть сложа руки, они захотят уничтожить жителей гор. Каково-то придется простому народу, Мусулманкул, если попадет он между двух огней? Скажи, Мусулманкул, разве сарты чужой народ?

Мусулманкул:

— Враги они!

— Народ народу врагом не бывает! Враждуют те, кто стоит у власти, такие, как ты, Мусулманкул. Ты называешь их черными халатами, но в черные халаты одел их ты, Мусулманкул, да и прозвище дал тоже ты. Язык, обычаи, горе и радости у нас и у них одни.

Гневом загорелись узенькие глазки Мусулманкула, губы его дрожали. Никогда не слыхал он таких жестких слов. Вскочил, крикнул развалившимся там и сям на траве — в блаженном оцепенении от кумыса — своим джигитам:

— Ведите коней!

Всполошились джигиты. Мусулманкул одним броском кинул себя в седло, ткнул рукой в сторону ошарашенного Абиля.

— Прощайте! Думал я получить помощь от вас. Но если вы жалеете сартов в черных халатах, если вы перекинулись на их сторону... дороги наши разошлись! Только знайте, добрый брат, придет день — и я вернусь. Меч у меня обоюдоострый, если затупилась одна сторона, то другая еще не тронута...

Абиль отвечал смело:

— На Юсупе, значит, пробовали ваш меч? Но у наших мечей тоже наточены обе стороны!

Вороной аргамак взыгрывал, перебирая ногами, рвал повод из рук. Мусулманкул ударил коня в бока ногами.

— Будьте здоровы, герои!

— Прощай!

Вороной машистым ходом уносил Мусулманкула. Стаей галок понеслись за ним джигиты...

— Волком стал...— тихо сказал Алмамбет и вздохнул.

7

...Запах крови стоял над Кокандом и Ташкентом, и вода в арыках текла, смешанная с кровью. Приспешники Кудаяр-хана голодными волками рыскали по улицам и любого кипчака убивали тут же, на месте,— только за то, что он кипчак.

И если трепещущая от страха жертва спрашивала: «За что, в чем моя вина?» — в ответ раздавалось одно только слово:

— Кипчак.

Со свистом разрезали воздух мечи, и падали наземь невинные головы...

К первым заморозкам поздней осени Мусулманкул собрал из преданных ему кипчаков войско тысяч в пятнадцать. Прикрываясь именем хана, придворные хитрецы натравливали против всех кипчаков простой народ, больше всего страдавший во времена владычества Мусулманкула. Издан был ханский указ, разрешающий безнаказанно убивать любого кипчака на месте и присваивать столь же безнаказанно имущество убитого. Около шестидесяти тысяч любителей поживиться чужим добром собрались под ханские знамена и двинулись, будто стая саранчи, на исконные кипчакские земли — в Междуречье. Нармамбет-датха и Утембай-кушбеги, столь рьяно помогавшие хану изгнать из Коканда Мусулманкула, теперь, в тяжелые для всех кипчаков времена, оказались в ужасном положении.

На чьей стороне справедливость? Никто не знал. Кочевые племена не могли противостоять кровавому половодью. Они не пришли на помощь кипчакам, своим соседям, но не приняли и сторону хана, восседавшего на троне. Береженого бог бережет: кочевники, заботясь о соб-

ственной безопасности, были настороже и чутко следили за ходом событий.

Мусулманкул по своему обыкновению напал первым. Он и на этот раз полагался на свою удачу, на присущие кипчакам отчаянную отвагу и дикий напор.

Готовясь к битве, кипчаки оделись в красное,— это был их цвет, цвет мужества и храбрости. В те времена носить одежды красного цвета имели право одни лишь кипчаки. У горцев носили халаты из красной парчи и

красные шапки только самые знатные, остальные одевались кто во что горазд. Оседлые люди,— их называли сартами,— шили себе черные халаты.

Гордые кипчакские беки шли теперь на смертный бой. Неудержимый гнев и жажда мести кипели в горячих сердцах.

Ханское войско рассыпалось по невысоким увалам. И вдруг с восточной стороны, из-за холма, хлынула лавина кипчаков,— будто ожило и двинулось вперед поле красных маков, освещенных восходящим солнцем. Дрогнула темная туча ханского войска. Загремели барабаны, схватились за оружие и конные, и пешие. А красная лавина надвигалась неумолимо, неумолкаемый громкий крик несся вместе с нею, и дрожала от топота земля. Отборные отряды сипаев еле успели грудью встретить врага. В шуме и звоне оружия сшиблись два войска и застыли на короткое мгновение. По обычаю, битва должна была начаться поединком двух батыров. Но кипчаки, готовые зубами рвать врагов, ринулись снова всем скопом. Началась жестокая, беспощадная рукопашная схватка.

Красное пламя пожара в черном осеннем лесу... Взметнулась стихия битвы.

Судьба на кону. На кону жизнь. Кто будет повержен? Кто победит? На одном крыле верх одерживают воины, одетые в красное, на другом — в черное. Одни берут натиском, другие — числом. Судьба на кону. На кону жизнь.

Валились убитые наземь, как подкошенные. Обе стороны несли большой урон, но не было, казалось, числа ханскому войску, а ряды кипчаков заметно поредели,— так все слабее и ниже становятся языки пламени, встретившись с водой...

Кипчаки потеряли в сражении более пяти тысяч человек. Кудаяр-хан лишился около десяти тысяч отборного войска. Мусулманкул отступил в сторону гор.

По залитому кровью полю битвы носились жадные грабители, догола обирали мертвых, срывали с них оружие и одежду. А назавтра обрушился жестокий набег на оставшиеся беззащитными селения кипчаков. Кровью и дымом запахло над селениями, и скоро осталось там, как говорит присловье, из твердого — одни лишь камни очагов, из мягкого — зола.

Горело сердце у Мусулманкула, как узнал он о набе-

ге. А что делать? Что? Он растерял силы, и нужно было вновь собирать их, но когда? Где взять время? Мусулманкул повернул назад. Шел с остатками своего войска по ночам, а затем сдался Утембаю-кушбеги и Нармамбету-датхе:

— В чем вина беззащитного народа? Родичи мои, если слушаются вас проклятые собаки, остановите грабеж и насилие. Вот я сам пришел к вам. Кто хочет сводить счеты, пускай сводит их со мной. Не склонил я голову перед своею судьбой, но склоняю ее перед судьбами вдов и сирот. Покарайте меня, убейте меня вы сами. Мужественному смерть не страшна. Об одном лишь прошу вас — не отдавайте меня в лапы проклятому псу. У нас с вами одна кровь. Если выдадите вы меня, пойдет о вас худая слава, пятно будет на вашей чести. Убейте меня сами. Скажите, что наказали меня, убили, пусть успокоятся черные халаты на этом и дадут покой ни в чем не повинному народу... А если... если не убьете меня, братья мои, объединяйтесь, пусть один из вас указывает путь, пусть другой возглавит войско,— попытайтесь спасти кипчаков. Я не стану вам поперек дороги, клянусь. Можете накалить лезвие кетменя и поднести его к моим глазам. Я не закрою их, пусть они лопнут у меня. Тогда и вы успокоитесь, и я тоже. Отвезите меня потом в горы, оставьте меня в лачуге у какой-нибудь одинокой вдовы-старухи. Черные халаты тому виной, я ли, вы ли, но только страшные беды обрушились на кипчаков. Если трудно вам придется, братья мои, если не найдете выхода, приходите ко мне за советом, не гордитесь. Надо нам, братья, вместе подумать о том, как сделать, чтобы не перевелся род кипчаков. Я все сказал...

Они же думали о том, что если выдадут Кудаяру его врага,— смилостивится хан, остановит резню.

Вчерашний грозный повелитель государства стоял обнаженный до пояса и закованный в цепи на высоком деревянном помосте посреди кокандского базара.

Торговли нет, но базарная площадь полна народу. Колышется плотная толпа, блестят на солнце потные загорелые лица. Кое-кто, как видно, попал сюда случайно: эти люди, которых привели на базар повседневные заботы, немало дивятся происходящему, слушают, широко раскрыв глаза и рты, но в разговоры не вмешиваются.

Есть и другие, пришедшие на площадь будто по какому торжественному поводу: они не спеша прохаживаются в чистых белых рубашках, в черных халатах, подпоясанных новыми платками, в синих чалмах. Лица у них довольные, глаза блестят, они громко переговариваются. Есть и третьи — те, которых затянул с собою на площадь людской поток; они стоят и смотрят просто потому, что выбраться из толпы и уйти почти невозможно.

— Что будет-то?..

— Казнят его...

— Увидим, что будет. Может, помилует святейший хан.

Один из участников разговора покачал головой:

— Ты, Салимбай, рассуждаешь, как ребенок. Не для того они бились, чтобы потом миловать...

— Ха! — подхватил второй.— Может, хан и помилует, да другие не помилуют.

— У них дело зашло так далеко, что пока один другого не уничтожит, миру не бывать.

Душно. Пахнет пылью. Пахнет потом. Говор, час от часу усиливаясь, волной перекатывается по площади.

Медленно, с трудом прокладывая дорогу в толпе, бредет по базару дервиш, опираясь на свой посох; позвякивают при каждом шаге железные побрякушки на чаше для подаяния, сделанной из тыквы-горлянки. Дервиш будто ищет кого, пугливо и осторожно вглядывается в лица, но едва на него обращают внимание, тут же отворачивается и уходит, негромко напевая:

О смертный, смертный божий раб,
Вокруг себя взгляни!
Безнравственны теперь отцы,
Без совести — юнцы.
Кто скажет нам, как поступить?
Погубят мир глупцы...[1]

Людям дервиш этот уже примелькался. Никому нет дела ни до его полубезумного лица, ни до его грязных лохмотьев, ни до того, что он бубнит себе под нос. Редко кто бросит в его чашку мелкую медную монету,— бросит, не глядя, не прерывая разговор. И дервиш не глядит на подаяние. Не все монетки падают в чашку, иные пролетают мимо, но дервиш не поднимает их, он по-прежне-

[1] Песня дервиша переведена В. Элькиным; остальные стихотворные переводы в тексте сделаны А. Кафановым.

му бредет от человека к человеку, напевая странную свою песню:

О смертный, смертный божий раб,
На землю меч швырни!
Дать мусульманам бы обет:
Вражды меж нами нет.
Но есть вражда, как поступить,
Чтоб мир в согласии мог жить?

Но вот заревели карнаи, и вздрогнула толпа.

— Потомок пророка Кудаяр-хан! Потомок пророка Кудаяр-хан!

Говор в толпе умолк, все повернулись в ту сторону, откуда слышался крик глашатая.

— Счастливый потомок пророка Кудаяр-хан!

В восточных воротах базара показался светло-серый конь, на котором восседал хан. На площади все разом пали на колени, склонили головы ниц, распростерлись в пыли. Мертвая тишина воцарилась на недавно еще гудевшей, шумной площади.

Кудаяр-хан ехал впереди. Крепко стиснув губы — над верхней только недавно отросли маленькие усы,— вперив в пространство неподвижный взгляд широко раскрытых глаз, проследовал он мимо помоста. Хан был бледен — то ли от гнева, то ли от страха. Поводья он держал в левой руке, правой сжимал раззолоченную рукоять упертой в бок свернутой вдвое плети. Светло-серый конь хана всхрапывал при виде опустившихся ниц людей. Рядом с ханом ехал новый минбаши Касым. И новый приближенный советник Нияз-кушбеги. Несколько биев кочевых родов во главе с родным дядей Кудаяр-хана Кедейбаем. Среди них был и Нармамбет-датха. Медленно продвигались они по площади; люди, не поднимаясь с земли, отползали, давали дорогу.

Хан и его приближенные остановились возле чайханы напротив помоста. Хан глянул на распростертую толпу и начал подниматься по выстланной ковром лестнице к шатру, в котором приготовлено было для него заранее высокое сиденье.

По правую руку от хана и чуть ниже его уселись Касым-минбаши и Нияз-кушбеги, по левую — Кедейбай, Нармамбет, а затем и прочие беки строго по придворному установлению. Огромного роста чернокожий раб, приблизившись к хану сзади, помахал над его головою души-

стым опахалом из перьев райской птицы. Особым настоем ароматных трав пропитывали такое опахало, и оно при движении распространяло запах свежести и чистоты.

Хмур и молчалив был хан Кудаяр.

Едва затихли карнаи, Касым-минбаши молитвенно воздел руки.

— Аминь!

Люди на площади подняли головы, тысячи рук взметнулись вверх, и прошумело тысячеголосое: «Аминь!» Кудаяр-хан, не сводя глаз с полуобнаженного человека на помосте, слегка провел обеими руками по изжелта-бледному лицу.

Закованный в цепи пленник твердо и бесстрашно смотрел на хана и его приближенных.

— Смерть! Смерть! — выкрикнул кто-то из толпы, и множество голосов подхватило:

— Смерть! Смерть волку!

— Мир нам! Мир! Смерть бешеному волку!

— Смерть!

Большинство искренне верило, что со смертью стоящего на помосте человека наступит конец тяжкой для всех смуте. Радость переполняла сердце Касыма-минбаши, он искоса внимательно следил за выражением лица Кудаяр-хана.

Казнь началась.

Миршабы выволокли из зиндана около сотни пленников и пригнали их к самому помосту, на котором стоял Мусулманкул. Одетые в черное палачи брали пленников по одному и, заставив каждого опуститься на колени, сносили головы с плеч ловко, привычно, будто играючи. Обезглавленные трупы тут же оттаскивали в сторону, сваливали один на другой.

Один из тех, кто уже стоял на коленях, вдруг обернулся к толпе, крикнул отчаянно:

— За что? Родичи, за что?!

— Кипчак!

Как плевок, вылетел этот ответ из шатра у чайханы. Народ негромко загудел, и непонятно было, что в этом,— одобрение или недовольство.

Кровью пахло в воздухе. Кровь текла по пыльной земле, и те, кто стоял поближе к месту казни, осторожно пятились от подбирающихся к ногам темных струек.

Один лишь Касым-минбаши не насытился местью. Он

смотрел на казнь молча, сидел неподвижно, крепко стиснув оба колена растопыренными пальцами рук.

Касым думал — казнь приверженцев сломит волю Мусулманкула, дрогнет его сердце при виде потоков кипчакской крови. Упадет Мусулманкул, начнет молить о спасении, о помиловании ни в чем не повинных своих родичей... И, услышав его ослабевший молящий голос, посмеется над ним Касым, вдоволь натешится над поверженным, униженным врагом. Однако Мусулманкул все стоял твердо, прямо, высоко держа седую голову. И Касым приказал силой согнуть ему спину...

Притомившихся, одуревших от запаха крови палачей сменили другие.

Двое из них — видно, так было условлено заранее,— подошли к Мусулманкулу. Двое силачей с цепкими, как клещи, ручищами. Каждый взял одну руку Мусулманкула в свои, погладил, потянул... и вдруг оба враз отпрянули в стороны. Хруст костей раздался во внезапно наступившей тишине: палачи ломали Мусулманкулу пальцы. Дрогнул всем телом Мусулманкул, рванулся, но тут же сдержал себя, не крикнул, не застонал и даже не глянул на своих мучителей. Кровь хлынула ему в лицо от напряжения, он весь побагровел. Палачи вошли в раж. Повалив Мусулманкула, начали ломать ему ноги. Мусулманкул закусил губы. Мучители ожесточены были его молчанием, его сопротивлением. Один из них завернул Мусулманкулу руку за спину, с треском сломал ее. Мусулманкул потерял сознание,— губы у него посинели, глаза закатились под лоб.

Он скоро пришел в себя. Открыл глаза, медленно повел ими по толпе. Губы у него тряслись, тряслась отросшая, сивая от седины, борода. Он хочет просить о милости, о том, чтобы убили его скорей, чтобы не мучили? Вот он раскрыл рот, набрал в грудь воздуху, собирая остатки сил. Встрепенулся, как беркут, поверженный наземь со сломанными крыльями.

— Кипчак! Ты здесь?

Голос задрожал, оборвался. Тишина стояла над площадью. Потом все услыхали отклик.

— Я здесь, отец!

Тишина взорвалась множеством удивленных возгласов. Кто? Где? Где он?

Мусулманкул снова собрался с силами, крикнул ободренный:

— Уходи! В горы уходи! Слышишь?

— Слышу, отец! Слышу! — ответил дрожащий детский голос.

Теперь все заметили подростка, который вместе с другими людьми стоял на верхушке базарной стены.

Мальчугана пытались схватить, но он ловко увернулся, пробежал несколько шагов по дувалу, потом спрыгнул и скрылся в толпе.

Касым-минбаши скрипнул зубами.

— Не перевелось еще проклятое семя!

Кудаяр-хан попытался жестом успокоить его, но Касым только дернулся свирепо. Злоба душила его. Тем временем Нияз-кушбеги кивком подозвал к себе одного из рабов и шепотом велел ему принести колос пшеницы. Затем Нияз принялся что-то объяснять на ухо Касыму. Тот согласно кивал и тотчас приказал доверенным нукерам закрыть все ворота на базаре.

Пытка возобновилась.

Видно, откликнувшийся на его призыв голос вселил в Мусулманкула новые силы, потому что теперь он снова поднял голову и улыбался гордо. Палач нарочито медленной походкой приблизился к нему. Мусулманкул сам протянул ему вторую, еще целую руку. Палач не принял ее, но неожиданно ударил тыльной стороной меча Мусулманкула по колену, потом по щиколотке. Мусулманкул, посиневший, страшный, крепился — молчал...

Народ заволновался.

— Хоть он сын змеи, зачем же так мучить!..

Люди шарахались из стороны в сторону, кое-кто начал молиться. Кинулись к воротам,— ворота все на запоре, у ворот стоят вооруженные стражники.

— О творец... Что за времена настали...

Тем временем четверо палачей принесли на носилках тяжеленную свинцовую болванку. Мусулманкула повалили на помост так, чтобы голова его лежала щекой на полу. Он не закрыл глаз. Палачи медленно опустили болванку ему на голову.

Снова зашумел народ. Зашевелились и те, кто сидел в шатре у чайханы. Кудаяр-хан, вытянув шею, привстал с места. Касым-минбаши, казалось, прислушивался,— не закричит ли Мусулманкул. Нияз-кушбеги задумчиво, даже мечтательно вертел в пальцах принесенный рабом пшеничный колос — будто сидел в прохладном вечернем саду и слушал соловьиное пенье. Желчное лицо Кедей-

бая пошло морщинами, толстая нижняя губа у него отвисла.

Затрещали черепные кости. Расплющились челюсти, выкатились глаза... Ни крика, ни стона... Темная кровь стекала на помост с седых слипшихся усов...

Жестоким, как волк, был этот человек, и смерть он принял, как волк, не прося о пощаде...

— Искупление! Месть свершилась! Искупление!

Люди на площади почувствовали облегчение,— даже те, кто горел неутолимой местью. Не удовлетворены были только сидевшие в шатре у чайханы, больше всех — Касым-минбаши. Он не дождался желаемого, не услышал стонов боли, мольбы о пощаде и теперь сидел подавленный и безмолвный. Нияз-кушбеги понимал его; чуть заметно улыбаясь, протянул он Касыму пшеничный колос.

— Минбаши... что это?

Касым глянул на него недовольно. У Нияза вид был загадочный, глаза блестели.

— Ну? — не отставал он.— Как это называется?

Теперь уже все в шатре смотрели на колос.

— Кушбеги, как понять вашу загадку? Всем известно, что это такое. Пшеница. Разве вы сами не знаете, кушбеги? — раздраженно сказал Касым.

— Спасибо...— кушбеги сощурил глаза.

Он протянул было колос Кедейбаю, но тут же убрал руку,— видно, не хотел задевать родного дядю хана и подумал к тому же о многочисленных кочевых аилах, которые поддерживали Кедейбая. Обратился к Абилю.

— Ну, а вы скажите, мирза, что это?

Страх мелькнул у Абиля в глазах.

— Пшеница,— ответил он тихо, но произнес это слово не так, как произнес его Касым. Тот сказал «бугдай», Абиль — «буудай» [1]. Нияз довольно кивнул и протянул колос чуть ли не к самому носу Нармамбета-датхи.

— Теперь вы скажите...

Нармамбет брезгливо отвернулся.

— Сами, что ли, не видите? — бросил он.

У Нияза-кушбеги холодом подернуло глаза.

---

[1] Тюркские языки характеризуются значительной лексической близостью и наряду с этим четко выраженными фонетическими особенностями в произношении одних и тех же слов. Нияз строит свою «игру» на особом произношении кипчаками слова, обозначающего пшеницу.

— Я вас спрашиваю, датха. Мне от вас любопытно услыхать...

— Пшеница! — бросил Нармамбет, но произнес он слово на третий лад, как все кипчаки: «бийдай».

— Бийдай! — насмешливо подхватил Нияз.— Вот как! А ведь по этому слову можно безошибочно узнать кипчака, верно, датха?

— Ну и что?

Но Нияз-кушбеги оставил этот вопрос датхи без ответа. Он с поклоном обратился к Кудаяр-хану.

— Повелитель, вы слышали... По одному только слову можно узнать кипчака. Падишах! Если вы хотите мира, счастья, благоденствия своему царствованию, благоволите дать указ вашему минбаши. Ведь падишах знает, что не перевелось еще семя кипчаков, слышал, что даже сюда, на площадь, пробрались они. Дайте указ, и минбаши с легкостью извлечет каждого нечестивого кипчака из собравшейся здесь толпы верных ваших рабов.

Касым-минбаши только теперь понял, что к чему, даже вскочил.

— О падишах! — В голосе его прозвучала мольба.

Кудаяр-хан улыбнулся, посмотрел вопросительно на Кедейбая, но, едва тот открыл рот, заговорил сам:

— Хорошо, пусть минбаши накажет наших врагов, чтобы не смели они впредь посягнуть на нас. Не так ли, дядя? Да будет так...

Воля хана священна. Приказ хана — закон. Кедейбай-датха покорно опустил голову и прикусил язык.

Но Нармамбет-датха, белобородый, с умными глазами, молчать не собирался, хоть и был ошеломлен. Едва сдерживая волнение, обратился он к Кудаяру.

— Повелитель! Мусулманкул был жесток и кровожаден, я сам изгнал его из орды, невзирая на наше с ним родство. Я сам бросил его к твоим ногам, повелитель. Я поступил так во имя того, чтобы единение и справедливость вернулись в наше государство...

У Нармамбета перехватило дыхание, набрякшие мешки у него под глазами тряслись.

— Повелитель, кушбеги идет на поводу у дьявола. Не поддавайся дьявольскому наущению, повелитель! Язык дьявола сладок, но ядовит, повелитель!..

— Замолчи, кипчак!

Касым-минбаши, скрипнув зубами, ухватился за рукоять кинжала.

— Твоей власти недостаточно, чтобы заткнуть мне рот! Между нами сидит повелитель. Не повышай голос.

Кудаяр-хан слушал молча, нахмурив брови. У прямого и правдивого датхи много раз просил он помощи, поддержки, совета. Много раз обещал ему помнить добро. Но пал теперь жестокий Мусулманкул, нет больше единства у кипчаков. И Нармамбет уже не тот,— старик беспомощный...

Кудаяр-хан отвернулся.

Касым в порыве благодарности припал к стопам хана.

— О падишах, мы только послушное орудие в ваших руках, только меч вашей справедливости, занесенный над головами врагов...

В мгновение ока в руках у всех палачей оказалось по пшеничному колосу. Одетые в черное, двинулись палачи цепью, один за другим, обходить толпу, и каждому подносили колос к лицу.

— Это что?

— Бугдай...

— Это что?..

Смятение охватило всех. Люди в страхе пытались бежать, прятались друг за друга...

— Это что?

— Буудай...

— Что? Повтори-ка...

— Буудай.

Дальше и дальше идут по толпе палачи. Вот один из них остановился возле худого, изможденного человека в полосатом халате. Тот растерянно смотрел на пшеничный колос и молчал. Сосед подталкивал, торопил его, подсказывал:

— Бугдай, говори, Хасанали, ну...

— Тебя кто спрашивает? Стой и молчи! — рявкнул палач и сам поторопил молчащего:

— Ну, живей! Что это?

У Хасанали шевелились губы, но голоса не было. Он попятился было, но палач не отпустил.

— Би... бий...

— Что?!

Палач занес меч над головой Хасанали.

— В чем я виноват? Что я сделал?

Черной тенью надвигался на него палач, огромной черной тенью, несущей смерть.

— Кипчак!

— А-а-а!..

Свистнул тяжелый меч. Повалилось в пыль окровавленное тело.

И снова:

— Это что?

— Бугдай...

— Это что?..

Шевеля иссохшими губами, горько сморщив темное, блестящее от пота лицо, по-прежнему брел в толпе дервиш, по-прежнему тянул свою песню.

Висит над подданными рок,
Властитель грозен и жесток.
Что скажешь, как поступишь тут?
Приходит, видно, миру срок.

И все тот же пугающий своим мрачным однообразием припев:

О смертный, смертный божий раб...

Дервиша остановил палач.

— Это что?

— Конец добру,— отвечал дервиш, подняв на него тоскливые глаза.

— Ты что болтаешь? Прямо говори!

— Смерть,— сказал дервиш.

Палач угрожающе поднял меч. Дервиш оскалил зубы, и непонятно было, то ли смеется он, то ли собирается заплакать.

Как волк зимой добычу рвет,
Так родич родича грызет.
Что делать? Как мне их разнять?
Быть может, мир к концу идет,—

затянул он, прямо глядя на палача, но словно не видя его, забыв о нем. Потом повернулся, пошел своей дорогой.

— Вернись! — заорал палач.

Дервиш остановился, все так же скаля зубы. Но глаза его ожили, загорелись. Палач ткнул колос дервишу в лицо.

— Говори, что это! Ну...

Ничуть не испугавшись, дервиш тронул пальцем запекшуюся на рукоятке палаческого меча кровь.

— А это что?

Палач не нашелся, что ответить. Дервиш горестно скривил лицо.

— Грех... грех...— забормотал он.

Палач стоял багровый, онемевший и тяжело дышал. Набрякли от напряжения жилы на бычьей шее. Не решался палач убить дервиша, святого дервиша, отказавшегося от всех благ бренного мира. Поднять руку на него — грех и на этом свете и на том, неискупимый грех. И дервиш ушел невредимый.

О смертный, смертный божий раб,
Жалка твоя судьба.
Рабами суждено нам жить,
Согласию средь нас не быть...

Таяла, растекалась толпа. Там, где прошли палачи, остались лежать кто ничком, кто на спине — убитые. Из живых никто не осмеливался склониться над мертвым, поглядеть в лицо, дотронуться до окровавленного тела. У ворот в дальнем конце базара палачи пропускали мимо себя людей по одному, как баранов.

Нармамбет-датха закрыл глаза, заткнул уши. Не в силах был слушать крики, не в силах видеть отчаянные лица. Но крики звенели в ушах, лица стояли перед глазами. Как ни старался датха, не мог удержать слезы. Рыдая, склонил седую голову перед Кудаяр-ханом.

— О повелитель... Вот я припал к стопам твоим. Не сделал этого Мусулманкул — делаю я. Молю тебя, заклинаю... Останови кровопролитие, повелитель.

Кудаяр-хан смотрел на него угрюмо. Нармамбет-датха еще ниже опустил голову, коснулся лбом пола.

— О повелитель... Просить плату за содеянное добро — дело собаки. Пусть я стану собакой. Я прошу. Останови резню. В тяжелые для тебя времена я был плетью в твоей руке, был тебе опорой на подъемах и спусках. Во имя этого выполни мою просьбу, останови кровопролитие. Если сделанное мною для тебя ничего не стоит, прошу не за бывшие мои услуги, а за будущие выполнить мою просьбу. До конца дней своих буду тебе верным слугой...

Кудаяр-хан не дрогнул. Нияз-кушбеги, который все это время смотрел на хана со страхом,— а не смягчится ли, причем смягчится в присутствии Кедейбая, вожака кочевых родов,— сказал со вздохом облегчения:

— Почтенный и уважаемый датха! О чем вы толкуете? Мы с вами рабы повелителя. Нет у нас права, датха,

требовать от повелителя вознаграждения за то, что мы сделали тогда-то и тогда-то. Подобный поступок есть нарушение шариата. А вы ведь знаете, уважаемый датха, что преступающий законы шариата достоин кары повелителя на этом свете, а на том свете осужден будет гореть в адском огне.

Кудаяр-хан гневался. О чем тут говорить? Хан — воплощение бога на земле. Кто из простых смертных смеет препираться с ним? Любой должен проявлять полную покорность, чего бы ни пожелал от него хан. Непристойно ведет себя Нармамбет-датха, предъявляя свои счеты к нему, хану.

— Знаете ли вы, кому служите, датха? Понимаете ли, с кем пытаетесь сводить счеты? — сказал он, и Нармамбет опомнился.

Кудаяр-хан приподнялся, Нияз-кушбеги поддержал его под локоть. Хан повернулся к выходу из шатра. Нармамбет выхватил из ножен маленький кривой меч с выложенной драгоценными камнями рукоятью — скорее украшение, а не оружие. Бросил меч под ноги хану.

— На! Зачем мне жизнь, когда истребляют мой народ? Руби мне голову... Я тоже кипчак!

Кудаяр-хан даже не глянул на него. Осторожно перешагнул через меч и ушел.

В ту же ночь оседлал Нармамбет коня. Был отдан тайный приказ не выпускать датху из города. У каждых из восемнадцати городских ворот стоял во главе охраны сотник, и каждый сотник был строго предупрежден. Нармамбет-датха двинулся не к дороге на Ташкент, но к дороге на Бухару. Он знал, конечно, что пути ему преграждены, и решил идти напролом, решил пробиться любой ценой. Сел на белогривого игреневого скакуна, голову свою повязал красным, сменил дорогую парчовую одежду на черную кольчугу, подпоясался крепко, взял обоюдоострый боевой меч... Так и ехал он впереди своих джигитов, держа обнаженный меч,— будто на поединок. Давно он не брал в руки боевого оружия: ни возраст, ни положение не требовали того. Сегодня же он рвался вперед, точно лев, ушедший из засады.

Стражники ждали его. Сотник, который стоял на стене над воротами, крикнул:

— Датха! Вернись! Повелитель приказал...— на этом речь сотника оборвалась: перевалившись через зубцы крепостной стены, упал он наземь...

Нармамбет сунул за пояс еще дымящийся русский пистолет.

— Вперед! С именем бога! — крикнул датха и первый ринулся к воротам.

Ударили два выстрела — попадали с коней два Нармамбетовых джигита. Началась рукопашная, засверкали клинки. Кипчаки бились насмерть — им нечего было терять. Остаться в городе — верная смерть, пробиться, уйти из города — возможное спасение, если не всем из них, то хоть некоторым. Не страшась выстрелов, не обращая внимания на раны, теснили они сторожевую сотню, упорно теснили к воротам.

— Рубите! С богом! Бейте их!

Голос Нармамбета-датхи гремел в ночной темноте, далеко-далеко разносился по городу. От ближайших ворот скакали уже на шум боя конные воины. С одной из башен ударила пушка... В ужасе пробуждались в своих домах горожане: господь всемилостивый, снова схватка, снова льется кровь!..

Не поспела к стражникам подмога, смяли их джигиты Нармамбета, отворили ворота и ушли, укрылись в объятиях ночи. Вслед им еще два раза выпалила пушка, но напрасно. Гулким эхом отдались в ночной степи орудийные выстрелы, и наступила тишина.

8

Пал Мусулманкул. Кончилась ли на этом смута в орде?

Кудаяр-хан продолжал избиение кипчаков. У тех, кто толкал его на это, была своя цель. Они внушали хану, что пока не стерт с лица земли последний кипчак, не будет мира и покоя. Кипчаки были племенем сильным, влиятельным и многочисленным, расправиться с ними значило не только избавиться от их непосредственных притязаний на власть, это значило лишить могучей опоры кочевые племена. И вот наиболее дальновидные из кочевничьих биев, Алымбек-датха и Алымкул, в 1858 году объединились с кипчаками и создали большое войско. От повиновения Кудаяр-хану они отказались, ханом своим объявили Мала-бека. Двинулись отряды кочевников с высоких гор, от истоков Карадарьи и Нарына, двинулись на быстроногих, выносливых конях... Кудаяр-хан бежал в Бухару...

Не стало Кудаяр-хана у власти. Не стало у власти и Касыма-минбаши и Нияза-кушбеги. Прекратились ли на этом раздоры?

Мала-хан старался собрать вокруг себя как можно больше биев кочевых родов. Он и войско создавал в основном из кочевников, полагая, что они более отважны, более искусны в воинском деле. Но истребить, как того некоторые хотели, все племя мангытов в отмщение за кипчаков Мала-хан не позволил. Он приложил все усилия, чтобы помирить старейшин враждебных племен. При дворе ввел бухарские порядки, стремился усилить личную власть хана и свести на нет роль минбаши. На этом месте был при нем Алымбек-датха, но хан только на словах признавал его, а на деле не допускал его к государственным делам. Неусыпно следил он за приближенными, знал все тонкости их взаимоотношений и, если ловил кого на поступке, направленном хану во вред, карал без жалости. Прошло немного времени, и те самые беки, которые возвели Мала-бека на трон, стали бояться его. Попробовал было воспротивиться ему Алымбек-датха, но хан отдал приказ умертвить его ночью, тайно. Случайно узнавший об этом Алымбек вынужден был бежать в горы. Хитер и ловок был Мала-хан, умело заигрывал то с теми, то с другими, умело находил себе сторонников. Наладил он отношения и с соседями. Но и он — ловкий, проницательный, изощренный в хитростях — не сумел положить конец междоусобицам и смуте. В 1862 году его ночью задушили сонного заговорщики.

Наступил ли после этого мир?

Кудаяр-хан вернул себе престол с помощью бухарского эмира. Но продержался на престоле недолго. Воины-кочевники на своих взмыленных конях снова вынудили Кудаяра бежать в Бухару. А вели кочевников и на этот раз Алымбек-датха и Алымкул. В 1863 году подняли они на белом войлоке двенадцатилетнего Султансеида, сына Мала-хана. Аталыком при нем стал Алымкул.

Может, Алымкулу-аталыку удастся покончить с раздорами? Начало его правления ознаменовано было сварой с Алымбеком-датхой. Через год свара эта завершилась усекновением главы Алымбека...

Нет, не видно было конца раздорам. Скоро погиб и Алымкул — под стенами Ташкента, во время сражения с генералом Черняевым...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Станет ли беркут, привычный к свежей крови, клевать вонючую падаль? Сарыбай-соколятник только вздыхал да отворачивался, когда проголодавшаяся птица тянулась к нему, просила есть, как просит неоперившийся птенец.

— Чем накормлю тебя завтра? Что дам послезавтра?

Забота ссутулила охотнику плечи. Что делать? Как найти выход? А найти надо...

Сарыбай пошел прочь из аила — на густо поросший можжевельником горный склон. Осмотрел расставленные третьего дня силки,— ничего. Хоть бы крот попался!

Суровая и долгая зима не давала пощады не только домашнему скоту, но и дикой живности. Погибло, не дотянув до весны, множество птиц. От голода и холод был страшней, вымерли фазаны и куропатки; падали на лету и становились легкой добычей лис обессиленные вороны. Косули забегали в загоны для скота и попадали под нож; некоторая часть их успела уйти в места, где снегу было не так много.

Но вот потемнела земля, вскоре пробилась и зелень. Сарыбай бродил и бродил в поисках дичи, но поиски эти были тщетны. Неужто совсем оскудела земля?

Поздно вечером вернулся он домой, смертельно усталый. На пороге юрты ждала его Суюмкан.

— С добычей тебя, охотник,— сказала она, а измученный Сарыбай не в силах был даже ответить жене, только улыбнулся невесело.

Справа от входа в просторную юрту встрепенулся, захлопал крыльями беркут. Голова его была закрыта колпачком, но он, не видя, почуял хозяина и с надеждой тянулся к нему с пронзительным писком. Сарыбаю показалось, что даже голос ослабел у голодной птицы, и тяжело было от этого у охотника на душе.

— Трудно ему, соколятник. Чуть заслышит где шорох, тянется туда. Пищит, еды просит. Хоть бы кусочек мяса... Жалуется по-своему, бедняга, как дитя малое. Как почует, что надеяться не на что, опустит крылья и сидит... Отпусти его, соколятник... Найдется еще, бог даст, беркут на твою долю, отпусти, не мучай его...— попроси-

ла Суюмкан.— Да и ты весь оборвался по колючкам, отыскивая ему пропитание.

— Что ты, баба, болтаешь?

Сарыбай сердито нахмурился, еще горше стало ему. «Отпусти»! Легко сказать — отпусти. Он как-никак соколятник, настоящий соколятник, как бы тяжко ни приходилось ему сейчас. Беркут у него испытанный, хваткий, не первый год они охотятся вместе. Лучше у себя вырезать кусок мяса и накормить птицу, чем отпустить. Бессловесная тварь, а друг этот беркут Сарыбаю. Друг и помощник, все равно, что член семьи.

Суюмкан между тем хлопотала по хозяйству. Доставая из мешка толокно, сказала с тяжелым вздохом:

— И у нас еда кончается. У нас и у всей нашей родни. Они на нашу юрту смотрят, а нам самим едва на полмесяца хватит. Была бы, как в прошлые годы, дойная скотина, мы бы и горя не знали. Где оно, молоко-то?

— Хватит! Что ты меня терзаешь? — взорвался Сарыбай.

Потом он долго сидел в мрачном раздумье. Велел позвать Мадыла.

Мадыл вошел в юрту, поздоровался. Сарыбай молча кивнул.

— Брат,— обратился он через некоторое время к Мадылу,— о корме для беркута позабочусь я.— Он тяжело вздохнул.— У родичей наших нет пропитания. Что поделаешь, это общая наша беда. Голод ждет нас. Ты понял? О беркуте позабочусь я сам. О пропитании сородичей надо позаботиться тебе, брат, больше некому,— и Сарыбай бросил Мадылу кожаную рукавицу, на которую во время охоты сажал беркута.— Вот, возьми, иди в долину и передай рукавицу вместе с моим приветом дяде Тенирберди. Пусть пришлет вьюк зерна. Мы всегда выручали друг друга, слава богу. Он не отпустит тебя с пустыми руками. Тенирберди человек умный и понимающий, поймет он и наше положение. Скажи ему прямо: живы будем — отблагодарим как следует.

— Брат, а как я привезу зерно?

Сарыбай улыбнулся.

— Ты сначала сходи туда. Неизвестно, как они сами там... Хотя ладно, разыщи Идына и возьми с собой. Надо думать, один вьюк зерна донесете вдвоем.

Мадыл взял рукавицу и встал.

— Отправляйтесь завтра поутру. Доброго пути вам.

Легче стало у Сарыбая на душе. Он снял с решетки-кереге комуз. Давно не брал он его в руки. Начал не спеша настраивать, внимательно прислушивался к каждому звуку. Наигрывал потихоньку, а сам все думал, думал. Он умел заставить комуз заговорить. С детских лет узнал он и полюбил искусство дедов и отцов. Но играл потом не часто — повседневные заботы не оставляли для этого времени. Да, не часто приходилось играть,— разве что одолеют грустные думы, как сегодня вот... Но грустил Сарыбай редко, унывать не любил и, если брал, бывало, в руки комуз, то больше для того, чтобы развлечь свою единственную дочку; с видимым удовольствием слушал тогда музыку и беркут...

Сегодня птица не обращала внимания на игру Сарыбая. Широко раскрыв крючковатый клюв, беркут все порывался туда, где слышались ему шорохи. Сарыбай положил комуз и стал наблюдать за птицей. Беркут рвал клювом на себе перья, взмахи огромных крыльев поднимали в юрте ветер; с сердитым клекотом пыталась птица порвать сыромятные путы на ногах. Это оказалось беркуту не под силу, и тогда он, встопорщив перья, кинулся в озлоблении на Сарыбая...

Наутро Сарыбай поднялся рано.

— Мне нет удачи, так, может, борзой моей она выпадет на долю...

Он ушел в горы, не попрощавшись с женой, взял с собой борзую, через плечо перекинул фитильное ружье. Еще солнце не взошло, а он успел уже осмотреть силки и капканы, установленные на поросшем можжевельником склоне возле самого аила. Пусто... Сарыбая это не огорчило,— он и не надеялся здесь что-нибудь найти. Вся его надежда была теперь на упорно рыскавшую борзую. Он старался поспевать за собакой, не терять ее из виду. Близился полдень, но поиски пока были безуспешными. Сарыбай снова и снова посылал собаку вперед, кричал по-охотничьи, даже выстрелил дважды из ружья, надеясь вспугнуть дичь. Но только мелкие птахи щебетали по кустам, будто из всей живности на белом свете они одни и остались. Хоть бы их настрелять, но и они не попадались на мушку.

Борзая на мгновение замерла, потом начала подкрадываться. Сарыбай сжался, кинулся искать укрытие. Высунув длинный язык, борзая почти ползла по земле. Что там такое? У Сарыбая колотилось сердце. Присталь-

но вглядывался он в ту сторону, куда кралась собака, и наконец увидел на прогалине крота, рывшего землю. Крота хочет поймать? Сарыбай оглядел все вокруг, но кроме крота никакой другой твари не заметил. Пропади он совсем, этот крот! Сарыбай хотел было подозвать борзую, но передумал. Ладно, лучше крот, чем ничего. Охотник, бесшумно ступая, двинулся за собакой. Крот, должно быть, что-то почуял: привстал, начал прислушиваться. Сарыбай целился, но никак не мог взять зверька на мушку. В это время сбоку, из кустов, кинулась на крота борзая. Готов!.. Сарыбай подбежал, запыхавшись. Ах ты, черт! Крот ускользнул. Охотник оторопело смотрел на собаку, а та понуро обнюхивала свеженарытую землю.

— Эх, и тебе тоже нет удачи!

Собака словно поняла, что слова хозяина относятся к ней, виновато отошла в сторонку. Отошла и легла, всем своим видом показывая, что нынче ни на что уже не надеется.

Сарыбай попытался разрыть кротовину, хоть и знал, что это дело пропащее,— до крота не дороешься, только ногти обломаешь. Охотник скоро устал и, вздыхая, отерев со лба пот, присел отдохнуть. В голове вертелись мысли досадные и безысходные. Что же делать и куда податься? А? Слезы навернулись Сарыбаю на глаза, затуманенным взглядом глянул он на свернувшуюся на земле борзую. Десять лет этот пес верный друг и помощник, добрые десять лет. Бессловесный, но, кажется, все понимающий, ласковый, послушный, надежный... Сарыбай еле слышно, побледневшими до синевы губами окликнул пса, потом встал и сам подошел к нему. Пес ласково завилял хвостом, но сильная рука хозяина вдруг до боли крепко стиснула ему морду, другая рука сжала горло... Считанные мгновения понадобились охотнику, привыкшему ломать шеи лисам, чтобы сломать шею собаке.

Сарыбай ободрал собаку, разнял на части худую тушку, уложил куски в торбу. Вздохнул, завязал торбу и взвалил на плечо.

Жена, как всегда, ждала его на пороге юрты.

— С добычей тебя... Вижу, торба не пустая...

С улыбкой потянула она завязки.

— Боже мой!..

Сарыбай ничего не ответил. Не мог. Он только молча

оскалился, затряс головой. Вошел в юрту, положил мешок и со вздохом поглядел в ту сторону, где, бессильно распустив крылья, сидел беркут. В юрту вбежала Кундузай, дочка, принялась нетерпеливыми пальцами развязывать мешок — мясо принес отец! Сарыбай сказал виновато:

— Это мясо не едят, дочка...

Он, несмотря на голод и усталость, не мог усидеть на месте. Встал, надел рукавицы, начал кормить беркута собачиной. Орел с жадным клекотом хватал кровавые куски и глотал один за другим, прикрываясь крыльями.

Мяса борзой хватило беркуту на несколько дней. Потом Сарыбай вынужден был снова двинуться на поиски корма...

Большой, обнесенный невысокой, сложенной из камней оградой загон для скота. С той стороны, что поближе к юрте, пристроены к загону каменные ясли. Чуть ниже неумолчно журчит родниковый ручеек. Это место издавна прозвали зимовьем Карабая. Откочуй отсюда хозяин — и только камни изгороди да кучки засохшего навоза напомнят о том, что здесь была стоянка...

Сарыбай шел и присматривался к стойбищу. К самому загону прижались две юрты. Одна покрыта новой кошмой,— должно быть, байская. Тишина мертвая. Ни души живой не видать. Сарыбай подходил к юрте, нарочито шумно ступая, откашлялся погромче, чтобы дать знать хозяевам о своем приходе. Но ни один человек не вышел ему навстречу, только выскочила из-за юрты тощая черно-пестрая собака, похожая повадкой на тех шакалов, которые скитаются по заброшенным кладбищам. Сарыбай вздрогнул от неожиданности, но собака только тявкнула и тут же, опустив голову и поджав хвост, метнулась снова за юрту, обманутая, должно быть, в своих надеждах получить съестное. Снова все стихло.

Сарыбай вошел в юрту бая и остановился у порога. Карабай лежал, укрывшись халатом, на своей постели. В стороне, возле того места, где в юрте обычно держат кухонную утварь, сидела жена Карабая, повернувшись к мужу спиной.

— Здравствуйте, Кара-аке! — поздоровался Сарыбай.

Кара приподнялся и, обнажив в улыбке беззубые десны, протянул вялую руку.

— Это ты, Сарыбай?

Сарыбай присел на колени.

— Зашел навестить вас, Кара-аке...

Он развязал суму.

Глаза Карабая наблюдали за ним с жадным любопытством.

— Я вижу, ты принес подарок своему дяде, дорогой соколятник.

— Вроде того,— отвечал Сарыбай.

— Баба! Где ты там?

Женщина повернулась.

— Подавай угощенье! От охотника подарок надо принимать на охоте, а нам соколятник сам принес. Надо нам по этому случаю потрапезовать вместе. Давай живей...

Женщина насупилась, но ослушаться мужа не посмела. Долго возилась она в ашкане, потом подала сваренное копченое мясо и дымящийся мясной отвар. Сарыбай, который еще от дверей почуял запах мяса, понял, что хозяева, заслышав его шаги, припрятали было еду. Соколятнику стало противно, он едва отведал мяса и отер пальцы о скатерть.

— Кушайте сами, бай,— промолвил он и достал из сумы принесенный Карабаю подарок.— Если пожелаете отдарить, бай, я буду рад и козленку. Тяжелые настали времена для меня, и я уповаю на ваше великодушие, бай.

Кара крепко прикусил губу и даже застонал слегка, но глаз не мог отвести от распростертой перед ним великолепной барсовой шкуры. Сарыбай встал, поднял шкуру за морду и провел по меху рукою.

— Бай мой, когда приносят подарок, взамен не просят ничего, не торгуются — дай мне то, подай другое. Что поделать, нужда пригнала меня к вам. Джут не только на мою долю выпал...

Карабай заерзал беспокойно и снова застонал.

— Соколятник мой... Батыр похваляется до первого выстрела, а бай — до первого джута. Ох, была бы у меня сейчас сотня лошадей, как прежде... Я подарил бы тебе шубу, подвел бы тебе верхового коня...

Сарыбай покраснел от стыда до самых ушей.

— Ты сам видишь... сам видишь, соколятник мой... Осталось у меня всего с десяток коней,— бай горестно согнулся почти до земли.— Только десять из ста... только десять! Наказал нас господь!

Сарыбай зажмурился — у него вдруг закружилась го-

лова. Когда он снова открыл глаза, взгляд его встретился со взглядом Карабая. И такая всепожирающая, ненасытная алчность горела в маленьких, покрасневших глазках этого только что степенно, отрешенно от суеты мирской рассуждавшего старика, что Сарыбай вздрогнул и выронил шкуру барса из рук.

— У нас это есть...— прохрипел Кара.— Есть мертвое богатство. Оно не принесет ни хлеба, ни мяса, оно лишь забава для сытого.

Не разгибая спины, Кара поднял дрожащие руки, закрыл ими лицо и горестно завыл, оплакивая погибшие табуны и отары.

Сарыбай никак не ожидал услышать такое. Растерянно попятился и стоял, не зная, то ли сказать слова утешения, то ли смеяться над завываниями Карабая.

Сотней лошадей владел Карабай, жил в достатке, но жена его не рожала. Он подумывал о том, чтобы взять еще жену помоложе, которая родила бы ему детей, но ведь с молодой бабой хлопот не оберешься. Ей нужны ласки да забавы, а где ему взять на это силы? Известное дело, жена старика — жена для всех. И Кара махнул на все рукой. Дожив до старости, окончательно потеряв надежду стать отцом, только и тешил он себя своим достатком, нарадоваться не мог на табуны коней, на отары овец.

— Полно вам, Кара-аке... Надо подчиниться божьей воле. Не горюйте. Я беру назад свои слова, я ничего не прошу у вас, извините...

Карабай сидел все так же, закрыв руками лицо. Сарыбай поспешно вышел из юрты, даже не вспомнив о барсовой шкуре.

— Сглазили вы мое добро, черные вороны! Завистники проклятые... Табуны мои, табуны! — снова запричитал Карабай.

Сарыбаю стыдно было, что кинулся за помощью к этому человеку, невыносимо стыдно. Он шел прочь от мрачных, как могильники, юрт, шел, не обращая внимания на то, что полы распахнутой шубы путаются в ногах.

Соколятник выезжал, бывало, на охоту, как на праздник, не один, а с несколькими помощниками; гордо красовался он на горячем гнедом коне, за которым послушно бежала свора гончих. Сегодня он шел один, пеший, посадив беркута себе на плечо.

— Не было счастья на долю моей борзой, может, выпадет оно тебе, хваткий беркут.

Тишина в горах. Даже птиц не слышно. Лощины зазеленели, но на вершинах еще лежит снег. Горы будто дремлют, окутанные дымкой тумана. Тишина. Синие пролески и ярко-желтые лютики расцветили землю. Пар поднимается над влажными луговинами, воздух напоен духом молодой зелени и неповторимо свежим запахом талой снеговой воды.

Беркут тяжел. От тяжести этой ныло у Сарыбая плечо, он невольно опускал его все ниже. Пересадил птицу на другое плечо. Твердые когти беркута крепко вцепились в ключицу.

Долго бродил Сарыбай по горам. Долго и безуспешно. Злое упрямство овладело охотником, он не хотел бросать поиски. Шел и шел, обливаясь от усталости потом. Поднявшись на невысокий взгорок, решил отдохнуть. Снял с плеча птицу, усадил на камень. Бессильно опустился на землю сам, облизывая пересохшие, потрескавшиеся губы. Сидел, подперши ладонью щеку, думал, как быть дальше. В ушах звенела тишина. Только ветер, налетая порывами, печальным шорохом проносился по невысоким еще кустикам полыни. Сарыбай скоро остыл и чувствовал теперь, как пропитавшаяся соленым потом рубаха холодит, прикасаясь к телу. Охотник поежился. А день был какой-то мягкий и сонный, и оттого, должно быть, помягчело и на сердце у Сарыбая. Он снял было чепан, постелил на землю и прилег, но тут же встал, почувствовав, как размаривает его сон. Стянув с себя рубаху, почесал под мышками и принялся выбирать из рубахи вшей. Вот проклятые твари, стоит человеку отощать, так и нападут на него...

Забеспокоился, захлопал крыльями беркут на камне, защелкал клювом, вытягивая шею. Птица тянулась навстречу ветру, навстречу свободному простору...

— Учуял что-нибудь...

Сарыбай снял с головы беркута колпачок. Орел тотчас вырвался из рук и взмыл в высоту. У Сарыбая забилось сердце. Пошли, бог, удачу, пошли добычу! Охотник, сощурившись, глядел в небо, поглядывал и по сторонам, стараясь угадать, откуда появится дичь.

Беркут все набирал высоту, уходил кругами и наконец скрылся из глаз. Соколятник ждал его возвращения с нетерпением и беспокойством. Нет... Только ветер по-

прежнему шуршит среди зарослей полыни. Неужто не вернется орел?

— Хваткий мой, неужели ты улетел... бросил меня... Чтоб мне пропасть, не сумел я уберечь тебя в лихую годину...— бормотал в страхе Сарыбай, не имея сил, не имея смелости громко, по-охотничьи, позвать птицу.

— Хваткий мой... как родного сына, любил я тебя...

Знакомый клекот донесся сверху. Летит! У Сарыбая от радости разрывалось сердце. Беркут клекотал так тогда лишь, когда видел добычу. Охотник, забыв надеть рубаху, бросился бежать навстречу приближающемуся клекоту. Задыхающимся голосом выкрикивал благодарственные слова богу. Беркут несся с высоты, но Сарыбай не видел пока добычи... Совсем близко свист широких крыльев... Птица камнем упала на охотника, чуть не сбив его с ног. Сарыбай едва успел загородить лицо подставкой, на которой обычно держат соколятники ловчую птицу. Беркут ударил ногой, подставка вылетела у Сарыбая из рук.

— А-а-а... Что ты делаешь, хваткий мой?!

Беркут не узнал хозяина. Он долго кружил над горами, не находя никакой добычи, ничего живого, потом увидел полуголого Сарыбая и принял его в этом непривычном обличье за какую-то дичь.

Орел взмыл и снова бросился на охотника, растопырив страшные кривые когти, раскрыв голодный клюв. Смерть! Безоружный человек завертелся вокруг камня, ища укрытия. Смерть! Сарыбай потерял голову от страха, вспомнив во внезапном озарении окровавленную голову убитой им борзой. Теперь его, Сарыбая, черед. Настало возмездие.

Охотник не хотел умирать. Он сопротивлялся, как мог, в ярости не чувствуя боли от ударов железного клюва, от рывков крючковатых когтей. Беркут клевал его в лицо, стараясь добраться до глаз. Удар... Еще... Искры полетели у Сарыбая из глаз. Стиснув изо всей силы веки, он вслепую продолжал схватку. Прижал коленом ногу птицы, рукой ухватил за шею, крутил, сжимал, душил... Навалился всем телом.

Немного погодя Сарыбай встал у неподвижно распростертого тела беркута. Встал и тогда только решился открыть глаза. Но ничего не увидел, и казалось ему, что глаза не открываются. Поднес руку, потрогал глазницы. Рука ощутила липкую влажность. Кровь... Сарыбай по-

нял, что это кровь, но не видел ее. Непроглядная тьма закрыла от него сияющий мир. Сарыбай чувствовал, как волна жаркой боли заливает все тело. О создатель, ты лишил зрения раба своего! Охотник зашатался, подкосились ноги, и рухнул он наземь рядом с телом мертвого беркута.

2

Пришла к беднякам долгожданная весна. Можно было вздохнуть с надеждой и облегчением, посидеть на зеленой траве, распрямить согнутые заботой спины. Оголодавшая скотина набивала брюхо свежей травой, истомленно грелась на теплом солнышке. Солнце было ласковое, как мать; лучами своими возвращало оно силы всему живому.

Настало время откочевать на летние выпасы. Первыми спешили сняться с места те, у кого скота было побольше: чем человек богаче, тем меньше нужны ему другие люди. Такие не тянутся к общине, не нуждаются в родстве; соседи им даже неприятны — того и гляди, смешаются на выпасе табуны или отары, пойдет раздор... У Тенирберди скота было немного, он собирался кочевать вместе со всеми.

Надо сказать, что у них в общине больше занимались земледелием, чем скотоводством. Эти полукочевники обрабатывали удобные, ровные поля по берегам рек, проводили к полям арыки, сеяли хлеб. Зерна чаще всего хватало до весны, летом не переводилось молоко. Люди жались друг к другу, как куры в курятнике. Редко перекочевывали с места не место. В жаркое время года подымались на летние пастбища, но не слишком высоко, поближе к своим посевам...

Солнце светило ярко. На площадке посредине аила играли ребятишки. Возле юрты Тенирберди сам хозяин и Кулкиши готовились к пахоте, вязали из гибких прутьев караганы связки для сохи. Работали с разговором, в который изредка вставляла слово и старуха Санем, устроившаяся неподалеку со своей пряжей.

— Скажи-ка, брат Тенирберди, как чувствует себя бедняга Сарыбай? — спросил Кулкиши.— Ты ведь знаешь — человек без коня, что птица без крыльев. Я хотел тогда пойти с вами, но моя рыжуха еще не оправилась, я на ней пока не езжу, а пешком передвигаться не могу.

Тенирберди горестно покачал головой.

— Да как чувствует? Плохо. Изранен весь. Ослеп. Живет в темноте, черная ночь пала на него.

— Вот проклятый беркут! Сарыбай любил его не меньше, чем свою единственную дочь. А хищник остался хищником и напал на своего хозяина. Говорят, изодрал его так, что бедняга Сарыбай едва на тот свет не отправился.

— А каково приходится его несчастной жене? — вздохнула Санем.— У них ведь одна-единственная дочка...

— Хуже всех ему самому,— сказал Тенирберди.— Жена что ж? Живет себе. Живут ведь и те, кто похоронил близкого человека...

Айзада сидела в юрте и чинила одежду. Слова свекра ножом полоснули ее по сердцу. На глаза привычно набежали слезы.

— Айзада! — окликнула невестку свекровь.— Чем на ночь будем очаг топить? Хворосту совсем не осталось, сходи-ка, набери, пока светло.

Женщина отложила работу. Не послушаешься — свекровь напустится с упреками. Айзада будто видела перед собой пронзительно-злые глаза Санем. Вскочила, быстро вышла из юрты, захватив веревку. Она всячески старалась угодить свекрови, надеясь послушанием смягчить ее.

— Возвращайся поживей,— напутствовала невестку Санем.

Проходя мимо играющих ребятишек, Айзада окликнула Болота.

— Пойдем со мной, кичине бала [1],— позвала она.— Хворосту наберем.

— Ну-у,— заныл было Болот.— Я есть хочу, джене [2], не хочу за хворостом идти.

— А игрой своей ты насытишься?

— Нет. Я очень голодный, джене.

— Ну вот, пойдем с тобой, хворосту насобираем, домой принесем, я тогда тебе молочка скипячу. Идем, родненький...

Айзада ласково погладила мальчугана по голове. Болот, услыхав про молоко, оживился. Взял у Айзады веревку и побежал вперед.

---

[1] Кичине бала — обращение к младшему брату мужа.

[2] Джене — обращение к жене старшего брата.

В год гибели Темира Болоту было девять лет. Теперь ему исполнилось двенадцать. Прошли три года, тяжких для семьи. В раннем детстве родители порой наказывали Болота за озорство, но после смерти старшего сына, жалея мальчика, баловали его и предоставили самому себе. Айзада видела в Болоте черты сходства с Темиром и, может быть, поэтому любила его, как родного братишку. Теперь она шла следом за бегущим вприпрыжку мальчуганом, погруженная в свои долгие, печальные мысли; голова ее была непокрыта, длинное черное платье мело подолом землю.

Куда ей спешить? Куда девались ее веселость, готовность к радости и счастью... к любви? Она не знает веселья, смеха, тепла. В нынешнем году свекор должен устроить последние поминки по сыну. Согласно обычаю, он может на этот раз созвать родичей Айзады и при них снять с нее траур, предоставляя ей тем самым право войти в новую семью, найти нового мужа. С весны думала об этом вдова. Думала о том, что, может, спадет, наконец, с души тяжелый гнет горя и слез, что настанут еще и для нее счастливые дни. Оставаясь одна, Айзада подолгу смотрелась в зеркало, разглаживала морщинки под глазами, сердце билось в груди тревожно и нетерпеливо...

Айзада тяжело вздохнула.

Болот не обращал на нее внимания. Бежал вперед и вперед. Ребенок он и есть ребенок,— забыл о пустом желудке, гоняется, швырнув на землю веревку, за ярко-желтыми бабочками, обрывает пестрые венчики цветов, следит, задрав голову, за плывущими в вышине облаками. Бабочки легко улетают от мальчишки, а он смотрит, как они летят, потом разыщет в траве брошенную веревку, почешет босые, исцарапанные колючками ноги и бежит дальше...

В то невозвратное время зеленая равнина так же безмятежно дремала под солнцем, сонно вслушиваясь в лепет бегущих среди трав ручейков; с одной стороны подымались к небесам высокие горы, а в другую сторону зеленое море, слегка колеблемое налетающим время от времени ветерком, тянулось насколько охватывал взгляд.

Ярко светило солнце. Все тихо, недвижно. Но вот на светлой ленте дороги, что тянулась, пересекая многочис-

ленные речки и ручейки, вдоль зеленой долины, показалось темное движущееся пятнышко. Одно... второе... третье... Длинной цепочкой вытянулся медленно идущий караван; то скрываясь в лощинах, то вновь появляясь, подходил он все ближе.

Кочевка. Приставив ладонь к глазам, долго вглядывался в нее Темир. Впереди везли знамя. Звенели многочисленные колокольцы, шумно гомонило кочевье, проходя мимо поля.

Просо уже наливалось. Землепашцы во главе с Тенирберди ладили возле поля ток; несколько человек подновляли оставшиеся с прошлого года растрепанные, покосившиеся пугала. Зерно поспевало, на него, того и гляди, могли налететь грабители-воробьи. Завидев кочевье, люди сбежались к дороге.

Караван двигался неспешно, с медлительной важностью. Высокие, тщательно увязанные вьюки на верблюдах были покрыты ткаными коврами и кошомными ширдаками, искусно расшитыми узором «рог козла»; позвякивали колокольчики на длинных шеях верблюдиц, идущих в поводу у старух в высоких белых элечеках; ленивые волы испускали протяжное низкое мычание; испуганно ржали отбившиеся от маток жеребята; то и дело покрикивали на караван погонщики; слышался над дорогой топот сотен копыт. Все эти разнообразные шумы сливались в тот общий нестройный гул, который сопровождает каждую большую кочевку.

— Чья кочевка-то? — спросил кто-то.

— Поглядите на знамя,— отвечал Тенирберди.

— На знамени полумесяц...

— Значит, это кочевка рода баргы.

Тенирберди вышел на обочину дороги, поздоровался с мужчинами, едущими в середине кочевья.

— Отведайте пищи вместе с нами, уважаемые! — предложил он.— Так велит обычай.

— Благодарствуйте, но далеко еще до наших пастбищ, долог наш путь,— отвечали, тоже по обычаю, люди из каравана, не останавливаясь.

— Утолите жажду, почтенные!

— Успеем и жажду утолить, спасибо вам!

— Так доброго пути вам, уважаемые!

— На добром слове спасибо, отец...

Кочевье двигалось все дальше, к невысокому холму, поросшему мелким кудрявым кустарником. Тенирберди

стоял и смотрел вслед каравану, привычным задумчивым движением поглаживая серебристо-белую бороду.

Кочевья, кочевья... Проходили века, а все так же, как тысячу лет назад, тянулись караваны то из долин в горы, то с гор в долины, и, склонив голову набок, тянул кочевник нехитрую свою песню. Нет у него ни сада, ни загона, ни поля; как уйдет он со своей стоянки,— останутся там лишь кучки навоза да три круглых закопченных камня. Тому, кто всю жизнь проводит в дороге, кому и разуться некогда, даже золото — только лишний груз. Вот и не остается после кочевника никаких следов на земле, кроме могильного бугорка где-нибудь на холме. Он — как ветер в поле, пролетел и — нету его...

Вот о чем думал худой, умудренный жизнью старик с натруженными в синих жилах руками.

«— Отведайте пищи вместе с нами, уважаемые!»

«— Благодарствуйте, но далеко еще до наших пастбищ, долог наш путь...»

В самой середине кочевья Тенирберди заметил белого верблюжонка. Чей он? Старик пригляделся. Верблюжонок, чистенький, как белое облачко, не отставал от верблюдицы, которую держала в поводу женщина, сидящая на вороной кобыле. Мальчуган на иноходце, оседланном особым детским седлом, дразня верблюжонка, подталкивал его в бок свернутой вдвое плетью. Верблюжонок в ответ «пугал» мальчишку, мотал головой, но в черных глазах животины сияла озорная радость — игра верблюжонку нравилась. Следом ехала взрослая девушка. Под нею шел гнедой жеребчик в белых чулочках и с белой звездочкой во лбу, сбруя на жеребчике нарядная, украшенная кистями и серебряными бляшками, стремянное путлище — из полосок дорогой бухарской красной ткани. Девушка сидела неподвижно и, чуть прищурив красивые, с поволокой, глаза, смотрела на полоски зеленого жита — будто яркие заплаты на сером чепане земли; смотрела и на людей у дороги, дивилась и на пугала — похожие на людей, руки вроде растопырили, а не шевелятся. Девичья шапочка из меха выдры украшена была пушистыми совиными перьями; на шее у девушки — блестящие бусы, солнце играет на них и отбрасывает на милое, красивое лицо светлые зайчики. Черные волосы заплетены в тонкие косички — по пяти на каждом виске.

Пообочь каравана бежит куцая черная собака. Соба-

ке жарко; свесив из пасти длинный красный язык, она старается не отставать от кочевья. Приляжет на траву и тут же, заметив, что караван уходит дальше вперед, вскакивает, догоняет его. Звенят и звенят колокольцы. Где-то в самой голове каравана заревел верблюд, но рев его слышен уже слабо, скрадываемый расстоянием.

— Утолите жажду, добрые люди...

Хозяин белого верблюжонка, ехавший следом за тяжело нагруженным волом, вдруг повернул коня.

— Мы бы напились,— сказал он и поздоровался: — Здравствуйте, Тенирберди-аке, как поживаете?

— Слава богу, слава богу,— отвечал Тенирберди, удивленно разглядывая всадника.

— Не признали? Я — Джамгыр. Джамгыр из рода баргы с тамгой полумесяцем...

— Что-то глаза мои стали сдавать, а лицо-то вроде знакомое... узнал, узнал! — и Тенирберди поспешно протянул руку.— Ты Джамгыр, сын Джабая-аксакала. Здравствуй, здравствуй, Джамгыр мой! Пожалуй, напейся... милости просим... Как твои дела?

— Спасибо... живем, Тенирберди-аке, среди своих людей, кочуем вот.

Наполнив кумысом из бурдюка большую деревянную чашку, Темир протянул ее Джамгыру. Тот принял кумыс, не сходя с седла, залпом осушил чашку и крикнул:

— Эй, жена, придержи-ка поводья, напои детей кумысом! Живей, пока задние не напирают...

— Темир, возьмите кумыс и поднесите им,— велел Тенирберди.

Эшим тотчас взвалил на плечи бурдюк, Темир взял чашку,— побежали подавать кумыс.

— Лишь бы все были здоровы, Джамгыр мой, это главное... На какие пастбища направляетесь?

— Решили в этом году откочевать на Мин-Бугу, Тенирберди-аке. Наши бии хотят перегнать потом скот в Талас. Говорят, в Аулие-Ата наезжают русские торговцы, вот наши и думают через Талас переправить туда скот для продажи. Мы дали согласие, кочуем теперь вместе со всеми.

— А-а...— понимающе протянул Тенирберди.— Туда, значит, где выгодой пахнет. Правильно. А что привозят русские торговцы? Оружие?

— Нет, оружием они не торгуют. Говорят, из казахской степи движется к нам большое русское войско. Го-

ворят, оно будет охранять своих торговцев и наблюдать за ними. Землю, говорят, будут мерять. В Коканде из-за этого настоящее смятение, никто не знает, что делать.

— Это большая новость...

Тем временем Эшим с Темиром угощали кумысом женщину. Та взяла чашку в руки, но только поднесла ее ко рту, как увидела, что сынишка подъехал совсем близко к ней. Мать передала чашку сыну.

— На, выпей, родной...

Мальчишка, пошмыгивая вспотевшим носом, с жадностью глотал кумыс. Когда чашка освободилась, джигиты наполнили ее во второй раз и снова поднесли женщине. Чуть отпив, она сказала сыну:

— Биймирза, позови сестру.

Темир на этот раз возразил — негромко, вежливо:

— Пейте сами, байбиче[1], кумыса у нас много.

Она выпила с удовольствием и от души поблагодарила:

— Большое спасибо. Будьте счастливы, дорогие.

И подтолкнула ногами кобылицу.

Темир подошел с кумысом к девушке.

Гнедой жеребчик, помахивая длинным черным хвостом, пофыркивая и звеня удилами, хватал губами высокую траву. Завидев Темира с чашкой, испугался и попятился.

— Выпейте кумыса, бийкеч[2]...

Красивая девушка чуть приподняла темные, похожие на крылья ласточки, брови, слегка наклонилась вперед и протянула руку. На смуглом и нежном запястье звякнули парные серебряные браслеты. У Темира захолонуло сердце. Он не мог отвести глаз от белого, без единого пятнышка лица. Когда девушка взяла кумыс, он слегка прижал своей рукой один из ее пальчиков. Краска залила лицо девушки, глаза вспыхнули; с удивлением посмотрела она на широкогрудого рослого джигита. Темир убрал руку, а девушка, ничем больше себя не выдав, только пригубила кумыс и вернула чашку Темиру.

— Вы совсем не пили...

Девушка поклонилась в знак благодарности, улыбнулась и тронула коня... «Что я за невежа, зачем обидел ее?» — досадовал на себя Темир, глядя вслед всаднице. Но почему она улыбнулась?..

— Счастливого пути, Джамгыр мой!

— Спасибо, Тенирберди-аке. Счастливо оставаться!

Отец девушки шумно попрощался с Тенирберди, прикрикнул затем на ленивого вола и, проезжая мимо Темира и Эшима, бросил:

— Прощайте, джигиты.

---

[1] Байбиче — жена бая; старшая жена (если их несколько); обращение мужа к жене; обращение к пожилой женщине.

[2] Бийкеч *(устар.)* — вежливое обращение к молодой девушке.

— Прощайте... счастливого пути!

Кочевье медленно потянулось на взгорье, звона колокольчиков почти уже не было слышно.

Тенирберди вернулся на поле.

— В конце этой недели нам бы тоже надо откочевать повыше,— негромко проговорил он.— Вот настоящий праздник для кочевника, единственный, к сожалению. В этот день самый захудалый бедняк и то надевает чистую, пусть залатанную рубаху, поднимается чуть свет и вместе со всеми родичами покидает старое стойбище, надеясь на новом месте найти свое счастье. Забывает во время кочевки, сыт он или голоден. Забывает все обиды, вражду и раздоры и помнит только о своем долге быть опорой родичу. Во время кочевки не зазорно юноше и девушке ехать стремя в стремя. Нам от предков остался обычай: встретить караван, предложить угощенье, а если на угощенье нет времени, напоить путников холодным кумысом, расспросить о здоровье и благополучии, помочь укрепить покосившиеся вьюки и проводить кочевку до границы своих угодий. Почему же вы не проводили их хотя бы до первого холма? Никто даже с места не двинулся, как я погляжу...

Темир обрадовался:

— Мы с Эшимом проводим...

— Надо, надо поддержать обычай. Пусть не подумают, что мы, занятые своим полем, забыли исконные порядки...

Темир поскакал на светло-рыжем иноходце. Потряхивая челкой, конь топтал тяжелыми, большими копытами сочную траву, рвал поводья из рук хозяина. Вороной трехлетка Эшима то нагонял иноходца, то отставал. Темир все искал глазами белого верблюжонка; в сердце джигита как будто песня звенела, неясная, непонятная надежда пьянила его и несла на своих крыльях...

— Не уставать вам! Крепки ли подпруги у ваших коней?

— Спасибо, джигиты! Слава богу, подпруги крепкие...

Темир переговаривался с кочевниками. Эшиму было не до разговоров: у него конь заартачился.

— Темике, давай потише...

Темир, обернувшись, придержал повод. Он не хотел обижать Эшима, но, весь разгоряченный буйной скачкой, поглядывал на друга с немой просьбой — наддать ходу трехлетке, понестись снова с ветром наперегонки. У Те-

мира глаза горели, как у птицы, что рвется в небо; на лице неуверенность сменялась надеждой.

Джигиты ехали теперь близко к семье, в которой молодуха на игреневом трехлетке везла красную колыбель с младенцем. Руки молодой женщины чуть придерживали колыбель,— то ли задумалась мать над ребенком, то ли задремала, не поймешь, потому что лицо ее было скрыто под легким покрывалом. Когда Эшим с Темиром подъехали еще ближе, игренька вздрогнул. Вздрогнула и молодуха, перехватила покрепче колыбель, остановила коня и приподняла покрывало.

— Не уставать вам! Крепки ли подпруги у ваших вьючных?

— Слава богу, дети мои! — отвечала вместо невестки старая женщина, что ехала впереди нее на кобыле.

— Чья кочевка, джене? — спросил молодуху Эшим.

Молодуха, смутившись, опустила голову. Старуха, видно, крепо знавшая обычаи и правила поведения, повернулась к невестке:

— Ответь, дитя мое, славным джигитам.

Смуглая молодуха покраснела, но так и не сказала ни слова. Чтобы не смущать ее еще больше, джигиты дали ходу коням.

По узкому ущелью, заросшему кудрявым хмелем и диким виноградом, с шумом бежала холодная горная речка, приток реки, что текла по долине. В ущелье прохладно, тенисто. Видно, как проплывают в небе спокойные белые облака. Кочевка вступила в ущелье, и к шуму бегущей воды присоединились посвист, окрики, которыми люди понукали лошадей и скотину переходить речку вброд. Ребятишки с завистью поглядывали на ягоды спелой дикой вишни, на золотисто-желтый урюк. Кое-где над водой свесились длинные гибкие ветки старых берез.

Темир с Эшимом в ущелье поневоле должны были ехать шагом — дорога узкая. Не скоро выбрались они на дорогу к перевалу, а когда выбрались, половина кочевья уже миновала перевал и двигалась дальше к поросшим густой зеленью холмам. Здесь было гораздо прохладней, чем на равнине, ближе казались белые чистые облака, воздух напоен был сильным и острым запахом можжевеловой смолы.

— Не догнали, эх...

Темир махнул рукой, остановился и огорченно замер, провожая взглядом удаляющееся кочевье.

— Вон он... белый верблюжонок...

Белый верблюжонок по-прежнему не отставал от матери, бежал вприпрыжку, то скрываясь в гуще всадников и вьючных животных, то вновь мелькая белым легким пятнышком.

Девушка ни разу не оглянулась. Сверкали на солнце серебряные украшения в ее косах... Долго смотрел Темир ей вслед, смотрел, как смотрят иной раз люди, провожая стаю белых лебедей, улетающих все выше и выше к небу, к облакам.

Та красивая девушка была Айзада.

Во второй раз они встретились с Темиром в урочище Мин-Бугу, во время свадебных девичьих игр.

Темир преследовал ее горящим, страстным взглядом. Айзада пряталась среди сверстниц, старалась не думать о джигите, но никак не могла уйти от взоров красивого, сильного незнакомца. Кто он? Почему все время глядит на нее? Девушка тревожилась и стеснялась, даже страшилась чего-то. Она помнила тот день, когда их кочевка шла по долине. Помнила, как этот самый джигит пожал ей руку, подавая чашку с кумысом. Сердце Айзады колотилось.

Джигит держался вежливо и скромно. Голосом, полным молодого желания, пел одну песню за другой. Пел о том, как встретил во время кочевки красивую девушку, которую не в силах забыть. Айзада слушала эти песни сама не своя,— а вдруг он сейчас пропоет, что встретил наконец свою красавицу, нашел ее... Ей казалось, что все — и девушки, и юноши — знают тайну песен незнакомого джигита. Она была почти уверена, что это так... Но джигит вел себя сдержанно и разумно, не переходил границ дозволенного обычаем и, видно, рад был, что девушка поняла его, был благодарен ей за ее скромность, ее милое смущенье.

— Ты хорошо поешь, друг! — похвалил Темира один из парней.

Девушка, по случаю свадьбы которой и затеяны были игры, сидела на почетном месте с лицом, закрытым фатой. Рядом с ней был счастливый жених в нарядной куньей шапке. Жених повернулся к Темиру:

— Друг, та, кого ты ищешь, должно быть, здесь...

— Не бойтесь, жених-мирза, я ищу совсем другую!

В свадебной юрте разразился общий смех. Жених покраснел до самых ушей, но вынужден был смеяться вместе со всеми. Только теперь Айзада осмелилась сама посмотреть на Темира. У человека с черной душой глаза холодные, как у змеи, в них можно прочитать его дурные и грязные мысли; а у кого сердце светлое, у того и лицо чистое, как цветок, а в глазах звезды горят. Так говаривала, бывало, бабушка Айзады, умершая в прошлом году. Спрятавшись за спиной подруг, Айзада долго и пристально смотрела на лицо Темира, на лице этом видела она душевную теплоту, в глазах — свет любви. Темир поймал ее взгляд, и на этот раз девушка не опустила ресницы.

На следующий день джигит передал ей через подругу слова признания. Айзада застыдилась, не могла сказать ни да, ни нет, на свидание не пошла. Джигит после этого был мрачен, печален и спел перед тем, как уехать, песню о соколенке, который, порвав шелковые путы, улетел от хозяина и не вернулся на зов. Пел он о тоске соколятника; пусть улетевший сокол встретит на своем пути того, кто будет ценить его по достоинству, а не встретит — пусть помнит серебрянокрылый своего прежнего хозяина-друга...

Настала пора спускаться с горных пастбищ. Двинулся и род баргы в сторону Кызыл-Джара, где всегда проводил осень. Земледельцы к этому времени тоже вернулись к своим поселениям и готовились к зиме. Снова выходили они по обычаю встречать кочевые караваны, снова предлагали путникам отведать пищи и выпить холодного кумыса.

Темир не выходил навстречу кочевникам. Отвергнутый, он чувствовал себя подавленным. Знал о его горе один Эшим, но и это угнетало Темира. Сам не зная зачем, он искал и искал в проходивших мимо караванах белого верблюжонка. И вот вдали, в том месте, где сливались две речки, увидел он белое пятнышко. Верблюжонок? Или большой белоснежный элечек какой-нибудь старой, почтенной женщины? Темир со стесненным сердцем отвел взгляд и больше не смел поднять глаза. Он все равно не показался бы, не вышел бы навстречу той, которая не посчитала его себе ровней.

Поступи он иначе, девушка, пожалуй, сочла бы его бессовестным и неумным. Темир ушел прочь по берегу реки.

Приветливое лицо радует сердце. Сердечная теплота сближает людей и делает их друзьями. Короткими были встречи Тенирберди и Джамгыра во время перекочевок, но приветствовали они друг друга с искренней радостью. На этот раз Джамгыр и его близкий родич Кулбатыр расположились на отдых неподалеку от аила Тенирберди. Обрадованный Тенирберди вечером пошел вместе с несколькими родичами поприветствовать прибывших; на угощенье взяли с собою два ведра бозо.

Джамгыр к тому времени уже оборудовал походный шалаш: в землю воткнули жерди от юрты, связали наверху и накрыли расшитыми полотнищами. Неподалеку поставил такую же временную юрту Кулбатыр. Людям в шалаше не разместиться; туда ставят посуду, убирают масло и другие припасы — чтобы ненароком скот не потоптал. Если есть в семье малые дети, им тоже дают отдохнуть в шалаше. Джамгыр, завидев гостей, опередил жену и кинулся развязывать вьюки, доставать и расстилать возле шалаша ковер-ширдак и одеяла.

— Добро пожаловать, Тенирберди-аке, добро пожаловать!

Гостей усадили на одеялах. Потолковали о том о сем, выпили по чашке бозо, приготовленного старухой Санем, потом Джамгыр приподнялся и крикнул:

— Айзада! Где там, дочка, наш Биймирза, пойди-ка скажи ему, чтобы пригнал сюда скотину!

Девушка в красном платье спускалась в это время по склону с охапкой хвороста в руках. Услышав окрик отца, она кивнула в ответ, бросила хворост и быстро пошла вверх, туда, где Биймирза пас стадо. Джамгыр с гордостью поглядел девушке вслед, но сказал с деланной небрежностью:

— Дочка это наша...

Тенирберди закивал:

— Хорошая. Взрослая совсем. Очень хорошая.

— Есть у нас еще и мальчишка-сорванец.

— Это он за стадом присматривает? Ну что ж, мужчина. Хозяин.

— Был бы опорой своей единственной сестре, больше нам ничего не надо.

— Да будет так. Дети — это счастье и радость.

Биймирза вскоре пригнал топочущее стадо голов в двадцать овец и коз. Парнишка совсем запарился, грязные струйки пота сбегали по разгоряченному лицу.

На незнакомых людей он глядел с живым и веселым любопытством.

— Что ты так взмок, сын мой? — спросил Джамгыр.

— С овцами замучился. Убегают все время в лощину, там трава больше,— шмыгая носом, отвечал Биймирза.

Джамгыру по душе была бойкость сынишки.

— Что ж ты с гостями не здороваешься, дорогой?

Биймирза подошел, отец подбодрил его:

— Не стесняйся! Поздоровайся за руку. Ну, подай руку-то!

Тенирберди крепко пожал маленькую грязную руку мальчишки, ласково сощурился.

— Молодец! Ты настоящий джигит, пора тебе и в скачках участвовать,— сказал он и поцеловал мальчика в лоб.

Поцеловала Биймирзу и Санем.

— Биймирза,— попросил отец,— пойди приведи нам барашка пожирней. Ну, беги!

— Я возьму ягненка от рыжей, он у нее один родился, большой и жирный.

— Молодец, понимаешь! Давай!

Биймирза сорвался с места бегом, а Джамгыр сказал ласково:

— Вот разбойник

Айзада тем временем возвратилась, и, оставив хворост возле очага, подошла поближе к гостям, и, в знак приветствия, приоткрыла закутанное платком лицо. Тенирберди глянул на девушку краем глаза — иначе было бы невежливо — и сказал:

— Будь здорова, дорогая, будь здорова...

Айзада покраснела, как вишня. Со старухой Санем они обнялись: старая женщина поглядела девушке в лицо с веселым изумлением, слегка ущипнула ее за кончик носа и потом поцеловала свои пальцы. Айзада принялась помогать матери. Санем все смотрела на красивую длиннокосую девушку и любовалась ее скромной, достойной повадкой. «Вот будет невестка — настоящая радость для семьи, в какую она войдет. Счастья тебе, дорогая!» — пожелала она про себя.

Джамгыр поставил перед гостями приведенного сыном на привязи ягненка и, как полагается по обычаю, попросил гостей благословить животное на убой.

— Ну зачем, зачем это, Джамгыр, дорогой! — начал отговарить Тенирберди.— Пока мясо сварится, да пока

мы его съедим... Мы-то дома, а ты, не дай бог, от кочевки отстанешь.

— Не говорите так, Тенирберди-аке! Я должен был послать за вами человека с верховым конем в поводу, а вы вот сами явились. По милости бога вы, как говорится, впервые переступили наш порог. Как же можно отпустить вас без угощения? Благословите, прошу вас!

Тенирберди больше не противился. Джамгыр связал ягненку ноги, приговаривая:

— Пока живы, Тенирберди-аке, только и посидеть за трапезой с приятными собеседниками. Что может быть лучше? А кочевка пускай себе уходит. Не заблудимся и сами. Догоним помаленьку.

Поточил нож и негромко обратился к связанному животному:

— Были дни, были ночи, за тобой вины нет и за мной вины нет, во всем виноват голодный живот...

И он ловко перерезал ягненку горло.

Тенирберди беззвучно шептал про себя те же слова, поглаживая бороду.

— Айзада, а что это твоего дяди Кулбатыра не видно? Где он? Или устал от долгой дороги и прилег отдохнуть? — спросил Джамгыр у дочери, разделывая тушку ягненка.— Позови их, пусть посидят с нами, послушают речи нашего Тенирберди-аке, отведают мяса.

— Дядя погнал вьючных на водопой,— тихо ответила Айзада.

— Верно, верно, я ведь сам просил его.

— Когда мы собирались к вам, он стоял и разговаривал с Кулкиши,— вставил слово Тенирберди.— Должно быть, пошел к ним на бозо.

Джамгыр уже складывал баранину в казан. Засмеялся:

— Вот оно что! Забыл наш Кулбатыр о кочевке. Ради бозо он обо всем готов забыть, готов пороги обивать! Биймирза, садись на жеребенка да съезди к ним в аил, разыщи Кулбатыра. Зови его сюда мясо есть да пригласи и тех, к кому он пошел. Езжай, сынок!

Вскоре появились приглашенные, и немало. За едой, за беседой время незаметно прошло до вечера. Наконец Тенирберди сказал:

— Ну, Джамгыр, совершим благодарственную молитву. Гостю говорят «приходи», а уйти он должен сам.

— Не спешите, побудьте с нами еще,— попросил Джамгыр.

— Нет, Джамгыр, ты и так задержался надолго. Пора тебе собираться в путь.

— Ну ладно, Тенирберди-аке. Аминь тогда, боже, благослови...

— Аминь. Пусть много тени и прохлады встретится на вашем пути, пусть сопровождает вас удача.

— Спасибо! Счастливо и вам, гости дорогие!

— Счастливо!

Тенирберди с односельчанами помогли Джамгыру нагрузить вьюки, проводили кочевку и тогда лишь отправились восвояси.

Когда Тенирберди и Санем пришли к своей юрте, Темира дома не было. «Где он ходит-бродит? В гости вместе со всеми не пошел...» — недоумевал отец. Тут он увидел сына. Темир шел от реки. Он старался казаться веселым, но видно было, что на душе у него неспокойно, что он огорчен.

— Мы с матерью ходили навестить Джамгыра, а ты где был? Тебя нигде найти не могли,— упрекнул сына старик.— Если рядом с твоим аилом остановилась на отдых кочевка, твой долг, сын мой, навестить людей, сказать им слово привета. Избегают общения малодушные, не считаются с другими невежи. Что? Убежал? Не захотел посчитаться?

Темир покраснел до ушей. Он не смел поглядеть отцу в лицо и рад был, что Эшим окликнул его и таким образом вызволил из тяжелого положения.

Эшим! Всегда веселый и простодушный, он и сейчас встречает Темира с лицом радостным и даже возбужденным. Что у него на уме? Уж, наверное, какие-нибудь забавы да шутки. Темир повеселел и сам.

Спрятав руки за спину, Эшим спросил, лукаво прищурившись:

— Что у меня в руке? Отгадай!

— Брось ты свои загадки! В прошлый раз таскался за тобой чуть не до вечера, а оказалось, что в руке у тебя дохлый червяк какой-то!

В другое время Эшим помучил бы Темира подольше, но сегодня он сам поспешил показать, что прячет в кулаке. Разжал пальцы, и Темир увидел, что на ладони у друга лежит изрядно помятый шелковый красный платочек. Эшим смотрел на Темира горящими глазами. Те-

мир удивился. Вышитый платочек. Эшим поднял платочек повыше и торжествующе поднес его к лицу Темира.

— Что это?

От платочка приятно пахло. У Темира забилось сердце. Откуда это? Парень даже зажмурился.

Айзада не забыла джигита, что пел об улетевшем от хозяина соколенке. Помнила о нем и тосковала. Яркий, как пламя, кусочек шелка расшила зелеными нитками затейливой вышивкой, надушила платок росою цветов, распускающихся у самых ледников. Так выразила свое первое, стыдливое и трепетное чувство шестнадцатилетняя девушка.

— Это мне передала ее подруга, Темике...— сказал, задыхаясь, Эшим.— Та самая молодуха, помнишь? Я ехал рядом с кочевкой, она на меня посмотрела и говорит: «Не уставать вам». «Спасибо,— отвечаю.— Крепки ли подпруги у ваших вьючных?» «Слава богу,— говорит, а сама оглядывается по сторонам.— Что-то не видно твоего брата, который пел так хорошо,— говорит она и смеется.— Может, он у тебя под седлом прячется?..» Ох, я тебя с утра ищу. Она, видно, поняла, что ты убежал куда-то. Не знаю, как...

От ударов сердца у Темира шумело в ушах. Эшим продолжал:

— Потом она... Темике... говорит: «Дай руку!» Я взял ее за руку. Ой, Темике, ну и нежная ручка у нее...

— Не тяни ты! Дальше!

— Дальше... «Ты,— говорит,— парень, мою руку не сжимай, возьми поскорей вот это!» Я поглядел — сверточек маленький. Она мне: «Отдай своему брату, который от нас спрятался. Если он умный,— поймет, от кого подарок, а не поймет — его дело». Она хотела еще что-то сказать, но тут подъехал муж, наверное, здоровый такой. Я будто ни в чем не бывало прочь поскакал.— Эшим дрожал от радости.— Вот...

Темир слова выговорить не мог и стоял, как каменный, ни с места.

Темир с Эшимом дважды после этого ездили к стоянкам рода баргы и в одну из этих поездок тайно встретились с Айзадой. Узнали, что Айзаду собираются просватать в Кызыл-Рабат, где жили дальние родственники Джамгыра из рода карабагыш, прозванные сартами. Люди они зажиточные, Джамгыр что ни год привозит от них много добра. Должно быть, в счет калыма...

Поздней осенью Айзада переступила порог юрты Тенирберди.

Джамгыр, Кулбатыр и еще двадцать пять человек пустились за ней в погоню. В роде кельдейбай это предвидели, и все, кто мог, двинулись навстречу. Остановившись у въезда в аил, Кулбатыр крикнул:

— Эй! Бекназар-батыр, выходи!

Бекназар не заставил звать себя дважды и встал перед Джамгыром.

— Ты позвал, я явился, сват, перед тобой...

— Что ты толкуешь, батыр? Какой я сват? Я — преследователь. Вы совсем зазнались, вижу я. Иначе разве могли бы вот так поступить, разве могли бы умыкнуть шестнадцатилетнюю девушку? Держи теперь ответ! — сурово и оскорбленно отвечал ему Джамгыр.

— Слезай с коня, Джаке. Обиду свою выложи, стоя на земле, меч подыми на нас, стоя на земле. Выслушай и ты нас, склони ухо к нашим доводам.

Джамгыр будто и не слыхал:

— Где она? Где ослушница?

— Вот это хорошо, Джаке. Идем, поговори сам со своей дочкой.

Айзада с подружками сидела в свадебной юрте.

— Спрашивай, Джаке. Это твое право. Дочь твоя. Джигиту, что силой, против ее воли, умыкнул девушку, которой его мать не надела, как положено по обряду, серег, такому джигиту наказание одно, наказание это — смерть. Никто не властен тогда ни смягчить наказание, ни усилить его. Мой младший брат со мною не поделился, не посоветовался, невесту привел неожиданно, и если он умыкнул насильно, я его защищать не стану, сам свяжу. Спрашивай! А если девушка убежала по своей воле, право на их стороне. Спрашивай, Джаке.

Айзада сидела за занавеской. Бекназар подвел Джамгыра к занавеске, кивнул ему головой — начинай, мол. В юрте зашушукались, зашевелились. Джамгыр позвал строго:

— Айзада!

Айзада не откликалась. Джамгыр еще строже:

— Айзада! Если ты здесь, почему не отвечаешь? Это я, твой отец. Отзовись!

— Я здесь,— дрожащим голосом сказала Айзада.

В юрте все замерли и, затаив дыхание, слушали, что

будет дальше. Что она скажет еще? Не отступится ли, не испугается ли по молодости...

— Тебя увезли силой? Обманули?

Долго молчала Айзада. Кулбатыр, весь в тревоге, нетерпеливо мигал покрасневшими веками. Бекназар побледнел. Сделал знак Джамгыру, чтобы спрашивал еще.

— Айзада! Не бойся, дочка, я ведь стою рядом с тобой. Если тебя увезли силой, так и скажи, не бойся!

Послышался дрожащий голос Айзады:

— Нет...

— Обманом увезли?

— Нет...

Джамгыр так и замер. А люди кругом одобрительно зашумели.

— Айзада, что передать твоей несчастной матери? — задал Джамгыр следующий вопрос.

— Пусть благословит нас,— отвечала Айзада окрепшим голосом.

Джамгыр чуть не упал...

Так Айзада сама нашла свою долю, свое счастье.

Последние поминки по Темиру справляли в урочище Каменистый Ручей,— ведь именно здесь впервые услышали родичи весть о его гибели. Женщины причитали в голос; вся родня рыдала, отдавая последний долг душе усопшего.

Кончился траур Айзады.

Джамгыр, конечно, был на поминках, привез и положенное в таких случаях приношение, но о судьбе дочери спросить не решился. Боялся услышать в ответ что-нибудь, вроде: «Спешишь, сват, скушать то, чего еще не купили!» Однако траур снимают с женщины ее родители, и скоро Джамгыр с женой и еще несколькими родственниками приехали к Тенирберди. Траурную одежду Айзады бросили в огонь, надели на женщину белое платье, привезенное из родительского дома, голову ей повязали белым платком. Теперь, если свекор со свекровью разрешат, она может уйти из их семьи; могут они просватать ее и за любого из своих родичей — на это тоже их полная воля. Но если обручить окажется не с кем, вдова сама над собою вольна. Джамгыр не заговаривал с Тенирберди о дочери, он лишь смотрел на свата умоляющими гла-

зами. Но Тенирберди хмуро молчал, и сердце у Джамгыра час от часу ныло все сильней.

Накануне отъезда Джамгыр решился.

— Сват мой,— начал было он и запнулся.

Мать Айзады молча заплакала. Тенирберди угрюмо опустил голову. Джамгыр вновь собрался с силами.

— Сват мой... Мы стали сватами по воле бога... Но судьба неумолима. Бог, породнивший нас, нас же и разлучает,— Джамгыр всхлипнул.— Сват дорогой! Ты ведь тоже отец. Пожалей молодость моей дочери, отпусти Айзаду...

Вместо ответа Тенирберди тоже расплакался. Джамгыр обнял его.

— Душа моя, сват мой дорогой...

Запричитала Санем:

— Горе мне, сын мой Темир нынче умер, только нынче умер он... Ой, горе!

Тенирберди выпрямился.

— Нет, сват, об этом и не говори! Я потерял Темира, но нет у меня сил отпустить невестку, потерять и ее. Разве ты бессердечный, сват мой? Разве у нас некому заменить Темира?

Джамгыр остолбенел.

— Сват... дорогой мой сват...— повторял он, а слезы продолжали катиться по щекам.

Тут наконец в разговор вмешался Кулкиши:

— Чем слезы лить да препираться, вы бы, сваты, постарались договориться толком. В ваших руках судьба человека. Семь раз отмерь, один — отрежь, как говорят. Ты, сват Джамгыр, хочешь взять дочь к себе, но не можешь, а ты, брат, ежели не за кого тебе невестку отдать, тоже права на нее не имеешь...

Но разумные слова Кулкиши уже не доходили до сватов, обозленных и потерявших уважение друг к другу.

— Бросьте, сваты, бросьте, не обижайте друг друга. Подумайте, есть ли вам из-за чего ссориться? Нет. Сват Джамгыр, ты хочешь выполнить свой отцовский долг, и ты прав, дорогой. Любой на твоем месте просил бы о том же самом.

Джамгыр все плакал, ссутулив спину.

— Если ты, брат Тенирберди, не хочешь отпускать от себя невестку, позаботься о ней, о ее будущем. Но если нет у тебя на примете подходящего мужа для нее, лучше отпусти женщину. Подумай об этом...

Тенирберди напустился на Кулкиши:

— А ты? Ты почему об этом не думаешь?

Кулкиши смутился, но ответил:

— Хорошо, подумаем... Подумаем все вместе.

Айзада, сидя возле юрты, слушала эти разговоры и горько плакала. Рядом с нею сидел Болот, серьезный и присмиревший; не проходило дня, чтобы джене не плакала, но мальчик понимал, что сегодня у нее особые причины для слез. Болот тихонько перебирал серебряные украшения в косах Айзады. Спор в юрте шел все ожесточенней.

— Джене... тебя увезут? — спросил Болот обиженно.

— Не знаю...— ответила Айзада, вытерла слезы рукавом и погладила мальчика по голове.

Джамгыр стоял на своем; он не хотел уезжать до тех пор, пока не соберутся все жители аила, стар и млад, пока он не выскажет им свою жалобу, свою мольбу. Тенирберди согласился на это.

Собрались аильчане на следующий день. Пришел и Кулкиши, серьезный, важный,— будто решение у него готово, он ждет лишь подходящего случая, чтобы сказать свое веское слово. Осунувшийся за ночь Джамгыр беспокойно оглядывался. Седая бороденка его тряслась, глаза жалобно моргали. Старик, казалось, готов был каждой собаке в аиле бить челом о судьбе дочери.

— Люди, дорогие, будьте милосердными. Помните о боге, люди...

Бекназар скромно сел неподалеку от аксакалов. Он нынче ничем не выделяется среди сородичей. На голове белый тебетей, на ногах — юфтевые сапоги, надел Бекназар и такие же, как у большинства горцев, штаны из выделанной кожи дикого козла. Сидел и поигрывал толстой плетеной нагайкой.

Когда все собрались, Джамгыр заговорил:

— Люди добрые, все вы знаете, что ваш джигит умыкнул Айзаду. Я с моими сородичами пустился в погоню. Если девушку кто увез силой, против ее воли, тому наказание смерть, и не спасет, не защитит его самый многочисленный род. Вот почему мы погнались за беглецами. Гнев мой остудили слова моей дочери, подкупило и благоразумие Бекназара-батыра. Ведь это правда, Бекназар, дорогой? Ты сказал тогда: «Разбушуется озеро — быть наводнению, народ разбушуется — быть беде. Не

доводи дело до побоища, Джамгыр-аке. Не гневайся, возьми себя в руки и благослови молодых!» Твои слова омыли мне сердце, я увел прочь моих сородичей, я радовался тому, что дочь моя попала к хорошим людям. Айзада стала вашей невесткой. Скоро пришел ханский приказ, пансаты начали собирать джигитов в поход на врага. Ты, Бекназар, повел за собою свою сотню. Ты привел ее назад, но Темир не вернулся с вами.

Джамгыр опустил голову, помолчал. Потом закончил тихо:

— Вот мы со сватом стоим теперь перед вами и просим рассудить нас. Мне, батыр, довольно одного твоего слова. Скажешь ты: иди, мол, вдова наша,— я тотчас уйду. Но я прошу о своей единственной дочери. Она еще молода. Жаль мне, если она, горемычная, достанется недоброму человеку.

Джамгыр сел и сжался в комок. Тишина. Все выжидательно смотрели на Тенирберди, мрачного и неподвижного.

— Что скажешь ты, Тенирберди? — спросил кто-то из аксакалов.— Говори, ты глава семьи. Если есть у тебя с кем обручить вдову,— обычай и шариат на твоей стороне. Если нет никого, в твоей воле освободить невестку, отпустить ее от себя.

Тенирберди повторил то, что сказал вчера:

— Я потерял Темира, но нет у меня сил отпустить невестку, потерять и ее. Род мой еще не прекратился. Нет Темира, есть Болот!

Люди переглядывались, у Джамгыра округлились глаза.

— Мальчик становится совершеннолетним в двенадцать лет, девочка — в девять. Болоту в этом году исполняется двенадцать, я обручу Айзаду с Болотом.

Снова все стихло. Бекназар своим взглядом, словно шилом, колол Тенирберди. Старик опустил голову, но на лице его было написано жестокое упорство.

— Так не пойдет! — отрезал Бекназар, и все вздрогнули.— Не пойдет! — повторил Бекназар.— Невестка твоя почти вдвое старше мальчика. И возраст, и рост, и мысли разные у них. Как же можно необдуманно решать их судьбу? Обратись к богу, дядя, к богу обратись!

Тенирберди весь трясся от ярости и отчаяния.

— К богу? А разве я не к богу обращался? Бог указал мне этот путь, бог и его шариат!

— Так не пойдет, говорю тебе!

— Бекназар! Бекназар! О Бекназар, не смей больше вмешиваться в дела моей семьи! Ты повел Темира на смерть, и ты же... Довольно! Боже милостивый, где ты, возьми меня к себе, лучше умереть, чем терпеть насилие сородичей!.. Боже, возьми мою душу!

Люди пытались успокоить Тенирберди; решение Бекназара многим казалось неверным и жестоким. Джамгыр сидел весь красный и обессиленно вытирал пот со лба. Растерянный Кулкиши стоял, разинув рот, и не мог представить себе, чем все это кончится.

— Ну, а вы что скажете? — Бекназар обвел глазами аильчан. Сидевший ближе других аксакал пожал плечами, в выцветших от старости глазах застыло недоумение: не приходилось аксакалам сталкиваться с таким противодействием главе семьи, с нарушением установлений шариата, и потому он не знал, что сказать и посоветовать.

Бекназар хорошо понимал, что идет против вековых обычаев, что поступает вопреки воле всеми уважаемых аксакалов. Он был сейчас против всех, ему нужна была помощь, поддержка.

— Хорошо! Пусть придет сюда сама вдова. Ее судьба решается, что она скажет, на том и порешим! — бросил он, и снова молчание было ему ответом.

Виданное ли дело — приводить женщину в собрание? Кто и когда считался с ее мнением? Освященные веками обычаи не знали такого. Не бабьего ума это дело, только мужчины могут решать его. Невозможно это! Невозможно? Говорят, ежели колотушка крепкая, то и войлочный кол в землю вобьешь. Возможно, если захочет Бекназар! Кто посмеет спорить с ним? Он этого не терпит в своем аиле; при малейшем противоречии рука его тянется к рукояти смертоносного меча. Потому и прибавили к имени Бекназара прозвание «батыр». Бекназар-батыр — герой Бекназар, богатырь Бекназар!

Бекназар нетерпеливо ждал ответа, и люди наконец зашевелились.

— Ладно, пускай придет...

— Пусть сама скажет!

— Верно, судьба-то ее...

Айзаду привела жена Кулкиши. Четыре года прожила Айзада в аиле, но мало кто из людей преклонного возраста знал женщину в лицо: не положено молодухе вертеться на глазах у почтенных, пожилых мужчин, не дай

бог перейти кому из них дорогу. Теперь она стояла перед ними, из скромности набросив на лицо и грудь белый легкий платок... Поклонилась и, как подобает по обычаю, села в сторонке.

Старший из аксакалов, не глядя на Айзаду, обратился к ней. Говорил он ясно, громко,— чтобы ей хорошо было слышно.

— Дитя мое, здесь решается твоя судьба. Ты, конечно, знаешь, о чем идет речь. Мы вызвали тебя, дитя мое, чтобы ты раскрыла нам свое сердце. Что ты скажешь, свет мой?

Стало тихо, как в могиле. Белое покрывало Айзады не дрогнуло, ни слова, ни звука не проронила вдова Темира. Все смотрели на нее, а она оставалась недвижима и нема. Жена Кулкиши горячо зашептала ей:

— Милая... соберись с духом, выскажи, что у тебя на сердце.

В ответ Айзада только вздохнула.

— Айзада, не будь малодушной, твоя судьба сейчас зависит от тебя одной! Говори, говори, родная!

— Чего вы ее принуждаете? Молчит, значит, согласна остаться,— сказал Кабыл, и все, а особенно аксакалы, с облегчением перевели дух, будто с трудом одолели тяжелый перевал. Лишь Джамгыр смотрел на дочь отчаянными глазами, и казалось, что он вот-вот с криком сорвется с места.

Но Айзада, должно быть, собиралась сказать свое слово: она откашлялась, и все, как по приказу, замолчали.

— Я...— начала Айзада, запнулась, но быстро справилась с собой и продолжала:— Не за выкуп пришла я в эту юрту, не продали меня... Я по своей воле убежала с любимым человеком. Я пришла в его семью, чтобы жить, состариться и умереть здесь.

Айзада замолчала, слезы душили ее. Жена Кулкиши испугалась было, что вдова Темира больше ничего не сможет сказать, но страх этот был напрасен.

— Я чту память покойного. Я не могу причинить боль его родителям. Если бы свекор отпустил меня добром, я ушла бы. Не хочет он этого — не могу я уйти и оставить стариков в слезах и в горе.

— Родная ты моя! — не выдержал Тенирберди.

— Но пусть свекор не обручает меня с мальчиком. Младший брат Темира и мне брат, больше того — я к

мальчугану отношусь, как к своему сыну. Пусть свекор и не думает просватать меня за него! Я не уйду. Я уберу косы под тебетей, я заменю старикам их погибшего сына. Я честно буду заботиться о них, выполнять любую работу. Вырастет мальчик, станет джигитом,— сама найду ему подходящую невесту, справим той. Я заменю Болоту старшего брата. Может, и свекор мой тогда будет мной доволен.

С удивлением слушали люди Айзаду. Тенирберди и Джамгыр сидели, повесив головы. Кабыл — по крови самый близкий родственник Тенирберди — сообразил, что Айзада получает все-таки некоторую свободу, и пробурчал недовольно:

— Нету, что ли, среди нас подходящего ей по возрасту?

Айзада откинула платок с лица. По обычаю молодуха не смеет этого делать, не смеет открывать лицо перед множеством мужчин. Да еще перед стариками. Айзада поступила так намеренно, она хотела дать понять всем, кто слушал ее, что, пока она жива, от слов своих не отступится.

— Я была скромной женщиной, но вот судьба заставила меня прийти к вам сюда и сказать то, что вы слышали. Не сказать я не могла. С нынешнего дня я в вашем аиле не невестка, а равный всем вам сородич. Если свекор мной недоволен, я теперь вправе обидеться на него. Вправе встать и уйти от вас... И если сама смерть преградит мне дорогу, я пойду навстречу смерти. У счастливого смерть отнимает счастье, у несчастного — его страдания и муки. Смерть освобождает таких горемычных, как я, от горя и слез...

Аксакалы молчали.

Бекназар встал.

— Все. Слово сказано.

И пошел прочь.

3

«Прими, батыр, привет от сердца, чистого, как эта белая бумага. Твой старший брат Абиль-бий ослабел здоровьем. Посети нас, батыр, и привези с собой дядю Тенирберди. У меня есть к тебе просьба, нужно мне и посоветоваться с тобой». С таким письмом отправил Абиль-

бий доверенного джигита к Бекназару. Тенирберди неотступно уговаривал Бекназара непременно откликнуться на зов. Нельзя не поехать, если старший в роде оказывает честь и сам посылает письменное приглашение, будто не старший он, а младший. Нельзя не поехать! Кто своих не признает, того называют безродным бродягой. Бий к тому же нездоров, как видно. Если не оказывать уважение живым, к чему тогда оплакивать мертвых? «Вели седлать коня,— понуждал Тенирберди Бекназара.— Не поедешь ты, так я один отправлюсь!»

Тенирберди с Бекназаром прибыли в назначенный день.

Абиль-бий был здоровехонек, но гостей принял с таким видом, будто вконец измучил его жестокий недуг. Со стоном поднялся с постели, страдальчески сморщил лицо, когда пришлось поднять руку, чтобы поправить бархатную ермолку на голове. Глаза Абиль-бия были устало полузакрыты.

— Эхе-хе... Пока здоров, не только родню, но и самого бога забываешь,— начал он, едва гости уселись.— Чего не бывает между нами, когда мы живы-здоровы. А вот как постигнет испытание нашу душу и тело, свалится на голову беда, тогда и познаем мы истинную ценность родственных уз, тогда и становится нам ясно, кто нам друг, а кто враг, Тенирберди-аке.

Тенирберди поправил шубу, укрыл ее полами поплотнее колени и ответил с явным одобрением:

— Справедливые слова, бий. Даже когда эти узы оборваны, в душе остается хоть капля теплоты, капля участия к родному человеку.

— Сам себе руку не отсечешь, Тенирберди-аке. Что бы там ни было, но мы с вами до сих пор всегда придерживались обычаев. Если браним своих детей, то для того лишь, чтобы исправить их, сделать лучше. А молодежь наши наставления понимает шиворот-навыворот, к советам нашим не прислушивается. Близки, видно, последние времена, близок день Страшного суда...

Тенирберди при этих словах виновато опустил голову, словно стыдясь за своих строптивых младших братьев.

Абиль-бий продолжал все тем же стонущим, полным бессильной горечи голосом:

— Что поделаешь, Тенирберди-аке, молодые не ценят родства. Мы вот, можно сказать, одной ногой стоим в могиле, но неустанно боремся с нашими бедами и знаем,

что родич родичу первая опора. Не понимаю я, ведь мы тоже были молодыми...

Бекназар сидел с отсутствующим видом и не говорил ни слова. Он еще с порога заметил, что Абиль-бий только прикидывается больным. Как ни старался Абиль придать своим маленьким, заплывшим жиром глазкам страдающее, удрученное выражение, Бекназар успел заметить, что в глубине их горит ожесточенная злоба. Бекназар всегда старался действовать в соответствии с условиями и обстоятельствами, взвешивать каждое слово. И теперь он сидел, ничем не выдавая своего настроения, сидел и слушал.

— Пансат-аке, мы о вас вестей не имели. Мы, как младшие, конечно, должны были приехать без зова. Простите,— сказал он негромко...

Абиль-бий принял огорченный вид.

— Все это оттого, что связи между нами не было,— проныл он.— Можно сказать, ни от нас к вам, ни от вас к нам даже мышь не пробежала.

— Ветви на дереве растут в разные стороны, но корни их объединяют,— продолжал Бекназар.— Мы родичи, мы одно племя. Ссоры и раздоры, которые происходят сгоряча, не надо принимать всерьез. Они не могут возвести между нами стену, пансат-аке. Однако, если назвать рабом бия, бий только рассмеется, а если раба назвать рабом — это смертельная обида. Когда на нас повышают голос, мы это воспринимаем как угрозу, когда над нами заносят камчу, нам она кажется мечом. Вот откуда рождаются обиды и озлобление...

Собравшихся в юрте начали обносить холодным, свежим кумысом, который, казалось, светился в красивой деревянной чаше, отделанной по краям серебром. Подавали кумыс строго по старшинству.

— Продолжай, батыр. Грязь с рубахи смывает вода, грязь с души — слово.

— Все известно и без слов, пансат-аке. Наши бии, отцы народа, к народу не прислушиваются, о нуждах народных не пекутся.

Глаза у Абиль-бия сразу открылись. Сообразив, к чему идет разговор, он едва заметно улыбнулся.

— Хан — вот разум и глаза всего народа. Народу нужен глава, справедливый правитель, верный шариату. Иначе любой крикун может посеять смуту среди людей, иначе некому будет прислушиваться к жалобам народа,

заботиться о его нуждах, и государство распадется. И наша служба государству не в том состоит, чтобы продавать свой народ, а в том, чтобы сохранять единство и быть преданным священному престолу. Таких родов, как наш, немало. Если каждый род будет требовать свое и затевать ссоры, какая от этого польза всей стране?

— Верно... Во имя этой пользы, во имя общего блага мы делали немало. Для хана мы были и конем, и воином, и мясом на его достархане. Готовы были шкуру с себя снять и ему на шубу отдать... А сами живем год от года хуже. Как пересыхающий родник дает все меньше воды, так и нас становится все меньше с каждым годом. Почему мы помним свой долг перед священным престолом, перед ханом и почему хан не помнит свой долг перед подданными? Почему он смотрит на подданных, как на дичь, на которую можно натравливать гончих псов и ловчих птиц?

Абиль-бий не спеша поднял чашу с кумысом, покачал головой, отпил несколько глотков и задумался. В юрте стало тихо.

Тенирберди, восседавший сегодня на почетном месте, пока не находил, что сказать. Если подумать, и тот, и другой по-своему правы. Но на самом деле кто-то один виноват больше, чем другой. Кто же? Абиль-бий? Бекназар? Тенирберди никак не мог рассудить.

— Твои слова разумны, младший брат мой,— сказал Абиль-бий и снова сокрушенно покачал головой.— Но на все есть свои причины. Не священный престол, конечно, повинен в том, а бессовестные люди, которые пользуются милостями престола и бесятся с жиру...

— С жиру бесится сам хозяин священного престола!

Абиль-бий прямо поглядел на Бекназара. И в глазах его можно было прочесть, что сам он с этим согласен, но говорить так считает неосторожным.

— Возможно,— сказал он уклончиво.— Посмотрим, а пока нам рано беспокоиться. Ту голову, что не печется о народе, покарает сам бог. Как бы много ни было бессовестных людей, в орде есть кому подумать. Кто знает? Рано или поздно головы бессовестных слетят с плеч.

Бекназар молча кивнул головой.

Что случилось с Бекназаром? Чего это он стал таким смиренным — будто шаман, утративший сверхъестественную силу? Абиль-бий решил про себя, что наконец-то принесла свои плоды издавна проводимая им тактика.

Абиль-бий помнил, какую пощечину — первую в своей жизни! — получил он от народа в тот день, когда все собрались послушать ханского посла. Не учел тогда он, что орда не имеет большого влияния на кочевников. Пойми он это вовремя, не стал бы так резко говорить с Бекназаром, принял бы ханского посла как подобает, но о помощи хану войском и речи не допустил бы. Дальновидный политик, он быстро сделал выводы из своей ошибки. Резкое слово — плеть, ласковое — укрюк. Ловкий бий старался теперь ласковыми словами снова перетянуть на свою сторону отшатнувшихся было от него родичей. Первым делом начал приглашать к себе в гости по одному наиболее уважаемых аксакалов, принимал их радушно, рассказывал о приятных известиях из столицы. Назавтра провожал с почетом каждого и одаривал конем или дорогим халатом. Сам из дому не отлучался, распространил слух о своей болезни. Как не навестить больного — к Абиль-бию на поклон потянулись родичи один за другим. Бий всех встречал приветливо, был щедр на угощение и подарки. Аксакалы и старейшины, уезжая от него, не могли нахвалиться добротой и щедростью Абиля,— старый хитрец знал, что не на ветер пускает добро, что не зря раздает подарки. Гостям своим он без устали втолковывал, чтобы дома они призывали воинственных джигитов не затевать пустые раздоры, вести себя скромно и почитать старших. Как бы между прочим вставлял при этом словцо насчет того, что ослушники и смутьяны, кем бы они ни были, не уйдут от наказания. И если одним он лишь намекал на такую возможность, то другим говорил о ней твердо и прямо.

Воины разъехались по своим аилам, окружение Бекназара редело. Настало время, когда с Бекназаром считались уже только земледельцы из его аила. Он даже не пытался воспрепятствовать этому. Да и что он мог бы сделать? Народ не испытывал открытого притеснения ни от белого царя, ни от хана, жизнь текла мирно, никто не рвался в битвы и сражения; с обстоятельствами нельзя не считаться, нельзя плыть одному против течения. Вот отчего так присмирел Бекназар.

...Абиль-бий, сощурив глаза, пристально посмотрел на Бекназара. Приехал-таки, голодранец! Не зря говорят, что снежный буран и косулю загонит в хлев. Абиль-бий сжал губы, злые искорки заплясали в глазах: «Погоди! Ты мне пока еще нужен! Резкое слово — плеть, ласко-

вое — укрюк. Верно сказано! Погоди, погоди, ты еще нужен мне!»

О деле, по поводу которого он хотел советоваться, Абиль-бий заговорил только на следующий день. Скликал к себе всю окрестную кочевую знать. Сам сидел больным-больной, не подымая глаз, и никому было невдомек, о чем он думает про себя. Под вечер Абиль-бий подошел к тому месту, где расположились самые почетные гости, бесцеремонно уселся среди них. От его болезни теперь как будто не осталось и следа; вид у Абиль-бия был важный, торжествующий и самоуверенный.

— Почтенные! — начал он, ни на кого не глядя.— С давних пор гложет меня одна забота. Вы знаете, как забота сушит человека, не приведи бог! Но моя печаль касается и вас, вашей чести.

Гости внимательно слушали. Абиль-бий теперь только обвел всех медленным взглядом.

— Скажите, братья мои, что за человек был наш покойный Джаманкул?

К чему он об этом спрашивает? Не все даже сообразили, о ком идет речь. Один из аксакалов ответил беззаботно:

— Бедняга Джаманкул был скромный человек.

Абиль-бий горестно опустил голову.

— Да... похоронили такого человека, а достойных поминок не справили.

Негромкие слова бия камнем упали на головы гостей. Наступила недолгая тишина, потом заговорили люди, перебивая один другого.

— Он в жизни мухи не обидел, бедняга!

— А дети у него еще безответнее, их не видать и не слыхать...

Абиль-бий вздохнул.

— Вот об этом и хотел я откровенно поговорить с вами. Дети — детьми, они не проявили величия души, но как на это смотрит весь род Джаманкула? Мы все его родичи, кому как не нам исполнить долг перед усопшим? Если мы этого не сделаем, кто же сделает?

Нет ничего плохого в том, чтобы справить богатые поминки по бедному родственнику. Аксакалы не могли возражать Абилю и только согласно кивали головами:

— Родство — не юрта, в которой можно сидеть, когда захочешь. Родич познается в радости и в горе, в исполнении родственного долга. Тогда он угоден богу.

— Надо, чтобы о таких поминках знали повсюду.

Абиль-бий подхватил:

— Надо нам справить поминки нашему Джаманкулу так, чтобы друзья это считали достойным, а враги — пристойным. Надо оповестить Алай и Узген, Андижан и Маргелан, пригласить всех, кто имеет верхового коня. Что вы скажете на это, уважаемые отцы народа? — Абиль-бий, как бы обессиленный долгой речью, издал приглушенный стон и добавил: — Ну... не худо бы для приличия пригласить гостей из Кочкора, с Иссык-Куля, из Сары-Узен-Чу. Но эти аймаки отрезаны русскими, что поделаешь...

— Бий,— сказал с некоторым замешательством Домбу,— если устраивать такой большой аш [1], надо бы, наверное, и хана пригласить. А? Разве можно без хана?

— Справедливо, Домбу, справедливо,— не глядя в его сторону, кивнул Абиль-бий.— Как бы то ни было, мы рабы золотого престола и должны во всем советоваться с ханом, на все просить его соизволения.

Глаза Абиль-бия испытующе черкнули по лицу Бекназара. Бекназар промолчал.

Кто не знал Джаманкула? Абиль-бию он приходился родней. При встрече всем улыбался приветливо — и знакомым, и чужим, и старшим, и младшим. Ездил верхом на большерогом быке, пас и охранял стадо,— вот и все его занятие. Он и вправду мухи никогда не обидел, был скромен и непритязателен. Живой он Абилю был совершенно безразличен, а после смерти стал дорог и мил. Может, потому, что, как говорится, у потерянного ножа рукоятка золотая? Для чего понадобилось Абилю почитать умершего Джаманкула? Бий печется лишь о своей славе и чести. Ему, однако, нужен повод. В последние два года он немало постарался и для себя, и для орды. Недоверие между ордой и кочевниками мало-помалу сходит на нет. Имя Абиля хану известно. Если Абиль-бий сумеет еще укрепить связь кочевых племен с верхушкой ханства, хан не пожалеет для него почестей и подарков; тем самым возвысит себя Абиль-бий и среди кочевников, никто уже не сможет да и не станет соперничать с ним в борьбе за власть, за влияние на племена. Но надо, обязательно надо поближе свести кочевников с ханом и его окружением, усадить их за общий достархан. А по

---

[1] Аш — поминки, поминальный пир.

какому случаю, как это устроить? Вот и задумал Абиль этот аш, вот почему вспомнил он о Джаманкуле, вызвал его дух из забвения для того, чтобы ловчее обделывать свои дела, успешнее проводить свою политику.

Разгоряченные кумысом аксакалы дружно поддержали Абиля.

— Правильно! Хоть он и бедный, и скромный, Джаманкул — наш родич. Надо справить достойный аш.

— Это наш старинный обычай! Еще можем удержать камчу в руке, можем принять на себя и расходы на поминальный пир.

— Спасибо... Спасибо...— с дрожью в голосе говорил Тенирберди.— Кто почтит память усопшего, того да почтят живущие. Все смертны, в этом мире бессмертия нет. Все мы уйдем, каждый в свой час. Но не жаль умереть, если знаешь, что останутся после тебя достойные наследники. Да возрастет слава твоя, мой брат, благо тебе!

Абиль-бий добился своего. Кто скажет, что он плохо придумал? Приняв решение, аксакалы начали совещаться о том, когда и где провести аш, сколько юрт должен поставить каждый из родов, сколько скота пригнать на убой для угощения, как провести поминальную байгу и какие награды назначить победителям. Обо всем надо было позаботиться заранее.

Сарыбай сидел в юрте. Сидел молча, опустив плечи. На глазах у него зеленая повязка. Куда девался молодцеватый мирза-охотник? От него и половины не осталось. Зажили, превратились в безобразные темные шрамы раны на лице, нанесенные когтями беркута. Человека узнают по глазам — что он думает, что чувствует. А когда глаз не видно, даже не сразу поймешь, спит он или бодрствует, задумался о чем или просто так сидит. Так и Сарыбай. Но вот он расправил грудь, вздохнул тяжело и начал прислушиваться. Где-то неподалеку от юрты играли ребятишки, и Сарыбаю хотелось узнать каждого по голосу. Он слушал и слушал, молча, сосредоточенно... Потом позвал:

— Суюмкан!

— Здесь я, сижу рядом с тобою, отец моей дочки,— откликнулась жена.

— Дай-ка...— и Сарыбай протянул руку.

Суюмкан знала, о чем он просит. Комуз. Суюмкан поднялась, сняла комуз с кереге[1].

— Отец Кундуз...— начала было она и запнулась, и так остановилась у стенки, не отдавая Сарыбаю инструмент.

— Ну?..

— Давай поговорим немного, отец Кундуз...

[1] Кереге — деревянная решетка, на которую крепятся нижние кошмы юрты.

С тех пор, как Сарыбай начал понемногу поправляться, комуз стал его единственной радостью и утешением. Сарыбаю почти все время приходится сидеть на месте, от этого затекают ноги, немеет шея. Даже губы, кажется, утратили подвижность оттого, что он подолгу молчит. Раскалывается от боли, горит огнем голова от постоянно сдерживаемых рыданий. Рвется наружу крик, и так хочется отбросить, уничтожить черную завесу, опустившуюся перед глазами. Он задыхается, точно рыба, выброшенная на берег. Где выход? Где взять силы? Сломленный судьбой, он только и может тяжко вздыхать. Тоска растет и переполняет сердце... И тогда приходит на помощь комуз.

Сарыбай не ответил жене и снова протянул руку за комузом.

— Ну что ж, соколятник,— сказала тогда Суюмкан, стараясь, чтобы голос ее звучал весело.— Сыграй тогда что-нибудь хорошее, хотя бы песню о кочевке [1].

Сарыбай согласно кивнул и заиграл, но мелодия, сложенная весело и задорно, под его пальцами вдруг зазвучала жалобно и тоскливо. Не о веселых сборах на кочевку пел комуз, а о горе, разлуке, об отчаянии человека, неожиданно упавшего в бездну. Суюмкан слушала, слезы текли у нее по щекам, она отирала их рукавом, а когда Сарыбай кончил, заговорила опять нарочито бодрым голосом, чтобы муж не догадался о ее слезах.

— Отец Кундуз, ты совсем не так сыграл!

— Почему не так?

— Разве так играют эту песню? У тебя грустно получилось...

Сарыбай снова вздохнул.

— Как, ты говоришь, получилось?

— Да грустно очень.

Сарыбай задумался, потом спросил:

— Где Кундуз? Что-то я не слышу ее голоса.

— Ушла с подружками к роднику.

— Поиграть?

— Да нет, по воду пошли.

Сарыбай повернул голову, как птица, которая услышала далекий шум.

---

[1] Во время кочевки юношам и девушкам можно более свободно встречаться и беседовать; в это время женихи выбирают невест. Об этом и сложена народная мелодия.

— Э, Суюмкан...— сказал он тихо-тихо, горько покривив рот.

— Да, отец Кундуз!

— Ты снова плачешь?

— Нет, отец Кундуз!

Сарыбай дотронулся до щеки Суюмкан.

— Зачем ты говоришь неправду слепому? Плачешь ведь...

Суюмкан прижала руку Сарыбая к своему лицу, горючие слезы полились потоком.

— Перестань, Суюмкан... Я-то считал тебя умной женщиной! Видишь, я уже смирился со своею судьбой, а ты все оплакиваешь мое несчастье, все не хочешь смириться. Так, видно, бог судил мне, что поделаешь. Не плачь! Тяжко мне, когда ты плачешь, пойми это, Суюмкан.

— Хорошо, хорошо, отец Кундуз. Я больше не буду. Смириться мне трудно, отец Кундуз, трудно смириться с тем, что ты потерял глаза...

— Смирись. Подумай о дочери. Надо беречь ее, не показывать ей наше горе, не то девочка падет духом.

Суюмкан успокоилась, утерла слезы.

— Ну вот так! Крепись... Кто поможет нам, если мы сами не поможем себе?

И Сарыбай снова заиграл на комузе, но на этот раз старался, чтобы мелодия звучала бодро и радостно.

— Ежели несчастный только и станет твердить, что о своем несчастье, где ему взять силы? — говорил он весело.— Я попал в беду, но не хочу все время помнить о ней, Суюмкан. На мое счастье, у меня есть ты и дочка.

Гнедой конь Сарыбая был настоящим скакуном. Сарыбай его попусту не гонял, в кокберы [1] на нем почти не участвовал, а седлал только в особо торжественных случаях, пускал на большую байгу. Охотник потерял зрение, потерял собаку, беркута, потерял и коня. На гнедом разъезжал теперь по любой житейской необходимости Мадыл.

Сарыбай, задумавшись, вспоминал гнедого с его красивой маленькой звездочкой на лбу. Слепой охотник поднялся, Суюмкан поддержала его под руку.

---

[1] Кокберы — конная игра, во время которой участники отбивают друг у друга тушу козла; отсюда и русское название игры — козлодрание.

Они вышли из юрты.

— Солнце садится? — спросил Сарыбай.

— Да.

— Жар ослабел...— негромко, почти что про себя говорил Сарыбай.— Вот-вот, должно быть, перевалит солнце через гору... А где гнедой привязан?

Суюмкан отвела мужа к столбу, к которому привязан был конь. Гнедой заржал — то ли узнал хозяина, то ли корму просил. Сарыбай протянул обе руки, ласкал коня, как отец ласкает ребенка. Гладил, почесывал за ушами, приговаривая: «Дорогой ты мой... как ты? Здоров?» Провел рукой по спине, по крупу.

— Рабочей скотиной стал... отощал...

Мадыл, который, пользуясь последними светлыми минутами дня, сидя у порога юрты, чинил чокои, сказал виновато:

— Много приходится ездить на нем. Кожа да кости...

Суюмкан махнула рукой:

— Не все ли равно, худой или гладкий? Ему не на скачки, можно верхом сесть — и ладно!

Сарыбай усмехнулся, обеими руками дернул коня за хвост.

— А он сильный. Хотелось бы мне пустить его на скачки. А почему бы и нет? Мой гнедой не раз выигрывал байгу [1].

Мадыл бросил свои чокои, вскочил, босой подошел к ним.

— Да как же он побежит, аке? Ну как? Он совсем обессилен. Какая там байга, спасибо, до весны дотянул...

— Мадыл,— встрепенулся Сарыбай,— насчет выездки я сам позабочусь, а ты первым делом корми его, пускай хорошенько в тело войдет, до осени времени много, на поминках по Джаманкулу наш гнедой, глядишь, и поскачет на байге.

Мадыл смотрел на старшего брата с удивлением и радостью. Давным-давно не видел он его в приподнятом, бодром настроении, не слыхал, чтобы Сарыбай говорил о завтрашнем дне, о будущем. Сейчас перед ним как будто стоял прежний Сарыбай, известный мастер выездки скакунов. И Мадыл не решился сказать что-либо та-

---

[1] Байга — скачки, на которых для хозяина коня-победителя устанавливается ценный приз.

кое, от чего Сарыбай снова утратил бы всякий интерес к жизни, снова бы пал духом. Он поддержал брата:

— А что? И вправду, давай-ка испытаем нашего гнедого, брат!

И вспомнилось ему, сколько раз возвращался прежде Сарыбай в своей нарядной куньей шапке победителем после байги, возвращался гордый и радостный, ведя в поводу полученную в награду кобылу с жеребенком. Сколько раз... И в сердце Мадыла вдруг тоже ожила надежда.

— Так и сделаем,— твердо сказал Сарыбай.— Хорошенько смотри за ним. А выездку предоставь мне. Для этого глаза не нужны.

Мадыл принялся выхаживать гнедого. Для поездок по хозяйству брал лошаденку Идына либо ходил пешком. Он и сам не заметил, как увлекся, вовремя кормил коня, носил ему воду, чистил — одним словом, не забывал о гнедом ни днем, ни ночью. Через месяц конь оправился.

Сарыбай похвалил:

— Молодец, все хорошо! Теперь начинай понемногу выводить его. Поить води в поводу. Дня через два поставим его на выстойку до утра, погоняем потом до пота — и снова на выстойку. Так у него сойдет лишний жир и мышцы окрепнут. Потом ты еще месяц будешь терпеливо ухаживать за ним. А там, даст бог, начнем выезжать по-настоящему, начнем и на скачки пускать его!

Сарыбай, казалось, и не думал теперь о своей беде, все его мысли были заняты конем, и только им. Мадыл, до глубины души обрадованный тем, что брат его вернулся к жизни, старался, не жалея сил.

Однажды в полночь Сарыбай проснулся от раздавшегося неподалеку топота копыт. Яростным лаем залилась собака. Сарыбай поднял голову, сердце тревожно забилось. Топот коня удалялся.

— Увели! — Сарыбай сорвался с постели.

— Что ты? — проснувшаяся от его крика Суюмкан ухватила мужа за подол рубахи.— Куда ты, отец Кундуз?

Сарыбай, не слушая ее, кричал:

— Мадыл! Где же ты, Мадыл?

Мадыл спросонок не мог сообразить, чего хочет от него Сарыбай; поняв, о чем беспокоится брат, побежал прочь из юрты, отрывисто бормоча что-то вроде: «да здесь он...», «на месте стоит...». Конского топота уже не слышно было, вернулась к юрте, все еще подтявкивая, со-

бака. Мадыл не нашел коня на месте и теперь метался по юрте, все еще пытаясь убедить себя и других, что не кража произошла, а просто конь отвязался и ускакал, чем-то напуганный...

Но Сарыбай сидел у порога, бил кулаками оземь:

— Свели, свели! Я сердцем почуял. Свели-и!

Мадыл, причитая, побежал в ту сторону, куда ускакал конокрад.

Теперь уже все проснулись, загомонили, заспорили... Доносились из лесу суматошные крики Мадыла. Сарыбай позвал Идына, тот прибежал.

— Иди, приведи Мадыла, хватит ему орать! Вор увел коня, и нечего попусту сбиваться с ног.

Идын на своей кляче догнал Мадыла, вернулись они вдвоем. Мадыл никак не мог опомниться, проклинал себя. Присел было, прислонившись к стенке юрты, тут же вскочил. Но Сарыбай уже овладел собой.

— Перестань! — сказал он.— Криком вора не поймаешь, довольно причитать. Я слышал топот одного коня. Вор, значит, пришел сюда пеший. Гнедой наш — скакун известный. Если вор не дурак, коня он резать не станет. Если не уведет гнедого через Талас в казахские степи, объявится рано или поздно. И нечего горло драть, надо завтра с утра идти к бию и рассказать, как было дело.

Мадыл в эту ночь не спал. Чуть свет взгромоздился на лошаденку Идына и отправился к Абиль-бию. Рассказал, что случилось. Абиль-бий искренне огорчился.

— Чтоб ему сдохнуть на дороге, у кого же это поднялась рука? Ежели бы Сарыбай был здоров...— он не договорил и принялся ругать Мадыла: — Знаешь ведь, сколько врагов у хорошего скакуна, как же ты мог не держать его при себе днем и ночью, почему не наматывал повод себе на руку, когда спал?

— Да я всегда спал рядом с конем. Надо же было именно в эту ночь... в юрту я ушел, чтоб мне пропасть...

Абиль-бий засмеялся:

— К бабе захотелось небось, бугай ты эдакий!

Мадыл покаянно клонил голову.

— Чтоб мне пропасть... злосчастная ночь...

Абиль качал головой укоризненно:

— Гляди в оба, так и не будет у тебя соседа-вора! Где вот теперь искать?.. Ну ладно, ты ободри Сарыбая, пускай не убивается, постараемся сыскать коня. Я сам исподволь этим займусь. Не иголка в сене, найдется.

Мадыл уехал обрадованный.

Абиль-бий взялся за дело исподтишка, осторожно. Расспросы вел так, чтобы не возбуждать подозрений. Велел узнавать в Чаткале, Кетмень-Тюбе. Искал будто бы своего коня. Но гнедой исчез бесследно, словно в воду канул, либо в камень превратился...

Сарыбай наигрывал на своем комузе, и мелодия напоминала щебет птицы. Сарыбай усмехался.

— Стервец, пес поганый, увел нашего гнедого. Камень ему в зубы, зарезал он на мясо нашего скакуна!

— Знать бы только, кто он, проклятый! — скрипел зубами Мадыл.

— Ладно! — Сарыбай заставил свой комуз петь еще веселей и громче.— Он тоже раб божий, пускай набьет себе брюхо, стервец...

Серая равнина Кызыл-Джара. Поздняя осень. Длинная цепь всадников движется по равнине в сторону гор.

Впереди, точно соблюдая положенное расстояние, едет знаменосец. Он твердо держит знамя, и тяжелые складки полотнища величаво колышутся на ветру. Позади знаменщика скачет на коне смуглолицый молодой мирза. Плавно несет хозяина крупный чалый иноходец. Одет всадник в красно-золотую парчу, обут в сапоги из синего сафьяна, на голове синяя чалма. Видно, впервые попал мирза в эти края; стараясь не поворачивать головы и тем самым не показывать своего волнения и любопытства, он то и дело поглядывает по сторонам, смотрит и на все выше подымающиеся на горизонте суровые темные горы. Несмотря на молодость, мирза хорошо владеет собой; он сдержан, к чему его обязывает положение и воспитание, но тонкие брови то и дело сходятся на переносице, выдавая внутреннюю тревогу молодого человека. Слева на поясе у мирзы дамасская сабля, справа — однозарядный русский пистолет.

Это старший сын Кудаяр-хана Насриддин-бек. Рядом с ним — Абдурахман. Он весь в черном: черный, дорогой материи халат, какие носят наиболее знатные и влиятельные придворные, тебетей из черной мерлушки, броско отороченный красным бархатом. Неуверенность и подозрительность, так ясно читавшиеся в глазах Абдурахмана, когда он приезжал в горы послом от хана, уступили место самоуверенности и властной решимости, но взгляд этих глаз по-прежнему пронзителен и зол.

Насриддин-бека и Абдурахмана сопровождало человек сорок сипаев, ехавших по четыре в ряд сильно растянутым строем. Вот впереди, у самых предгорий, завиднелись юрты, множество юрт, установленных в ряд. Возле каждой юрты — люди, оседланные кони. Насриддин-бек начал было про себя считать юрты, но сбился.

Едва завидев приближение Насриддин-бека и его свиты, понеслось им навстречу несколько десятков всадников. Всадники мчались во всю прыть, с криком и шумом, но вскоре вперед вырвались двое.

— Мирза, тебя ждут твои кровные родичи, родные дядья. Они начали кокберы в честь своего племянника, в честь его высочества, надежды мусульман мирзы Насриддин-бека. Это знак почета и уважения,— объяснил Насриддин-беку Абдурахман.

Лицо мирзы вспыхнуло румянцем: он и теперь не сказал ничего, но, как видно, успокоился и внимательно наблюдал за состязанием. Вскоре победитель, обскакав по кругу всю свиту мирзы, остановился перед Насриддин-беком, швырнул отбитую в схватке тушу теленка под ноги шарахнувшемуся от неожиданности иноходцу и, прижав к груди сложенную вдвое камчу, поклонился.

— Спасибо, братец! — поблагодарил Абдурахман.

Насриддин-бек снял с пояса дамасскую саблю.

— Пусть это оружие станет тебе наградой, батыр!

Богатырски сложенный джигит двумя руками принял подарок, поцеловал саблю, затем молниеносным движением выхватил клинок из ножен, подбросил высоко вверх и на лету поймал за рукоять.

— Спасибо, мирза!

И поскакал прочь.

Неспешной рысью приблизились к Насриддин-беку встречающие во главе с Абиль-бием.

— Низко кланяемся нашему племяннику, сыну хана! Добро пожаловать, ханзада! — радостно приветствовал Насриддин-бека Абиль-бий и остановил коня.

Насриддин-бек поглядел на Абиль-бия. Абдурахман поспешил шепнуть мирзе, что Абиль — самый здесь влиятельный человек. Насриддин-бек милостиво улыбнулся и протянул Абиль-бию руку.

Снова вырвался вперед знаменосец. Абиль-бий спешился, поднял обеими руками тушу теленка и подал ее Насриддин-беку на седло. Тот принял ее и тронул ино-

ходца, который прежней плавной иноходью понес мирзу следом за знаменосцем.

Насриддин-бек, с трудом удерживая тяжелую тушу, старался покрепче прижать ее к седлу.

— Насриддин-бек! Насриддин-бек! — выкрикивали на скаку сипаи. Абдурахман и Абиль-бий, обеспокоенные, как бы мирза со своей тяжелой ношей не свалился с седла, ехали по обе стороны от него.

По знаку Абдурахмана мирза повернул коня к двум большим белым юртам, поставленным отдельно на холме. Подъехали, остановились у первой из них. Аксакалы, которые должны были встретить мирзу у дверей юрты, замешкались, засуетились бестолково.

Туша теленка тяжело шлепнулась наземь. Из юрты тем временем важно и степенно вышла Каракаш-аим в нарядном элечеке. Абдурахман ее узнал.

— Каракаш-дженгей! С тебя причитается! — сказал он и, как положено по обычаю, преградил мирзе дорогу.

У Каракаш-аим зарделись от радости щеки, заблестели глаза: она тотчас сообразила, что молодой джигит перед нею и есть ханзада.

— Ай-й, да никак это наш племянник ханзада? — игриво протянула она. — Как же, как же, должны мы выкупить его приезд, без этого нельзя!

Она скрылась в юрте и тут же вышла снова. В руках у нее была поддевка из горностаевого меха с выдровым воротником. Грузная Каракаш-аим по-молодому играла глазами.

— Сойдите с коня, племянник-ханзада, даже тот, кто занимает в ханстве самое высокое положение, у дверей дядиной юрты должен спешиться.

Абдурахман, опустив веки, утвердительно кивнул,— надо считаться с обычаем. Насриддин-бек спешился, и Каракаш-аим тут же накинула ему на плечи дорогую поддевку, сшитую ее собственными руками, — по тому, как женщина поправила поддевку у мирзы на плечах, как провела рукою по спине, видно было, что она гордится своей работой. Стройная юношеская фигура Насриддин-бека обрела вдруг осанистость и вальяжность.

Старейшины во главе с Домбу, почтительно сложив руки на груди, явились поприветствовать мирзу. Но помимо них на торжество прибыло много простых людей, которых бий не принимал во внимание. Насриддин-бек обвел взглядом всю эту толпу, и теплого выражения на

лице его как не бывало, остались только холодность и высокомерие. На него смотрели сотни глаз — заискивающих и испуганных, удивленных и любопытствующих, а то и хмурых, неодобрительных.

— Ассалам алейкум, ханзада!

Насриддин-бек сдержанно принял многоголосое приветствие и ответил на него, еле шевельнув губами.

Торжественно начались поминки по Джаманкулу в день прибытия Насриддин-бека. С того дня прошла неделя. Неделя непрерывных пиров и развлечений. Едешь на поминки — дома не наедайся, говорят горцы. Аил, который устраивает поминальный аш, должен позаботиться о том, чтобы никто из прибывших не испытывал ни в чем недостатка, сколько времени ни длился бы аш. Если хоть один из множества прибывших гостей уедет недовольный, позор не только хозяину аша, но и всему роду. Вот почему Абиль-бий так тщательно готовился к ашу и во время поминок не давал спуску никому из хозяев многочисленных юрт, — по первому его знаку они должны были со всех ног бежать, куда он прикажет.

— Эй, заставь коня поплясать! На то нас матери родили! А ну, давай!

— Ха-айт! Победа сильному!

— Хайт! Хай-тайт! Хай-тайт!

Густая толпа окружила место поединка, гудела, волновалась, кричала. Посредине круга вертелся на вороном аргамаке Бекназар, повязавший голову красным платком. То и дело взвивался на дыбы разгоряченный конь, а Бекназар подбрасывал вверх и подхватывал на лету обнаженный клинок.

— А ну, кто выйдет против него?

— Выйдет достойный сын своей матери!

— А ну, кто... Если нет соперника, пусть глава аша отдаст батыру награду!

— Что ты торопишь? Потерпи... Видишь? Ханзада привел с собой сорок джигитов!

— Верно! Спешить нам некуда. Насмотримся хорошенько. Все эти молодцы прибыли сюда не только за тем, чтобы мяса поесть.

— Кто их знает...

Бии собрались на холме. Они тоже глаз не сводят с майдана. Хмурый Абиль-бий чутко прислушивается к

выкрикам, а Насриддин-бек словно и не слышит их. Он любуется джигитом, готовым начать поединок на саблях.

— Дядя! Это он! Он! — возбужденно говорит Насриддин-бек, привставая в стременах.— Победитель кокберы!..

На холм поднялся верховой джигит.

— Повелители! Они говорят, если нет батыру соперника, надо отдать ему награду победителя.

— Кто говорит? — вытянул шею Абиль-бий.

— Аксакалы!

— Передай аксакалам, чтобы не спешили. Что скажут о нас гости, если мы, не дождавшись соперника, присудим награду своему батыру? Народу собралось много, найдется соперник...

Расправив плечи, Абиль-бий поглядел по сторонам.

Абдурахман понимающе кивнул: Абиль-бий, конечно, радуется. Бекназар продолжал носиться по кругу, кричал богатырским криком, то и дело подымал коня на дыбы. Гостей ошеломляло и пугало это зрелище. Абиль-бию же оттого еще больше почета, уважения в народе. С довольным видом обратился он к Насриддин-беку:

— Племянник мой... Никто не посмел принять вызов нашего батыра. Что вы на это скажете? Что нам предпринять? — спросил Абиль, тем самым давая понять высокому гостю, что передает бразды состязания в его руки.

— Разрешите!

Ташкалла склонил голову перед беком, голос его дрожал от нетерпения.

— Разрешите, бек.

Насриддин-бек даже растерялся.

— Что тебе?

— Разрешите, бек! — повторил все тем же дрожащим голосом Ташкалла, и видно было, что ежели он не получит разрешения, то либо своей волей ринется, либо, оставшись здесь, разрыдается от обиды.

Насриддин-бек замешкался с ответом, Абдурахман же улыбнулся одобрительно, давая тем самым свое согласие. Тогда и Насриддин-бек благословляющим жестом простер ладонь.

— Да поможет тебе покровитель воинов, Ташматбатыр... Аминь!

И Насриддин-бек бросил быстрый, опасливый взгляд на поле поединка, крепко прикусив нижнюю губу.

Ташкалла поклонился трижды, как положено; нестройный хор голосов благословил храбреца. Ему подвели каракового коня под седлом. Стоявший позади Насриддин-бека трубач-сурнайчи завел боевую песню, и звуки ее неожиданной тревогой отозвались в сердцах. Рассыпалась глухая дробь барабанов. Встрепенулся Насриддин-бек, а за ним и его свита. В народе смолкли шутки и смех, и морщились от напряжения смугло-загорелые лбы, крепко сжимались губы, щетинились усы, кивали-покачивались бесчисленные тебетеи.

— Что такое? Поглядите, какой у него свирепый вид...— бросил кто-то, и тут же словно плотину прорвало — хлынул поток угроз, опасений и насмешек.

— Гляньте, сипаи по коням бросились!

— А вы что, так и будете стоять?

— Проснетесь, когда ваши головы покатятся с плеч!

— Ой, беда.

Заволновались, зашумели даже те, кто глазел на майдан издали — с горных склонов, где многие устроились лежа, подсунув под локоть собственный тебетей.

— Тихо, люди, тихо! — успокаивал всех чей-то голос. — Пусть мирно пройдет аш. Что вы такого увидали? Что увидали, бешеные? Разве боец выходит на поединок с улыбкой? Он должен быть грозен и суров...

Сквозь толпу, одних уговаривая, на других замахиваясь камчой, пробирался верхом на коне Домбу.

Но вот глашатаи в белом поскакали во все стороны, чтобы объявить условия поединка.

— Бойцы выходят на честный поединок. Нельзя бить коней, нельзя наносить удары друг другу по коленям. За убитого виру не берут. Победитель получает девять наград, первая из них — верблюд. Слушайте, люди, слушайте хорошенько! За убитого не мстят, победителю — награда!..

По одну сторону выстроились джигиты Насриддин-бека, по другую — кочевники, выстроились и застыли в молчанье. Только горящие глаза выдавали волнение, глаза да руки, что невольно тянулись к воротникам.— «О боже, боже...» Никому не приходило в голову, а стоит ли рисковать жизнью, проливать кровь друг друга. Горячий дух предстоящего поединка захватил всех, и кипела кровь при воспоминании о старых раздорах и обидах.

О небо, не отнимай чести! Седобородых стариков и юнцов объединяло одно желание, одно чувство. Честь! Во имя одного этого слова стеной нерушимой вставали кочевники, во имя этого слова горели города и сталкивались в кровавых битвах племена и народы. В слове этом сила кочевников — и беда их.

...Джигиты одновременно послали вперед коней, и не улеглась еще поднятая тяжелыми копытами пыль, как бойцы уже встретились лицом к лицу. Оба резко осадили скакунов — так, что присели они на задние ноги, но тут же выправились, а джигиты смотрели какое-то мгновение

друг на друга острыми, яростными глазами. И вот уже взвились вверх обнаженные сверкающие клинки и сшиблись в мощном ударе, рассыпая искры.

Ташкалла в Коканде и Маргелане слыл известным забиякой; он затевал драки от нечего делать, а если не находил с кем подраться, шел в чайхану, накуривался анаши, дурачился, размахивал выхваченной из ножен саблей и со смехом смотрел, как прочь убегают перепуганные люди. Кто посмеет стать ему поперек дороги? Ташкалла — любимчик старшего сына самого хана. Не было ему равного ни в борьбе, ни в кулачном бою. Потому и называли его не Ташматом, как нарекли родители, а Ташкаллой, что значит «каменная голова». Он уже несколько лет обучал сипаев и сарбазов своего мирзы искусству владеть саблей. Сегодня Ташкалла не мог удержаться от участия в поединке, невыносимо было для его самолюбия, что бог знает кто, кочевник с гор, никому не ведомый, так смело бросал вызов.

Ташкалла был хитер и ловок. С первого взгляда понял он, что перед ним не безрассудный храбрец, а боец умный и опытный. Ташкалла тут же отбросил намерение выиграть поединок с налету, ошеломить противника первым ударом и повергнуть его в пыль под копыта коней. Он начал бой осторожно, уповая на свое признанное всеми искусство.

Звенели сабли, храпели, выгибая крутые шеи, взмыленные кони. Бойцы то сходились стремя в стремя, то отступали.

Зрители нетерпеливо ждали исхода поединка, им казалось, что бойцы слишком медлят, слишком осторожничают. Там и сям вспыхивали бурные споры, порой казалось, что вот-вот в толпе начнется потасовка. И вдруг разом смолкло все, только ахнул кто-то:

— Конец! Кто убит, люди добрые?..

В серую пыль скатилась отрубленная голова, и пыль потемнела от крови. Караковый аргамак метнулся в сторону, еще державшееся в седле обезглавленное тело от толчка повалилось на бок. Нога убитого застряла в стремени и конь, храпя, потащил тело за собой.

— Бекназар убит!

— Камень тебе в глотку, что ты говоришь? Открой глаза!

Бекназар подбросил высоко вверх окровавленный клинок. Толпа ринулась навстречу победителю. Непо-

движны остались только те, кто стоял на холме, — знать во главе с Насриддин-беком и Абиль-бием. Бледный, как смерть, Абиль-бий онемел, потерял способность соображать. «О творец, какие еще испытания уготовил ты мне? В крови бы тебе захлебнуться, дьявол Бекназар!» — думал в жарком ужасе Абиль-бий, не в силах даже представить себе, какие последствия повлечет за собой смерть Ташкаллы... Замер на месте и Насриддин-бек. А барабаны гремели все так же глухо и тревожно, и уже потянулись к оружию руки сипаев. Насриддин-бек это видел, но, казалось, не собирался им препятствовать. Пот ручьями бежал по лицу Абиль-бия.

Бекназар между тем приближался, далеко опередив следующую за ним толпу. У Насриддин-бека от ярости округлились глаза. Трясущейся рукой ухватился бек за пистолет, но Абдурахман тотчас ударил его по руке.

— Здесь не Коканд...

Иноходец бека поставил уши торчком,— но оглушительный крик, неудержимый клич победы несся следом за Бекназаром. От клича этого звенело у Насриддин-бека в ушах, свинцом наливалась голова, в глазах темнело...

Нагнавшие и окружившие Бекназара всадники подскакали вместе с ним к первой в ряду юрте.

— Эй, кто там есть?

Из юрты вышла старуха в элечеке, худая, усталая,— ведь ей пришлось, не зная отдыха и сна, две недели подряд встречать да принимать гостей. Испуганно и удивленно глядели на всадников старушечьи глаза, а губы привычно бормотали:

— Заходите, заходите... Добро пожаловать, дай вам бог удачи, батыры...

— Победа, мать, победа! Не попрана честь наша!

Один из всадников неуклюже скатился с коня. Честь? какая честь? Старуха ничего не могла понять. Поняла одно — люди прибыли с доброй вестью, надо поздравить их.

— Слава богу, слава богу!..

Тот, кто первым успел спешиться, был уже не молод, но старуху называл матерью, как бы видя в ней всех матерей, благодарил ее и с нею всех матерей, возвеличивал само материнство.

— Радуйся, добрая мать, сын твой Бекназар отстоял нашу честь в кровавом поединке! Радуйся, сегодня день твоей радости, мать! — повторял он.

Эх, сабля острая, боевой клинок! Потеха боевая! Многих джигитов заставила ты навеки расстаться с седлом, многих невест оставила без женихов...

Бекназар чувствовал, как закипает в душе непонятная злость. Крепко сжал губы. Не было в нем радости победы, не было. С непривычным для себя безразличием отдавался он воле других. Скакун Бекназара весь был в поту и, словно не в силах больше держать свою ношу, тяжело переступал с ноги на ногу. Бекназара подхватили на руки прямо с седла. Старуха потянулась обнять его.

— Дай бог... дай бог тебе, родной...— растерянно твердила она, потом спохватилась, бросилась в юрту и вынесла чашку с водой, чтобы обвести ею по обычаю — против сглазу! — трижды вокруг головы батыра. Обвела, пошептала и выплеснула воду в западную сторону. Брызги сверкнули в красноватых лучах клонившегося к закату солнца.

Люди тем временем успели зарезать истошно блеющего жертвенного козленка, вынули из него еще горячие легкие и подали их старухе.

— Нет на свете никого святее и дороже матери. У матери чистое сердце и легкая рука, ударьте же, как велит наш обычай, этими легкими вашего сына-батыра!

Старая женщина послушно подошла к Бекназару и, пошлепывая легкими его по голове, по спине, по рукам, по коленям, приговаривала:

— Убереги от недоброго глаза... убереги от недоброго глаза... Пусть засыплет недобрые глаза могильная пыль. Пусть отсохнет злой язык... Да хранят тебя духи предков. Да хранит тебя покровитель джигитов. Будь опорой своему народу, будь стойким, как горы, родной...

Слезы текли по морщинистым щекам старухи. Кончив заклинание, старуха поглядела на легкие. Они почернели — добрый знак, заклинание подействует. Со словами «заберите все злое с собой, да исчезнет оно с заходом солнца» старуха отбросила легкие в ту же сторону, на запад.

Звонко распевал глашатай:

— Слушай, народ, слушай! Готовь скакунов к большой байге, к скачкам на целый день пути! Тянуть лоша-

дей нельзя [1]. Конь, какого тянули, награды не получит. Снимайте с ваших коней поводки. Конь с поводком к байге не будет допущен. Такова воля Насриддин-бека! Слушай, народ, слушай! — погоняя своего коня, глашатай разъезжал взад-вперед через толпу.— Готовьтесь! Спешите, скоро начнется байга. Путь далек. Скакать до Кызыл-Рабата. Слушай, народ...

Заволновались, зашумели саяпкеры — те, кто готовил коней к скачкам. Кое-кто из них отводил скакуна в сторонку, собирал вокруг себя своих, принимался молиться о победе.

Мадыл все думал о гнедом. Вдруг объявится конь, вдруг объявится... С надеждой глядел Мадыл по сторонам, поглощенный одной мыслью, одним желанием. Горько было у него на сердце. «Видно, правду говорят: если в тысячной отаре одна овца принадлежит бедняку, волк ее-то и зарежет. Не наше счастье, чтобы найти, а наше, чтоб потерять. Единственного коня и того свели!»

И он озирался беспокойнее и беспокойнее. И вдруг увидел: изо всех сил нахлестывая ленивую клячу, пробирается к нему знакомый парнишка.

— Мадыке, ой... Мадыке, гнедой ваш...— еще издали сбивчиво закричал малый.

Мадыла жаром обдало от одного только слова «гнедой»; ему казалось, что волосы на голове встали дыбом. Он кинулся к мальчишке.

— Где? Где гнедой?

— Вон там! Его готовят к скачкам...

Поглядев в ту сторону, куда показывал мальчишка, Мадыл кинулся бежать. Люди расступались перед ним. Он задыхался от волнения, он чуть не плакал и никого не замечал.

Мальчик-наездник как раз в это время медленно проезжал на покрытом богатой попоной коне то в одну, то в другую сторону — скакуну надо размяться. Убран был гнедой богато, а из-под нарядного налобника виднелась белая звездочка, такая приметная. Ступал конь легко, будто и земли не касался; глаза полузакрыты, чуть-чуть играют мышцы, весь лоснится конь...

Мадыл подбежал.

---

[1] На скачках разрешалось «тянуть» обессилевшую лошадь, помогать ей дойти до финиша. Здесь ставятся особые условия.

— Он это! Наш гнедой... Он это, он! — твердил он, хватаясь за грудиь.— И лысина его. И морда... Он это... Слезай, чтоб тебе сдохнуть, сын вора!

И он протянул руку — схватить гнедого за узду. Конь шарахнулся, мальчишка осадил его и заставил отступить.

— Кто вор?

— Стой! — Мадыл погнался за ним.— Стой, тебе говорят, я тебе покажу, кто вор.

Мальчишка-наездник не подпускал Мадыла к себе. Собрались люди. Как обычно бывает в случае ссоры либо спора, из толпы выступил один из стариков-аксакалов, подозвал наездника.

— Давай сюда, сынок! Чья это лошадь?

Мальчишка ответил:

— Домбу.

— Дяди хана?

Наездник кивнул. Люди вокруг загомонили.

— Но ведь это гнедой Сарыбая! Как он попал к Домбу?

В это время показался и сам Домбу в сопровождении нескольких человек,— он ехал взглянуть еще раз на скакуна перед началом байги. Был Домбу плотный, с короткой бородой. Маслено блестели узкие раскосые глазки. Он, видно, забеспокоился, заметив возле своего коня целую толпу, но подъехал степенно, сохраняя на лице улыбку.

— Наш конь! Люди дорогие, это же наш гнедой! — кричал Мадыл.

Его остановил тот же аксакал.

— Сам Домбу-бий жалует сюда, не кричи, веди себя достойно, мы узнаем истину. Здесь люди, и если конь и вправду...— он запнулся, потом продолжил: — Воровство будет разоблачено.

Домбу слышал. Недовольно скосил и без того косые глаза.

— Что за сборище? О чем тут речь?

Мадыл ухватил его коня за повод.

— Вор! Какой ты бий! Вор... Отдавай нашего коня!

Домбу почернел от злости.

— Ну! Ты говори да не заговаривайся, голь перекатная! Какой такой конь! Ты узнал своего коня?

Аксакал выступил вперед.

— Бий, вы ведь знаете, что у Сарыбая вор увел гне-

дого коня. Вы знаете, и мы все знаем. Хозяин вот говорит, что это и есть его конь...

— Иди сюда! — позвал Домбу своего наездника.— Привяжи коня! — и повернулся к аксакалу.— Вы достигли возраста пророка, я уважаю вашу седую бороду, аке, не то я с этого мерзавца живьем бы кожу содрал! Я велел привязать коня вон там, в середине. Если узнает — пускай берет...

— Да узнал я его! Как же не узнать! — Мадыл дернулся было к коню.

— А ну прочь! — гаркнул Домбу.

Два джигита не подпустили Мадыла к коню.

Мадыл выругался и бегом бросился к юрте Насриддин-бека.

— Насилие! Грабят на глазах у всего честного народа! Я пойду... Я жалобу подам...— задыхаясь, кричал он на бегу.— Если вор богатый, значит, на него и управы нет?

— Пускай идет,— злобно вытаращил маленькие глазки Домбу, глядя Мадылу вслед.

Толпа шумела. Одни жалели Мадыла, другие выражали откровенное беспокойство — сколько, мол, он ни кричи и ни доказывай, ему же хуже будет. Начавший было разбор дела аксакал, сощурившись, всматривался в привязанного поодаль скакуна: «Видел я Сарыбая верхом на этом гнедом коне. Точно, его это конь, по всем статям схож...»

— Раз такое вышло, надо суд устроить,— сказал он так, чтобы Домбу услыхал.

А Домбу никого не велел подпускать к коню. Народу собиралось все больше. Даже те, кто начал осмотр скакунов, чтобы отобрать тех, каких можно допустить на байгу, бросили свою работу.

Но вот показалась еще группа всадников. Абиль-бий и с ним несколько человек из знати. Мадыл припал к стремени Абилева коня.

— Защити, отец народа! Вот наш гнедой. Как мне не узнать моего коня? Бессовестный грабеж! Что творит этот Домбу?

— Ассалам алейкум...— негромко поздоровался со всеми Абиль-бий и, приподняв брови, поглядел на скакуна, из-за которого вышел спор.

— Бий! Меня здесь называют вором. Все знают твою справедливость, окажи ее мне! — заносчиво заговорил

дядя хана, который, полагаясь на свое высокое родство, всегда старался исподтишка навредить Абилю, а теперь явно шел на шумную ссору.

Абиль-бий, почувствовав это, спросил спокойно:

— Где конь?

Ему показали коня, привязанного на видном месте и накрытого богатой попоной так, что, как говорится, кроме копыт да ушей ничего и не разглядишь. Но Абиль все же узнал гнедого коня Сарыбая и сказал нарочито медленно, с паузами и с явной издевкой:

— Дядюшка хана, кто пойман, тот и вор. Но, может быть, ты просто нашел коня, так верни же его хозяину. Таков порядок. Таков обычай.

Домбу ничуть не испугался.

— А если это ложь? Клевета? — выкрикнул он, и злобным раздражением сверкнули его покрасневшие косые глазки.— А? Говори прямо, Абиль-бий! Я не потерплю подобного оскорбления, Абиль-бий!

Почему он говорит так смело? Может, и вправду, другая это лошадь, ошибся проклятый Мадыл? Абиль-бий еще раз пристально поглядел на коня. Нет, это явно гнедой Сарыбая. И Абиль ответил:

— Клеветник понесет наказание. Как бы беден он ни был, заплатит девятикратную виру. Но если дядя хана виноват... тогда еще хуже, ведь кроме девятикратной виры заплатит он за свой поступок несмываемым позором.— Он посмотрел куда-то поверх бровей Домбу.— Подумай сам, признаешь ли ты справедливым такое предложение.

— Спустись на землю с небес, Абиль-бий! — насмешливо сказал Домбу и махнул рукой одному из джигитов.— Сними попону с коня!

Джигит снял попону вместе с потником, который служил мальчишке-наезднику вместо седла. Люди ахнули в один голос, увидев коня — это был красно-чубарый, как кулан, аргамак. У Мадыла из глаз полились неудержимые слезы. Он глазам своим не верил.

Домбу приказал:

— Проведите коня перед людьми! Пусть смотрят. Пусть узнает его тот, кто потерял своего коня! Ну что, узнаешь его ты, Абиль-бий?

Красавца аргамака водили мимо собравшихся то в одну, то в другую сторону. Он плавно выступал, чуть

помахивал хвостом, и сияла серебром белая звездочка у него на лбу.

Гомонила толпа.

Мадыл только и повторял:

— Гнедой со звездочкой... Гнедой со звездочкой...

Он то садился, то вставал, и не мог сообразить, как это вместо гнедого взялся неведомо откуда чубарый конь.

Домбу подъехал к нему.

— Видал теперь? — он, тесня ошалевшего Мадыла грудью коня, несколько раз вытянул его с размаху плетью по голове.— Вот твое наказание. Я не потребую с тебя девятикратную виру, отродье шлюхи!

Мадыл не смел поднять голову и только закрывал ее руками от ударов.

— Мало ему! Бессовестный клеветник...— сказал кто-то.

Но кое-кому пришло в голову вот что: «Откуда же взялся у Домбу чубарый скакун? Что-то не слыхать было, чтобы он покупал такого коня...»

Абиль-бий молча уехал. Он-то чувствовал, что лжет Домбу.

Домбу всегда был на руку нечист. Это он велел украсть гнедого скакуна у Сарыбая. Волосяной аркан долго кипятили в воде и, пока он еще не остыл, обмотали им гнедого от шеи до крупа. Конь ржал от боли, пытался вырваться, ударить своих мучителей копытом, но его крепко связали. Потом канат перерезали, обожженные места начали постепенно заживать, но на них, вместо шерсти прежнего цвета, вырастала седая. Так гнедой превратился в чубарого. С тех пор его днем всегда накрывали попоной, чтобы никто не обращал особого внимания, а теперь вот Домбу хотел пустить коня на большую байгу.

Где гнедой конь? Нет его! Перед людьми стоит чубарый. Абиль-бий стиснул зубы, ему уже не хотелось присутствовать на поминках, которые он и затеял-то во имя своей собственной славы, но делать нечего: с одной стороны, нельзя оскорбить своим поведением Насриддин-бека, а с другой — Домбу-то, как-никак, хану родней приходится, с этим нельзя не считаться. И, не раздувая ссоры, Абиль затаил ненависть к Домбу глубоко в сердце.

Певец из тех, что существуют за счет прихлебатель-

ства, запел песню в честь чубарого коня. Домбу хотелось показать себя перед людьми щедрым и великодушным. Он слез со своего коня.

— На, певец! — сказал он, бросая поводья тому в руки.— Кто воспевает коня, должен сам ездить верхом!

Людям нравится проявление щедрости, красноречия, молодечества. Все вокруг громко хвалили Домбу.

— Молодец! Вот у кого надо учиться джигитам!

Певец же, возвысив голос до наивозможных для него высот, шел за Домбу и пел теперь уже о нем, прославляя его благородных предков и сравнивая его щедрость со щедростью легендарного Хатем-Тая — не в пользу последнего.

Домбу не оборачивался. Он старался ничем не показать, насколько он рад и доволен, а про себя думал: «Абиль услышит — лопнет от злости!»

Чубарый выиграл байгу, в которой участвовало больше трехсот скакунов. Далеко неслась слава Домбу, его почитали теперь так, будто он невесть что совершил.

А бедняга Мадыл, на горе себе по глазам узнавший гнедого, убрался с поминок, не дожидаясь их окончания.

— Поступь его, глаза, веки его, дорогой брат! — рассказывал он Сарыбаю.— Весь был закрыт попоной, а как сняли попону-то... чубарый конь, настоящий кулан!

Слезы душили Мадыла, от слез покраснели глаза. Сарыбай, человек опытный, разгадал подлую хитрость Домбу.

— У, чтоб тебе пропасть...— пробормотал он и добавил, тут же взяв себя в руки: — Ладно, было да сплыло, пора и забыть. Как бы только не напакостил он нам еще. Бойся того, кто бога не боится, так мудрые говорили...

4

В 1868 году Кудаяр-хан отправился на поклон к губернатору Ташкента.

Абиль-бий добился, чтобы на поминки по Джаманкулу прибыл ханзада с приближенными, и надеялся таким образом сломать лед отчуждения между кочевой знатью и ханским двором. Надежды его не оправдались. Абиль отправился в орду сам, повез богатые подарки и встречен был хорошо: хан пожаловал ему парчовый халат и чин датхи, включил Абиль-бия в свиту, которая

должна была сопровождать Кудаяра в поездке к губернатору.

Генерал-адъютант фон Кауфман принял хана весьма радушно. Это был нужный для генерала ход, и потому он охотно вступил в переговоры, соглашался с тем, что кровавые стычки нежелательны, сочувственно принял заявление хана о том, что в стычках этих главным образом повинны некоторые смутьяны, баламутящие орду. Впредь упаси боже от кровавых сражений, заметил генерал и добавил, что великий император и не помышляет о войне с маленьким Кокандским ханством. Напротив, он относится к хану отечески милостиво и готов защищать его престол от врагов внешних и внутренних. Если обрушится на Коканд какая-либо беда, государь всея Руси воспримет это как беду собственную. Хан Коканда может спокойно восседать на престоле под таким покровительством. Но если хан или кто-либо из его беков захотят последовать за смутьянами, если возникнет малейшая возможность беспорядков, повелитель всея Руси того не потерпит. Он, губернатор, дружески предупреждает хана об этом.

Хан и губернатор вскоре перешли к выработке так называемого «Положения». По условиям этого положения, земли Коканда вплоть до Ташкента входили в состав Российской империи. Хан и его беки не должны чинить препятствий вооруженным путешественникам, едущим с научными целями в Ферганскую долину. Русские купцы получали право свободно торговать в любом городе ханства. И, наконец, обе стороны должны были вступать в отношения или переговоры с каким-либо еще государством только по взаимном уведомлении и согласии. Генерал-губернатор заверил Кудаяр-хана в уважении к его власти.

Кудаяр-хан вернулся к себе во дворец успокоенный. Будто спали с плеч его все заботы о внутреннем и внешнем благополучии государства. И осталась у него в руках лишь драгоценная золотая монета — собственная власть.

5

Откуда-то издали послышался яростный собачий лай, потом — конский топот. Мадыл, поглощенный работой и своими размышлениями, не обратил на это внимания, и только громкий окрик заставил его поднять голову.

— Эй ты, греховодник, очнись!

Мадыл вздрогнул и поднял голову. Перед ним остановился всадник на вороном коне. Мадыл торопливо отер испачканные краской руки прямо об одежду и подошел принять коня, помочь всаднику спешиться.

— Добро пожаловать... Добро пожаловать, дядя хана!

— Пожаловали, пожаловали на тебя поглядеть,— усмехнулся гость.

— Милости просим, сходите с коня,— повторил уже свободнее опомнившийся от первого испуга Мадыл.

— А где пять лошадей?

У Мадыла снова смятенно заколотилось сердце.

— Не могли раздобыться... Вы сами знаете...

Всадник напирал конем на Мадыла.

— Что знаю? Кого ты обмануть хочешь, барсук, повторяя изо дня в день одно и то же?

Мадыл попятился.

— Разве мы не отдали бы, если б было что...

Всадник обрушил на голову Мадыла новый град ругани, но на этот раз обозленный Мадыл не отступил и не потупился.

— Хватит вам! Не ругайтесь и конем не напирайте,— сказал он.— Чего позорите? И без того с нас хватает горя. Потерпите, рассчитаемся как-нибудь...

— Как-нибудь? Это подать самому хану! Нужно пригнать пять лошадей, а не как-нибудь. Хан не может дожидаться, пока вы тут чешетесь! Понятно?

Мадыл теперь уже не давал спуску.

— А где их взять? Родить, что ли?

Всадник от гнева чуть языка не лишился.

— Гляньте на него... послушайте, что несет этот голодранец!

— Голодранец, говоришь? Пускай! Бог создал не одного только дядю хана, голодранцев тоже он сотворил.

— Хватай его! — заорал всадник.— Вырвать ему его поганый язык!

Молча наблюдавшие за их перепалкой пятеро конных джигитов тут же спешились и кинулись на Мадыла. Но справиться с ним было не просто. Он сопротивлялся отчаянно, отбивался от наседавших джигитов попавшей под руку жердью. Жердь с треском переломилась, и пятеро одолели-таки одного, поволокли за руки и за ноги, награждая пинками, хлеща плетьми.

С плачем подбежала жена Мадыла, бросилась к мужу; один из джигитов так оттолкнул ее, что женщина упала, но тут же вскочила и снова бросилась Мадылу на помощь. Ее отталкивали, отшвыривали, а она не унималась и все старалась своим телом загородить мужа от ударов. Платье на ней скоро было изодрано в клочья; разъяренной волчицей налетала она на обидчиков, царапала их, кусала за руки, била, что было сил.

Всполошился весь аил; кричали женщины, ревели, пряча лица в материнских подолах, перепуганные ребятишки.

Мадыл сопротивлялся до тех пор, пока не потерял сознание. Только тогда джигиты смогли связать ему руки, заворотив их назад.

В аиле из мужчин в это время никого не было, только больной Сарыбай. Он слышал крики и плач и попытался было встать, но не смог. Суюмкан как могла успокаивала мужа, потом поднялась, достала выделанную шкуру серебристой рыси — большую, красивую — и пошла просить милости у разгневанного всадника на вороном коне.

— Дядюшка хана, смилуйтесь, пощадите...— не утирая бегущих по лицу слез, смотрела она всаднику в глаза.— Бедность и щедрому вздохнуть не дает. Только из-за бедности нашей не смогли мы заплатить подать вовремя. Вы сами видите, как мы живем, иначе разве стали бы мы спорить из-за каких-то пяти лошадей.

Всадник слушал ее и любовался красивым рысьим мехом.

— Ведь Мадыл, бедняга, работал, не покладая рук, делал решетки, красил жерди, только бы подать уплатить...

Суюмкан встряхнула рысью шкуру, чтобы лучше заиграл мех.

— Вот перед вами последняя добыча охотника. Примите малое за большое, плохое за хорошее, дядюшка хана, приторочьте наш скромный подарок к седлу вашего коня. Помилуйте горемычного, он не виноват...

— Выходит, хан должен сидеть и дожидаться, пока вы продадите ваши кереге и уплатите подать?

Всадник подъехал вплотную к Суюмкан. Ожидая удара камчой, она, стиснув зубы, опустила голову. Он замахнулся было, но одумался,— как-никак, перед ним стояла женщина.

Суюмкан медленно подняла голову, и в глазах у нее теперь не было страха, они горели гневом.

— Батыр! Вы камчой не замахивайтесь! Кто ударит женщину камчой, тому не будет в жизни счастья,— сказала она.

Всадник, наклонившись с седла, посмотрел Суюмкан в лицо.

— Это ты жена ослепленного беркутом?

— Я...

— Эй, барсук! Я подарил твою жизнь этой храброй бабе! Слыхал? Пять лошадей приведешь ко мне через неделю.— Он ударил коня в бока ногами, скакун закусил удила, заплясал на месте.— Слыхал? Если не выполнишь приказа, всему вашему аилу несдобровать!

Мадыл не слыхал, голос доносился до него неясным шумом где-то далеко-далеко бегущей воды.

— Спалю и пепел по ветру пущу!

С этими словами ускакал всадник на вороном коне. Шкуру рыси он не взял — гордость не позволила. Следом за своим господином понеслись и джигиты.

Женщины хлопотали возле Мадыла. Непрошеных гостей провожал только черный щенок Мадыла. Яростный лай собачонки не понравился, видно, всаднику на вороном коне. Он приостановился, вынул из-за пояса пистолет... Выстрел — и щенок, тявкнув, ткнулся носом в дорожную пыль.

Абиль-бий по виду Мадыла догадался, на что он пришел сетовать. Избили. Жестоко избили камчой и кулаками. Лицо опухло так, что глаза почти не открывались, а губы еле шевелились.

— Кто? — коротко спросил Абиль-бий.

Мадыл, проглотив все свои жалобы, отвечал тоже одним словом:

— Домбу...

Абиль-бий сощурился. Домбу? Домбу, дядя хана? Абиль-бий не сразу мог собраться с мыслями, двойственное чувство охватило его.

— В чем твоя вина? — спросил он, открывая глаза.

Мадыл вместо ответа уткнулся лицом в полу Абилева халата, глухо зарыдал. Абиль-бий взял его за плечо, мягко отстранил, полы халата подобрал под себя. Еле заметная усмешка, лукавая и коварная, тронула губы Абиля, коварство вспыхнуло и в глубине его глаз.

Известно, какое положение нойгутов. Все пять семей перебивались кто охотой, кто изготовлением жердей для юрт и решеток-кереге. Сарыбай-соколятник был для нойгутов опорой и защитой, он знал их заботы и умел отстаивать своих родичей перед сильными. Но Сарыбая истерзал беркут... А теперь на захудалый аил свалилась новая тягота — ханская подать в пять лошадей. Кто посмеет противиться воле хана? Но если неоткуда людям взять этих лошадей, разве получишь их бранью и побоями? Нойгуты хотели заработать на подать своим ремеслом,— другого выхода не было у них... Бий сам послал Домбу в те аилы, откуда подать не поступала. В том числе к нойгутам.

Да, Абиль-бий без слов понимал, в чем жалоба Мадыла, но Мадыл-то не знал, перед кем пришел излить свою беду. Пришел, как думал он в простоте сердечной, к отцу народа, пришел, ища справедливости, страдая от произвола.

Абиль-бий молча смотрел на плачущего Мадыла. Сквозь дыры в изорванной, окровавленной рубахе видно было, как вздрагивают худые, костлявые плечи нойгута.

— Эй, кто там! — позвал Абиль, и в юрту тотчас вошел стоявший за порогом джигит. Остановился поодаль, прижав руку к груди и опустив голову. Абиль поманил джигита к себе, сказал тихо: — Ты никого сюда не подпускай, понял? И сам отойди подальше от порога.

— Слушаюсь, бек-ага!

Абиль-бий долгим отсутствующим взглядом смотрел на заскорузлую от крови рубаху Мадыла, но видел перед собою не избитого нойгута, а Домбу, яростного, жестокого, красноглазого Домбу.

— Отец народа, он хотел отхлестать плетью жену Сарыбая! Он застрелил мою собаку!

— Сбесился! — бросил Абиль-бий, в одно это слово вложив всю свою злость, и затем обратился к Мадылу обычным своим негромким вкрадчивым голосом: — Что ты собираешься делать, Мадыл мой?

— А что я могу сделать, отец народа?

— У кого мало сил, тому одна надежда — на загробный суд.

Двусмысленный ответ Абиль-бия Мадыл не сумел понять и старался прочитать недосказанное по выражению лица. Но лицо Абиля было непроницаемо, губы крепко сжаты. Заметив, что намек его не дошел до Мадыла, бий

тихо опустил левую руку ему на плечо. Мадыл вздрогнул от неожиданной ласки.

— Что мне делать, дорогой отец наш?

— За добро надо платить сторицей, за зло — тоже. Надо отомстить, Мадыл. В нашем мире слабый и обиженный надеется на то, что обидчика постигнет кара божья на том свете. Жаль только, никто не знает, что будет на том свете. Лучше, пожалуй, отомстить на этом... если хватит сил.

— Дорогой наш... отец народа...— заикался Мадыл.— Богом тебя заклинаю, отомсти за меня. Всю жизнь буду тебе верным слугой, отблагодарю за добро. Не я, так бог тебя наградит!

— Сам отомстишь!

Мадыл уставился на Абиль-бия в изумлении, но у того ни один мускул на лице не дрогнул.

— Мадыл мой, я, кажется, видел у твоего брата-соколятника ружье?

— Да,— с готовностью отвечал Мадыл.— Но Сарыбай ружьем не пользовался, он любил охоту с беркутом. Ружье новехонькое! Может, бий хочет получить ружье в подарок? Это проще простого. Мадыл сбегает, принесет...

— Ты умеешь стрелять?

— Нет, какая мне в этом нужда? Я совсем позабыл про него. Сейчас принесу, отец народа!

Абиль-бий слегка шлепнул Мадыла по руке, удерживая на месте.

— Нужда, говорят, всему научит. Не умел, так научишься. Слушай внимательно. Заряди ружье и поджидай его в засаде у дороги...

Мадыл все еще ничего не понимал:

— Кого его?..

— Ты лучше меня знаешь кого,— Абиль-бий остро глянул Мадылу в глаза.— Да ты не бойся, дуралей! Не дрожи, как последний паршивец! Я, тебя жалеючи, говорю, думал, ты настоящий мужчина, ну!.. Заряди ружье и дождись его в засаде понял?

Мадыл понял, наконец. На растерянном лице его крупными каплями выступил пот.

— Как выстрелишь ты, бек свалится, а джигиты его пока опомнятся, тебя уж и след простыл... Доходит? Остальное предоставь мне. Если и подымется буря, тебя даже ветер не коснется. Смотри только не про-

болтайся, бабе своей не смей говорить! Никому ни слова, понял?

Мадыл молча, испытующе посмотрел на Абиль-бия: может, нарочно, для проверки, говорит. Абиль будто прочитал его мысли — кивнул утвердительно. Жажда мести огнем вспыхнула в сердце у Мадыла, он крепко прикусил распухшую нижнюю губу, но не почувствовал боли. Слезы высохли, перехватило дыхание...

— Головы своей не пожалею!

— Мало ему, что он избил ни в чем не повинного человека, он на чужую жену руку поднял, собаку застрелил ни за что, ни про что, бешеный дьявол! Подумай сам, разве не обрек он этим себя на смерть? — подлил Абиль-бий масла в огонь.— Сделай так, как я сказал. Отомсти на этом свете, Мадыл, если есть у тебя силы!

— Понял я... Есть силы...— тихо сказал Мадыл и встал было, но Абиль легким прикосновением вновь усадил его и, сдвинув брови, напряженно поглядел Мадылу в лицо, будто мысли его хотел прочитать.

— Я тебе вот что скажу напоследок: ты подкарауль его где-нибудь поблизости от аила землепашцев. Понял?

Мадыл этого совета не понял, но Абиль-бий смотрел на него так зло, что он поспешил кивнуть.

— Вот и ладно. Сделай, как я говорю, а отчего да зачем, много не думай. Не твоего ума дело. Но смотри не трусь! Если Домбу тебя убьет, я отомщу, а если я велю убить, отомстить некому. Помни об этом. А теперь иди.

— Прощайте...— Мадыл поклонился и поспешил вон из юрты.

Абиль-бий долго сидел, глядел в землю, неподвижный, застывший, точно калмыцкий каменный идол. Бедняга Мадыл ушел обрадованный участием бия в его беде и в беде всего нойгутского аила. Истинной причины такого участия он не знал, конечно...

После аша Абиль-бий ездил в орду и взял с собой Домбу,— тот приходился родственником деду хана, Токтоназару. Хан принял Домбу ласково, одарил, называя дядюшкой, и пожаловал должностью сборщика податей. Домбу, ясное дело, возомнил о себе много. С Абилем держится нынче заносчиво, непочтительно. Бывает, Абиль говорит ему что-нибудь, а он повернется спиной и уходит прочь, не дослушав. Оспаривает главенство!

Народ возненавидел Домбу, и часть этой ненависти может обратиться и на орду. У Абиль-бия на сей счет есть тайный указ орды. Орда позаботилась о том, чтобы прикрыть бия, заранее оправдать все его действия. Но такой же указ имеется и у Домбу. Кто кого. Абиль-бий помнит об этом. Пришло время перемен, больше того — время переворотов. Народ недоволен. Слухи, жалобы, брань,— обо всем этом знает Абиль-бий. И Мадыл подвернулся под руку в нужный момент. Любое дело лучше всего доводить до конца без лишнего шума. Очень вовремя пришел Мадыл.

Абиль-бий облегченно вздохнул. Крикнул:

— Эй, кто там! — и хлопнул в ладоши.

В юрту вошла Каракаш-аим.

— Откуда этот бедняга? Весь в крови... Зачем он приходил? — спросила она.

Абиль-бий опустил веки, чтобы жена не заметила, какая злоба горит у него в глазах, и сказал кротко, негромко:

— Да все этот шалопай Домбу. Горемычные нойгуты должны пригнать в счет подати пять коней. Опоздали немного, а он, видишь, что сделал...

— Вы бы одернули его, датха! — Каракаш-аим высоко подняла красивые брови.— Как он смеет избивать ваших подданных?

Абиль-бий улыбнулся:

— Он дядя хана!

— А вы отец народа, его глава. Народ ваш.

Абиль-бий совсем закрыл глаза, сокрушенно покачал головой.

— Ничего, таких, как он, сам бог наказывает. Бог не простит ему. А ты, байбиче, скажи-ка там джигитам, чтобы взяли пять лошадей да отвели их в счет подати за несчастных нойгутов. И к ним пошли человека, пусть передаст от меня поклон и сообщит, что подать уплачена. Пусть порадуются, бедняги.

— Хорошо, датха. Это дело доброе.

— Ну так распорядись...

Кулкиши ласкал молодого коня, поглаживая и похлопывая его по шее, приговаривая:

— Разбойник ты, разбойник! Ты что же, убить своего хозяина хочешь, по земле за собой потащить хочешь?

Сытый гнедой жеребчик успокоился и, насторожив уши, глядел на дорогу. Из придорожных кустов высунулась вдруг чья-то голова. Кулкиши перепугался:

— Эй, кто там?

— Это я, Кулаке...

— А, Мадыл, это ты, бедняга. Иди сюда, поздороваемся...

Мадыл выбрался из кустов на дорогу; пожимая Кулкиши руку, отвел глаза. Он боялся, что Кулкиши начнет допытываться, зачем он сюда забрался, почему прячется... Но Кулкиши было не до того — нынче судьба одарила его радостью. Он ехал издалека, не чувствуя ни усталости, ни голода, счастливый и довольный донельзя. Ему неудержимо хотелось с кем-нибудь поделиться своей радостью. Кулкиши присел на обочине, сдвинул тебетей на затылок, отер пот со лба и заговорил:

— Только сегодня перевалил я горы Бозбу. Слава богу, конь мой не устал...

Мадыл слушал Кулкиши, но не улавливал смысла в его словах, потому что думал лишь о том, как бы избавиться поскорей от неожиданного и ненужного собеседника. А Кулкиши этого не замечал; любуясь своим конем, возбужденно блестя глазами, он продолжал рассказывать.

— Даст бог, он окажется неплохим конем. Глянь, Мадыл, какой у него костяк! Как наберет возраст, будет прямо богатырский конь. Верно я говорю, а, Мадыл? Не погасшая головешка, а горячий уголь, верно, Мадыл?

Мадыл, встретившись взглядом с Кулкиши, закивал головой.

— Он хоть сейчас под седло. Но я не стану в этом году ездить на нем, боюсь, седло ему тяжеловато пока.— Кулкиши прыснул от беспричинного смеха.— Дорастить бы благополучно до пяти лет, а там...

Мадыл и на эти слова только кивнул. Кулкиши поднялся, ласково огладил гнедого.

— Породистый он у нас. Дай боже, поездим верхом на хорошем коне,— бормотал он, теперь уже с явной обидой глядя на неподвижного и мрачного Мадыла.— Ты чего, Мадыл, насупился! И что ты здесь делаешь? Куда путь держишь?

Мадыл встрепенулся. Поднял голову и устало, полуприкрыв веки, посмотрел на Кулкиши.

— Так просто, Кулаке. Шел, притомился, да и заснул здесь, прямо при дороге.

Кулкиши будто только разглядел бледное, изможденное лицо Мадыла и пожалел его.

— Ты, должно быть, еще не оправился, бедняга,— сказал он тихо, но тут же снова заговорил о своем: — На несчастной рыжухе ездил я лет пятнадцать, не меньше. Умная была животина, прямо как человек. Все понимала. Загнал я ее, старуху, на поминках по Джаманкулу. Да... А теперь вот послал бог удачу, теперь у меня конь не хуже, нет, не хуже прежнего. Попробовал я его на ровной дороге, идет хорошо, очень хорошо! Но я боюсь, не сломать бы ему спину, молод еще. Вот и веду больше в поводу. Живы будем, наездимся еще...

Мадыл, с трудом отогнав от себя тяжкие думы, спросил:

— Купил, Кулаке?

— Купил! На что мне купить-то, разве что собственную шкуру в обмен предложить! Нет, брат, не купил, а получил за мою рыжуху. Ты послушай, как было дело. Ну, значит, загнал я рыжуху, до смерти загнал. Куда деваться? Сижу, схватившись за голову. К полудню примерно подъехали к тому месту, где я сидел, какие-то неизвестные мне люди. Они гнали большое стадо волов. Обступили меня. Я, между прочим, до того растерялся, что и не подумал надрезать издыхающему коню ухо, как велит шариат, чтобы мясо можно было употреблять в пищу. Люди эти говорят: мясо, мол, поганое... И уж поворачиваются уезжать. Вдруг один из них обращается ко всем: «Где ваша человечность, уважаемые? Ведь если нашли бы мы у дороги умершего, похоронили бы его, исполнили последний долг. А тут живой человек, и мы хотим его бросить одного в беде. Разве бог не покарает нас за это?» Те послушались его, остановились... Когда человек в беде, Мадыл мой, он иной раз от ударов становится крепче духом, а доброе слово вызывает у него слезы. Ты сам знаешь... Так и я, как услыхал слова того человека, заплакал. А он: «Уважаемые, весь наш народ занимается скотоводством. Мы иной раз съедаем новорожденного жеребенка, потому что лошадь для нас самое чистое животное. Чем же этот конь хуже, чем он поганее? Что вы за святые, или отцы ваши в Мекке побывали?» Собрал он всех и своей рукой прирезал мою рыжуху. Она была упитанная, ведь я после голодной

зимы кормил ее ячменем, много не ездил на ней. Так, значит, разделили они мясо. А я стою, смотрю на них. Пускай, думаю, лучше людям мясо достанется, чем падалью валяется при дороге. У меня и в мыслях не было что-нибудь получить за конягу. На прощанье тот человек говорит мне: «На, держи. Мне нет дела до того, кто ты такой, а у тебя ко мне дело будет. Осенью разыщи на южных склонах горы Бозбу хозяина этой тюбетейки Акбая. Вот и все, что я хотел тебе сказать». Отдал мне тюбетейку и поехал себе.

— Что же это значило?

— Я тогда и сам не знал! — воскликнул разгорячившийся Кулкиши.— Что за разговор? Не мог сообразить. В чем тут загвоздка? Что за чертова тюбетейка? В дрожь меня бросало, когда думал об этом!

— А что вы с тюбетейкой сделали?

— Погоди, еще не кончил. На днях моя баба разбирала узел с разными тряпками, и попалась ей эта тюбетейка. Что, мол, за тюбетейка? Хотела было выстирать и сыну отдать. Я посмотрел — та самая. Я о ней забыл совсем. Вернее, забыл, куда дел ее, когда домой вернулся. Да, так взял я тюбетейку и отправился к горе Бозбу. Даже бабе не сказал, куда собрался. А и что скажешь? Не за долгом покойного отца идешь! Оказалось, однако, что того человека все знают, хороший, справедливый человек этот Акбай.

Кулкиши перевел дух и продолжал:

— Принял он меня, угостил, козленка велел зарезать. Мне было совестно. Нечего сказать — явился получить плату за подохшего коня! Пока я сидел, краснел да раздумывал, он вдруг спрашивает: «Тюбетейка-то цела?» Я отдал. На другой день Акбай сказал: «Мясо твоего коня стоило четырех козлят либо жеребенка. Возьми жеребенка по второму году, пусть он послужит тебе, бедняк!» Я просто онемел, а он мне: «Очнись! Все мы люди и должны друг другу помогать. Мы существуем лишь благодаря тому, что поддерживаем друг друга. Тем человек и отличается от животного. Я стараюсь платить долг человечности, когда могу...» И вручил мне повод коня... Верно это, мир держится только такими, как он, честными и добрыми людьми!

Мадыл и на это не отвечал ни слова. Он подумал о Домбу. Будь проклят тот день, когда Домбу приезжал к ним в аил! Защемило сердце, но Мадыл, во власти ту-

пого оцепенения и безразличия ко всему на свете, даже пальцем не шевельнул. Кулкиши снова присмотрелся к Мадылу, удивленный и огорченный тем, что тот никак не откликается на его слова. В другое время он за это обругал бы Мадыла, да, плюнув, пошел дальше своей дорогой, но нынче чувствовал к пришибленному бедой нойгуту сострадание и потому сказал:

— Ты совсем высох... Эх, разве можно так притеснять обиженного судьбой! Но ничего, бог все видит!

Тяжело и глухо стукнуло сердце у Мадыла. Так ли это? Бог все видит... И разве он, Мадыл, не обижен судьбой? И не бог ли, желая защитить обиженного, внушил Абиль-бию мысль о мести? На все есть божья воля, без нее и былинка не сломится. Мадыл тяжело вздохнул.

— Кулаке... Мир наш создан для богатых и сильных. Для бедных и слабых он тесен, как сыромятный чарык, Кулаке...

— Не говори, Мадыл, бедняга... Так-то так, но и над сильным бог волен...

«Над сильным бог волен...» Стало быть, и над Домбу? Уж он-то сильный, богатый... Может, услышал бог плач несчастных нойгутов...

Кулкиши увидел, как побледнел Мадыл,— того и гляди, рухнет наземь без памяти. «Как бы не умереть ему вскорости»,— подумалось.

— Ты бы завернул как-нибудь к нам, Мадыл,— сказал Кулкиши вслух.— Дам тебе немного зерна. Если достанешь мяса, вели приготовить кульчетай, поешь да полежи, отдохни несколько деньков. Ты совсем ослаб... Пока живы, черт возьми, должны же мы помогать друг другу, чем можем. Пошли! Сарыбай всегда по-доброму к нам относился. Как он себя чувствует? Вот не повезло ему! Сидит теперь в юрте, как ловчая птица с завязанными глазами...

Мадыл кивнул, а Кулкиши сказал решительно:

— Пошли! Найдем зерна для тебя, побольше найдем, пошли...

— Спасибо на добром слове, Кулаке,— вздохнул Мадыл.

— Не веришь? Найду обязательно! Пойдем прямо к Бекназару. Он за тебя с Домбу рассчитается, никого не побоится. Припечатает ему нос горячим железом!

Мадыл с сомнением покачал головой. Пойди он

к Бекназару, Абиль-бий обидится: не послушался, мол, меня, у других защиты ищет! Нет уж, ни к чему сироте лихорадка! Если бы Абиль-бий не принял его жалобу, тогда другое дело... Нет, нет, дай бог ему здоровья, он и выслушал Мадыла, и пять лошадей дал...

— Ну, как знаешь,— с некоторой обидой сказал Кулкиши.— Может, талкана [1] возьмешь тогда?

— Спасибо, не откажусь, только схожу домой за вьючной лошадью, Кулаке... О-ох...— Мадыл тяжело встал, кряхтя от боли.

— Можно и так. Нашли бы мы для тебя и вьючную лошадь, но делай, как тебе лучше. До свиданья!

— До свиданья!

Кулкиши пошел своей дорогой, ласково приговаривая что-то своему жеребенку. Приговаривал, а думал о Мадыле. Худо ему, и всем нойгутам худо. Надо бы поговорить с Тенирберди, пускай нойгуты откочевывают в их аил. Что в этом плохого? Приучатся пахать и сеять, как бы там ни было, а все сытее. И Бекназар мог бы взять их под свою защиту, припечатал бы Домбу нос каленым железом! Эта последняя мысль очень нравилась Кулкиши, он молодецки расправил плечи и усмехнулся. Эх, не нарвался еще Домбу на такого, кто спуску ему не даст!

Кулкиши обернулся. Мадыл все стоял на том же месте; заметив, что Кулкиши смотрит в его сторону, отошел на несколько шагов с дороги, наклонился и что-то поднял с земли,— кажется, палку. «Забыл, бедняга, и палку, на которую опирается. Видно, ходить ему без палки тяжело»,— подумал Кулкиши и снова пожалел Мадыла. Тот тем временем успел скрыться из глаз, но Кулкиши долго еще смотрел ему вслед.

6

Облака на горизонте густо алели от предзакатных лучей медленно утопающего в них солнца. Айзада села к солнцу спиной, опустила подбородок на колени и долго слушала ровный шум водяной мельницы, глядя на покрытую пеной неспокойную воду у колес. Брызги сверкали, неустанно бежала вода, овевая свежестью и прохладой лицо Айзады. Женщина ни о чем не думала, всем существом отдавшись власти шума и движения.

[1] Талкан — толокно.

Эшим сошел к речке, опустил в ледяную воду руки, вымыл их, плеснул себе воды в лицо.

— О чем задумалась, джене? — спросил он, и так как Айзада не отвечала, брызнул холодной водой на нее.

— Ой! — вздрогнула женщина.— Ты мне платье намочишь! — она рассмеялась.— Мои думы меня ни днем, ни ночью не покидают, будто ты не знаешь.

Эшим вроде бы и смутился, но откровенно был рад тому, что молчание оборвалось.

— Хорошо, когда ты смеешься, джене, это тебе к лицу.

— Правда? — Айзада вздохнула.— А мне иной раз говорят, что улыбка моя темнее ночи.

— Глупости это. Неверно говорят.— Эшим распрямился, с молодой надеждой поглядел на заходящее солнце, но тотчас нахмурился.

— Пойдем, парень, посмотрим, что там на мельнице. Слышишь, жернова постукивают, зерно, должно быть, кончается.

Эшим молча зашагал к мельнице впереди Айзады. На мельнице он подбавил зерна и повернулся к женщине.

— Джене, помол-то не слишком крупный?

Айзада подставила руку под сыплющуюся муку.

— Да, надо бы помельче, не то свекровь меня изругает. Скажет, размололи каждое зернышко всего на две половинки, какая же это мука!

— А так? Хорошо?

— Так хорошо...

Теперь, когда подсыпали зерна, мельница гудела мягче, тяжелей ворочались жернова. Росла и росла белая горка муки, и Айзада все смотрела, как она растет. Эшим стоял возле двери, и свет уходящего дня падал на его лицо. Сумерки быстро наступали, и Эшим уже не видел Айзаду,— внутри мельницы стало совсем темно. Он вдруг почувствовал себя необычайно одиноким и, обернувшись туда, где все работали жернова, предложил:

— Давай костер разожжем, джене?

Айзада вынырнула из темноты.

— Что ты сказал, бала [1]?

---

[1] Бала — ребенок, мальчик.

— Огонь давай разведем, говорю.

— Ну, что ж, давай...

...Высокий тут стоял темной громадой. Под деревом горел костер, и нелепо большие тени людей, собравшихся у огня, метались по освещенному кругу земли. Ветер доносил кисловатый запах дыма. Айзада, прислонившись к дверному косяку, глядела туда; вот вышел на освещенное место Эшим, и за ним тоже тянулась длинная тень, повторяя его движения; вот он нагнулся, взял из костра горящую головешку и уже бежит с нею назад.

...Эшим слегка запыхался.

— Джене, хворост есть у нас? Нету? — он протянул головешку Айзаде.— На, держи и входи, джене...

Айзада послушалась было, но, когда вошла в мельницу, ей вдруг отчего-то стало страшно, она поспешила наружу. Эшим скоро подошел с большой охапкой хвороста.

— Ты чего не заходишь, джене?

— Боюсь,— ответила Айзада и рассмеялась.

— Чего бояться-то? Идем...

Мельница дрожала, дрожала земля, вода шумела... Слабый огонь едва освещал крутящиеся жернова. Айзада понемногу подкладывала хворост, не давая огню угаснуть. Эшим сидел, опустив голову, словно задумался о чем-то, но Айзада чувствовала, что он наблюдает за нею, чувствовала, что он хочет и не решается о чем-то заговорить. У нее вдруг сильно забилось сердце. Мысли разбегались, и, поймав себя на том, что сама она пристально глядит на Эшима, Айзада еще больше смутилась.

— Джене, ты смотри не простудись. В этом году осень ранняя, дни уже холодные...— Эшим снял с себя камзол и набросил его на плечи Айзады.— На-ка вот, накинь.

— Не надо, не надо,— запротестовала Айзада.— Тебе-то разве не холодно?

Но камзол так и не сняла. От него шел крепкий запах мужского пота, и Айзада, вдохнув этот позабытый запах, на мгновение с особенной, щемящей остротой ощутила горечь женского своего одиночества. Эшим подсел поближе к ней, но она тут же испуганно отодвинулась.

— Не садись ко мне так близко, бала,— попросила

она и улыбнулась грустно и виновато.— Еще увидит кто...

Эшим не обиделся. Слова Айзады были приятны, как намек на тайную радость. Он как бы шутя приобнял ее.

— Пускай видят, ты же моя джене.

Айзада его не оттолкнула, только сказала тихо:

— Все равно...

Они молчали, и каждый слышал, как бьется сердце у другого. Костер угасал. Вдруг Айзаде показалось, что у дверей стоит кто-то; она вскочила и вышла. Эшим за нею. Никого. Ночь.

— Кому сюда прийти,— сказал Эшим.

Айзада промолчала. Пошла на берег, села на пожелтевшую осеннюю траву. Эшим прилег рядом на спину и долго глядел на круглую яркую луну. Потом спросил:

— Джене, ты сказки знаешь?

— Что? — очнулась от своих смятенных размышлений Айзада.

— Расскажи что-нибудь...

— Что рассказать?

— Да что хочешь, а то молчишь и молчишь.

— Нечего мне рассказывать... Ты мужчина, ты и поговори.

— Я? — Эшим задумался.— Ну... о чем же...

Луна медленно прокладывала свой путь среди мелких, легких облаков. Эшим гадал, из-за какого облака вынырнет она в очередной раз, а в сердце у него были тоска и желание. Айзада спрятала лицо в ладони, ей хотелось, чтобы Эшим позабыл о своих желаниях, хотелось выглядеть безучастной, равнодушной, далекой от него. Они долго молчали. Молчала и ночь, только мельничное колесо крутилось без устали, только влажный плеск потемневшей воды нарушал тишину. Было холодно, на траву пала роса.

— Зачем ты, бала, лежишь на сырой земле так долго? — прервала молчание Айзада.— Возьми свой камзол, посиди еще здесь, а я пойду на мельницу.

— Нет, джене, ты не уходи. Мне не холодно.

— Это у тебя внутри огонь! — рассмеялась Айзада и прикрыла полой камзола Эшиму грудь. Эшим приподнялся, потянулся к Айзаде, руки их встретились. Айзада не отняла свою руку у крепко сжавшего ее в своей руке джигита, и вот он уже обнимал женщину, жарко дыша, он целовал ее в губы горячими от страсти губами, и Ай-

зада опьянела, забыла обо всем, отдаваясь порыву освобожденного желания. Она сама обняла Эшима, обняла крепко и страстно, она прильнула поцелуем к его шее... и поцелуй этот отчего-то отрезвил ее, неловкость и стыд, раскаяние охватили женщину с такой силой, что она резко оттолкнула от себя парня, вырвалась из его объятий. Он снова потянулся к ней...

— Отойди...

Эшим растерялся. Айзада сидела и плакала. Он не знал, что лучше,— утешать ее или уйти прочь. Но она уже пришла в себя, встала и, подняв с земли упавший с головы платок, вытерла им слезы. Решительно повязала платком голову.

— Нехороший ты, оказывается, джигит,— сказала она и улыбнулась.

Эшим молчал. Хотел улыбнуться в ответ, но улыбка вышла кривая.

— Видно, ты людей за животных принимаешь,— добавила Айзада.

Эшим горел от нестерпимого стыда. А мельничное колесо все крутилось с шорохом и плеском. Луна спряталась за облако, и погасла трепещущая золотая дорожка лунного света на воде.

— Вы слыхали? Домбу застрелили!

— Кто?

— Неизвестно, кто он. Брат Домбу, Тултемир, схватил его и полуживого приволок к дверям юрты Абильбия.

Любопытно людям поглядеть, что за герой осмелился поднять руку на дядю хана; все, кто мог, двинулись к аилу Абиль-бия.

Сумятица царила здесь. Все коновязи заняты. Прибывают все новые и новые всадники. Возле юрты привязан врастяжку к четырем кольям какой-то человек. Он совершенно раздет. Борода у него в запекшейся крови. Изредка он шевелит губами, стараясь выплюнуть кровавые сгустки, и негромко стонет. Глаза закрыты.

Вот он рванулся из последних сил, как будто пытаясь порвать крепкие волосяные веревки, которыми скручены его руки и ноги. Рванулся — и затих. Открыл глаза, красные, воспаленные. Горячее дыхание с трудом срывалось с губ.

— Воды...

Никто не дал ему воды. Вновь прибывшие подходили взглянуть — и отходили. Ему казалось, что на него смотрят откуда-то издалека, сверху, чуть ли не с самого неба. Люди переговаривались негромко:

— Ой, да ведь это родич Бекназара Кулкиши!

— Он самый. Какие же счеты могли быть у него с Домбу?

...Кулкиши остановился у подножья холма, неподалеку от большака,— решил дать своему жеребенку немного попастись. Вдруг до него донеслись со стороны дороги выстрелы, крики, потом он увидел, как мчались и в одну, и в другую сторону всполошенные всадники. На всякий случай Кулкиши поспешил укрыться со своим конем в зарослях камыша. «Сто-ой! — закричал, нагоняя его, незнакомый верховой.— Куда бежишь, ублюдок!» — «Что ты, джигит, опомнись...» — только и успел сказать Кулкиши, а дальше поднялось такое, что он сам опомниться не мог. Налетели еще два джигита, сбили его с ног, связали, приторочили к лошади... В сознание Кулкиши пришел только возле юрты Абиль-бия.

— Ты поднял руку на дядю хана, Кулкиши? — спросил Абиль-бий с хорошо разыгранным удивлением.

Кулкиши, увидав Абиль-бия, обрадовался так, будто перед ним возникла во плоти сама справедливость.

— Пошел он подальше, твой Домбу! Сдохнуть ему два раза вместо одного, мне-то какое дело! — дрожа от обиды, выкрикнул он.

Стоявший возле Абиля Тултемир с маху полоснул Кулкиши плетью-свинчаткой. Кулкиши бросился на него. Плеть свистнула еще раз, Кулкиши упал без памяти.

— Говорят, что это ты застрелил Домбу. Говорят, что видели это своими глазами. Скажи правду, как перед богом, Кулкиши! — обратился к нему Абиль-бий, когда он снова пришел в сознание.

Теперь Кулкиши был полон гнева и ненависти и к Абиль-бию.

— Ты веришь, бий, что я могу убить человека? — спросил он.

Абиль-бий был смущен. Кулкиши дрожал от ярости, говорил со слезами:

— Ну? Если завтра я буду свободен, я застрелю тебя. Веришь ты этому, Абиль-бий?

Тултемир снова поднял плеть, но Абиль остановил его.

— Довольно! Не бей его. Надо расспросить...

И он тотчас послал человека за Бекназаром.

С тех пор прошло полдня. От Бекназара вестей нет. У Кулкиши боль от побоев разлилась по всему телу, он был с ног до головы в черных кровоподтеках и лежал в забытьи.

Шумно в юрте Абиль-бия. Тултемир кипел от злости — почему до сих пор нет Бекназара? Не обращая внимания на попытки стариков успокоить его, он ярился все больше:

— Мы что, не люди? Подумаешь, землепашцы! Мы их с лица земли сотрем, мы им покажем, как убивать наших батыров!

Надоел он всем до полусмерти, но даже старики не решались резко остановить его. Надо еще послушать, что скажут люди из аила землепашцев, что скажет Бекназар.

— Послушай, батыр,— проговорил негромко Абиль-бий,— я не очень-то верю, что стрелял Кулкиши...

Тултемир взвился:

— Не веришь? А я верю. Его подговорил Бекназар, вот что...

Абиль-бий на это ничего не отвечал, тем самым как бы отчасти соглашаясь со словами Тултемира, подождал, пока тот замолчит, и продолжал по-прежнему тихо и мягко:

— Если мы, Тултемир, своими глазами не видали, как некто совершил определенный поступок, не впадем ли мы в грех перед лицом аллаха, утверждая, что поступок совершен именно этим человеком? Дело сделано, назад ничего не воротишь, для чего же теперь торопиться? Не станем проявлять излишнюю поспешность. Разберемся. Расспросим. Узнаем истину. Здесь, у тебя на глазах, я спрашивал Кулкиши. Ведь вы не видели, как он стрелял, не видели у него в руках ружье...

Тултемир перебил его:

— Нет, это он стрелял, он! Мы с братом моим Домбу были вместе, когда раздался выстрел. Мы бросились искать и нашли только этого Кулкиши... Он хотел убежать... прятался в камышах...

Вошел один из джигитов Тултемира:

— Бекназар прибыл...

Тултемир вскочил, сжимая в руке свернутую пополам плеть. Абиль-бий даже не пошевелился. «А хорошо бы хлестанул он разок-другой Бекназара по голове! Здесь, у моего порога!» — промелькнула у него мысль, чуть заметной улыбкой тронув уголки крепко сжатого рта.

Бекназар приехал вместе с Эшимом. Они примчались во весь опор. Прошли сквозь толпу, ни с кем не здороваясь и не отвечая на приветствия, искали Кулкиши. Лицо Бекназара окаменело от гнева. Увидев распростертого на земле, голого, избитого до черноты Кулкиши, он соскочил с коня, присел рядом, приподнял тому голову, позвал тихонько:

— Кулаке...

Кулкиши застонал. Он не мог понять, кто зовет его по имени, голова была отуманена болью.

— Вода есть? — бросил через плечо Бекназар.

Тотчас кто-то принес и подал ему полную чашку воды. Бекназар поднес ее к губам Кулкиши. Кулкиши очнулся и, не открывая глаз, сделал несколько глотков. Бекназар вылил остаток воды ему на лицо. Тогда только Кулкиши открыл глаза.

Эшим склонился к нему.

— Кулаке!

— Что? — откликнулся тот и, снова смежив веки, застонал.— Ведь я говорил, бий... Зачем мне стрелять в Домбу? Ой, Бекназар... Ты приехал, Бекназар? Гляди...

— Я приехал, Кулаке. Я, Бекназар...

Он пощупал пульс Кулкиши. Бьется, только слабо. Как изуродовали человека! Не сдержавшись, Бекназар вскочил, ухватился за рукоять меча.

В это время и появился со своей плетью Тултемир.

— Вот кто настоящий виновник...— начал он, но Бекназар уже ринулся ему навстречу с выхваченным из ножен мечом, не помня себя, не замечая никого, кроме Тултемира. Тот замахнулся было плетью, но Бекназар на лету поймал взмах, выхватил плеть из руки Тултемира. Брат Домбу повернулся и побежал к юрте Абильбия. Бекназар — барсом за ним.

— Подлец! Если бы твой брат был не дядей, а отцом хана и я хотел бы его убить, то убил бы сам. Я сам убил бы твоего Домбу, слышишь? Тебе захотелось окле-

ветать меня? Да? Ты хотел бы, чтобы я убил тебя здесь, у порога Абиль-бия? Чтобы все можно было свалить на меня? — и он двумя ударами меча отсек обе полы у халата Тултемира. Тултемир вбежал к Абилю.

Все, кто видел это, стояли в недоумении: Абиль-бий даже не показался в дверях юрты. Он ждал, когда Бекназар сам войдет к нему. И тот, опомнившись, вошел и, остановившись в дверях, приветствовал Абиль-бия. Абиль ответил на приветствие, молча наклонив голову. Бекназар присел у порога.

— Бий,— начал он говорить тихо и отчетливо.— Если мой брат, который в жизни своей травинки не отнял у овцы и которого сейчас распяли у вашего порога, виноват в чем-то, я готов принять его вину на себя. Если же он не виновен, я хочу знать, кто посмел так обращаться с ним, совершить подлое насилие.

— Проходи, батыр, сюда, на почетное место,— пригласил Абиль.

Бекназар как будто и не слышал приглашения. Абиль-бий не счел нужным повторять его.

— Батыр, на твоего родича пало подозрение. Домбу убит на дороге выстрелом из ружья. Джигиты Тултемира изловили Кулкиши поблизости от места преступления. Что нам делать? Я и сам ума не приложу.

Бекназар отвечал все так же отчетливо и твердо:

— Домбу убил другой человек. Вы сами хорошо это знаете, бий. Если кому-то хочется очернить меня, пусть делает это открыто, не вмешивая сюда Кулкиши. И пусть попробует схватить меня, если это в его силах! Вы ведь понимаете, бий, что Домбу убили из мести, а за что нам ему мстить? Не за что!

Абиль-бий прикусил губу. Припомнил свои же слова: «Ты подстереги его возле аила землепашцев. Понял?» Он тогда не то чтобы хотел свалить вину за смерть Домбу на головы землепашцев, просто надо было от себя подальше отвести подозрение. Но вот Домбу уничтожен, а на месте преступления пойман Кулкиши. Двойная удача. Ведь теперь Бекназар вынужден обращаться к нему, Абилю, за справедливостью. Абиль-бий решил сам прекратить раздор:

— Тултемир, ты не горячись. Мы понимаем, у тебя горе, ты потерял брата. Но надо и в горе сохранять в душе справедливость и беспристрастность. Подумай о том, что у землепашцев на вас никакой обиды быть не могло. Домбу убит возле их аила, это так, но мало ли кто бродит по дорогам, мало ли откуда пришел убийца. Это надо понимать...

И, обернувшись к Бекназару:

— И ты не выходи из себя, Бекназар. Не растравляй себя из-за того, что избили твоего родича. Тултемир от горя потерял голову, он действовал в ослеплении, хоть это, конечно, и очень плохо. Что поделать, вышло недоразумение. Человек — не тыква, на куски не разбился.

Надо зарезать жирного барана, завернуть Кулкиши в свежую шкуру, завтра же он встанет на ноги.

Абиль-бия тотчас поддержали:

— Справедливые слова! Зачем нам ссориться и подозревать друг друга? Лучше всем вместе приняться за поиски настоящего убийцы...

Бекназар подался вперед:

— Спасибо, бий... Спасибо за то, что вы послужили делу справедливости, мы постараемся отблагодарить вас. Согласен, все мы, не впадая в раздоры, должны позаботиться о том, чтобы достойно проводить нашего родича Домбу...

Его перебил Тултемир...

— Выходит, покойник сам в своей смерти виноват...— начал было он, но Абиль, округлив глаза и утратив обычную невозмутимость, крикнул:

— Замолчи! Не затевай смуту! Разве Домбу одному тебе брат? Он всем нам родной. Хватит тебе изрыгать злобу, позаботься лучше о достойных похоронах. По-твоему, мы должны искать убийцу, забыв о том, что тело твоего брата еще не предано земле?

Тултемир умолк.

Бекназар встал, отвесил Абиль-бию благодарный поклон, попрощался и вышел.

Люди возле юрты смотрели на него, стараясь понять, с чем он ушел от бия. Несколько человек двинулось ему навстречу. Бекназар молча вынул из ножен меч и, перерезав веревки, освободил Кулкиши.

— Заверни его в халат,— сказал он Эшиму.

Эшиму помогли осторожно укутать Кулкиши в просторный халат. Бекназар сел верхом на своего вороного. Кулкиши подняли на руках, передали Бекназару на седло. Он принял избитого осторожно, как ребенка. Кулкиши стонал от боли. Бекназар, ни на кого не глядя, ни с кем не прощаясь, тронул коня. Эшим ехал стремя в стремя с ним, поддерживая Кулкиши.

Молча смотрел народ им вслед.

— Таким и должен быть родич! Молодец Бекназар! — сказал кто-то.

— Да, не помоги он Кулкиши сегодня, завтра помощь понадобилась бы и самому Бекназару,— откликнулся другой.

Бекназар с Эшимом были уже далеко...

7

Насриддин-бек со своими сипаями нежданно-негаданно явился в аил Абиль-бия. Кто его звал? Аил переполошился. Абиль-бий приказал поставить юрты для сипаев, самого Насриддин-бека поселил у себя, принял как почетного гостя. Но ханзада на сей раз был мрачен и неразговорчив, на приветствия отвечал неохотно и хмуро. Едва было покончено с обычными вежливыми расспросами, резко обратился к Абиль-бию:

— Где мой дорогой дядя?

Все, кто был в юрте, затаили дыхание. Абиль-бий сокрушенно опустил голову.

— Говори, бий! Я не вижу своего любимого дядю, где он?

Абиль-бий со вздохом поднял на Насриддин-бека глаза.

— Ханзада, славный Домбу был вам дядей, но и нам он не чужой. Видно, богом ему было суждено оставить нас и уйти из этого мира.

Чуть слышный ропот поднялся в юрте — не печали об ушедшем, но одобрения смелости Абиль-бия, сумевшего твердо ответить на гневный вопрос бека.

— Ах, вот как! — зло усмехнулся Насриддин-бек.

Глаза его горели. Теперь он был уже не тот юнец, что несколько лет назад; черты его стали жестче и определенней, густые черные усы придавали лицу Насриддин-бека выражение мужественной суровости. Слева на поясе у него висел короткий кривой меч с изукрашенной дорогими камнями рукоятью, в серебряных ножнах.

— Вот, значит, как! — повторил бек и спросил: — И что же, своей смертью умер он? Отвечай, бий!

Абиль-бия унижали в его же собственном доме. Этого он не мог и не хотел стерпеть.

— Племянник! Дядя ваш Домбу умер по воле бога. Одному бог судил умереть от пули, другому — от огня, третьему — от болезни. Таково предопределение. Вашему дяде суждено было погибнуть от пули человека, который хотел свести с ним счеты. Кто же может противиться воле бога, племянник?

Насриддин-бек привстал было, но его остановил одним движением руки сидевший рядом советник.

Абиль-бий, отвернувшись, продолжал:

— Что поделаешь! Мы оплакивали нашего дорогого

родственника, мы горевали долго. Но слезами убитого не вернешь. Пусть будут здоровы и благополучны те, кто живы.

Абиль-бий знал, сколько мучений доставили людям хан и его шалые сыновья. Он полагал, что смерть Домбу послужит в глазах людей как бы искуплением этих мучений, расплатой за глупые и недальновидные поступки твердолобых властителей, не обида это престолу, а добрая услуга! Но разве непутевые бабники в состоянии понять что-нибудь? Они, можно сказать, готовы спалить юрту, поставленную достославным Нарбото-бием во имя объединения узбеков, киргизов, кипчаков...

У Абиль-бия внутри все кипело, но больше он ничего не сказал, только зубы стиснул. Об убийстве Домбу он самолично известил орду, самолично отправил туда и собранное в счет налога имущество. На Домбу он списал все грехи, успокоил чернь и тем самым обелил честь престола, честь самого хана. И вот теперь... Видно, не сумел он удержать в руках поводья коня удачи. Оступился, остается ему только на бога уповать. Он целиком зависит от советника, который сидит, опустив глаза, рядом с Насриддином. Старый хитрец! Он не успокоится на том, чтобы разорить один-два аила. Нет, он начнет плести свои сети, толкуя об адате и шариате, и в сетях этих как раз запутаешься!

— Не горюй, бий,— сказал советник негромким, расслабленным своим голосом.— Племянник горячится, смерть дяди причинила ему боль, это можно понять. Можно простить. Он еще молод, простите его, бий.— Советник покачал головой.— Ничего не поделаешь. Умершего не воскресишь. Мы должны блюсти мир и покой здравствующих.

Абиль-бий и советник посмотрели друг другу в глаза. Бий почувствовал облегчение, поспешил поддержать советника:

— Верно сказано... Мудрые слова!

Насриддин-бек не остался ночевать и ускакал со своими джигитами, но на прощанье приказал: «Виновного найдите, не то...»

Страх и смятение поселились в кочевых аилах. Из уст в уста переходила весть о требовании Насриддин-бека найти убийцу. Поведением Абиль-бия, не побоявшегося дать острастку ханзаде, восхищались и гордились. На поклон к бию снова потянулись со всех сторон акса-

калы и старейшины родов. Они считали, что Абиль-бий был обруган и оскорблен ни за что, ни про что; они расспрашивали о здоровье и при этом доверительно заглядывали Абиль-бию в глаза, изъявляя тем самым готовность помочь, насколько хватит сил и возможностей. Не такую уж страшную обиду претерпел старый хитрец,— Насриддин-бек, правда, говорил с ним неуважительно, но старый советник загладил ошибку заносчивого мирзы. Тем не менее Абиль-бий принимал сочувствующих с таким выражением на лице, будто действительно пострадал за справедливость, и пострадал невинно.

Но Насриддин-бек на том не успокоился. Воинственно настроенные сипаи гарцевали во главе со своим курбаши по аилу, проносились по гребню горы, на скаку стреляя по мишеням,— для устрашения аильчан. Пировали и веселились, не вступая в общение с горцами, а по вечерам курбаши и пятеро джигитов объезжали весь аил, причем курбаши время от времени выкрикивал:

— Нашелся убийца?

Вскоре явился к Абиль-бию Эшим с приветом от Бекназара, который все видел и слышал, оставаясь в стороне. Эшим слово в слово изложил то, что велел передать Абиль-бию Бекназар.

— Спасибо, пансат. Хорошо, что вы достойно ответили зарвавшемуся ханскому щенку. Вы поняли теперь, что такие платят злом за добро...

Абиль-бий улыбнулся. Разомлевший от кумыса старый советник сладко спал на пуховых подушках. Абиль бросил на него взгляд искоса и тогда ответил Эшиму:

— Передай батыру: если бы не было у меня такой опоры, как Бекназар, не был бы я смелым. Вы моя защита, в вас чувствую я силу, способную преградить путь горному потоку.

Эшим, наклонив голову в знак того, что слышал, понял и все передаст Бекназару, двинулся было к выходу из юрты, но замешкался, с опаской поглядывая на спящего советника. Абиль заметил это: значит, Эшим не все еще сказал.

— Говори,— подбодрил Абиль.— Чужих ушей здесь нет.

Чуть склонившись над стариком, прислушиваясь, спит ли, не прикидывается, повторил:

— Говори!

— Все пути Насриддин-беку отрезаны. Повсюду

стерегут его засады. Бекназар-аке ждет одного только вашего слова...

Абиль-бий так и взвился со своего места. Схватил Эшима за воротник, изо всей силы притянул к себе.

— Пусть с ума не сходит! Прекратить! Прекратить! Понял?

Он задыхался.

— Бий верно говорит...

Абиль-бий вздрогнул. Эшим замер. Бесцветные водянистые глаза старого советника смотрели на них холодно и спокойно.

— Верно говорит бий,— повторил советник и не спеша приподнялся с подушек.— Передай, джигит, своим друзьям батырам, что можно унести волчонка из волчьего логова, но матерые волки после этого нападут на овчарню. Обязательно нападут. Разве горцы не знают этого, джигит? Спроси их...

Абиль-бий весь трясся.

— Скажи... скажи Тенирберди, пускай он образумит сумасброда. Пускай образумит, слышишь?

— Слышу...

Эшим поклонился и вышел.

В тот же день Абиль-бий скликал старейшин и всех предупредил, что действий Бекназара не поддерживает, что поддерживать их — безумие. Кто пойдет за Бекназаром, тот достоин изгнания из общины...

На другой день прибыли к Насриддин-беку еще сорок человек сипаев из Намангана. Курбаши Насриддин-бека после этого разгулялся вовсю. Он запретил сообщение между аилами, по дорогам разослал дозорных. Кочевники совсем потеряли головы. Кто сыщет убийцу? А разве сам он объявится? Насриддин-бек требовал найти преступника немедленно, а нет — так он прикажет схватить всех взрослых джигитов. Как это стерпеть?

— Пусть ханзада скажет, чем можем мы остудить его гнев! Чем мы провинились перед ним? Пусть скажет прямо! — с этими словами пришли к старому советнику аксакалы.

А советник того только и ждал. Ему было все равно, кого там убили — дядю хана или бродячего пса,— лишь бы руки нагреть на этом. Безмерно обрадованный, он, однако, и виду о том не подавал, а сокрушенно качал головою, кляня тяжелые времена.

— Как вам быть? Выход один: не нашли убийцу,

отдайте виру за убитого. Таково веление шариата. Я поговорю с вашим племянником ханзадой. Попрошу его не толкать родственников к пропасти, попрошу его выслушать вас. Бог милостив, да вселит он милосердие в душу ханзады.

Аксакалы слушали советника в полном молчании. Ведь это прямой произвол! Старики, познавшие за свой век все плохое, кроме смерти, не знали, что отвечать. Нарушил молчание Абиль-бий. Не скрывая злости, сказал:

— Пусть получит желанную виру! Когда змея заползет к тебе в дом, выдворить ее можно, только напоив молоком. Ладно! Пусть берет!

Насриддин-бек день ото дня свирепел все больше. Сипаям своим он дал полную волю; они вихрем носились по аилу, разбойничали, сколько хотели: стреляли в собак, которые осмеливались на них залаять, хватали и резали скот аильчан. Неслыханную виру потребовал Насриддин-бек за Домбу: тысячу коней и тысячу золотых! Где взять, как собрать такое? Как найти выход? Люди собрались было, сплотились вокруг Бекназара, как отара при виде волка, но Абиль-бий сумел без нагайки разогнать всех. Разрозненный, растерявшийся народ не мог собраться с силами.

Жалобы и тяжбы обсуждают обычно в главном аиле, в аиле Абиль-бия. Совет старейшин собирается на холме, на вершине которого торчит одинокий сторожевой камень. На этот раз совет заседал уже две недели. Конца не было речам аксакалов о братстве всех мусульман, о долге родства, о землячестве... Старый советник терпеливо и невозмутимо выслушивал всех; время от времени он приоткрывал глаза и произносил что-нибудь вроде:

— Э, мусульмане, если бы это от меня зависело! Я-то не стал бы мучить вас...

Скажет — и руками разведет.

— Наследник убитого — ханзада,— продолжает он затем все так же вяло и неохотно.— Я был бы рад безмерно, если бы ханзада не взял за виру ломаного гроша.

Аксакалы только головами качали в ответ на такие слова, но как-то один из них не выдержал:

— Побойся бога, везир! Почему ты называешь его наследником? Какой ханзада наследник? Он просто творит произвол. Домбу был как-никак наш родич...

— Неслыханное дело платить виру за смерть своего же родича! — поддержал еще кто-то.

— Эй-эй, мусульмане, говорите да не заговаривайтесь! Насриддин-бек прибыл к вам не как ночной разбойник, он испросил совета и благословения у знающих, святых людей, у наших улемов.

— Шариат в твоих руках, везир,— с горечью сказал, подымаясь с места, первый аксакал.— Ты вертишь им, как хочешь. Ну и поступай, как знаешь!

Холодная злоба вспыхнула в глазах у старого советника.

— Раздор посеять легче всего, мусульмане. Разобраться и завершить дело по-хорошему — куда труднее. Но подумайте сами, кому от мирного решения больше пользы — мне или вам. Хорошенько подумайте, мусульмане!..

Частый и дробный конский топот послышался совсем близко. Люди спешно расступились, давая дорогу мчащемуся во весь опор прямо на толпу курбаши. Следом за курбаши цепочкой скакали сипаи. Курбаши осадил коня перед сидящими в ряд старейшинами.

— Ну, закончили вы спор о вире за нашего дядю?

Абиль-бий вкрадчиво улыбнулся.

— Успокойте ханзаду. Всякое дело приходит к своему окончанию, завершится и это...

Курбаши бросил быстрый взгляд на советника. Тот кивнул. Курбаши слегка поклонился, потом кичливо выпрямился и, повернув коня, ускакал прочь. Люди ошеломленно смотрели ему вслед.

— Бий! — приподнялся возмущенный Бекназар.— За что они топчут и попирают нас? Чего бесятся? И почему ты терпишь это, бий Абиль? Выходит, нам только и остается прикрывать голыми руками макушку, когда на нас обрушиваются удары камчой?

Абиль выслушал его с окаменевшим, бледным лицом. Он не мог найти достойный выход.

— Я понимаю тебя, батыр,— отвечал он.— Но и ты пойми. Где власть, там и насилие, а где насилие — там и лесть. А лесть иногда помогает защищаться от насилия. Вот оно как,— и Абиль-бий смиренно опустил глаза.— Надо иметь терпение, батыр. Терпение — ключ к добру.

— Терпение? Терпение — ключ к добру? Спору нет, бий, терпение и выдержка вещи хорошие, но всему есть

предел. Жизнь человеческая коротка, как бы не пришлось нам терпеть слишком долго! Как бы не открыть нам ключом терпения не добро, а зло и горе!

Кочевники, веками передававшие из уст в уста — от деда к внуку, от отца к сыну — свои обычаи и законы, свою историю, свой дух, знали цену острому и меткому слову. Взбудораженным пчелиным ульем загудела сходка. Советник же в молчаливом изумлении воззрился на батыра и невольно им залюбовался — и крепкой, словно из меди литой, фигурой, и горячим, умным взглядом, и смелой, решительной повадкой. «Всемогущий создатель, ты своей волей и колючку превращаешь в розу. Погляди, каков этот молодец! Не пустая тыква у него на плечах!» — думал старик.

А народ все волновался. Самые спорые уже бежали к лошадям. Ну, можно сказать, попал горящий уголь на подол, хватай его скорей и гаси — хоть руки сожги, не то поздно будет!

Забеспокоился Абиль-бий, подхватились, на него глядя, со своих мест и аксакалы, кинулись останавливать ретивых.

— Погодите, успокойтесь!

— Разве это только ваша беда? Слезайте с коней! Не делайте глупостей, посоветуемся вначале...

И снова пошли разговоры, речи, споры. Старый советник дремать дремал, а уговорить себя не давал, хитрый дьявол. Люди чувствовали за его вялым спокойствием уверенность и силу, и это пугало их. Вечером все разошлись, и на сей раз ни о чем путном не договорившись...

...Абиль-бий сидел у себя в юрте и молча глядел на огонь. Надетая в один рукав шуба сползла с другого плеча, но бий этого, казалось, не замечал. Старый советник отдыхал,— он тоже устал за день и теперь лежал головою на пуховой большой подушке, подсунув сложенные руки под щеку. Глаза его были открыты, и в них светились сейчас страх и беспокойство. Днем, когда разбушевалась сходка в ответ на мятежные слова Бекназара, советник не дрогнул, не выдал ничем своего смятения, но страх до сих пор сжимал его сердце.

— Бий,— начал он негромко.— Народ ваш и заботы народные, стало быть, тоже ложатся на ваши плечи. Почтенный сардар Абдурахман, да возвеличит его бог, хорошо думает о вас. Приободритесь, бий! Орда никогда

не забудет вашей верной службы. Если не вы, то кто же обуздает эту дикую толпу? Именно вам и доверяет орда привести дело к благополучному исходу.

— Провидец! Возьми в руку камень — ты не сразу почувствуешь, как он тверд. Для этого надо крепко сжать камень, тогда узнаешь, тяжел ли он, тверд ли. Так и народ: чем ты строже с ним, тем больше он тебя ненавидит, тем больше сопротивляется твоему нажиму! Подумать только, что весь этот раздор из-за смерти трижды ничтожного Домбу! Что из-за него ваш повелитель ссорит меня с народом! Да кто он такой, сам Кудаяр-то? — Абиль-бий с раздражением натянул на плечо сползшую шубу.— Разве его дед Хаджи был властителем? Нет, он всю жизнь кочевал в горах. Разве его потомки получили хоть кость обглоданную от потомков Нарбото-бия? А? Ведь это мы вернули корону, захваченную Насруллой-батыр-ханом, мы возложили ее на голову его отца Шералы. Разве я лгу?

— Все правда, бий...

Абиль-бий ударил о землю кулаком.

— Я всячески стараюсь возвысить твоего сопливого бабника в глазах простолюдинов, а он думает, что я это делаю из страха перед ним! Я забочусь лишь о том, чтобы в юрте, поставленной славным Нарбото, царили благополучие и единство... Если в горах разгорится пожар, я потушу его. А если я сам разведу огонь, кто потушит? Кто?

Разговор теперь шел в открытую, и старый советник беззвучно рассмеялся, показывая голые десны.

— Твои племянники добра еще никому не сделали, бий. Мы печемся о благе государства. Мы с тобой, Абиль-мирза, твердим «его величество» да «его величество», а кто его величеством-то сделал? Мы же... Мы опора золотого трона, мы его четыре ножки. Подломись хоть одна — и трон перевернется, а тот, кто сидит на нем, свалится и нос себе разобьет...

И старые хитрецы довольно заулыбались друг другу...

...Мадыл между тем места себе не находил. Сколько горя принесло людям убийство Домбу! Мадыла мучила совесть, он не ел, не спал и все думал, думал... Дернула его нелегкая пойти на такое дело! Целый род обложен вирой за смерть Домбу. Что же делать? Пойти и сознаться? Однажды в сумерках он поднялся и пошел, сам

не зная куда. Какая-то внутренняя сила толкала его, вела к аилу Абиль-бия. Он подошел к окраине аила; спокойствие и равнодушие ко всему на свете охватили его, он обессиленно опустился на холодную, жесткую от вечернего инея траву.

Луна белая, как молоко. Безмятежный свет заливает уснувшую землю, в мирном сне застыли холмы и горы. Снежные вершины сияют в лунных лучах и, кажется, тихо уплывают в прозрачную синеву небесного моря... Пролетела бесшумная сова. Порыв ветра донес конское ржание,— на холмах, должно быть, дрались табунные жеребцы. Снова все стихло, только пел неподалеку, у источника под яром, свою странную — то веселую, то печальную — песню одинокий козодой, вестник осени, да лаял размеренно-лениво чей-то пес. И снова навалилась на Мадыла тоска.

Абиль-бий со своим гостем в это время прогуливались; ходили не спеша, глядели на небо, разделенное надвое светлой полосой Млечного Пути. Вдруг залились визгливым лаем аильские собаки,— видно, кто-то шел мимо юрт. Вскоре Абиль и советник увидали двоих. Одного Абиль узнал сразу,— это был его джигит, а второй...

— Кто это там? Кто бродит на ночь глядя?

— Брат Сарыбая-соколятника...

Абиль-бий вздрогнул.

— Мадыл? — спросил он голосом злым и испуганным.— Ты откуда взялся?

Вместо ответа Мадыл повалился Абиль-бию в ноги, зарыдал. Старый советник смотрел на Мадыла с тревогой и подозрением.

— Кто это?

— А, бедняк один наш. Вы, почтеннейший, не утруждайте себя, заходите в юрту, я тут пока что с ним разберусь.

Советник ушел. Абиль-бий отвел Мадыла подальше от юрты, резко притянул к себе и, глядя ему прямо в глаза,— он знал, что так лучше разговаривать с тем, кого нужно подчинить своей воле,— сказал:

— Ну? Что случилось, слепец? Что? Разболтал?

— Милостивый бий...

— Пропади ты со своей глупостью! В ноги еще валится! Стой прямо, сын греха! Говори, кому разболтал?

— Никому...

— Проклятый...

— Кому я могу сказать, кроме вас? — Мадыл немного оправился.— Никому я не разболтал. Бий, милостивый бий, возьмите меня и выдайте, измучился я. Если бы я знал, сколько горя принесу людям... Выдайте меня, пусть я один погибну...

— Собачьей смертью умереть бы тебе, дурак! Что ты понимаешь, дурья голова? Ну, выдашь ты себя, скажешь, что ты убил... Думаешь, они казнят тебя и на том успокоятся? Они уничтожат всех нойгутов, сожгут их юрты и пепел по ветру пустят, малые дети станут их добычей! Уж не думаешь ли ты одной своей головой выкупить кровь Домбу? — Абиль-бий рассмеялся.— Нет, дядя хана и ты — не равный обмен! Молчи, молчи и молчи, коли сделал дело!

— Если бы я знал, господи! Горе мне, горе... Позор мне!

— Молчи! — цыкнул Абиль-бий.— Уж не хочешь ли ты сказать, что на преступление тебя толкнул Абиль?

— Нет, нет... я никогда не скажу такого...

Абиль-бий постоял, подумал. Сказал мягче, спокойнее:

— Опомнись. Никто не думал, что так дело обернется. Я уважаю твоего брата Сарыбая. Он хороший человек. Говорят, дочка у него есть?

Мадыл закивал:

— Да, да, единственная.

— Сколько ей?

— Пятнадцатый год.

— Гм, невеста уже...— Абиль хотел было еще что-то прибавить, но удержался и только похлопал Мадыла по плечу.— Возьми себя в руки. Забудь обо всем, кроме благополучия несчастных нойгутов.

Он ушел, а Мадыл, не в силах двинуться с места, долго еще стоял, сгорбившись, похожий в призрачном лунном свете на серый, корявый пень...

Наутро Абиль и советник пришли на сходку с видом успокоенным и довольным. Народу собралось много.

— Люди! — начал Абиль-бий громко и торжественно.— Без воли божьей и муравей не погибнет. Видно, бог так повелел, что нашего Домбу убили здесь, у нас. Хан гневается на нас за это. Надо нам поскорее уладить дело...

— Так говори, как его уладить, бий, чтобы нам по силам было.

— Вот-вот. Как говорится, дай бог, чтобы вол не подох и арба осталась цела. Мы почитаем нашего ханзаду, но не можем не сказать, что виру за своего дядюшку он назначил неслыханную — тысячу коней, тысячу золотых монет! Невеликодушно это, не подобает сану мирзы!

— Насилие!

Абиль-бий метнул в ту сторону, откуда донесся возглас, быстрый взгляд и продолжал:

— А теперь подумайте вот о чем: наше пустое упрямство, наше нежелание пойти ханзаде навстречу нам тоже не к чести. Мы нарушаем обычаи наши. Нрав девицы известен ее отцу с матерью, а положение наших родичей хорошо известно мне. Мы должны дать согласие, коль требует его ханзада. Пусть будет тысяча лошадей, кованых и оседланных, пусть будет тысяча золотых монет.

Твердое слово Абиля ошеломило толпу. Никто не возражал, и сходка, только что волнуемая чувством протеста, упорствующая, возбужденная, стихла, как перегороженный плотиной поток. Старый советник был доволен,— неожиданно быстрым движением кинул он себе за пазуху неизменные четки и поднялся. Дело о вире было закончено.

Где власть — там и насилие. Горцы-кочевники на сей раз крепко почувствовали на себе справедливость такой истины. Лошадей набрать было не так уж трудно, а вот золото, которого многие и в глаза не видали... Скоро потянулись по дорогам на базары вереницы лошадей, навьюченных скарбом поценнее,— пестротканными коврами, расшитыми кошмами. У каждого каравана был свой глава, с каждым караваном ехал какой-нибудь признанный краснобай и острослов, который рассказывал либо пел о том, какая беда постигла род, и призывал добрых людей помочь в этой беде. И горожане пришли на помощь: раскупали нарасхват нужное и ненужное, развязывали поясные платки, извлекали заветные монеты.

Скоро была собрана вира. Коней согнали к холму, на котором собиралась сходка; пыль столбом подымалась к небу от топота сотен копыт. Оголтелые сипаи носились от табуна к табуну, меняли своих коней на

пригнанных, тут же устраивали скачки и, наконец, угомонившись, погнали коней прочь. Кочевники собрались на холме и молча смотрели, как все дальше и дальше от родных мест уходит тысячеголовый табун.

— Грабители!

Кто-то в отчаянии повалился наземь. Люди дрогнули, но никто не двинулся с места, лишь гневом загорелись глаза.

Возле сторожевого камня стояли Абиль-бий, Насриддин-бек, старый советник и несколько аксакалов. Бекназар и еще пятеро джигитов подъехали к ним верхами сквозь расступившуюся толпу.

— Возьми, Насриддин-бек, глядишь и пригодится какую дыру залатать!

С этими словами Бекназар, не сходя с коня, бросил перед Насриддином увесистый мешочек с монетами. Глухо звякнув, упал мешочек на землю, а Насриддин-бек с советником глядели на него жадными глазами.

Бекназар уехал не оборачиваясь; уехал, охваченный жаждой мести,— эх, довелось бы встретиться на узкой дорожке!

Вира была теперь полностью уплачена. Люди начали расходиться.

— Аллау акбар! Вира уплачена! Конец раздорам, салават!

Салават — это и значит, что нет больше места ссорам. Кто после этого затеет ссору, того осудит шариат, у того пища осквернена, с тем жену должно развести. Вот почему расходились люди с холма с чувством облегчения, с надеждой на то, что испытаниям действительно пришел конец.

...Угрюмый сидел Мадыл. Рядом с ним лежала камча; напротив него — Суюмкан с глазами, полными тоски и горя. Мадыл не смел голову поднять, а из тех, кто еще был в юрте, никто не решался произнести слово ободрения. Молчал и Сарыбай, которому Мадыл рассказал обо всем.

— Не отдам! — скорее простонала, чем выговорила Суюмкан и разрыдалась, как ребенок.

Посланный Абиль-бия привез с собою не что-нибудь, а камчу — в знак того, что худо придется нойгутам, если не выполнят они повеления.

— Жалея девушку, вы навлечете на свои головы большую беду,— заговорил старик, присланный Абильбием в качестве посредника.— Подумайте хорошенько. Бий знает причину, знает ее и Мадыл. Бий уверен, что вы исполните его волю. Вот лежит перед вами его камча, и если вы ее не знаете, то Мадыл знает.

— Не отдам...— рыдала Суюмкан.

— Не плачь, мать девушки,— успокаивал ее посредник.— Не в рабство твою дочку продают, не делают ее призом на байге. Ее хотят с почетом отправить в орду, чтобы ткала она там ковры для хана. О чем же плакать?

«Ткать ковры для хана»,— так говорилось, когда юных красивых девушек уводили в ханский гарем. Все знали, что кроется за этими словами, знала и Суюмкан и, поняв, какая тугая петля захлестнула ее дочку, зарыдала еще громче. Никто не посмел поднять голос в защиту несчастной девушки, в защиту ее матери. И это казалось Суюмкан страшнее всего.

Кундуз тем временем, набрав воды, возвращалась от родника домой. Женщины молча смотрели, как она идет к своей юрте,— они уже знали, что ждет девушку. Кундуз поставила ведро на землю возле юрты и с удивлением глядела на сочувствующие, жалостные лица окруживших ее женщин.

— Бедная...— всхлипнула одна.

Кундуз ничего не могла понять, но ей стало страшно. Она вошла в юрту, увидела плачущую мать, увидела виноватые лица мужчин-нойгутов.

— Мама! — кинулась девушка к Суюмкан, а та прижала дочку к себе крепко, отчаянно.

— Не отдам! Убейте меня, тогда берите! Живая не расстанусь с ней! Жестокие, бессердечные...

И снова никто не посмел утешить ее, никто не пришел на помощь.

— Выхода нет,— раздался слабый голос Сарыбая.— Отдадим дочку, чтобы не погибать всем нойгутам.

Он сказал это и согнулся, почти приник к земле, придавленный горем...

Старик посредник решил было уехать ни с чем: ему было жаль и девушку, и родителей. Может, смилуется Абиль-бий?.. Женщины благодарили его, благословляли Кундуз, поздравляли Суюмкан с избавлением дочери от тяжкой доли. Но не успел еще старик собраться, как

в аил к нойгутам прибыл посланный Абилем Карачал с пятью молодцами и женщиной, которая вела в поводу кобылицу под богато разукрашенным седлом.

— Вы почему не выполняете приказ бия? — с ходу набросился на нойгутов Карачал.— Почему не собрали девушку? Чего вы носы повесили и любуетесь на девичьи слезы? А ну, живей, дело лучше, чем раздумье!

Суюмкан прятала Кундуз в ашкане и не отпускала от себя. Яростно бросилась она на вошедших джигитов, кусала и царапала их, страшная в своем горе, растрепанная, в изорванном платье. Джигиты отступились от нее, но силач Карачал с размаху ударил женщину по лицу, и она упала, как подкошенная. Тогда из ашканы выбежала Кундуз, припала к матери.

— Мама! Мама! — исступленно кричала она.— Не троньте, не бейте ее, я поеду, поеду, поеду!

Кундуз вывели, женщина, приведшая кобылицу, уговаривая, приговаривая, усадила девушку в седло.

— Не бойся, миленькая, не бойся! Поедем к дяде Абилю на той, побудешь там и вернешься, не бойся! Я сама поеду с тобой.

Женщины плакали, стоя поодаль. В юрте хрипела и билась под ударами кулаков злосчастная Суюмкан.

— Скажите им, чтобы не били маму. Я ведь еду, я поеду, только не бейте маму! — кричала Кундуз, а ловкие женские руки тем временем поправляли на ней красный платок, прихорашивали девушку. Едва Кундуз усадили в седло, отпустили и Суюмкан. Мать выбежала из юрты почти голая, кинулась вслед за теми, кто увозил ее дочь, упала, снова вскочила и, протягивая к небу бессильные руки, закричала, теряя разум:

— Не отдам! Не отдам! Кундуз! Беги-и! Волки гонятся за тобой, беги-и-и...

Она сама побежала вверх по горному склону, и гулкое эхо долго повторяло ее вопли, уже не похожие на человеческий крик.

Насриддин-бек уезжал на следующий день. Абильбий сам вручил ему прекрасную девушку, закутанную в тонкую кашгарскую шаль. А в горах до самой ночи слышали люди, как кричит «беги-и!» безумная от горя мать.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Лето 1873 года...

Снова неспокойно в горах. Снова в горах смута. У прожженных хитрецов из орды ушки, как говорится, на макушке,— они исподтишка следят друг за другом, забеспокоились, засуетились, словно крысы перед наводнением.

Кудаяр-хан временами впадает в ярость: «Разорю! Спалю!..» Но вспышка быстро проходит, и тогда у хана дрожат руки, страх лишает его возможности рассуждать, он делается без меры подозрителен и, охваченный непреодолимой беспомощностью, бормочет: «Воры все, предатели, дармоеды!» Что делать, где искать выход? Молчат советники, самим молчанием своим перекладывая всю ответственность на его плечи. Что же делать?

Каждый день приносит новые известия. Саранчи-пансат из Тюре-Коргона вместе с пятью сотнями своих сарбазов перешел на сторону бунтовщиков. Разгромлены бек Чартака, дядя хана по матери Кедейбай и бек Намангана Шамило. Весь Наманганский вилайет находится во власти повстанцев.

Кудаяр созвал диван. Обсуждали одно — как быть? Заговорили — не в первый уже раз — о том, что надо обратиться за помощью к наместнику. Великий везир Калназар-парваначи возражал. Обращение к генералу фон Кауфману неизбежно повлечет за собой зависимость от него. Полную зависимость. Кудаяр-хану было все равно. Остался бы за ним его дворец, гарем да отцовский трон, а под чьим истинным владычеством окажется народ, ему дела нет. Успокоить бы, усмирить непокорных, а там, с божьей помощью, можно как-нибудь избавиться от навязанных условий. Вот на что надеялся в глубине души Кудаяр-хан... Абдурахман-абтабачи[1] хорошо понимал тайные мысли этого слабого душой и телом, истощенного человека, который после ночи, проведенной в гареме, еле передвигал ноги...

---

[1] Абтабачи — придворный титул. Дословно: «тот, кто подает хану воду».

Нынче Кудаяр-хан склонялся к решению просить военной помощи у наместника.

— Повелитель, — заговорил Абдурахман-абтабачи негромко и осторожно.— Повелитель, неужели мы сами не в силах справиться со смутой?

Кудаяр-хан взвился:

— Сами? Как?

Абдурахман, не моргнув глазом, ждал, пока уляжется гнев хана.

— Сами справимся? А он уже взял! Он взял Наманган, этот бродяга Болот! — кричал Кудаяр-хан, почти бегом бегая по диванхане.

Никто не произносил ни слова, все опустили глаза. Хан, задыхаясь, нервно потирал руки, а в голове змеились подозрения: «Что он хотел этим сказать? Что имел в виду этот сын волка? Может, кто-то научил его, подговорил отомстить за отца?..» Кудаяр искоса глянул на Абдурахмана, своего сверстника, товарища детских игр, доверенного друга...

— Ладно...— выдохнул он.— Зови Науман-пансата.

Науман-пансат тотчас явился. Он был из приближенных к повелителю военачальников — исполнитель тайных приказов, готовый, как сказано в пословице, если велят принести шапку, доставить ее вместе с головой.

— Слушаю, повелитель...— Прижав обе руки к сердцу, Науман склонился в низком поклоне.

— Настала пора, пансат, попробовать, остер ли твой меч.

Науман резко выпрямился. Высокий, темнолицый, с короткой черной и кучерявой бородой. Глаза навыкате.

— Я готов, повелитель! На чьей голове мне испытать мой меч?

— Приказываем тебе, Науман-пансат, взять воинов, сколько потребно, и примерно наказать тех, кто повинен в смертном грехе неповиновения перед богом и перед ханом — карабагышей, катаев, кутлуксеитов, найманов, курама! [1] Наказать и заставить их вновь покориться нашему священному трону.

— Ваша воля — воля божья, повелитель!

Диван поддержал волю хана и принял решение отправить в горы Науман-пансата и пятьсот сипаев.

---

[1] Кочевые узбекские племена.

Два войска встретились у Ханабада.

Науман был весьма осторожен и предусмотрителен. Прежде всего он разузнал, каково количество противников, что у них за военачальники, какое оружие, откуда может прийти к ним помощь и куда они могут отступить, если придется. Он приказал осмотреть все кыштаки, которые попадались на его пути, навести в них порядок. И только после этого выбрал он подходящее для сражения место, две сотни сипаев оставил в укрытии, третью сотню выслал вперед для нападения. Еще две сотни прикрывали одна правое, другая — левое крыло.

...Исхак поднялся на гребень увала. Собрав поводья игреневого аргамака, наблюдал он за расположением войска Наумана. Исхак был чернобородый и черноусый, чуть рябоватый джигит с орлиным взглядом суровых глаз, с крепко сжатыми губами большого рта. Возле него находились еще двое — командующий правым крылом Момун и командующий левым крылом Саранчи. Войско выстроилось поодаль, разделенное на два отряда.

— В битве медлить нельзя...

Оба саркера-военачальника встрепенулись. Исхак взмахнул левой рукой. И тотчас Саранчи послал коня вперед, выкликая боевой клич:

— А-а, поддержи нас, покровитель воинов Шаймерден! Бей! Бей!

Он размахивал обнаженным мечом. И ринулись в битву воины, загудела от конского топота земля, разноголосый крик несущихся на врага повстанцев сливался в могучий рев. Едва отряд Саранчи схлестнулся с противником, двинул волну своих пяти сотен и Момун.

Жестокое испытание — эта схватка. У Исхака лицо то бледнело, то краснело, он следил за сражением, то и дело привставая в стременах, и часто не мог сдержать нетерпеливого движения руки.

Науман не спешил. Первые волны нападающих встречены были в сабельной стычке, затем он приказал открыть ружейный огонь; он уверенно вел сражение, умело оберегал своих воинов от оружия повстанцев. А те, войдя в раж, то и дело совершали ошибки. Науман своих сипаев попусту не гонял и не будоражил, по мере надобности направлял их вперед, либо заставлял отступить; нападающих разделяли и окружали, истребляя по частям. Редели и ряды наумановцев, но меньше,

Покровитель воинов Шаймерден поддержал тех, кто был лучше вооружен и более искушен в воинском искусстве.

Сражение закончилось к вечеру. Исхак потерял в нем триста лучших воинов Саранчи-пансата. Что же делать дальше? Упорствовать? Можно, конечно, добиться того, что все сипаи Наумана, все до одного, будут уничтожены. Но какой ценой? Разве здесь все войско орды, все ее воины? Он лишится основных своих сил, а восстановить их будет нелегко. Ночью Исхак отступил к горам, в сторону Ала-Буки.

Остановившись в селении Ала-Бука, Исхак созвал совет. На совете этом никто не торопился высказаться; саркеры сидели тихо, и каждый думал о своем. Задумчив был и сам Исхак.

— Ну, батыры,— начал он наконец,— давайте потолкуем, как нам быть и что делать дальше.

Собравшиеся задвигались, но, поскольку Исхак не обращался ни к кому в особенности, каждый выжидал, что скажут другие. Первым решился Момун.

— Бек,— начал он и, запнувшись на мгновение, продолжал: — Думается мне, что мы плохо подготовились к борьбе...

Исхак кивнул.

— Кто хочет утаить плохое, называя его хорошим, обманывает сам себя. Кто не боится признаваться в своих ошибках — в конце концов исправляет их.

Все слушали внимательно, настороженно.

— Верно, вчерашнее сражение показало, что к борьбе мы подготовились плохо. Оно было жестоким испытанием, проверкой наших сил. И нам теперь надо исправлять то, что плохо у нас, надо пополнять свои силы и готовиться к настоящей борьбе! — закончил Исхак уверенно.

Камбар-саркер сказал негромко:

— Если наше положение таково, как вы сказали, бек, что мы можем?

Исхак взглянул на него в упор. Не повышая голоса, не изменившись в лице и ничем иным не выдавая своего возмущения, ответил:

— Ну что ж, Камбар, я вижу, у тебя появились сомнения. Ты волен сам решать. Забирай своих джигитов

и возвращайся к себе в аил, никто тебя удерживать силой не станет.

Все обернулись и посмотрели на Камбара. Что он скажет? Но тот, видно, не уверен был, не знал, как лучше поступить, и сидел, сдвинув брови. Исхак прикусил губу, заметнее выступили рябины на побледневшем лице.

— Встань,— сказал он, и в голосе прозвучала угроза.— Нам не нужен тот, кто в хорошие времена друг, а чуть завидел трудности, готов предать нас.

Камбар-саркер поднялся и, волоча по земле плеть, вышел из юрты.

Исхак обвел взглядом остальных.

— Ну, кто еще хочет уйти?

Вначале никто не ответил, не пошевелился, но исподтишка все наблюдали друг за другом. Затем встали четверо сотников, сидевших подле Камбара, и тоже вышли. Их никто не останавливал. Стояла мертвая тишина. Снова заговорил Исхак:

— Вы убедились, что воины орды хорошо подготовлены к сражениям, хорошо вооружены, а на нашей стороне пока один перевес — то, что боремся мы за правое дело. Поняли вы, надеюсь я, и другое: сколько бы нас ни было и какое бы святое дело мы ни отстаивали, не спасет это нас от пуль. До тех пор, пока мы не овладеем, как должно, воинским искусством, не вооружимся как следует, не очистим наши ряды от сомневающихся, слабых духом, подобных Камбару, мы не добьемся успеха.

— Ты наш глава, тебе виднее,— подался вперед Момун.— Направь нас своим советом.

— Есть ли у нас другой путь, кроме борьбы? Как же нам следует продолжать ее? — послышались и другие голоса.

Исхак тряхнул головой.

— Прежде всего — верьте в себя. Пусть уходят от нас те, кто геройствует только в своей юрте, не держите их, после их ухода мы станем не слабее, а сильней. Мы отступим в Чаткал. Мы соберем оружейников и будем готовить оружие, лить пули, делать порох. Надо золотом раздобыться, надо послать людей в Сары-Узен-Чу, просить у русских оружия, помощи. А потом уже будем народ подымать...

Сотники, верные народному делу, ответили на его речь согласным говором. Слово сказано. Совет закончен,

Оставив в селении Ала-Бука Эр-Эшима с его джигитами для зашиты мирных жителей, Исхак ушел в Чаткал.

В середине прошлого столетия Англия была самой сильной колониальной державой мира; полностью овладев Индией, она подчинила своему влиянию Афганистан, Иран, Турцию, но возможность обогащаться за счет этих народов не удовлетворяла, а еще более разжигала ее аппетиты. Она обратила взгляд свой на Туркестан и Семиречье — источники дешевого сырья, огромные рынки сбыта, да к тому же еще чрезвычайно удобный плацдарм на случай удара по России с Востока. Но Россия проникла в Туркестан раньше Англии, овладела выгодным рынком, укрепила себя здесь на случай военного нападения и сама посматривала теперь в сторону Индии.

Именно в это время среднеазиатские народы, страдавшие от гнета и притеснений местных властителей, стали искать защиты у русских, стремились добровольно войти в состав России. Александр II, император всероссийский, в 1871 году дал своим генералам распоряжение: «Ходатайство кокандцев подчиниться России, если таковое последует, необходимо отклонить». На то были три причины. Прежде всего, дипломаты королевы Виктории, умело разжигая страсти вокруг «угрозы России Индостану», чинили наивозможные препятствия нормальным отношениям России со странами Европы. Император всероссийский, не желая излишнего обострения отношений с Англией ни в Европе, ни на Востоке, вынужден был до поры до времени приостановить «прием прошений». Во-вторых, мелкие ханы, которые, как собаки, грызлись между собой, Российской империи не только не чинили никаких препятствий, но, наоборот, всячески стремились угодить ей. И в-третьих, Россия хотела укрепить свои позиции на огромной колониальной территории, где пока что, кроме крепости Капал, Аральского форта да разбросанных повсеместно военных гарнизонов, ничего не было.

Царское правительство пожаловало Кудаяр-хану титул «высочества» и наградило его орденом Станислава первой степени с бриллиантовой звездой. Ни титул, ни орден не были особенно нужны Кудаяру, он хотел воен-

ной помощи для подавления недовольства подвластных ему народов. Уверившись в том, что помощь эта будет ему губернатором оказана, Кудаяр-хан решился повести беспощадную борьбу с непокорными.

Науман-пансат, хвалимый и всячески поощряемый повелителем, не знал теперь над собой удержу. Он приказал уничтожить все кыштаки[1], не разбираясь, поддерживали их жители повстанцев или нет. Оставляя на разграбление все свое хозяйство, народ бежал от угрозы полного истребления,— кто верхом, кто пешком, люди двинулись к горам. Разорив Чартак, Шоркен, Беш-Коргон, Азирети-шаа, Мамай, Нанай, достиг Науман Кок-Джара и Ала-Буки, которые расположены были в предгорье.

Ни души. Кыштык был пуст и безмолвен, как заброшенное кладбище. Науман не рискнул сам отправиться в горы, грозные, затянутые туманом. Послал на разведку отряд в двадцать пять сипаев.

Безлюдно в горах. И мрачно. Шумит покрытая пеной река Чанач, треплет опустившиеся до самой воды длинные ветви ив. Изредка пролетит над рекой кулик. Воздух прохладен. Высоко в небе спешат куда-то легкие, похожие на тонкую шерсть белого верблюжонка, облака. И кружит, кружит над горами зоркий беркут.

Сипаи ехали медленно, с опаской. Аила поблизости не видать. Привычные к ровной местности кони шли с трудом, спотыкались, часто вздергивали головами, так что пена хлопьями летела с удил. Сипаи не смели углубляться в горы в сторону от тропы; остановились на поляне покормить коней. Внизу река, над головами почти нависают недоступные скалы, вокруг поляны густой стеной стоит темный лес.

На поляне пасся бычок-бедолага с грязной, свалявшейся на подколенках шерстью,— видно, отстал во время перекочевки. Его тут же обратали, прирезали. Развели большой костер. Здоровенный сутуловатый сипай властью старшего забрал себе обе почки, насадил на вертел и принялся поджаривать над огнем. Почки на вертеле исходили соком, а сипай, глядя на них,— слюной. Едва жаркое поспело, он со страстью вонзил челюсти в горячее мясо.

[1] Кыштак — поселение, исторически — зимовка.

— Ва-ах! — только и успел сказать сипай, упиваясь первым куском...

Грянул выстрел. Старшой ничком повалился в костер. Еще выстрел — упал еще один. Поднялась суматоха, сипаи прятались друг за друга, сбились в кучу, зачем-то прикрывая головы руками. Спустя некоторое время один из них решился поднять голову и осмотреться. Никого не видно и ничего не слышно, кроме воплей самих сипаев. Стрелял, должно быть, какой-то повста-

нец-одиночка. Выстрелил и убежал. Набравшись мужества, сипай прикрикнул на товарищей:

— Ти-хо! Трусы паршивые!

Сипаи примолкли, но тотчас новый выстрел свалил того, кто было расхрабрился.

— Сдаемся! Сдаемся! — завопили вразнобой сипаи.

Из-за невысоких зарослей горного можжевельника показался чей-то тебетей. Из кустов вышел Эр-Эшим. Обе полы подвернуты, на ногах — сыромятные чокои, у которых подошва не скользит, на поясе колчан и короткий нож, в руке — кремневое ружье. Фитиль ружья еще дымился. Эшим подошел совсем близко, пристально глядя на всех широко раскрытыми глазами. Кто-то из сипаев с криком: «Он один, бейте его!» — рванулся к нему, но тут же повалился наземь почти одновременно с выстрелом, раздавшимся из зарослей.

Сипаи тряслись от страха.

— Сдаемся... Пощади, если ты сын мусульманина...

— Жить хотите? Бросайте на землю все оружие. Живей! Встаньте вон там...

Ружья и до этого лежали на земле. Отвязав сабли, не смея разогнуть согнутые спины, сипаи встали, где было велено. Эр-Эшим концом ружейного ствола подтолкнул двоих — большеглазых, с коротко подстриженными бородами, отделил их от всех прочих. Едва они отошли в сторону, грянули два выстрела, и оба упали.

Когда люди из селений на равнине ушли, в селениях остались давно уже там жившие и хорошо говорившие на тюркском наречии персы; они остались, чтобы присвоить себе земли ушедших и нажиться на междоусобице. Те двое, которых застрелили по знаку Эшима, были из их числа и исполняли обязанности проводников при сипаях. Теперь сипаи, чувствуя, что их жизнь зависит от одного движения ствола кремневого ружья, только молча смотрели на трупы. Эр-Эшим подозвал одного из сипаев:

— Поди сюда!

Сипая била дрожь.

— Пощади, брат... Пощади, у меня молодая жена...

Эр-Эшим усмехнулся.

— Ладно,— сказал Эр-Эшим,— жизнь дарует ся всем вам. Слышали? Уходите отсюда, не оглядываясь. Идите и скажите вашему Науману — пусть не притесняет народ, который ему не подчиняется. Слышали?

Сипаи отвечали хором:

— Слышали, слышали, брат!

— Ну, а если слышали, убирайтесь!

Сипаи кинулись к своим коням, но их остановил окрик:

— Э-эй! Коней оставьте мне!

— Возьми, батыр, возьми...

Убежали сипаи. И снова тихо в горах. И мрачно. Немая угроза таится в ущельях, в невысоких, но густых зарослях можжевельника. И кружит, кружит в вышине зоркий беркут, как будто следит за каждым движением удаляющихся поспешно сипаев. Тихо в горах...

Давно — четыре года назад, в ту самую осень, когда народ выплатил виру за убийство дяди хана, круто повернулась судьба Эшима...

В тот вечер вода в реке негромко напевала свою песню; мерный шум ее успокаивал сердце, баюкал мирную ночь. Неплотное облачко затянуло светлый круг луны, стало сумрачно. Эшим, раскинув руки, лежал на чуть влажной от росы траве, Айзада сидела рядом, глядела на луну. Облако двигалось, и оттого казалось, что луна старается освободиться от него, как молодая красотка от скрывающего ее лицо платка. Эшим не чувствовал пронизывающей осенней сырости; его охватило ощущение отрешенности от всего на свете, и казалось ему, что он летит куда-то или плывет на теплых и ленивых волнах.

— Ты как ребенок... Ни о чем тебе заботы нет. Все бы тебе играть да радоваться, ночь ли, день... Все молодые забавы на уме.

Мягкий, ласковый голос Айзады. Мягкие, теплые руки легко касаются его лица. Эшим приподнялся, притянул к себе Айзаду и прижался лицом к ее груди.

— Что же мне делать? — тихо заговорил он и тут же начал целовать грудь и шею Айзады.— Что делать, любимая?

Женщина коротко рассмеялась.

— И он еще называет меня любимой...

Эшим поднял голову, пристально посмотрел в освещенное лунным светом лицо Айзады. В ее глазах застыл немой вопрос. Она провела рукой по своему животу, туго стянутому канаусовым платком.

— Что же, милый? Сколько я могу так ходить? И мне тяжело, и ему, еще не родившемуся, тоже...

— Надо идти к мулле, чтобы обвенчал нас...

Эшим решительно выпрямился.

— Достаточно ли этого, милый? А людям что мы скажем? — отвечала Айзада.— Что скажут люди нам, если наш несчастный ребенок родится через три месяца после венчанья? Чей, скажут, это ребенок?

Эшим встрепенулся.

— Разве ты встречалась еще с кем-нибудь, кроме меня? Разве это не мой ребенок?

Айзада снова рассмеялась.

— Дорогой ты мой, неразумный! Ребенка, который родится раньше положенного срока, называют незаконнорожденным ублюдком. Что проку в наших с тобой объяснениях, кто им захочет верить? Людям рот не заткнешь! И потом... жить, как муж и жена, до того, как мулла прочитал венчальную молитву, это грех перед обычаем и шариатом.

— Довольно того, что я знаю. Какое мне дело до шариата?

Айзада с тоской заломила руки.

— Хорошо, мы с тобой знаем, что это наш ребенок, что он дитя чистой и искренней любви. Но мы нарушили обычай, нарушили шариат, согрешили. И нашего ребенка станут называть плодом греха, незаконнорожденным. Легко ли ему будет слышать это с детских лет? Несчастным он станет...

Эшим не находил ответа. Лег ничком на землю, молчал. Потом поднял голову.

— Что же ты предлагаешь делать?

Айзада обняла его — крепко, отчаянно.

— Убежим... Убежим, сердце мое, с глаз долой и от злых языков подальше.

— Куда?

— Разве мало места в горах Алатау? Найдется и для нас уголок.

— Что ты говоришь? — Эшим сбросил руки Айзады со своих плеч.— Что ты? Куда я пойду от своего народа, от тех мест, где я родился?

Айзада сидела, понурившись, а Эшим смотрел на нее со страхом. Ему никогда в жизни не приходило в голову, что можно куда-то уйти из родных мест, жить на чужбине.

Долго сидели они молча, пока Айзада, наконец, справилась с собой, смирилась с мыслью о том, что мечтам ее не суждено сбыться.

— Дорогой мой. Ты вправе сам судить и решать. Тебе тяжело покинуть родной народ, уйти в чужие края, по которым не ступала нога твоих предков. Ты мужчина, сын своего племени! А я...— слезы душили Айзаду, она помолчала и продолжала еле слышно: — Я теперь как неприкаянная. Что делать, надо терпеть свою судьбу. Пойду, куда глаза глядят, где можно голову приклонить.

Она встала, еле шевеля губами, сказала:

— Прощай!..

Эшим потянулся к ней, взял за руку. Айзада не отнимала руку, не уходила, стояла, склонившись, возле Эшима. Он притянул ее к себе, обнимая, целуя. Айзада, вся в слезах, целовала его. И, уже ни о чем не думая, упали они на пожухлую осеннюю траву...

А река все пела свою песню, убаюкивая мирную ночь. И снова набежало облако на светлый круг луны...

Эшим приводил в порядок одежду. Айзада лежала и бездумно смотрела в небо, туда, где луна опять успела выбраться из облаков.

— Не могу я уйти...— сказал Эшим, опустив голову.

— Как знаешь. Я не уговариваю тебя, дорогой...— ответила Айзада, поднимаясь. Больше она не прибавила ни слова, ничем не выдала свою сердечную тоску. Поправила платье, камзол, платок и тихонько пошла прочь.

Эшим остался на месте. Он сидел, обхватив обеими руками колени, и думал, думал.

Вот донесся до него печальный голос Айзады, ее песня, в которой звучали слезы. Разливалась в прохладном воздухе поздней осени мелодия, полная тоски и грусти, разливалась, тонула в просторах безбрежной ночи, гасла и наконец исчезла...

На следующий день в сумерках Айзада, захватив с собой небольшой узелок, шла по берегу речки. Босая, с платком в руке. Шла, не останавливаясь, только время от времени утирая пот, бисером осыпавший лицо. Пусто вокруг. Айзаду пугал звук собственных шагов, но рядом с этим страхом жила в ней непреклонная решимость идти дальше, что бы ни встретилось на пути — хоть сама смерть. Женщина шла быстро.

Налетавший время от времени легкий ветерок приносил с собой негромкий шорох. И тогда Айзада, подобрав подол, ускоряла шаги. Она уходила от проклятой своей судьбы, не думая ни о новом счастье, ни о новой жизни, она уходила из тех мест, где суждено было ей терпеть несчастья и невзгоды, она рвалась вперед, сколько было сил.

Ветер снова донес до нее какой-то неясный шум. Айзада вздрогнула, ноги вдруг ослабели. Чувствуя, что по всему телу выступает холодный пот, женщина остановилась. Вроде бы донесся человеческий голос. Она прислушалась, но не услыхала ничего, кроме биения собственного сердца. Стояла, не в силах дух перевести. И вдруг над самой головой пролетела, жутко ухая, сова. Айзада съежилась, обеими руками обхватив голову. Поблизости что-то зашумело... Ветер. Он пронесся по высохшим зарослям бурьяна. Айзада решилась продолжать путь. И тут она в самом деле услыхала чей-то голос. Погоня!

— Ай-зада-а...

Крик доносился издалека. Айзада шагнула в бурьян. Нет ей ни в чем удачи, нет ей места хотя бы с ладонь величиной во всем огромном мире. Не помня себя, задыхаясь, повалилась она на землю и зажмурилась. Все ближе слышался перестук конских копыт.

— Айзада-а...

Айзада чувствовала, что вся трепещет, как вырвавшийся из когтей хищной птицы птенец горной куропатки. Сердце колотилось громко и часто. Кто ее ищет? Чей это голос? Она не могла угадать.

Всадник проехал мимо по дороге. Крик «Айза-а-ада!» доносился теперь слабее. И вдруг Айзада вскочила. Это же Эшим! Она больше ни о чем не думала, не могла себя удержать и кинулась вперед, ломая бурьян.

— Эши-и-им!

Она не слыхала собственного голоса. Бежала, не чувствуя земли под ногами, и звала со слезами:

— Эши-им!

— Айза-а-да-а...

Эхо звенело в долине.

Эшим повернул коня. Подъехав совсем близко, соскочил с седла, но не видел еще Айзаду.

— Где ты?

Он раскрыл объятия, и Айзада кинулась, припала

к нему. Не в состоянии выговорить ни слова, оба плакали, как дети.

— Уйдем, любимая! Уйдем, куда глаза глядят...— это были первые слова Эшима.

— Суженый мой,— еле выговорила Айзада.— Ты пришел за мной, пришел? Счастье мое...

Все еще всхлипывая, она пошла вперед, взяв Эшима за руку. Теперь перед ними двоими иной путь, чем тот, которым шла она нынче одна. Крепко сжимая в своей руке руку любимого, Айзада спешила уйти из этих мест, подальше от недобрых глаз и злых слов, спешила навстречу будущему. Эшим шел с нею, забыв о том, что ведет в поводу коня...

Эшим выбрал путь на запад, где, как он полагал, находился Ташкент. В первый день они с Айзадой, чтобы не попадаться людям на глаза, до вечера просидели в укромном месте и только ночью тронулись в дорогу. Двигались почти без отдыха, Айзада — на коне, Эшим — пешком. На пятый день Айзада, которой не приходилось так подолгу ездить верхом, чувствовала себя совсем разбитой, то и дело стонала. Они уже почти добрались до перевала.

Остановились на берегу речки. Пустили коня на траву. Отдохнули, но Айзада не могла подняться и после отдыха. «Живот!» — плакала она. Эшим растерялся. Не знал, что сказать, как утешить Айзаду, чем ей помочь.

— Что делать-то? Может, вернуться в людные места? — спрашивал он.

Айзада подняла на него полные страха глаза.

— А если нас узнают?

На это Эшим ничего не мог ответить. Совсем упавшие духом, двинулись они вперед — Айзада в седле, Эшим вел коня в поводу. Прошли совсем немного, как вдруг из распадка неподалеку послышался лай собаки. Эшим остановился, подумал и свернул в ту сторону, откуда доносился лай.

По мере того как они ближе подходили к жилью, пес лаял все решительней. Но человек, который сидел на глинобитной супе возле входа в потемневшую от времени юрту, негромко сказал: «Пошел!» — и пес тут же замолчал, с деланно равнодушным видом присматриваясь к чужим.

Эшим поздоровался, прижав обе руки к сердцу:

— Ассалам алейкум!

— А-алейкум ассалам! — нараспев откликнулся хозяин юрты.

Лицо у него было загорелое и краснощекое, глаза блестели по-молодому, хотя короткая бородка уже сильно поседела. Эшим не знал, что говорить дальше, и остановился, оглядываясь по сторонам. Хозяин юрты внимательно поглядел на усталое, бледное лицо еле державшейся в седле Айзады.

— Добро пожаловать...— сказал он и взглянул теперь на Эшима.— Что же ты стоишь, батыр? Помоги молодухе сойти с лошади.

Он повернулся к юрте.

— Эй, к нам гости прибыли...

Эшим помог Айзаде сойти с коня. Из юрты тем временем вышла женщина средних лет, черноглазая и чернобровая, осанистая. Темные волосы только начали седеть на висках. Она глянула на Эшима, потом на Айзаду, подошла к молодой женщине и взяла ее под руку.

— Ослабела, бедная...

Зашли в юрту. Больше никого там не оказалось. В очаге, потрескивая, горели можжевеловые ветки, казан бурно кипел, в нем варилось мясо. Хозяйка была приветлива, но без назойливости; ласково усадила Айзаду на место для гостей, но ближе к той части юрты, где обычно готовят и хранят посуду. Эшим присел у порога. Старик на это не сказал ни слова, не пригласил его перейти на почетное место. Пристально вглядывался Эшиму в лицо, как будто силился вспомнить, где его видел. Эшим чувствовал себя неловко: «А что, если он меня узнает?..» Хозяйка в сторонке о чем-то негромко расспрашивала Айзаду, сокрушенно качала головой.

Старик наконец задал вопрос.

— Ну? Откуда путь держишь, батыр? Поздней осенью через перевал...

Эшим от такого прямого вопроса растерялся и сказал первое, что пришло в голову.

— Из Таласа...

Старик недоверчиво прищурился.

— Кто приходит из Таласа, спускается через другой перевал,— заметил он негромко.— А ты, сынок, должно быть, из долины, со стороны Кызыл-Джара?

Эшим не отвечал, сидел вялый, вдруг ослабевший.

Хозяйка увела Айзаду из юрты. Вернулась спустя

некоторое время одна. Бросила взгляд на мужа, на Эшима и заговорила тихо:

— Жена твоя в положении, сынок.

Эшим встрепенулся, чувствуя, как сердце сжимается от тоскливого страха.

А женщина продолжала все так же тихо и мягко:

— На лошади растрясло ее. Дай бог, чтобы ничего дурного не случилось...

Эшим молчал и думал с тоской: «Из-за этого ребенка, из-за его счастья ушли мы, как бродяги, от своих...»

Хозяйка сняла с очага полный горячей воды чайник — должно быть, вода была нужна для Айзады,— и снова вышла за дверь.

— Сиди, сынок,— сказал старик.— Даст бог, все обойдется.

В юрте у радушных этих людей пробыли Эшим и Айзада два дня. Хозяева старались, чем могли, помочь им, уставшим от долгой дороги, во время которой и поесть-то не удавалось толком. Теперь старик и его жена не жалели для них угощения и ласки. Беглецы скоро обвыклись в гостеприимной юрте.

Зачем таиться от добросердечных людей? Эшим рассказал старику всю правду. Хозяин подумал-подумал, потом вышел из юрты совершить омовение, вернулся, опустился на колени.

— Ак-Эрке,— позвал он жену,— давай-ка совершим обряд. Что тут долго рассуждать, их уж сам бог соединил навеки. Иди сюда.

Эшим и Айзада переглянулись. Хозяйка откликнулась чистосердечно:

— Вот и хорошо!

Она налила в белую, расписанную синими цветами пиалу чистой воды, бросила на воду клочок белоснежного хлопка.

— Но погоди, батыр, не спеши, я пойду кликну соседей, ведь нужны свидетели, а?

— Оставь. Со стороны невесты ты будешь свидетелем, Ак-Эрке, а ему,— старик кивнул на Эшима,— я в свидетели сгожусь. Бисмиллахи рахмани рахим [1],— начал старик бормотать брачную молитву по-арабски. Повернулся к Эшиму.

---

[1] Начало мусульманской молитвы: «Именем бога милостивого, милосердного...»

— Эшим, сын Кудайберди, отдаешь ли ты себя в мире этом и в мире том дочери Джамгыра Айзаде?

Эшим покраснел, опустил голову и ответил:

— Отдаю...

Пробормотав еще несколько слов из молитвы, старик спросил Айзаду:

— А ты, Айзада, дочь Джамгыра, отдаешь ли себя в мире этом и в мире том Эшиму, сыну Кудайберди?

Айзада от смущения не могла говорить, сидела, полуприкрыв лицо платком. За нее поспешила ответить Ак-Эрке:

— Как же ей не отдать себя тому, с кем она бежала, позабыв все на свете? Отдает, конечно!

— Не-ет, нет! — старик покачал головой.— Пусть это и верно, только надо, чтобы она сама сказала...

— Отдаю,— твердо ответила Айзада.

Старик трижды повторил вопрос, и трижды она ответила утвердительно.

Старик прочитал еще одну суру из Корана, снова обратился к Эшиму:

— Эшим, сын Кудайберди, берешь ли ты в жены дочь Джамгыра Айзаду?

— Беру...

И когда Айзада, на этот раз уже не смущаясь, ответила на вопрос старика, что берет Эшима в мужья, обряд был завершен.

— Аминь,— произнес хозяин юрты.— Будьте честными, не замышляйте друг против друга дурное, да будут благословенны дети ваши и пища, которую вкушаете вы сами и которую предлагаете другим. Мы свидетели за вас в этом мире среди смертных и в мире загробном, перед лицом бога... Аллау акбар...

Старик протянул Эшиму пиалу с водой.

— Отпей этой воды, сынок, и пускай твоя жизнь и совесть будут чисты, как она.

Эшим принял пиалу, а старик продолжал:

— Ты теперь глава семьи, в твоих руках судьба другого человека, обращайся же со своей женой хорошо, не притесняй ее,— он передал затем пиалу Айзаде: — Ты, дитя мое, теперь в семье хозяйка, выполняй свои обязанности с терпением...

Айзада отхлебнула из пиалы. В глазах у молодой женщины стояли слезы.

— Пригубим и мы, Ак-Эрке, начни ты. Это священная вода, она связала судьбы двух людей...

Хозяева выпили по глотку, а остаток Ак-Эрке разбрызгала вокруг очага. Клочок хлопка она засунула в щель между кошмами, покрывающими юрту,— там обычно хранят разные мелочи.

— Да, сынок, такова любовь! — заговорил, усевшись поудобнее, хозяин юрты Султанмамыт.— Мы тоже были молодыми. Я свою суженую умыкнул у казахов. Отец у нее был богатый бай. Я на берега Сырдарьи прибыл по торговым делам, а моей Ак-Эрке было тогда пятнадцать, она цвела, как степной тюльпан. Я увидел ее и сердце потерял. Забыл и думать о своей торговле. Пришел в байскую юрту под видом безродного бродяги и, не спрашивая платы, целый год караулил табуны. О, плата мне была не нужна,— махнул рукой Султанмамыт.— Одна улыбка моей Ак-Эрке была для меня и богатством, и счастьем!

— Оседлал любимого коня, батыр мой? — слегка улыбнулась Ак-Эрке.

А старик только тряхнул головой и, блестя глазами, рассказывал о днях своей ушедшей молодости:

— Казахи — народ гордый и горячий. Сватов засылать я не смел. Не отдали бы мне девушку. Полагался я только на искреннюю любовь моей Ак-Эрке да на свое счастье. Когда договорились мы с ней, выбрал я в табуне пару лихих коней, тайком подготовил их к долгому пробегу. В назначенный день Ак-Эрке переоделась в платье джигита, и ускакали мы с ней — дай доброго пути, создатель! Целый месяц пробирался я к своим окольным путем, через Ташкент. А меня уже не чаяли и в живых видеть, справили по мне поминки... Так соединился я со своей любимой. И жили мы всегда душа в душу. Не голодали, и грешное тело было чем прикрыть,— на том и спасибо! Только вот детей бог не дал.

Ак-Эрке рукавом отерла слезы.

Наутро Эшим призадумался, как быть дальше. «Хозяевам за их доброту великое спасибо. Но можно ли злоупотреблять ею? Это не по совести. Им самим едва хватает, мы здесь в тягость... Пора прощаться».

Он сказал об этом хозяину. Тот был явно огорчен и долго сидел молча, ссутулившись.

— Хочешь, видно, найти такое место, где можно жить спокойно, сынок,— сказал он наконец.— Это по-

нятно, да только говорят, что беглецу тесен широкий мир. Ты поступай по своему разумению. Хочешь здесь остаться — оставайся, моя юрта станет твоей, я буду считать тебя своим сыном. А если хочешь искать счастья еще где-нибудь, я тебя не держу. Жене твоей коня дадим. Гора с горой не сходится, а люди всегда могут встретиться. Увидимся — отблагодаришь...

У Эшима от радости испарина выступила на лбу.

— Считайте меня своим сыном...

Старик вдруг заволновался, оживился, посветлел. Вскочил, начал звать жену. Она вошла и остановилась у двери. Старик посмотрел на нее испытующе, как будто еще сомневался, сказать или не сказать, и заговорил с трудом:

— Одному только богу известно, кто позаботится о тебе на старости лет — родной сын или приемный...

Ак-Эрке, повернув к мужу свое белое лицо, слушала внимательно, и видно было, что слова Султанмамыта доставляют ей безграничную радость.

— Ак-Эрке, погляди на желанного нашего единственного сына, которого бог послал нам после сорока лет ожидания...

— Что случилось, батыр мой?

— Ак-Эрке моя, я видел во сне, что на верхушку моей юрты опустился сизый сокол, а теперь мой сон сбылся. Я хочу прижать этого беглеца к своей груди, как сына, что ты на это скажешь, Ак-Эрке?..

Ак-Эрке растерялась и молча смотрела на мужа. Эшим поник. В юрте воцарилась тишина.

— Батыр мой...— начала Ак-Эрке.— Сердца наши бьются в лад, ты знаешь. И знаешь, сколько слез мы пролили из-за того, что нет у нас детей? И вот перед нами тот, кого ты хочешь считать сыном. Но ведь каждому коню — свой табун, каждому мужчине — свой народ. И еще говорят у нас: «Приемыша сноха прогоняет». Что мы скажем на это, батыр мой? Если какой-нибудь непутевый наш сородич назовет твоего сына пришлым бродягой? Разве не будет это больно и мне, и ему? Как же быть, батыр мой?

Старик не отвечал. Айзада стояла у порога и с отчаянием глядела на Эшима. А у Эшима гулко билось сердце. Он вспомнил отца, давно умершего, склонился к Султанмамыту и вдруг припал головой к его груди. Старик обнял Эшима.

— Отец...

Эшим поднял голову. Побледневший Султанмамыт еле слышно твердил:

— Я усыновил тебя, дитя мое, усыновил...

Ак-Эрке плакала:

— Я не родила тебя, но ты станешь мне сыном... Я не кормила тебя грудью, но я беру тебя в сыновья...

Она обнажила правую грудь, заставила Эшима, как велит в таких случаях обряд, прикоснуться губами к соску.

Султанмамыт, прежде чем сообщить сородичам о том, что нашел себе сына и невестку, принес благодарственную жертву. И только после этого созвал людей на той.

— Племя курама! — обратился он к собравшимся, указывая на Эшима.— Бог дал мне сына, я принял его в сердце свое. На том свете бог свидетель, на этом — ты, племя курама. Дорогой мой народ, сын мой — и твой сын. Не считайте его чужаком, примите, как родного...

Султанмамыт и Ак-Эрке прослезились, а люди племени курама дружными возгласами изъявляли свое согласие:

— Да будет так! Счастья твоему сыну, Султанмамыт. Пусть почитает тебя твой сын, пусть служит тебе твоя невестка.

Усыновление совершили по обряду, на Эшима надели новую одежду: сшитые руками Ак-Эрке желтые узорчатые шаровары и ярко-красный камзол. Обули его в нарядные зеленые юфтевые сапоги, дали высокую шапку, отороченную мехом выдры. Так одевались в племени курама. Эшим должен был со всеми по очереди обменяться рукопожатием. Он это сделал, соблюдая старшинство, но чувствовал себя как будто в чем-то виноватым перед всеми этими незнакомыми людьми.

Племя курама приняло к себе статного, широкогрудого, с орлиным взглядом джигита.

Так стал Эшим сыном простого человека Султанмамыта из племени курама. Его прозвали Эр-Эшим, то есть Эшим-богатырь. Когда народ поднялся против хана, он не захотел отсиживаться в укрытии и вместе с другими джигитами, своими новыми сородичами, ушел к Исхаку.

Науман-пансат выслушал переданные ему слова Эшима посмеиваясь, но злоба в нем при этом вспыхнула лютая. Тотчас велел сотнику, которого прозвали «Бесноватым», взять сотню отборных конных сипаев и пятерых проводников-персов.

Сотня выступила в поход. Бесноватый продвигался осторожно. Выслал проводников вперед, в ущелья не углублялся, вел сотню по открытой местности, по гребням горных увалов. Часто останавливался, высылал разведчиков и, только убедившись, что кругом безлюдно, продолжал продвижение. Дважды наткнулись на покинутые стойбища. Обитатели их давно откочевали. Попробовали идти по следам кочевки. Дорога привела к пропасти, через которую был перекинут раньше мост, но повстанцы его уничтожили. Пришлось поворачивать прочь от этого места. Спустившись по склону, попали ко входу в ущелье и вынуждены были свернуть в него; двигаясь по берегу гремящей горной реки, выбрались на поляну. Ту самую, где произошло нападение на разведчиков. Трава и земля во многих местах потемнели от крови. Убитых закопали всех в одной яме... Сипаям стало жутко, они поспешили ускакать подальше от страшной поляны. Скакали долго. Никого... Тихо в горах.

— Должно быть, все они ушли в Чаткал,— сказал один из проводников.— Тут ведь, бывало, народу всегда, как муравьев...

Бесноватый решил, что на сегодня довольно, пора возвращаться: аила нет поблизости ни одного, а дальше в горы забираться опасно.

Они миновали все казавшиеся подозрительными, удобные для засад места. Кругом по-прежнему тишина. И вдруг — выстрел! Передний сипай, хватаясь руками за грудь, повалился на гриву коня. Остальные мгновенно рванулись назад. Выстрел! Еще! Упало еще двое. Сипаи кинулись под прикрытие горного склона, но и там их встретили пули. Деваться некуда. Поднялась сумятица, крики; кони метались, сбивая один другого, затаптывая упавших всадников. Эхо многократно усиливало и повторяло звуки выстрелов из кремневых ружей.

Один из сипаев прокричал:

— Мусульмане, пощадите!

Выстрел — и он тоже упал, обливаясь кровью. Пощады не было. Кое-кто из сипаев пытался ускакать, прижавшись пластом к шее коня. Но пули летели со всех

сторон. Не удалось уйти и тем, кто спешился,— нападавшие подымались из кустов им навстречу и рубили мечами.

Из окружения вырвались только оставшиеся без хозяев кони.

Смолкли кремневые ружья. Мергены[1] вышли на поляну. Собрали брошенное оружие, оттащили в сторону валявшиеся в беспорядке трупы, переловили коней. Два мергена подвели к Эр-Эшиму дрожащего от ужаса Бесноватого.

— Он ранен?

— Жив-здоров!

Эр-Эшим рассмеялся.

— Ты, стало быть, нарочно соскочил с коня? Жизнь дорога?

Бесноватый еле держался на ногах. Куда девалась вся его неукротимая ярость!

— Ну что, навоевался? Иди пешком, сотник! Передай Науман-пансату, чтобы сам приезжал...

Сотник даже ответить не мог — язык ему не повиновался.

Мергены скрылись в лесу — как растаяли. В ущелье все еще стоял запах пороховой гари. Над поляной кружились коршуны. А в горах снова все стихло...

Услышав известие о гибели всей сотни, Науман-пансат вскочил.

— Зови! — проревел он.— Зови сюда катая!

Джигит побежал и вскоре привел Камбар-саркера. Камбар был бледен, приветствие произнес еле слышно, поклонился раболепно. Науман на приветствие не ответил.

— Ты ведь из рода катай? — крикнул.

Камбар поднял голову.

— Да, бек, я из этого рода.

— И дорог тебе твой род?

— Ради благополучия моего рода я и пришел сюда, бек. Наши в смуте не участвовали...

Науман-пансат как будто помягчел:

— Ладно, катай Камбар, я дарю твоему роду прощение. Кажется, сарты отобрали лучшие ваши угодья? Ты знаешь, что сарты мне повинуются. Они уйдут с ваших земель. Слышал?

---

[1] Мерген — охотник, стрелок.

— Слышал! Тысячу лет живи, пансат...

Науман-пансат зло ухмыльнулся.

— Давай две тысячи! Да только хватит ли? — и, не сдерживая яростную дрожь, которая сотрясала его, пансат шагнул к растерявшемуся Камбару: — Слышишь? Мне этого мало! Ты приведешь мне Эр-Эшима. Это будет выкуп за твоих катаев.

Камбар-саркер опустил голову. Науман, заметив его сомнение, сказал негромко и спокойно, отделяя слово от слова:

— Или я завтра же велю вырезать всех твоих катаев. Чтобы и семени их не осталось, убиты будут все беременные женщины.

Камбар-саркер в ужасе вскинул глаза — и увидел серое от гнева лицо Наумана.

Наутро Камбар ушел вместе со всеми джигитами своего племени в горы. Присоединился к Эшиму. Несколько дней провели катаи среди повстанцев, ничем не вызывая их подозрения, а потом, выбрав удобный случай, Камбар при помощи десяти своих джигитов связал Эр-Эшима и доставил его в Ала-Буку к Науман-пансату — босого, с непокрытой головой, со связанными назади руками.

— А, это ты, Эр-Эшим? Явился? — Науман улыбался одним ртом.

Эр-Эшим глядел на него исподлобья, и жаждой мести горели его глаза.

Науман-пансат подумал и, приблизившись к связанному пленнику, произнес очень тихо:

— А ты молодой, батыр... Молодой, подумай...

— О чем?

— А вот о чем...— голос у пансата мягче шелка.— Я тебя попрошу только об одной услуге...

Он не отводил взгляда от лица Эр-Эшима.

— Я хочу, чтобы ты через доверенного человека передал смутьянам, которые еще остались там, в горах: «Прекратите борьбу, Науман-пансат помилует вас именем повелителя!» Вот и все...

Эр-Эшим брезгливо скривил губы.

— Об этом толкуй с теми, у кого нет совести. Вон с Камбаром...

Камбар вздрогнул. Науман-пансат подумал еще, но, видимо, решил отказаться от какой-то своей мысли.

— Что же, кто сам себе враг... На кол! — приказал он, повернулся и ушел.

В орде привыкли считаться с такой силой, как горцы. Бывало ведь и так, что горцы, объединившись, меняли ханов, как шапки на голове; видела и столица жестокие и кровопролитные набеги. Теперь времена иные. За спиной Кудаяр-хана стоит губернатор. Кудаяр-хана снедало желание отомстить строптивым кочевникам за прошлое, он отдал приказ жестоко наказать восставших, сулил военачальникам имущество непокорных, давал им права, каких они требовали, снабжал их воинской силой.

Народ был в смятении. Племена карабагыш и катай, жившие на прекрасных землях в окрестностях Намангана, Кезена и обратившегося позднее в развалины Аксы, откочевали в Талас, а частью — в Сары-Узен-Чу. Кудаяр-хан отдавал земли, на которых в течение семи столетий жили его предки, в долголетнюю аренду отуреченным персам и арабам.

Но это не охладило боевой пыл повстанцев. Исхак готовился к весеннему походу. С другой стороны, желая заручиться хотя бы невмешательством русской администрации, послал людей в Токмак с прошением, в котором предлагал дружбу, просил помощи и покровительства. Токмакский уездный начальник майор Эллер прошение принял и обещал оказать помощь. Послал письмо генерал-губернатору Кауфману — за советом. Фон Кауфман в ответ прислал строгий приказ: никакой помощи бунтовщикам не оказывать, переговоры с ними немедленно прекратить, а их посланцев выпроводить из уезда. Посланные вернулись поздней осенью — измученные, отощавшие, с трудом добрались они через Талас.

Оставалось положиться на свою судьбу. Повстанцы всю зиму готовили оружие, используя все железное, вплоть до таганов, на которых в обычное время устанавливали котлы; ковали мечи и наконечники для пик, мастерили ружья, лили пули, делали порох. Джигиты учились владеть мечом, учились стрелять с седла на скаку...

Ранней весной понеслись по аилам глашатаи на светло-серых скакунах, хвосты у которых были окрашены кровью.

— Подымайтесь! Подымайтесь, сыны своего народа! Хан отрекся от вас, разорил свой народ, разграбил свои города. Прошло время говорить слова. Пора действовать.

Подымайтесь! Настал час разрубить тугой узел мечом...

Если давит вьюк — и холощеный верблюд заревет. Всколыхнулись аилы. Заволновались даже те, кто в прошлогоднем восстании не принимал участия, а выжидал, чья возьмет.

А глашатаи, охрипшие от крика, неслись и неслись на лихих конях от аила к аилу.

В начале лета 1874 года более трех тысяч хорошо вооруженных всадников двинулись буйной лавиной в сторону Намангана. Несся над ними боевой клич:

— Болот-хан! Болот-хан!..

Чуть в стороне от большой дороги стояло на холме одинокое надгробие.

Исхак, доехав до этого места, соскочил с седла, бросил поводья приближенному джигиту, сам поспешно поднялся на холм. Вот она, одинокая могила. Цвели на могиле красные цветы, и казалось, их окрасила кровь того, кто был здесь похоронен. Исхак повернулся в сторону кыблы, опустился на колени.

То была могила Эр-Эшима. Едва убрался восвояси Науман-пансат, люди сняли с кола тело Эшима, отнесли на придорожный холм, похоронили.

Всадники Исхака спешились, окружили курган. Исхак припал головой к земле, долго молчал. Потом начал негромко молиться. Его слушали, не переводя дыхания, в полной тишине — разве только всхрапнет где разгоряченный скачкой конь. Исхак уже справился со своим волнением, читал молитву громко, нараспев. Арабские слова большинству были непонятны, и не они сами по себе объединяли сейчас мысли и чувства всех этих людей, но то, как и, главное, где они произносились. Исхак закончил молитву звучным «аминь!», и все подхватили это последнее слово.

Исхак не вставал, не поднимал головы, погруженный в раздумье. Что он скажет еще? Никто не мог догадаться, но и с места никто не двигался.

Момун-саркер наконец решился подойти к нему, легонько взял за локоть.

— Повелитель...

— А?..— Исхак очнулся. Вздохнул: — Могила эта да будет священной для нас.

Пока они спускались с холма, воины успели сесть в седла. Джигит бегом подвел Исхаку его игреневого. Двинулись дальше.

Жители Ала-Буки, Ак-Тама, Кок-Джара, Наная, Мамая, Сефит-Булана устроили войску шумную, богатую встречу. Скот для угощения резали без счета, поставили множество юрт, кормили, поили и — говорили. О притеснении орды, о тяжелых поборах, насилиях, несправедливости. О том, что нужна справедливая жизнь, справедливые правители... По джигиту с конем от каждой юрты отрядили в войско.

2

В орде пошли дела невеселые, смутные. На перекрестке двух дорог пес теряет свой собачий разум. Потерял голову и осаждаемый разноречивыми советчиками Кудаяр-хан.

В газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось сообщение: «Как известно, восстание сделалось почти всеобщим, оно соединило кипчаков и киргизов, и даже оседлые подданные хана начинают переходить на сторону восстания. Нет сомнения, что очень скоро Худояр-хан или погибнет, или, лишенный власти, принужден будет убежать к русским».

А восстание день ото дня набирало силу. Им охвачены были земли по берегам Сырдарьи и Карадарьи, оно распространялось по направлению к Узгену.

Собрался диван.

— Ну, мой абтабачи? — зло и подозрительно щурил глаза Кудаяр-хан.— Как нам теперь быть? Мы хотели справиться сами, своими силами, а что из этого вышло? Вы полагаете, что еще можно их одолеть? Или...— он вынужден был замолчать, горло перехватило. С трудом овладев собою, Кудаяр-хан продолжал: — Может, посидим, подождем, пока бродяга Болот явится, как говорят смутьяны, освободить столицу?

Это было прямое обвинение. Но Абдурахман-абтабачи не утратил хладнокровия. Он знал себе цену. Теперь не то время, когда все его обязанности ограничивались тем, чтобы полить на руки хану воду из серебряного кумгана и, пятясь, удалиться в почтительном полупоклоне. Кроме него, нет нынче в орде военного человека, на которого можно было бы положиться. Он к тому же сын Мусулманкула, опора кипчаков, а кипчаки... Кипчаки большая сила.

— И все-таки справимся, повелитель...

— Ну так попробуйте! — сказал Кудаяр-хан запальчиво.— Вы с ними найдете общий язык. Согласен, попробуйте вы успокоить ваших родичей.

Абдурахман поклонился:

— Воля вашего величества...

Назавтра Абдурахман-абтабачи с тысячей отборных сипаев, прихватив на помощь Науман-пансата, двинулся в Наманганский вилайет. Он избегал мест, где мог бы встретить большие скопления повстанцев, и по берегу Сырдарьи вышел к Кызыл-Джару. Получив известие о походе Абдурахмана, Абиль-бий со своими двадцатью пятью джигитами встретил его.

Они оба спешились и обнялись.

— Спокоен ли ваш народ? Здоровы ли вы сами, бий-ага? — абтабачи не отпускал руку бия, глядя ему в глаза.

Абиль ответил вежливо:

— Слава богу, дорогой племянник.

Поехали рядом. Только теперь Абиль спросил:

— Сами вы как? Как наш священный повелитель? Здоров ли, пребывая в трудах на благо нашего времени? Мы в своей глуши не имеем никаких известий.

В последних словах Абдурахман уловил обиду.

— Эх, бий-ага,— отвечал он сокрушенным тоном и покачал головой.— Когда все хорошо, о боге этот раб божий не вспоминает, живет без оглядки, а прижмет беда, попадет, как говорится, на самую середину висячего моста, да закружится голова, тут-то он и призывает бога, тут-то и начинает оглядываться — кто бы помог да поддержал, где друзья, к кому обратиться?

Издали гора Бозбу напоминает юрту. Она высится одиноко, не соприкасаясь ни с одной из близлежащих гор. Летом на вершине ее нет снега. Гора всегда как будто одета легкой дымкой, и в любое время года увидишь над ней небольшое облачко. Уплывет одно — появится другое. Благодатным, животворным дождем поливают эти облака земли прекрасной Ферганы, склоны снеговых гор на восток и на запад. Народ называет Бозбу горой-матерью. На самой ее вершине есть озеро — как тюндюк на юрте. Называют его озером Тулпара. На поляне вокруг озера Абиль-бий велел установить сорок новых юрт. При каждой такой юрте — по два работника, которые должны прислуживать гостям; возле каждой юрты привязано по два молочных жеребенка, чтобы зарезать на

угощенье. Собственная двенадцатикрыльная юрта бия установлена посредине. Все это Абиль затеял с одной только целью — еще раз стать посредником между ордой и кочевниками. Он послал к тем родам, которые участвуют в восстании, особо доверенного своего человека и передал с ним, что зовет к себе биев и старейшин — «посидим криво да поговорим прямо».

Долго совещались, долго не хотели соглашаться на эту встречу главы родов кутлук-сеит, найман, черик, катай, карабагыш, мундуз, но наконец, чтобы не ответить злом на добро Абиль-бия, почитаемого всем племенем саруу, решили приехать — посмотреть, что из этого получится. Прибыл кутлук-сеит Шер-датха примерно с пятьюдесятью джигитами, все, конечно, верхом. Встретил прибывших Абдурахман, при котором было всего человек семь сипаев.

Абиль-бий не собирался тотчас устраивать общий разговор. Поспешишь — людей насмешишь, в спешке-то, глядишь, и сорвется у кого непоправимое слово. Лучше пускай сначала успокоятся. Два дня он посещал то тех, то других, успокаивал, улещивал, уговаривал. В изобилии доставляли и тем, и другим лакомые части туш молочных жеребят, молодую баранину, кумыс. И лишь на третий день пригласил Абиль в свою белую юрту к достархану, устроенному Каракаш-аим, десятерых биев и Абдурахмана-абтабачи.

Разговор завязался сразу, но толковали вначале только о хозяйственных делах да о здоровье.

Достархан у Каракаш-аим отменный. Разноцветный леденцовый сахар, фрукты, зелень, жирная отварная грудинка, охлажденная колбаса — казы, подгривный конский жир, горячая печенка с кусочками курдючного сала, румяные кашгарские лепешки, разные сладости... В больших бурдюках — кумыс с изюмом, в китайских чашах — прозрачный шербет, в серебряных кувшинах с высоким узким горлышком — хмельной арак, приготовленный из кумыса.

Гости принялись за угощенье. Пробовали понемногу от разных кушаний — ведь не ради еды собрались. Пора было переходить к делу, и на всех лицах в предчувствии нелегкого разговора отразились тревога и беспокойство.

Первым заговорил Абиль.

— Ну, почтенные, пожелаем себе удачи... Да сломит себе шею шайтан...

Он принял из рук Каракаш-аим дорогой, расшитый золотом халат и накинул его Шер-датхе на плечи.

— Уважаемый датха, это вам подарок от повелителя Кудаяр-хана.

Перед выездом из Коканда Абдурахман велел нагрузить на крепкого мула два тюка с подарками и дорогими халатами. Теперь он сам, своими руками поднес каждому из десяти биев по халату.

Бии подаркам обрадовались, разглядывали и ощупывали халаты, бросая косые, завистливые взгляды друг на друга: «Кажется, у него халат получше моего»...

— Здесь нет таких, кому надеть нечего! — сбросив с плеч халат, сказал Шер-датха, и его лицо, усыпанное крупными старческими веснушками, сурово застыло.— Помилуй бог! За что же это, за какие добрые дела нам шелковые халаты жалуют?

Бии вынуждены были тоже стащить с себя халаты, но отбросить их с негодованием в сторону не решились.

Абдурахман-абтабачи поклонился Шер-датхе.

— Почтеннейший, пусть это будет знаком уважения от меня. Кланяюсь вам этим халатом. Разве вы не считаете, что мы родня? Не заставляйте меня стыдиться моего подарка.— И он своими руками снова накинул халат на плечи датхе.— Вы знали моего отца...

— А, Мусулманкула! Несчастный брат наш! — ответил Шер-датха с горечью.— Ты помнишь своего отца, братец? Да, да, погиб, бедняга, из-за того, что не было единства среди наших правителей. Пал жертвой этого бабника.

Шер-датха ударил Абдурахмана по больному месту. Абиль-бий вмешался:

— Ну, датха, а смута, которую мы же сами учинили против орды? Или вы о ней не знаете? Разумно ли это?

Шер-датха заворчал сердито:

— Зачем нужна власть, от которой ни покоя, ни счастья... Зачем нужна шуба, которая не греет...

Абдурахман-абтабачи побагровел. Но старик-датха, кажется, смягчился. Во всяком случае, он не сбросил с себя вторично накинутого на него халата. Абиль-бий заговорил опять:

— Досточтимые, как бы то ни было, Кудаяр-хан кланяется вам, он к вам обращается не с пустыми руками,

преподносит одежду, какой даже бухарские визири не нашивают. Конечно, нельзя сказать, что Кудаяр не ошибался, он ошибался, и немало. Нельзя сказать и то, что мы ему не прощали. Прощали, и неоднократно. Что же мы ответим на этот раз? Давайте раскинем умом...

Шер-датха засмеялся — сухо и зло:

— Он, видно, решил еще раз обмануть нас, всучив для отвода глаз раззолоченные халаты.

На эти его слова бии откликнулись одобрительным ропотом.

Абиль развел руками.

— Почтенный датха, разве суть в этих халатах? Вы и сами понимаете... И наш брат Абдурахман, отца которого умертвил Кудаяр, и я сам, мы тоже знаем, на какие дурные поступки способен наш хан. Но разве не должны мы забыть обо всем во имя единения? Что мы приобрели в результате наших драк? Где Арал? Где Сары-Узен-Чу? Талас? Ташкент?

Шер-датха задумался. Откашлялся негромко.

— Красно ты говоришь, Абиль-бий,— сказал он.— Да только распря у нас давняя, тяжелая. Кудаяр-хан нам, можно сказать, в душу наплевал. Не знаю, на что он рассчитывает, только год от году все хуже нам. Нам с тобой, Абиль-бий, под силу заплатить и подать, и налог со скота, и поборы, а каково беднякам терпеть? Не знаю, как тебе кажется, а по мне вот этот халат...— старик встряхнул полу золототканого ханского халата и добавил тихо, но так, что разобрали все,— я чувствую себя в нем так, словно содрали кожу с моего народа и надели на меня сшитый из нее халат.

Абиль как будто растерял все свое хваленое красноречие. Молчал. И вспоминал виру за смерть Домбу.

— А еще я тебе вот что скажу, Абиль-бий,— продолжал Шер-датха.— Чуть что, ну, можно сказать, по пустому делу, орда насылает на нас своих аскеров, а они наших джигитов на кол сажают, они вспарывают животы беременным женщинам и губят неродившихся младенцев. Что это?..— голова у старика тряслась от гнева, голос звенел.— Что это, спрашиваю я? Так ли должен обращаться хан со своим народом? — Шер-датха задохнулся и повторил: — На кол сажает! Научился...

При этих словах, произнесенных горько и гневно, по лицам сидевших в юрте замелькали улыбки. Ходячая сплетня давно уже связала с именем Кудаяр-хана про-

звище «бача»[1]. И потому брошенное Шер-датхой под конец выражение прозвучало издевательской насмешкой. Абдурахман-абтабачи не знал, что теперь предпринять. Ясно, что у этих людей, даже у ко всему привычного Абиль-бия, не осталось и капли уважения к Кудаяр-хану. Он, Абдурахман, можно сказать, одно из первых лиц при дворе, приближенный Кудаяр-хана, и при нем ничуть не стесняются говорить такое! Это открытая, непримиримая вражда. А кто в ней повинен? Конечно же, сам Кудаяр...

И снова говорил Шер-датха:

— Нынче прибыл сюда Науман-пансат. Я бы слова не сказал против, если бы он боролся вчера с теми, кто держал оружие в руках. Но он обращал в золу селения, жители которых ни в чем перед ханом не провинились. Что же это? Зачем он здесь?

Абдурахман-абтабачи обернулся к двери и хлопнул в ладоши. Из его джигитов поблизости никого не оказалось. На пороге показался кто-то из людей Абиль-бия. Абдурахман попросил:

— Там есть наши джигиты, передай, братец, чтобы позвали сюда Науман-пансата...

Лицо у него при этом было хмурым, губы он крепко сжал, едва только выговорил свою просьбу. Бии забеспокоились. Волновался и Абиль — не вышло бы открытой ссоры. А Шер-датха сидел как ни в чем не бывало и только обронил пренебрежительно:

— Напугал!

Вошел Науман-пансат, поздоровался, но никто ему не ответил. Он поглядел на Абдурахмана вопросительно, потом наклонил голову:

— Я слушаю...

Никакой зависимости не было у него в голосе. И понятно: после победы под Ханабадом Кудаяр-хан особо приблизил его к себе.

— Дай сюда твой пистолет! — приказал Абдурахман, и Науман, хоть и удивившись и не понимая, зачем это понадобилось, выполнил приказание нынешнего военачальника — вынул из-за пояса однозарядный русский пистолет и бросил его.

Абдурахман подхватил пистолет, отдал новое приказание:

---

[1] Гомосексуалист.

— Сними меч!

Науман-пансат заколебался. Взявшись за рукоять меча, стоял в недоумении.

— Ну! — прикрикнул Абдурахман, сжав в руке пистолет.

— Что случилось, абтабачи? — Науман отстегнул от пояса меч.— Я не пойму...

— Этим мечом ты вспарывал животы беременным женщинам? — Абдурахман, сверкая глазами, наполовину вытащил меч из ножен.

Науман ответил:

— Так что? Ведь был строгий приказ повелителя...

Абдурахман оборвал его:

— Не давал тебе повелитель такой приказ! Не давал! Ты, скотина, захотел испытать остроту твоего меча. Ну так вот...— одним резким движением бросил он к ногам биев сверкающий голубоватым отблеском булат.— Пускай они теперь попробуют остроту этого меча на твоей голове!

Науман-пансат побледнел.

— Одумайся, Абдурахман! Я такой же человек, как и ты! Я честно служил повелителю. И ты ответишь за мою смерть перед ханом!

Но Абдурахман как будто не слыхал его слов:

— Вот один из тех, кто сеет раздоры между ханом и его подданными. Берите его. Воля ваша, поступайте с ним, как знаете.

Бии опешили. Растерялся даже Шер-датха. Абиль-бий втихомолку улыбался, любуясь изворотливостью Абдурахмана, готового на всякую уловку, чтобы восстановить уважение к орде. «Ну и волчонок!» — дивился про себя довольный Абиль.

Могучего сложения джигиты поволокли Наумана за дверь. Науман обернулся к Абдурахману, усмехнулся, крикнул:

— Ты думаешь, один я умру? Погоди, придет и твой черед и на твоей подлой голове попробует кто-нибудь остроту меча, Абдурахман! Погоди!

Абдурахман покривился:

— У, проклятый...

Так принес Абдурахман в жертву Науман-пансата, заплатив его жизнью за грехи всей орды, оправдав орду таким образом перед народом. Доказал и свою преданность родичам, готовность защитить их и быть им опорой.

Абиль-бий тут же постарался растолковать людям все, как надо,— только что мед не капал у него с языка.

На том и кончились в тот день переговоры.

На следующий день собрались после второго намаза в юрте у Шер-датхи на чай и продолжили разговор. Шер-датха обдумывал положение всю ночь, но уже не находил нужных доводов против примирения с ордой.

— Ну что ж, Абиль, тебя послушать, так и впрямь надо нам помириться,— сказал он, когда все собрались,—

Посмотрим, что выйдет из этого. Но кажется мне, что нет нам другого выхода, как прекратить кровопролитие, Абиль...

— Надо попытаться, датха,— с готовностью согласился Абиль-бий.

Шер-датха поставил свои условия:

— Ладно, мы прекратим борьбу. Но пускай Кудаяр забудет о вражде. Пускай вернет нам лучшие земли, отданные сартам в аренду. Пускай заплатит нам виру за смерть наших сыновей, погибших в схватках. И пять лет не берет с нас никаких налогов...

Бии дружно поддержали его:

— Это последнее слово! Не согласится — пусть пеняет на себя. Мы поступим тогда по своему усмотрению.

Абдурахман кивал головой.

— Я понимаю вас, уважаемые. Будь я на вашем месте, я сказал бы точно такие слова, выдвинул те же самые требования. Что тут можно возразить? Пошлите со мной тех, кого вы считаете достойными. Посидим кружком, потолкуем. Скажем Кудаяр-хану о ваших требованиях. Хан поймет, если дорога ему страна. Согласится на требования, если дорог ему народ.— И, сморщившись, вдруг выдал накопившуюся на Кудаяра злость: — А коли не согласится... сам виноват будет...

Абиль-бий повторил про себя последние слова Абдурахмана и понял, что судьба Кудаяр-хана поставлена теперь на карту. Дело сделано, переговоры окончены, и Абиль сказал вслух:

— Ну, датха, мы не дети малые, слава богу! Больше обсуждать нечего, верно?

Шер-датха сидел понурившись. Вспомнился ему Абдымомун-бек. Подумал он и о нынешнем руководителе повстанцев Исхаке. Что они скажут? Что скажет весь народ? Мир миром, единство единством, но надо принимать во внимание еще и попранную честь, жажду мести... Шер-датха поднял голову:

— Мы, Абдурахман-уке, пока что сделали только то, что зависело от нас, сидящих в этой юрте. Что ж, дело доброе и надо постараться довести его до конца. Народ натерпелся горя. Народ снялся с насиженных мест. Надо с народом поговорить.

Хитрый Абиль-бий понял, что старик ускользает из рук.

— Датха, скажи, на что надеется народ, что ему

нужно? Покой и мир, сытый живот, справедливость и забота правителей! Вот к чему стремится народ. Что же он скажет, если сами правители, само государство согласятся на требования народа? Одобрит народ такое дело всей душой. И вернется себе мало-помалу к мирной жизни. Разве не так, почтеннейшие? — обратился он к биям.

Те замялись было:

— Так-то оно так, да...

Но Абиль-бий не дал им долго рассуждать и уже вел свою изворотливую по замыслу речь дальше:

— Выходит, значит, так, что был бы хан милостив, а зовут его Кудаяр или Болот,— безразлично. Тут есть два пути. Предположим, народ восстал, льется кровь, и ценою потоков крови Болот становится ханом, и, надо надеяться, ханом милостивым. Предположим иное. Народ замирился. Кудаяр соглашается на его требования, и мир, и покой нисходят к нам без всякого кровопролития. Какой из двух путей легче и короче для достижения главной цели?

— Сомнительно, чтобы дал нам Кудаяр-хан то, чего мы хотим. Не дождешься,— заметил один из биев.

— Тогда и я взбунтуюсь против него! — поспешил заявить на это Абиль-бий.

Горцы ценят слово и верят ему. Поверили и Абилю. Переговоры завершились. Весь следующий день Абдурахман отдыхал в отведенной для него юрте. Обе стороны остались довольны результатом встречи. Попили кумыса, выбрали по одному представителю от каждого рода, чтобы послать в орду во главе с Шер-датхой, который отказался от своего первоначального намерения в орду не ездить.

Что же это? Неужто хотят посадить его в лужу? Исхак погрузился в размышления. Ни задор джигитов, ни безоговорочная поддержка саркеров, их доверие не успокаивали его искушенного сердца. Представители родов нашли общий язык с посланцами из орды — это был неожиданный удар. Восстание быстро шло на убыль. Джигиты, которые ездили вместе с Шер-датхой на переговоры, вернулись в свои аилы. Не было прежнего единства, борьба прекращалась сама собой. А что мог Исхак поделать с этим? Ему теперь казалось, что над

его собственной головой нависла судьба Науман-пансата.

Куда ты направил свой путь, о герой,
Спешишь без оглядки, покорный судьбе?
Удача тебя обошла стороной
Иль, может, беда угрожает тебе?
Ты знаешь, кто скачет бок о бок с тобой,
Кто этот бродяга, откуда бежит?..

Строки, неожиданно припомнившиеся, жгли душу. И он все смотрел, смотрел куда-то вдаль, куда-то ввысь, где таяли, как его надежды, белые легкие облака над вершинами гор. Острое чувство одиночества охватило его.

...У первого кокандского хана Алима было трое сыновей. Его младший брат Омар, став ханом, собственной рукой умертвил Шахрух-бека — первенца Алима. Два других сына, Ибрагим-бек и Мурат-бек, вынуждены были вместе с матерью искать убежища у ее братьев-каратегинцев. Впоследствии оба погибли в кровавых распрях. После Ибрагима осталась дочь Ша-аим и годовалый сын Болот. Вдова Ибрагима выдала дочь за Ахрара-ходжу в Самарканд и сама уехала туда. Не без влияния Ахрара-ходжи Болот совершенно отказался от мысли о своем ханском достоинстве, о правах на трон, предавался религиозным суфийским радениям, стал «диваной» — одержимым.

В прошедшем году Шер-датха, взяв с собою троих спутников, тайно от Кудаяр-хана и от генерал-губернатора Кауфмана отправился в Самарканд. Он разыскал Болот-бека, не прибегая к помощи Ахрара и даже не извещая его о своих поисках. Предложил Болоту заявить права на трон и выступить против Кудаяр-хана, опираясь на повстанцев. Чуждый делам бренного мира, дивана растерялся. Слезы выступили у него на глазах. Вот сидят перед ним грозные, как степные волки, четыре горца — узкоглазые, с темными, обветренными и загадочными лицами, сидят и ждут от него ответа. Неподвижные, молчаливые и страшные его родичи. Дивана чувствовал, как стынет у него сердце.

— Не поеду,— ответил он и чуть заметно покачал головой.

Шер-датха попытался убедить его:

— Весь Наманганский вилайет, все кутлук-сеиты,

найманы, курама поддержат... Наступило благоприятное время. Народ подымается...

В ушах диваны слова «кутлук-сеит», «найман» звучали как имена разбойников. Его зять Ахрар-ходжа говорил о киргизах и о кипчаках как о яростных разрушителях всякого порядка. Ходжа объяснял, что внешними врагами некогда могущественной державы, созданной Тимуром, были именно они, а изнутри ее, словно черви, грызли и грызли узбеки — народ девяноста колен. Отца Болота, Ибрагим-бека, уничтожил проходимец Юсуп, родич этих вот горцев-разбойников. Болот-дивана дрожал от страха, как ребенок, которому рассказывают страшную сказку. Единственным спасением от этого ужаса, казалось ему, может быть только молитвенное радение.

— Не по-еду! Убийцы...

Он забился в угол. Зажмурил глаза. Затряс головой, выкрикивая имя бога. На губах выступила пена, Болот впал в экстаз.

Шер-датха покачал головой — удивлялся, до чего мог измельчать потомок победоносного завоевателя Алимхана.

В ту же ночь тайные послы покинули Самарканд. Через несколько дней, измученные и оголодавшие, прибыли они в Ташкент, к Абдымомун-беку. Он ждал их с таким нетерпением, что, еще не поздоровавшись, задал вопрос:

— Как дела, датха?

— А... пропади они пропадом! — устало бросил Шер-датха. Разговор продолжили у вечернего достархана. Шер-датха рассказал, как он нашел Болота, как говорил с ним, какой получил ответ.

— На все воля божья! — закончил он свою речь.— Язык не поворачивается назвать такого потомком Алимхана. Обидно, что столько сил потеряли из-за него...

— Да-а,— протянул удивленный Абдымомун-бек.

— Отведайте чаю, датха-ата,— услыхал погруженный в свои невеселые размышления Шер-датха чей-то негромкий голос и, подняв голову, взглянул на джигита, который протягивал ему пиалу.

Датха вздрогнул от неожиданности. «Самаркандский дивана! Но откуда у него огонь в глазах? И как он мог сюда попасть?»

Шер-датха принял из рук джигита пиалу.

«Чудеса господни!» — мелькнуло в голове у старика. Не спеша прихлебывая чай, он глядел и глядел на джигита.

Абдымомун-бек истолковал его взгляд по-своему.

— Вы не опасайтесь, датха, это свой джигит, из тех, у кого каленым железом слова не вырвешь.

Датха поставил пиалу, распрямился.

— Бывает же такое сходство, великий боже!

— У меня прямо в голове не укладывается, датха! — подхватил его слова один из тех, кто вместе с ним побывал в Самарканде.

Абдымомун-бек ничего не понимал. Шер-датха глазами показал ему на джигита, который, приопустившись на колено, разливал чай.

— Этот джигит — вылитый самаркандский юродивый, вот оно что!

Абдымомун-бек улыбнулся.

— Бывает, датха, бывает! Встречаются похожие один на другого рабы божьи. Наружностью то есть. А судьба у каждого своя.

Шер-датха снова задумался. А джигит — высокий, бровастый, чуть рябоватый, теперь сам вовсю глядел на старика, и глаза у него так и сверкали.

— Тебе, кажется, что-то пришло на ум, молодец? — спросил Шер-датха.— Из какого ты роду-племени? Чей сын?

Джигит откликнулся охотно:

— Я из рода бостон. Сын муллы Асана.

— А-а, ты сын учителя, муллы Асана... Как твое имя?

— Исхак.

— Хорошо. Будь здоров, сынок!

Надо же! Поистине рок неисповедим. Потомок Алимхана — жалкий юродивый, а пустомеля Асан породил вон какого молодца!

Мулла Асан происходил из ичкиликского рода бостон. В 1844 году родился у Асана единственный сын. Отец не помнил себя от радости. Мальчика назвали Исхаком. Отец сам учил его грамоте, он хотел, чтобы сын стал настоящим ученым, и впоследствии отправил его в Коканд, в медресе Тункатар. Но Исхаку было совсем не по нраву сидеть с утра до вечера, согнув спину, на занятиях в мрачных, холодных, узких кельях медресе. В 1867 году он бросил медресе и сбежал в горы, в се-

ление Охна, где жили его сородичи. Он любил рассказы о воинских подвигах народных богатырей, которые умели спорить с ветром, скача на только что укрощенном полудиком коне, умели и защищать свой народ, его свободу. Исхак ринулся в бурный поток жизни, где не было места ученым спорам о боге и черте, о рае и геенне огненной. И этот новый мир пришелся ему по сердцу.

Сложное то было время. Время алчного стремления к недостижимому и пренебрежения тем, что в руках. Время подкупов и откровенной лести как надежнейшего средства обратить на себя милость власть имущих; правители и их окружение занимались плетением хитрых сетей против врагов истинных и воображаемых. На языке был мед, а в сердце яд. Из-за постоянных кровавых междоусобиц разорялся народ. Исхак различал — кто ворует и кого обворовывают; он видел пропасть между правителями и подданными. Понимал надежды и чаяния народа. В селении его считали ученым, грамотным, уважали. Но он покинул кыштак и ушел искать иного счастья.

Длинная дорога привела его в Ташкент. Здесь-то он и свел знакомство с Абдымомун-беком...

Назавтра, оставшись с Шер-датхой наедине, Абдымомун сказал:

— Джигит, на которого вы вчера обратили внимание, говорит, что он мог бы объявить себя сыном хана...

— Ну да! — вскинулся датха.

Абдымомун подтвердил:

— Да, да! Именно так он говорит, негодник! Я, мол, стану знаменем. А что, и в самом деле!

Шер-датха поглядел испытующе:

— Так, значит? А ведь у него есть огонь в сердце! — датха хотел было рассмеяться, но так и не рассмеялся, а прибавил: — Тут есть о чем поразмышлять, а?

— Была не была, датха!

— Ну, а если явится тот юродивый из Самарканда? Как мы будем выглядеть тогда?

Абдымомун-бек махнул рукой:

— Эх, датха, ежели три таких человека скинутся умом, что-нибудь да выйдет путное! Если наш молодец народу понравится, кто поверит самаркандскому диване, хоть лей он реки слез!

Исхак присоединился к Шер-датхе и его спутникам, назвался Болот-ханом и через неделю прибыл в Чаткал.

Великий везир Калназар-парваначи[1] был осведомлен о положении дел у немирных горцев. Когда прибыл Шер-датха в сопровождении сорока представителей, везир сообщил Кудаяру об их желании говорить с ханом.

Кудаяр-хан встал.

— А где Абдурахман?

— Он остался заложником у горцев.

— Что-о?

— Бунтовщики поставили некоторые условия, они хотят, чтобы примирение обошлось без кровопролития. Почтенный абтабачи на эти условия согласился, повелитель, и до той поры, пока представители немирных родов не договорятся с вами, он свою жизнь отдал им в залог.

Кудаяр-хан коротко рассмеялся, будто услыхал шутку. Ступил шаг вперед.

— Условия? — спросил он.— На какие условия он согласился?

Калназар-парваначи хотел объяснить подробно. Хан так и вскинулся:

— Мы слышать не желаем ни о каких условиях! Никаких условий мы не примем! Понял, парваначи?

Калназар прикусил язык и стоял, ждал, пока уляжется ханский гнев. А Кудаяр неистовствовал:

— Это мы будем ставить условия распоясавшимся наглецам, вышедшим из повиновения. Мы повелеваем! В наших руках власть! И если эти ничтожные найманы и кутлук-сеиты не уймутся, если они не свяжут бродягу Болота и не доставят к нам, тогда увидишь, парваначи...

Калназар согласно кивал головой, спрятав глаза.

— Если ничтожные найманы и кутлук-сеиты не уймутся, если не доставят сюда бродягу Болота с веревкой на шее,— повторил Кудаяр.— Если они... я их уничтожу всех до одного! Слышишь, парваначи! Мы с ними разделаемся почище, чем разделались с кипчаками!

Калназар-парваначи уже не кивал головой. Крепко стиснув зубы, пытался он собраться с мыслями, но страх мешал ему. Везир и сам был кипчак.

— Где эти сорок представителей? — спросил Кудаяр-хан.

— Они здесь, повелитель...

Кудаяр-хан хлопнул в ладоши. Тотчас неслышно от-

---

[1] Парваначи — придворный титул; тот, кто объявляет волю государя.

ворилась маленькая дверь напротив него, и вошел начальник дворцовой охраны, темнолицый и мрачный, поклонился хану и бросил на Калназара искоса такой взгляд, что тот невольно вздрогнул. Кудаяр-хан быстрыми, короткими шагами метнулся в одну сторону, потом в другую. Остановился.

— Что будет, если уничтожить предводителей сорока родов, а? — спросил он у Калназара.

У того сердце замерло в ужасе.

— Повелитель! — заговорил он умоляюще.— Разве можно вновь раздувать почти погашенный пожар?

Кудаяр перебил:

— Пожар? Не раздувать это значит, а погасить. Это значит залить огонь водой, понятно? Ясно, парваначи? Погасить!

И Калназар сдался:

— Воля ваша, повелитель...

Кудаяр-хан приказал начальнику охраны:

— Схвати сейчас же сорок бунтовщиков. Головы им долой! Пощады никому! Да смотри у меня, я ведь сам пойду пересчитаю! Не хватит одной головы — свою положишь. Я сам ее отрублю, своей рукой. Понял?

Начальник охраны со словами: «Слушаюсь, повелитель!» — попятился к той же двери и исчез.

Кудаяр-хан и Калназар-парваначи больше не говорили друг с другом. Каждый был занят своими мыслями. Хан не мог себе позволить вопрос — правильно ли он поступил? Везир не мог заставить себя одобрить поступок Кудаяра, поддержать его.

— Понапрасну, что ли, я вступил в дружбу с губернатором? — первым заговорил Кудаяр-хан.— Я им покажу! Всем покажу небо с овчинку.

«Тебе самому не раз и не два показывали небо с овчинку»,— подумал про себя с издевкой Калназар, но внешне сохранил вид покорный и преданный.

Темноликий начальник охраны в тот же день к вечеру передал послов в руки палачей; головы их он велел сложить в одном месте, а поверх всех лежала голова Шер-датхи.

Посмотреть на эти головы прибыл со своими приближенными Кудаяр-хан. Реденькая белая бородка Шер-датхи была в крови, глаза остались открытыми. Кудаяр-хану стало не по себе от взгляда этих мертвых глаз.

— Шер? — спросил он очень тихо, но его услышали, и кто-то из придворных блюдолизов ответил угодливо:

— Он самый, подлец этакий...

Кудаяр-хан молча повернулся и пошел прочь. Следом заспешили придворные, на ходу подбирая длинные полы богатых халатов...

...Абдурахман между тем сидел в юрте да попивал кумыс. Тут же расположились несколько кочевницких биев. Снаружи донесся бешеный топот коня, затем в юрту ввалился один из сотников. Абдурахман поднял брови недоуменно и недовольно:

— Что за спешка такая?..

Но сердце уже было охвачено тревожным предчувствием.

— Бек,— задыхаясь, еле выговорил сотник,— все послы обезглавлены!

Бии всполошились. Пиала выпала из рук Абдурахмана, кумыс пролился. Округлив глаза, Абдурахман крикнул гневно:

— Проклятый бабник, клятвопреступник! Испортил все дело! — и тут же крикнул: — Седлайте коней!

Сотник выбежал.

Загудели карнаи, разбудив горное эхо. Сипаи, которые от безделья разбрелись кто куда, начали собираться к юрте.

Абдурахман и его спутники успели сесть в седла, пока кочевники еще не опомнились, пока не опомнился и сам Исхак. Через три дня, скача без остановок, прибыли они в Коканд.

Со стены у городских ворот трижды выстрелила пушка. Такую честь оказывали обычно победителям, возвращавшимся в столицу. Абдурахман осадил коня.

— Эй! — крикнул он.

Начальник артиллерии показался наверху. Узнав Абдурахмана, отозвался:

— Слушаюсь, господин!

— Эй ты, бестолковый! Чего палишь понапрасну?

— Приказ хана. Он повелел встретить с почетом высокочтимого победителя Абдурахмана-парваначи.

— У твоего хана, видно, тоже ума немного...— буркнул Абдурахман, проезжая в ворота, и усмехнулся сам над собой: — Победитель!

Он ехал и распаленно ругал Кудаяр-хана. Одним безумным словом разрушил он все, что с таким трудом

удалось было наладить. Самым скверным, предательским образом обманул он простосердечных людей, всех кочевников-горцев. Бессовестный! И вдруг Абдурахмана словно варом обдало: «Да ведь Кудаяр-хан это сделал нарочно. Умышленно. Чтобы я, не дай бог, не стал в глазах народа нужным человеком...» Абдурахман почувствовал, как от этой догадки у него закружилась голова. «И сунул подачку — титул парваначи. Утешайся, мол!..»

В той самой диванхане, в которой некогда по воле Юсупа-аталыка повешены были на стене чокои Шералы, собралась вся знать. По правилам, принятым при дворе, Абдурахману должно бы войти сюда, предварительно сняв оружие, но он шагнул в двери с пистолетом за поясом, при сабле да еще и плеть волочил за собой по земле. Был на вид мрачен, но поздоровался, как положено. И в ответ на его «ассалам алейкум» поднялись со своих мест все, как один, кроме Кудаяр-хана. На всех лицах написаны были восторг и умиление. Никто не выразил неодобрения тому, что Абдурахман позволил себе переступить порог диванханы с оружием и плетью. Победителю простительно. Абдурахман приблизился к трону и отвесил поклон. Кудаяр-хан встал, подошел к склоненному Абдурахману, взял его под локти и поднял.

— Тигр мой...

И, раскрыв объятия, прижал Абдурахмана к своей груди. На всех, кто наблюдал эту встречу, она произвела сильнейшее впечатление. Наиболее искушенные льстецы отирали слезы.

От ласкового слова, говорят, и камень в песок рассыпается. Почетная встреча, похвалы друзей, к которым вынуждены были присоединить свои поздравления и тайные враги, и, наконец, подчеркнуто ласковое обращение самого хана — все это как бы омыло сердце Абдурахмана, смягчило его. Кудаяр-хан здесь же объявил указ о назначении Абдурахмана-парваначи начальником всего кокандского войска. Он становился, таким образом, вторым после хана лицом в государстве.

Повстанцы не смогли объединить свои силы, и хотя гнев и обида горцев были велики, боевой дух угас и к осени все стихло.

Восьмого октября генерал-губернатор фон Кауфман отправил из Ташкента письмо Кудаяр-хану, в котором

говорилось: «Для меня было весьма приятно узнать, что смуты и беспорядки в подвластной Вам стране, как кажется, совсем прекратились. Искренне желаю, чтобы не повторялось подобное положение дел».

3

Тяжким ударом пришлось по Сарыбаю то, что лишился он одновременно и дочери, и жены. К тому же Суюмкан была ему, слепому, необходимой опорой.

Теперь о нем заботился, жалел его один только Мадыл. Но Мадыл должен был много работать, чтобы добыть пропитание. При малейшей возможности он приходил к Сарыбаю, сидел возле него, они вели долгие разговоры... Оставаясь один, Сарыбай тосковал, роптал на жестокую судьбу и, когда становилось совсем невмоготу, брался за комуз, который постоянно лежал у него в изголовье. Сарыбай играл допоздна, в музыке изливая неутолимую печаль.

Вначале родичи не прочь были слушать его игру. Потом как будто стали чуждаться этого. Матери оттаскивали чуть ли не силой своих детей от Сарыбая. Почему? Пищу Сарыбаю приносили три раза в день по очереди из всех трех юрт. Человек, который нес ему плошку с похлебкой или еще чем, подходил потихоньку, молча, осторожно ставил еду возле слепого и так же осторожно брал его за руку и показывал на ощупь, где стоит плошка. Затем молча удалялся, спешил поскорее уйти подальше от несчастного родича, который сидел в юрте один, худой, обессиленный, съежившийся, точно сова, у которой сломаны крылья. Почему? Должно быть, потому, что родичи испытывали перед ним суеверный страх — не перешли бы на них его беды.

А Сарыбаю так хотелось говорить с людьми; молчание и тишина давили его. Единственной отрадой становился сон. Сон приносил ему жизнь и радость, желанное успокоение. Во сне он видел себя зрячим, возвращался к тем временам, когда был он всеми уважаемым мирзой-охотником, во сне встречался с дорогими сердцу людьми, снова ездил на охоту со своим беркутом. То был удивительный, прекрасный мир...

Однажды привиделось ему, что они с женой, оба живые и здоровые, идут по молодому лесу. Они смотрят на плывущие по небу и ненадолго закрывающие солнце

облака, вброд переходят шумную, пенистую, сверкающую на солнце брызгами чистой воды речку. Птицы поют и свистят на разные голоса, пролетают, взмахивая светлыми крыльями, над самой головой у Сарыбая, и, следя глазами за их полетом, он видит там, впереди, еще более чудесные просторы. На вершине горы кто-то играет на комузе, полная жизни и огня мелодия подымается до самого неба... И при звуках комуза, которые так понятны Сарыбаю, начинает трепетать его сердце. А ведь он, наверное, умер и теперь в раю. Это награда за его ослепление, за все его беды и несчастья. Но рай похож на горные летовки... Сарыбаю хочется получше присмотреться к потустороннему миру, подольше побыть здесь...

...Разбудил его лай собаки. Он очнулся у себя в юрте, тьма и холод обрушились на него, и он весь сжался, пытаясь согреться.

Что сейчас — день или ночь? Сарыбай поднял голову, нашарил тебетей, нашел и накинул на себя шубу, посидел, прислушался. Снаружи доносились крики детей, блеянье козлят. Утро уж давно наступило, подумалось Сарыбаю. Вон и живот от голода подвело... Теперь он услышал голоса мужчин — с той стороны, где находилась юрта Идына. О чем это разговаривают сородичи? Сарыбай хорошо узнавал каждого по голосу и мысленно видел, как они сидят, какие у них лица. А бывало, сиживали они все у большого костра до поздней ночи, когда он, Сарыбай, возвращался после удачной охоты... Сарыбай вздохнул и привычно потянулся к комузу.

Эх, создатель! Ты подарил мне жизнь, цветущую, как весна. Дал мне на утешение ребенка. Наградил почетом и уважением среди людей. И что же? Все это было лишь залогом, мой творец... Того же самого Сарыбая ты лишил опоры, ты вынудил его ходить по неровной земле с протянутыми вперед руками — походкой слепца. Человек вынужден принять свою долю, но как понять ее? На этот вопрос не мог ответить ни сам Сарыбай, ни его комуз.

Три юрты сородичей решили откочевать в долину, в Саз-Сай. Что поделать, иначе им нельзя! Скота почти ни у кого не осталось. Сарыбай что на это скажет? Не может же он удерживать их: «Останьтесь, голодайте, холодайте, только не бросайте меня!» Он должен сказать: «Правильно, родные мои, я от всей души желаю

вам найти счастье там, куда вы стремитесь. Желаю вам сытой жизни, достатка, и да приумножится ваш род!» Так он и благословил их на прощанье, и они откочевали. Женщины и дети плакали.

Опустело старое пепелище, на нем остались только две юрты — Сарыбая и Мадыла, убогие и бедные две юрты.

И потянулись день за днем, как цепочка журавлей.

Как-то раз Мадыл чуть не бегом прибежал из долины.

— Аке, ты послушай, какие новости. Говорят, Кудаяр-хан казнил сорок человек послов. Снова подымаются кутлук-сеиты и найманы. Снова созывают всех ичкиликов, всех горцев. Я сам видел, что Бекназар собирает войско, аке! Дай бог, чтобы удачен был поход, чтобы разорили и спалили это змеиное гнездо — орду. Эх, были бы родичи здесь, я сам пошел бы в войско. Я отомстил бы, я отыскал бы твою бедную дочку, если она жива.

Сарыбай выслушал, подумал, покачал головой.

— Не дури. Воевать — это тебе не боорсоки[1] жевать. Война — это кровавые сражения, смертельная погоня за врагом. Что поделаешь, дочка пропала. Отправишься ты на поиски — и ты пропадешь, а мне тогда куда податься? Какая моя будет доля?

— Да ладно, ты и поговорить не дашь! У меня одно желание, одна надежда — отомстить!

— Лучше скажи, как работа твоя?

— Вырезал полторы дюжины малых да девять больших чашек.

Сарыбай повернул к Мадылу лицо.

— И что ты с ними делать думаешь?

— Да продать, обменять на еду...

— Ну вот,— Сарыбай улыбнулся невесело,— разве только так можно зарабатывать пропитание? Чем кое-как наделать тридцать, сделай три, но такие, чтобы каждый любовался их красотой. Хорошо сделаешь — ценная вещь, плохо сделаешь — дрянь, смотреть не на что.

— Я вроде бы неплохо сделал,— устало вздохнул Мадыл.

— Кипятил ли ты их в воде так, чтобы она белым ключом кипела? Кулан-аке говаривал, что чем дольше

---

[1] Боорсоки — кусочки теста, сваренные в кипящем масле.

кипятишь, тем крепче чашка, не расколется никогда, не посрамит умельца.

— Это верно...

Время от времени Мадыл набивает два курджуна окрашенной суриком посудой, взваливает курджуны на вола и отправляется по людям. Разбирают у него посуду по одной, по две чашки — кому сколько потребно. Мадыл цену не объявляет. Берет, сколько дадут, тем и доволен. Таков стародавний обычай.

...Накормив вола, стоял Мадыл у дверей юрты — провожал жену к ее родственникам. Залаяла собака. С большой дороги свернул к их юрте всадник. Мадыл забеспокоился отчего-то, заторопил жену. Помог ей взобраться на вола.

— Ты, жена, скорей приезжай,— наставлял он ее негромко.— Сама знаешь, одному из нас надо быть дома. А мои достатки, как тебе известно, не дома лежат, а на дороге...

— Боишься, кто-нибудь найдет да подберет твои достатки? — отвечала жена сердито.— Вернусь через день-два. Больше года больную мать не видала... Чу! — тронула она вола.

Уехала. И почти тотчас подоспел к юрте тот самый всадник. Из джигитов Абиль-бия. Поздоровался и сказал Мадылу, что бий ждет его к себе.

— Вот досада! — отвечал на это Мадыл.— Жена уехала к родне, дома никого, как я брата оставлю?

— Вот уж не знаю. Иди живей — к вечеру воротишься.

Из юрты подал голос услыхавший их разговор Сарыбай:

— Ладно! Бог меня к себе не возьмет, а бий прислал за тобой нарочного, стало быть, дело у него серьезное. Иди!

Мадыл натолкал в холщовый домотканый курджун новой посуды, перекинул его на джигитова коня впереди всадника.

Абиль-бий был в юрте. Мадыл переступил порог, поздоровался, пристроил у двери свой курджун, потом с поклоном протянул руку.

— Пришел? — спросил Абиль. Слегка наклонил голову, пожал протянутую руку, жестом указал Мадылу — садись. Тот было присел на корточки, но тотчас вскочил — за курджуном. По одной вынимал вырезан-

ные из орехового дерева чашки, протягивал Каракаш-аим, приговаривая:

— Нынешний год делал их, это самые удачные...

Каракаш-аим брала чашки, осматривала, поворачивая их небрежными и ленивыми движениями белых пальцев.

— О-о, бедняга, да ты стал хорошим резчиком. Хорошо, очень хорошо! — хвалила она.

Ее поддержал Абиль-бий:

— Да, байбиче, наш Мадыл сделал тебе настоящее приношение.

— Что вы, бий, какое там приношение,— поспешил возразить Мадыл.— Мне было стыдно переступать порог моей джене с пустыми руками. Это ведь простые деревяшки.

— Нет, Мадыл мой, ты даришь не деревяшки, а свое мастерство. Ты свою душу вложил в эти, как ты говоришь, деревяшки. Подарок — это подарок. Знак внимания. Таков обычай.

Мадыл промолчал.

Каракаш-аим сполоснула одну из подаренных чашек, наполнила ее кумысом, протянула мужу:

— Отведайте, бий, и да придется подарок ко двору.

Абиль-бий принял чашку, повертел ее на пальцах, как бы любуясь, и сказал:

— Твой отец, а наш брат Кулан, да пребудет над ним милость божья, знаменитым был мастером. Резал из ореха узорчатые чаши, делал из березы удобные седла, прекрасные делал кереге и жерди для юрт. Частица его мастерства перешла и к тебе, мой Мадыл.— Он отхлебнул кумыса и вернул байбиче чашку.— Налей, байбиче, кумыса Мадылу.

Не нравилась Мадылу ласковость Абиля. Она рождала неприязнь. Чтобы отвлечься, он пил и пил крепкий кумыс.

Абиль-бий заговорил снова.

— Расскажи, Мадыл мой, как у вас дела? Что там наш бедный Сарыбай?

— Живем, бий-ага, несем с покорностью долю, отпущенную нам богом...

Абиль-бий почувствовал в словах Мадыла обиду и горечь, принялся увещевать:

— Благодари бога, Мадыл, это несчастье ко благу.

Не на этом, так на том свете будет вознагражден тот, кто терпеливо сносил испытания.

Мадыл упорно смотрел в пол.

— Вы хорошо знаете, бий, что грешили одни, а расплачивались за грехи другие,— сказал он, подняв наконец глаза, в которых горел гнев.

— Ай, бог ты мой! — вмешалась в разговор Каракаш-аим.— Ты имеешь в виду вашу девушку? Ну? И чем же ей плохо? Она попала во дворец. Живет беззаботно.

Мадыл сморщился, про себя посылая дворец и тех, кто им владеет, ко всем чертям. Каракаш-аим явно собиралась добавить к своим словам еще кое-что; Абильбий коротким, но выразительным кивком остановил ее и заговорил по-прежнему спокойно и ласково:

— Расплата была тяжкой, что и толковать. Но, Мадыл мой, ведь девушка стала жертвой не за одного меня, а за весь народ. Ты человек разумный, подумай...

Мадыл молчал, насупившись. Значит — не согласен. Абиль-бий крепко сжал рот. Вспомнил Домбу. Суть-то дела в том, что из-за смерти этой собаки весь народ терпел немыслимые притеснения и унижения. А чьих рук дело эта смерть? Кто всему голова? Если истина откроется, да еще в нынешнее тревожное и смутное время, когда народ возбужден и разгневан известием о казни сорока своих послов, нет сомнения, что именно Абильбия сочтут причиной всех бедствий. Бий остро и зло глядел на Мадыла: «Проболтался или нет? Во всяком случае, на будущее надо заткнуть ему рот...»

— Встречаетесь ли вы с Тенирберди? И вообще с землепашцами? — спросил он, переводя разговор на другое.— Они-то должны были бы позаботиться о Сарыбае.

— Приходится к ним обращаться иной раз за хлебом,— отвечал Мадыль.

— Верно. И сходи еще к Тенирберди, возьми хлеба. У меня возьми скотину — на убой либо дойную, если молока нужно. Мы сородичи, должны помогать друг другу, делиться.

— Спасибо, бий.

Дальше разговор пошел больше о пустяках. Абильбий накормил Мадыла мясом, напоил кумысом. На прощанье вручил ему недоуздок негой кобылы.

— Я позвал тебя, чтобы узнать, как вам живется.

Ведь сам ты не придешь. Возьми себе эту кобылу, Мадыл. Это мой привет Сарыбаю.

Мадыл не скрывал своей радости, не знал, как благодарить бия. Протянул руку потрепать кобылу по холке, но лошадь шарахнулась от него. Кто-то посоветовал шутя: «Верхом не сможешь на ней уехать, так лучше оставь!»

— Нет уж! — испугался Мадыл.— В поводу пойдет в крайнем случае.

Абиль-бий кинул взгляд на стоящего подле громадину Карачала.

— Помоги Мадылу сесть да проводи его.

Табунщик хотел отогнать от кобылы жеребенка-сосунка, но Абиль-бий не позволил.

— Оставь, пускай бежит за матерью. Я совсем было запамятовал — надо же чем-то отдарить Мадыла за его чашки.

Мадыл, весь сияя, принялся отказываться:

— Да что вы, бий, не беспокойте себя из-за такой малости...

Абиль-бий закивал головой:

— Бери, не стесняйся, к чему пустую вежливость-то проявлять!..

...В этот день Мадыл не вернулся в свою юрту. Сарыбай решил, что он запозднился и остался ночевать. Нашел в ашкане чашку похлебки, холодной, как лед. Поел, немного согрелся и лег. Но уснуть долго не мог.

Кругом было тихо, только лес шумел от ветра. С тоскливым криком пролетела сова, и Сарыбая вдруг охватил страх. Но он тут же усмехнулся над этим своим страхом: «Чего тебе пугаться совиного крика? За кого? Ведь тебе теперь и пожалеть некого» [1]. Вскоре негромко взлаял пес Мадыла. «Вернулся!» — обрадовался Сарыбай. Приподняв голову, долго прислушивался, но не услышал больше ни единого звука. Снова лег. Пес вдруг заскулил, зацарапал землю возле самой юрты Сарыбая.

— Эй, собака, ты чего? Что с тобой случилось? — окликнул Сарыбай.

Пес заскулил еще громче. Откуда-то издали донесся вой. Ветер, что ли? Сарыбай вздрогнул: «Волки!»

«Ау-у-у!» — донеслось еще раз заунывно и страшно. Пес завизжал. Перепуганная корова Мадыла заворача-

---

[1] По народному поверью, крик совы предвещает беду.

лась, встала на ноги, громко засопела. Вправду, что ли, волки близко? Сарыбай поднялся; перебирая решетки-кереге, добрался до двери, крикнул что было сил:

— Ха-а-ай!..

Волчий вой тотчас прекратился. Сарыбай на всякий случай крикнул еще раз. Пес осмелел, залаял в темноту. Сарыбай долго стоял возле юрты. Все было спокойно, тихо, лишь ветер шелестел верхушками деревьев. Корова снова улеглась и мерно жевала жвачку.

Сарыбай вернулся в юрту. Помолился богу, попросил у него успокоения. Заснул с мыслью: «Почему же не вернулся Мадыл?»

Сон был тяжелый. Снилось ему, что сильно болит у него зуб, так болит, что нет мочи. Сарыбай ноет и стонет от боли, а перед ним озеро — бурные волны вздымаются все выше и выше, вот-вот они хлынут на берег и накроют Сарыбая с головой. А у него нет ни сил, ни воли бежать. «Ох, зу-уб!» — стонет Сарыбай, и тут кто-то черноликий и белоглазый, неожиданно появившись перед ним, предлагает: «Давай выдерну тебе зуб!» — «Он у меня один. Если выдернешь, как я есть буду?» Белые глаза наливаются кровью, незнакомец хватает Сарыбая, силой открывает ему рот и дергает. Окровавленный зуб падает Сарыбаю на ладонь...

Весь дрожа, пробудился Сарыбай. Слава богу, сон! А сердце так и колотится. Вернулся ли Мадыл?

— Мадыл! — позвал он. Никого. Не вернулся! Сарыбай выбрался за дверь. Тянуло прохладным ветром, солнечного тепла он не ощутил. Стало быть, солнце еще не взошло. Сарыбай долго стоял и слушал, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Если бы Мадыл возвратился и спал теперь в юрте, Сарыбай услыхал бы его дыхание. Тишина, только в лесу неподалеку негромко стрекочет сорока да шуршат от ветра высохшие стебли бурьяна.

«А ведь, говорят, плохо, когда видишь во сне, что зуб выпал. Господи, да что же случилось?» — маялся Сарыбай. Не выдержал, позвал: «Мадыл!» Ответа нет. Но вот как будто чьи-то шаги. Точно — шаги... Кто это?

— Калима! — окликнул Сарыбай жену Мадыла, думал, что это она возвращается. Да нет, опомнился он, быть не может, она же только вчера уехала к родным.

Оказалось, что это пес Мадыла. Рыскает, наверное, в поисках какой-нибудь мелкой живности, проголодался.

Пес потерся о ноги Сарыбая. Слепой опустил руку в густую шерсть собаки, потрепал ее, сел на землю рядом с единственным оставшимся возле него живым существом. Долго сидел молча, но тишина угнетала, и Сарыбай заговорил с собакой:

— Что за жизнь? Ни единой живой души не осталось рядом, кроме тебя, пес...

Он протянул было руку еще раз погладить собаку, но ее уже рядом не оказалось. Сарыбай перепугался, принялся звать громко и жалобно, не узнавая сам своего голоса:

— Где ты, Актеш!

Но пес всего-навсего побежал за жуком, которого и сжевал с хрустом. Услыхав зов Сарыбая, пес поднял голову и смотрел, помахивая хвостом и насторожив уши. Не выдержав, кинулся к Сарыбаю и чуть не сшиб его с ног, бурно ласкаясь к человеку. Сарыбай увел собаку в юрту. На пороге Актеш, которому никогда в юрту заходить не разрешали, уперся, но Сарыбай его погладил, почесал за ухом, потом подтолкнул легонько. В юрте он привязал веревкой дверь так, чтобы собака не могла открыть ее и убежать. Потом Сарыбай долго играл на комузе, ему казалось, что и собаке так веселее. Окончив играть, спросил:

— Ну, что, Актеш, слыхал?

Актеш мирно дремал, равнодушный к музыке и вообще ко всему на свете...

Прошло три дня. Сарыбай почти не мог спать и все строил догадки насчет того, почему до сих пор нет Мадыла. Он даже заподозрил его в том, что он отправил жену к родне, а сам куда-нибудь подался. Но тут же отбросил глупое подозрение. Думал он и об Абиль-бие. Что, если тот избил или даже убил Мадыла? «Тьфу, дурацкая моя голова! О чем я думаю?» — обругал Сарыбай себя.

Ждать дольше, сидя на месте, было невыносимо. И Сарыбай, кликнув собаку, привязал ее на веревку и собрался в путь, толком не зная, куда он, собственно, пойдет,— то ли искать Мадыла, то ли себе хоть какого-нибудь пристанища среди людей. Из юрты захватил он только комуз.

— Ну, ничего, Актеш, ничего... Ты говорить не можешь, зато глаза у тебя есть. Я не вижу, зато язык мой

цел. Пойдем к людям, поищем несчастного твоего хозяина. Идем, пес...

Но пес не понимал, чего от него хочет человек, и крутился на одном месте. Сарыбай пошел, палкой нащупывая дорогу, потянул собаку на веревке. Актеш, кажется, понял, побежал вперед.

— Мады-ыл! — кричал время от времени Сарыбай, увлекаемый собакой по неведомой дороге.

Так шли они долго. Сарыбай услыхал шум воды, добрался кое-как до берега реки, помыл руки, напился. Теперь он чувствовал, что устал. Нащупал палкой камень поблизости и присел на него. Разомлевший, потный от усталости, чувствуя ломоту во всем теле, он сидел и думал о том, что, кажется, смерть близка. Эта мысль не пугала его, не огорчала и не радовала. Смерть он ощущал как некую силу, которая поможет ему избавиться от страданий, ставших непосильными... Сарыбай отер пот со лба и подумал: «Умру вот, а рядом никого...» Но тут же оборвал себя: «А кто тебе нужен и зачем? Какая разница, будет кто рядом или нет?..»

Он взялся за лежавший подле комуз, но не заиграл. Сидел в оцепенении. Вдруг Актеш вскочил, залаял. У Сарыбая сильно забилось сердце. А пес бегал вокруг него и лаял, будто хотел от кого-то защитить.

— Что делать собаке в таком пустынном месте? — послышался чей-то негромкий удивленный голос. Кто-то шел к Сарыбаю, шаги приближались. Сарыбай вскочил.

— Мадыл...

Ноги у него подкосились, он упал.

Но был это не Мадыл, а неугомонный Кулкиши. Он узнал Сарыбая, подбежал, приподнял его под руку.

— Ты? Откуда? — удивился Кулкиши, но Сарыбай не смог ему ответить. Он, только что смотревший спокойно в лицо одинокой смерти, теперь, почувствовав на своей руке теплую руку другого человека, услышав жалость к себе в его словах, расплакался, как малый ребенок.

...Мадыла нашли на другой день. Окровавленный, с раздутым животом, лежал он на дне сая. Кобыла прибежала в свой косяк при всей сбруе. Абиль-бий велел изловить ее снова; на ней привезли труп Мадыла. Одно из стремян оторвалось от седла и осталось у покойного на ноге. Видно, кобыла, плохо еще объезженная, испугалась, понесла; Мадыл упал, запутался в стремени, кобыла поволокла его за собой и расшибла о камни.

Все в округе, кто знал Сарыбая, спешили выразить ему соболезнование. Из долины приехал Тенирберди, из Темене-Су — Абиль-бий; прибыл и Тултемир. Надо было позаботиться и о похоронах, и о достойных поминках. У Сарыбая ведь ничего-ничегошеньки нет.

Сарыбая подвели к покойнику. Дрожащими худыми пальцами дотронулся он до лица, до груди Мадыла, но не плакал и как будто не верил, что все происшедшее — правда.

Тенирберди под руку увел его от тела, ласково уговаривая, но Сарыбай не отвечал ему, шел, полуоткрыв рот, согнувшись; он напоминал сейчас птицу, которая упала с вышины на камни и доживает последние минуты.

Похороны устроили честь по чести. Тело омыли, завернули в саван, уложили на носилки, привязали, как положено, полосами ткани, накрыли узорчатым тонким чапаном. Сородичи громко рыдали, плакала вдова. Все по обычаю. Бекназар взялся за носилки.

— Люди! — провозгласил он.— Вдова Мадыла Калима беременна на четвертом месяце. Слушайте, люди, слушайте!..

— Слава богу. Останется после Мадыла наследник,— отозвались ему.

Только после этого понесли носилки к могиле. Все шли за ними пешком, а Сарыбая посадили на коня, которого вел в поводу Тенирберди. Он же осмотрел приготовленную могилу — хорошо ли вырыта.

— Все правильно,— сказал он.— Да будет просторен твой дом при жизни, да будет просторна и могила после смерти.

По установлениям шариата, покойника помещают в могилу на боку, окутанного саваном с головой, лицом на запад, в молитвенную сторону. Так похоронили и Мадыла. Молитву читал Тенирберди, и после того, как родичи бросили каждый по горсти земли, можно было засыпать могилу совсем. Когда заработали кетмени и лопаты, Бекназар заговорил снова:

— О люди! Каким человеком был наш брат Мадыл?

Абиль-бий первым поспешил дать приличествующий обычаю ответ:

— Хороший он был человек!

Бекназар задал тот же вопрос во второй и третий раз, и теперь уже отвечали на него все собравшиеся хором.

Бекназар, как положено, спросил потом, не осталось ли у кого долгов за Мадылом. Долгов не осталось. Спросил, не должен ли кто Мадылу. Уже прозвучало дружное «нет», но тут заговорил Абиль.

— Тултемир! — окликнул он, и все повернулись в ту сторону, где стоял Тултемир.

Абиль-бий продолжал:

— Мы стоим у могилы, предав земле нашего сородича Мадыла. Где есть жизнь, там неизбежна смерть, и все мы предстанем в свое время перед лицом бога. Нет среди нас Домбу, не стало и Мадыла. Настал час нам с тобой разобраться в том, что стояло между ними. Твой старший брат Домбу велел увести у Мадыла гнедого коня. Коню сменили масть, обмотав его горячим арканом. Прими этот долг на себя.

Тултемир, весь красный, еле выговорил:

— Бий... Бий... Почему же вы не сказали об этом Домбу, когда он был жив?

— Ты ненужных слов не говори, Тултемир,— отвечал ему Абиль-бий.— Если есть у тебя совесть, верни коня, а нет, пусть останется долг на твоем брате Домбу. Только ты ведь хорошо знаешь, как гнедой превратился в чубарого, ты сам это сделал...

Тултемир постоял немного, потом направился туда, где рядом с другими лошадьми был привязан чубарый скакун. Привел коня к могиле, снял с него потник, а поводья бросил в сторону Сарыбая.

— Пусть спокойно лежит в могиле мой брат... Пусть и мои уши не слышат упреков...

Никто и не заметил, как подобрался к Тултемиру сзади рослый парень и полоснул его плетью раз и другой по голове. У Тултемира упал с головы тебетей. Брат Домбу обернулся и увидел парня, который сжимал в руке плеть. Кто-то из стоящих поблизости потянул парня к себе: «А ну-ка, иди сюда!»

А Кулкиши между тем от души радовался, пряча улыбку в уголках рта. Кулкиши гордился тем, как бесстрашно держится сын-подросток, не побоявшийся ударить Тултемира камчой.

— Что это? Что за разбойник этот малый? — возмущался Тултемир, подобрав тебетей.

— А, Тултемир! — не выдержал Кулкиши.— Разбойник, говоришь? Погоди, ты еще не то увидишь! Молодец, сынок!

Старики принялись усовещивать Кулкиши:

— Одумайся, к чему старое ворошить? Зачем это?..

Но Кулкиши все кипятился:

— Старое? Киргиз сорок лет о мести думает...

Он обнял сына за плечи и ушел вместе с ним.

Прерванный обряд похорон возобновился. После того как все было кончено, Сарыбай передал чубарого скакуна Бекназару:

— Мне скакун теперь ни к чему. А тебе он пригодится. Время наступает тревожное, боевое, а в такое время, известно, герой-джигит не в юрте отсиживается, а встречает врага лицом к лицу. Коня дарю тебе от чистого сердца, да станет он твоими крыльями, твоим верным товарищем...

После поминок все разъехались. При Сарыбае остались Тенирберди и Кулкиши. На седьмой день помянули еще раз по обычаю покойного Мадыла. Наутро Тенирберди пытался хоть как-то ободрить совсем упавшего духом Сарыбая:

— Крепись. Ты же разумный человек, Сарыбай. Никто в этом мире не вечен, всех нас ждет смерть. Подумай-ка, что за теснота ждала бы нас на этом свете, ежели бы никто не умирал! — горько пошутил старик.— Земля не выдержала бы, раскололась. Знаешь, говорят, что нет никого выносливее человека. И верно говорят! Вначале бог решил все тяготы и боли мирские возложить на животных. Что тут было! Кровь лилась потоком, а живность вся ревом ревела. Мир пришел в беспорядок. Тогда господь всемогущий и переложил весь груз на людей, решил поглядеть, что из этого получится. И ничего — кто кряхтит, кто плачет, а кто и силой укрепляется. Иной и смеется над своими бедами. «Гляди-ка, люди терпят!» — удивился творец и оставил все заботы и горе людям. Такие уж мы люди, Сарыбай, пока живы, гнемся да терпим...

Сарыбай слушал понурив голову, молча.

В тот же день привели из долины коня для Сарыбая, и Кулкиши с Тенирберди увезли его к себе в аил.

Сарыбай сделался ко всему равнодушным. Ни с кем не разговаривал, на вопросы отвечал кивком, почти ничего не ел. Тенирберди не оставлял его. «Неужели он с горя дар речи утратил?» — сокрушался Кулкиши.

Только через месяц вроде бы пришел Сарыбай в себя, оживился немного, заговорил. Однажды он попросил ко-

муз. Сын Тенирберди Болот натянул новые струны. Долго сидел Сарыбай, вздыхая и еле слышно перебирая струны. Потом заиграл, и полилась мелодия, которую он назвал про себя «Горестный мир».

Ты, о мир, о горестный, бренный мир...
Одна половина твоя светла,
Другую сокрыла черная мгла.
То увлечешь, то измучишь тоской,
Ты переменчив-изменчив, о мир...
Ты перепелку пускаешь в полет,
Чтобы насытился ястреб, о мир.
Из двух близнецов одного всегда
Несчастнее делаешь ты, о мир...

Как-то давно они с Мадылом, заседлав добрых скакунов, поскакали на базар в Андижан. При деньгах были тогда, и немалых. На базаре часто попадался им на глаза нищий-календер [1], бродивший из стороны в сторону, напевая унылую песню. Сарыбай кинул нищему серебряную монету. Тот не обрадовался и не удивился щедрому подаянию, даже не глянул на монету, а в благодарность наклонил голову с таким достоинством, словно был это не нищий в лохмотьях, а богач в нарядной одежде. Поблагодарил и побрел себе дальше с той же своей заунывной песней. Тогда Сарыбай был и беззаботен, и бездумен, и календер с его гордой осанкой показался ему просто забавен. Теперь он думал о нем по-другому — о нем и о его песне; он сам понял и узнал жизнь не только с хорошей, но и с плохой стороны.

Ты, о мир, о горестный, бренный мир...
Кто до конца твои тайны постиг?..
Мать, что носила меня день за днем,
Вспоила своим святым молоком,
Где она, давшая жизнь мне, о мир?
Тот, кто мою колыбель качал,
Божьему слову меня обучал,
Где он, отец мой любимый, о мир?
Дед мой седой, что впервые меня
Сам посадил на лихого коня,
Где он, меня воспитавший, о мир?

Играл Сарыбай, всю свою душу изливая, и в мелодии звучали и горечь, и грусть, и бессилие человека, выпустившего из рук поводья своей судьбы. Пел комуз, и песня его смягчала душевную боль, как смягчают ее обильные слезы.

[1] Календер — паломник.

Ты, о мир, горестный, бренный мир,
Кому ты без проку радость дарил?
Мудрых пророков без срока губил,
Гордых царей ненароком убил,
Сколько детей своих праведных ты
Довел до несчастья и нищеты!
Перед силой твоей всяк бессильным был!
На миг ты и мне дал щедрой рукой
Блаженства свет и душевный покой...
Но все миновало, как сон, о мир!..

4

«О полоумный, да поразит тебя кара божья, что за глупость ты сотворил! Неужели ты, скорбный разумом, полагал, что кочевники безропотно стерпят казнь сорока человек?» — так или примерно так рассуждали горцы о неслыханном поступке Кудаяр-хана. Народ волновался, как озеро в бурю. Убийство сорока послов, прибывших в орду для мирных переговоров, вызвало недовольство и у равнинных ичкиликов. Все теперь считали, что нет иного выхода, кроме открытой войны.

Аксакалы в аиле Бекназара говорили ему прямо:

— Что же это, Бекназар? Нам, можно сказать, положили одну руку на плаху да отсекли, а мы будем стоять, спрятав другую руку за пазуху?

Даже Абиль-бий не пытался никого утихомиривать. Понимал и он, что народ поднялся весь, что каждое слово летит, как на крыльях ветра, и будоражит людей.

— Собирайтесь в поход! — сказал Бекназар, и это было принято как приказ. Немного времени прошло, а Бекназар с тысячей воинов уже двинулся в сторону Сефит-Булана.

«Необходимо единение. Необходимо, чтобы за всех думала одна голова, чтобы путь всем указывала одна рука. Под чье знамя встанем?» — раздумывал Бекназар, сидя на чубаром скакуне.

В Сефит-Булане, у мазара [1], над которым развевалось зеленое знамя пророка, обычно останавливались беки поклониться святой могиле, принести в жертву белого верблюда. А Исхак, спустившись через перевал из Чаткала, останавливался у могилы Эр-Эшима в Ала-Буке.

Достигнув Тупрак-Беля, Бекназар натянул поводья коня. Две дороги перед ним: одна ведет налево, в Сефит-

---

[1] Мазар — гробница, надгробие.

Булан, другая — направо, в Ала-Буку. «Нет, не увидим мы знамени пророка над святой могилой,— решил после недолгого раздумья Бекназар, поворачивая коня вправо.— Мы поклонимся праху Эр-Эшима. Эр-Эшим погиб за народ!..» Войско двинулось вслед за предводителем.

На могиле Эр-Эшима Исхак повелел соорудить мавзолей из красного кирпича. Поклоняться этой могиле вскоре вошло в обычай у тех, кто решил посвятить свою жизнь борьбе за народное дело. Да и простой путник не минует мавзолей, обязательно свернет к нему...

Бекназар подъехал к мавзолею.

У могилы в это время молился, беззвучно шевеля губами, какой-то старик. Помолился и Бекназар. Потом он обошел мавзолей кругом, долго разглядывал сложенную затейливым узором ограду.

Старик был дряхл. Легким белым пухом курчавилась коротко подстриженная бородка. На голове у старика — шапка с высоким верхом, с узенькой оторочкой из мерлушки. Одет он в раскрытую на груди чистую миткалевую рубаху, поверх нее — полушелковый полосатый халат.

— Почтенный старец, позвольте узнать, кто вы? — спросил Бекназар.

Старик отвечал горестно и просто:

— Что там расспрашивать, эр-джигит! Мы из рода курама. Эр-Эшим был моим желанным приемным сыном.

Старик произнес имя Эшима — и у Бекназара отчего-то дрогнуло сердце. Желая подбодрить старика, он сказал:

— Вы знаете, аксакал, как говорят у нас, тот герой, кто защищает народ, встречая врага лицом к лицу. Тот герой, кто умирает не на мягкой постели, а в сражении с врагом. Не склоняйтесь под бременем горя. Нет вашего сына, но жив народ, который он любил.

Старик покачал головой:

— Как не горевать! Состарила меня совсем, к земле пригнула его смерть... Мы уже месяц здесь. Я посадил возле могилы долголетнюю чинару, посадил несколько карагачей. Разрастутся, раскинут благодатную тень, станут, бог даст, приютом для птиц...

— Отец!

Со стороны мазара раздался этот негромкий, испуганный возглас. Выбежал откуда-то мальчуган лет пяти. Но звал не он — голос был женский. И действительно —

из-за мазара показалась было одетая в черное женщина и тотчас скрылась вновь.

Мальчик обнял старика за шею. Старик гладил ребенка дрожащей рукой, что-то ласково приговаривая. Мальчик пошептал ему на ухо, то и дело бросая косые взгляды на незнакомца, с которым разговаривал дед. Старик тихо ответил: «Сейчас».

И еще раз дрогнуло сердце у Бекназара, когда он увидел лицо ребенка. Взглянул еще, попристальней: «Лицо Эшима?» Старик, заметив, как внимательно смотрит он на мальчика, спрятал лицо внука у себя на груди — еще сглазит, не дай бог! «Иди к своей маме, родной, пускай приготовит лошадей, мы поедем в аил...» Но мальчишке любопытно, он успел-таки поглядеть еще раз на могучего незнакомца в военном снаряжении. «Чернобровый, лицо светлое, скулы узкие...— отмечал мысленно Бекназар.— Но глаза другие... Глаза совсем другие... У наших родичей таких не бывает!» И тут же мелькнуло: «У него могут быть материнские глаза!» Он никак не мог вспомнить. Ведь Айзада никогда не подымала глаз! Хотелось спросить старика, но удержал себя. «Брось, неприлично расспрашивать убитого горем человека на могиле единственного сына, кем ему приходится, от кого родился этот мальчик!»

Старик словно прочел мысли Бекназара.

— Внук это мой...— сказал он.— Единственный сын моего единственного...

— Ну вот! — с неожиданным для самого себя облегчением ответил Бекназар.— Я и толкую, что нет у вас причины отчаиваться. Нет батыра — остался его потомок. Крепитесь, у вас есть опора, мой почтенный!

— Тысячу раз спасибо на добром слове, батыр! — старик молитвенно провел ладонями по лицу, поднялся и ушел вместе с мальчиком за мазар.

Бекназар направился к войску. Завидев его, воины начали садиться в седла. Два джигита бегом подвели Бекназару коня.

«У всех впереди смерть. Но великий бог такую смерть должен даровать любимым своим рабам. Эр-Эшим умер за народ. А что сказать о моем Эшиме? Ушел, пропал без вести. В темную пучину уронил я свое золотое кольцо!» — размышлял по пути Бекназар.

Султанмамыт вместе с двумя одетыми в траур женщинами спускался в аил, ведя в поводу оседланного дет-

ским седлом серого четырехлетку, на котором сидел мальчик. Бекназар смотрел им вслед и чувствовал, как снова неспокойно колотится сердце...

В тот же день Бекназар со своим войском присоединился к Исхаку.

Летом 1875 года с новой силой вспыхнуло восстание, охватив земли по берегам Нарына до самой Карадарьи, распространилось на аймаки Когарт, Узген и Алай; к нему примкнули киргизские и узбекские роды, обитающие на равнине. Исхак без боя занял Андижан.

...В саду прохладно. В зеленоватой воде пруда играют красно-золотистые рыбки. В густой листве чинары поет соловей. Склоняют отягощенные плодами ветви фруктовые деревья. По всему саду вьется выложенная разноцветным кирпичом и обсаженная с обеих сторон цветами дорожка. И журчит, журчит, не умолкая, прозрачная вода в небольшом арыке.

В бархатной ермолке, в длинном легком халате внакидку, обутый в красные сафьяновые туфли без задников, гуляет Абдурахман по дорожке, безразлично поглядывая по сторонам,— думает. Вот он останавливается возле пруда, но даже не осознает, почему и где остановился, не видит, как играют золотые рыбки, не слышит, как поет соловей. «Потоп надвигается, настоящий потоп»,— хмуро бормочет он и идет дальше. «Это все он. Все он натворил, испортил дело. Много ли нужно было народу? Горцы нравом своим что орлы. Радуются не добыче, а победе. Им довольно было бы того, что их уважили, говорили с ними, как с равными. А теперь! Попробуйка остановить сель, когда он набрал силу...» Внимание Абдурахмана ненадолго привлекает опустившаяся на цветок пчела, он наклоняется рассмотреть, как она собирает сладкий сок, но тут же забывает о пчеле, захваченный новым потоком тревожных размышлений. «Разве только горцы-кочевники страдали от притеснений? Здесь, на равнине, земли у дехкан становилось все меньше, а у купцов в лавках гнили товары. Кто в этом виноват? Он, и только он! Во всем виноват он один...» Кудаяр-хан окончательно потерял уважение. А он, Абдурахман, нет. Все войско в ханстве находится у него под началом, а с народом, который поднялся на борьбу, он, возможно, сумеет найти общий язык на правах кровного родства. За-

ложив руки за спину, Абдурахман окинул взглядом весь сад — правильный четырехугольник в сто десятин, обнесенный надежной оградой. В саду, среди деревьев, построены были дома с айванами, всего пять. Абдурахман иногда приезжал сюда побыть в одиночестве, отдохнуть, погулять. У ворот стоял караул. Даже малая птаха не пролетит сюда незамеченной. «Отец наш, да помилует его аллах, говорил, бывало: чтобы дело твое было успешно, проси на него благословения даже у своей собаки. Будь, значит, осмотрителен...». Абдурахман сделал еще несколько шагов по дорожке. Неспокойно было на душе. Он крепко потер рукой щеку, забрал в руку бороду, остановился. И еще отец советовал: «Умей угадать время, оценить его, время тебя вознесет, но оно же тебя и уничтожит». Пришел ли его час? Абдурахман закусил губы, зажмурился до боли. Джаркын-аим объявила, что избиение кипчаков произошло по вине «смутьянов»; кое-кого прогнали из дворца, лишили придворных должностей; тем самым обелен был в глазах народа Кудаяр. Джаркын-аим устроила встречу Абдурахмана с Кудаяром, заставила их обняться: «Не поминайте о прошлом, будьте братьями!» Она относилась к Абдурахману, как к сыну, и вырвала его из-под влияния непокорных беков. Но сын Мусулманкула был не глуп и понимал, что к чему. Впрочем, до поры до времени приходилось ему прикидываться недалеким, непонимающим; он вынужден был улыбаться в ответ на ласковости Джаркын-аим. Где-то в глубине души оживало годами подавляемое чувство мести за отца. «Да, пришло оно, долгожданное время»,— сказал он сам себе.

Неделю спустя Абдурахман-парваначи прибыл со своими доверенными людьми в селение Ботокара под Андижаном. Несколько раз обсуждали все при помощи посредников и наконец договорились о месте личной встречи.

Абдурахман вошел в маленький дворик старика-бахчевника на окраине селения, и первый, кто бросился ему в глаза, был человек, сидевший под усыпанной спелыми плодами урючиной на каком-то чурбане. Человек этот резал и ел дыню.

— Добро пожаловать... Добро пожаловать,— кланялся и приглашал бахчевник.

Абдурахман чуть задержался у входа, быстрым оценивающим взглядом окинул тех, с кем ему предстояло

беседовать. Стараясь сохранять достойный и твердый вид, шагнул вперед. Вот они: глава чаткальских повстанцев Момун, потом Бекназар-батыр, предводитель повстанческих войск из окрестностей горы Бозбу, с ним рядом родовитый Абдылла-бек, военачальник всего Узгена и Алая. Человек, евший дыню, не прервал своего занятия и не встал навстречу Абдурахману. В нем парваначи узнал того, при имени которого содрогалась орда. Абдурахману показалось обидно, что он хотя бы из простой вежливости не поднялся с места. Разговор должен идти на равных. Абдурахман поздоровался, но не поклонился, а только лишь приложил правую руку к сердцу.

Исхак не спеша повернул к нему лицо, глянул прямо.

— Алейкум ассалам, добро пожаловать, бек,— сказал он и, все так же не вставая с места, протянул Абдурахману руку, показал на лежавший на земле камень.— Присаживайтесь. Уж извините нас, принимаем вас не в собственном доме.

Абдурахман чувствовал себя весьма неуютно. Никогда еще с ним не говорили столь резко и напористо. В орде привыкли к утонченной вежливости. Перед ним все угодничали, даже сам хан разговаривал с Абдурахманом искательно. «К кому я пришел?» — мелькнуло сожаление. Он сдвинул брови так, что между ними легла глубокая складка, но тут же овладел собой, улыбнулся. Присел на камень.

Исхак все заметил. Но как ни в чем не бывало протянул Абдурахману ломтик дыни:

— Отведайте, бек.

Абдурахман принял угощение.

— Бисмилла...

У Исхака лицо смягчилось, он слегка усмехнулся.

— Ну? Благополучно ли поживаете, бек?

— Слава богу, ханзада.

— Бек ищет испытания, а меч — отмщения? Позвольте узнать, какой ангел привел вас, мой бек, сюда?

Абдурахман отбросил в сторону дынную корку, не спеша вынул платок и вытер испачканные дынным соком руки. Отер и усы. Этот Болот-хан — нелегкий противник, подумалось ему. Но на вопрос надо было отвечать.

— Какой ангел привел меня, ханзаде известно. А силу меча отмщения мы испытаем вместе, если бог соединит наши дороги,— сказал Абдурахман.— Тому, что у ме-

ня на сердце, свидетель бог, замыслам моим свидетель проникший в них божий раб, но я тот человек, который считает — настал час для народа, для страны. Если бы мне нужна была высокая должность, так она у меня есть. Но мне противны должность и власть, от которых нет пользы моему народу и моей стране. Вы знаете, что я пытался добиться примирения в Чаткале, а недоумки учинили кровопролитие, причинили страдания мне самому и уронили меня в глазах народа.

Исхак рассмеялся.

— И вы только теперь поняли, что они недоумки?

— Ну, ханзада, свою шею подставлять под топор тоже никому не охота!

В их разговор никто не вмешивался.

Исхак поиграл ножом, которым только что нарезал на ломтики дыню.

— Ладно, пусть будет так, как вы говорите, поверим вам. Будем считать вас героем, который готов пожертвовать своей головой во имя того, что пришел день для его народа и его страны...— Он остановился и пристально поглядел на Абдурахмана.— Скажите, а я кто такой?

Абдурахман только пожал плечами в неприятном недоумении.

— Я, по-вашему, ханзада? Но разве я посылаю народ под пули и сабли для того лишь, чтобы отвоевать для себя трон и власть? Нет, я не ханзада! Я сын простого, обыкновенного человека. И вы это отлично знаете. Вам претит склонять передо мной вашу знатную голову. Я вижу и понимаю это!

Абдурахман безуспешно пытался унять напавшую на него при этих словах дрожь. Рот его был полуоткрыт, но сказать он ничего не мог.

А Исхак продолжал:

— Что мне нужно? Золотой трон? — Он отрицательно мотнул головой.— Богатство, довольство? — То же самое движение.— Ни того, ни другого мне не надо. Мне нужна свобода, свобода для народа, о котором вы печалитесь. И во имя достижения этой цели я не гоню народ впереди себя, а народ поставил меня перед собою и посылает вперед. Выходит, мой досточтимый бек, я то знамя, которое поднял сам народ, я меч в его руке. И если вы склоните голову передо мной и соедините ваш путь с моим, это будет означать, что вы склоняетесь перед народом и соединяете свой путь с его путем.

Абдурахман удивился прямоте и откровенности Исхака.

— Я в вашей воле, батыр! — отвечал он наконец.— Что ждет нас завтра, знает бог, а сегодня мы объединимся, батыр!

Прошло немного времени, и Абдурахман-парваначи с отборным войском, а также Иса-оулия и Калназар-датха прибыли в Андижан.

— О Абдурахман! Что ты сделал? — Кудаяр-хан не ходил, а бегал по своим покоям.— Я пригрел змею на своей груди! Да падет на твою голову моя хлеб-соль!

В это время поспешно вошел к нему его близкий родственник Султанмурат-бек. По его виду Кудаяр-хан сразу догадался, что произошла новая беда. И не смел спросить какая. Султанмурат заговорил сам:

— Ханзада Насриддин...— и запнулся.

Кудаяр-хан вскрикнул:

— Что случилось? Говори, жив ханзада?

— Он бежал...— еле слышно сказал Султанмурат, и у Кудаяр-хана глаза чуть не выскочили из орбит.

— Ушел к Абдурахману во главе четырех тысяч войска.

Кудаяр-хан с трудом перевел дух.

— Лучше бы мне узнать, что он умер,— сказал он, сморщившись...

Насриддин-бек встретил войско повстанцев у Маргелана и присоединился к Абдурахману. Ханзада, конечно, и думать не думал ни о каких высоких целях вроде счастья для народа. Просто он давно уже понял, что в орде назревает переворот, и теперь примкнул к тем, на чьей стороне был явный перевес в силе...

Кудаяр-хан погрузился в тоскливые размышления.

— Что поделаешь, бек! На все воля божья! — высказал он вслух результат своих раздумий.— Ну, а каково настроение у тех наших сипаев, которые остались в Коканде? Как пушкари?

— Слава богу, с ними все в порядке,— отвечал Султанмурат.

— А ты иди, бек, да проверь еще раз. Если обнаружишь смутьянов, казни их немедля перед всем войском. Не жалей! Не щади!

— Слушаюсь!..

— Ну вот. Иди. Да поможет тебе бог. На кого же нам опереться, как не на самих себя, если нынче и глаз глазу враг? Будь тверд. Где Мухаммед-амин? Кликни его ко мне.

Султанмурат-бек ушел.

Кудаяр-хану хотелось плакать. С трудом удержавшись от слез, он подошел к окошку с резными ставнями и, прижавшись к нему лбом, вспоминал то время, когда его любимый первенец Насриддин был малым, беззаботным ребенком, «Подлец! На престол ему захотелось поскорее!» — вспыхнувши в голове у Кудаяр-хана, эта мысль заставила его сжать кулаки. Попадись негодяй ему в руки, растерзал бы сам его в клочки!..

Со стороны дверей послышались шаги. Кудаяр-хан обернулся и увидел своего второго сына Мухаммед-амина. Молодой, высокий, крепкий джигит... Одет — по-воински, на голове зеленая чалма. Всем своим видом выражая покорность отцу, он стоял и ждал приказаний.

— Дорогой мой сын,— и Кудаяр-хан, подойдя к молодому человеку, взял его за плечи и посмотрел в глаза — черные, с длинными ресницами, блестящие от волнения и страха.— Подлые прихлебатели бросили нас, а?

Мухаммед-амин опустил взор.

— Наследник еще мал...— тихо заговорил Кудаяр-хан.— Он мал, а вы взрослые, вы отцу опора, одному я отдал во власть город, другого сделал военачальником, чтобы вы приучились повелевать, чтобы после моей смерти подняли Ормон-бека ханом и жили дружно, в единстве, как отпрыски одной чинары. Так я думал.— Против воли он поднял голос до крика.— А Насриддин что? Предал, подлец, и убежал!

Больше он говорить был не в силах. Мухаммед-амин не шелохнулся. Известие не ново для него. Он стоял перед отцом и молчал. Ормон-бек — младший сын хана. Он его любит. Но Ормон-беку ни до чего нет дела, он только и знает — прикрепить ковер на стене, которой обнесен дворец, и стрелять по нему из лука. Играет, забавляется. Почему же отец не сделал наследником взрослого, опытного Насриддин-бека? Или хотя бы его, Мухаммед-амина? Разве этот плакса Ормон-бек умнее и выше их? Снова ожили в сердце Мухаммед-амина вопросы, которые задавал он себе уже не раз. «Вот и пускай этот щенок защищает отца!» — думал он, а Кудаяр-хан, который уже опомнился, видимо, угадал его настроение и окончатель-

но пал духом. «Господи боже, почему ты превращаешь наших детей в наших врагов? — сокрушался он.— Пока не станут взрослыми, они радуют нас, а потом...» Хану и в голову не приходило, в чем тут причина. Он никогда не видел детей, которые выросли в бедной лачуге, где их родителям приходилось тяжело трудиться, чтобы раздобыть кусок хлеба. Не знал, как любят такие дети своих отца и мать, как помогают им в старости до самой смерти. Хан полагал, что все люди таковы, каких он привык видеть у себя во дворце,— безжалостные и немилосердные. И он искренне дивился тому, как это бог все сотворил подобным образом. «Поистине, нет заботы об этом бренном мире! Вот тебе и власть, и богатство, но к чему и откуда жестокость?» Никто ему не сказал, а сам он не додумался, что портят людей, делают их бессовестными и бессердечными именно власть и богатство.

— Сын мой, родной мой,— заговорил Кудаяр снова.— Ормон-бек молод, твой старший брат предал нас, мне теперь не на кого опереться, кроме тебя, понимаешь? С этого дня ты мой наследник! Мы укрепим нашу дружбу с русскими. Помоги же мне в эти трудные дни. Уничтожим смуту, а там... Я передам власть в твои руки, сам же уйду паломником в Мекку.

Мухаммед-амин был явно удивлен. Кудаяр-хан затряс головой:

— Верь мне, не удивляйся, сын мой. Я устал душой, мир постыл мне...— горестной хрипотой звучал его голос, на глазах выступили слезы.

— Отец,— сказал Мухаммед-амин хмуро,— мне кажется, все пропало. Власть ушла из наших рук. Ее возьмет либо Исхак... либо русские...

Кудаяр-хан отпрянул.

— Что?! — крикнул он.

Мухаммед-амин отвел глаза — неприятно было смотреть на потерявшего самообладание отца. А тот между тем забормотал, словно в бреду:

— Не бойся, сын мой. Не бойся, мы еще не то видели. Пока есть фон Кауфман, мы так скоро не сдадимся. Потерпи немного, к нам придут на помощь русские войска, если не из самого Ташкента, то из Ходжента. Немного надо потерпеть...

Отцовские заверения ничуть не успокоили Мухаммед-амина. Ушел он мрачный. И почти тотчас Кудаяр-хану доложили:

— Повелитель, Вей-паша...

Кудаяр-хан вскочил, как обрадованный ребенок.

— Ну вот! Я так и знал! Они меня не оставят... Зови скорее...

И едва генерал Вейнберг в сопровождении татарина-переводчика переступил порог, хан двинулся ему навстречу, протягивая обе руки.

Генерал Вейнберг поздоровался хмуро. Кудаяр-хан, не в силах скрыть свое огорчение, сразу же принялся жаловаться ему:

— Темная ночь опустилась над нами... Что вы посоветуете? Чем можете помочь нам, досточтимый?

Татарин-переводчик, поглядывая то на хана, то на генерала, быстро переводил слова хана на русский язык. Генерал Вейнберг слушал его с каменным лицом, его бледно-голубые глаза выражали только то, что он тщательно обдумывает и оценивает положение. Выслушав, он отвечал спокойно:

— Да, мы понимаем, ваше величество. Политическое положение в вашем государстве чрезвычайно сложное.

Толмач перевел. Невозмутимость генерала Вейнберга окончательно лишила равновесия Кудаяр-хана. Он уже не говорил, а чуть ли не стонал:

— Вы понимаете. Вы все понимаете. А делать-то что? Разве я не вверялся вам? Не опирался на вас?

И снова переводил толмач. Генерал Вейнберг думал. Он напускал на себя особо важный и даже загадочный вид,— чтобы дать хану острее почувствовать нависшую над ним опасность, острее ощутить свою зависимость. У Кудаяр-хана и впрямь все горело внутри. «О чем раздумывает этот неверный? Может, и они хотят свалить меня? Но что я им сделал? Они же играли мной, как хотели, из-за этого и покинули меня мои беки!» Не выдержав, он крикнул, потрясая руками:

— Ну? Говорите прямо! Что я еще должен сделать?

Выслушав все с той же упорной невозмутимостью перевод этих слов, генерал сказал:

— Есть только один выход, ваше величество. Просить письменно военной помощи у генерал-губернатора. Ежели просьба ваша будет принята во внимание, тогда все в порядке, вы сохраните ваш трон.

Услыхав это, задумался уже Кудаяр-хан.

— Если я не ошибаюсь, уважаемый генерал, то между мною и генерал-губернатором существует подписанное

в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году условие о том, что в случае неожиданной военной угрозы мы должны оказывать друг другу помощь,— напомнил он.

Генерал наклонил голову.

— Мне это известно. Но, ваше величество, ведь в условии этом не сказано о помощи войсками, там речь идет о помощи оружием и другими необходимыми средствами. Поймите, ведь если в вашу страну войдут русские войска, возможны нарекания на Россию со стороны зарубежных недоброжелателей, возможны обвинения в прямом захвате. Если вам действительно потребна помощь войсками, вы имеете право просить о ней письменно, за вашей подписью и печатью, другое государство. Получив означенное письмо, эта другая страна, коль скоро она согласна на вашу просьбу, пошлет воинские части, и тогда, ваше величество, не останется места для сплетен и пересудов, поелику действия сии будут согласованы между обеими державами.

Кудаяр-хан лихорадочно пытался сообразить, не таится ли в предложении генерала какой-либо подвох, и сам не замечал, как с губ его срываются беспомощные восклицания:

— Ну что мне делать? Хорошо ли это будет? Правильно ли, а?

Переводчик переводил все это генералу шепотом. Генерал же внимательнейшим образом наблюдал за лицом и поведением хана.

— К сожалению, ваше величество, европейцы более склонны верить тому, что написано на бумаге, хотя бы оно было ложно, нежели рыцарскому слову.

В ответ на это Кудаяр-хан закивал головой:

— Хорошо... Хорошо, если так...— и, глянув на дверь, он хлопнул в ладоши. Показался эшик-ага.— Позови мирзу-писаря...

Толмач перевел генералу и это; генерал остановил хана:

— Ваше величество, такое письмо надлежит написать вам одному, а мне одному принять. Принимая во внимание создавшееся положение, чем меньше людей будут знать...

Татарин перевел поспешно, и Кудаяр-хан, не дослушав его до конца, отослал появившегося было на пороге мирзу-писаря.

Генерал Вейнберг, заложив руки за спину, приказал толмачу:

— Пишите...

Едва успел тот вытащить из портфеля чистый лист бумаги, как Вейнберг начал диктовать: «Его высокопревосходительству генерал-губернатору Туркестана фон Кауфману...» Диктовал он быстро, а переводчик, летая пером по бумаге, спешил записывать. Кудаяр-хан молча слушал непонятные слова и устало моргал покрасневшими глазами.

«В эти злосчастные времена люди, которых я считал верными и надежными, а именно: Иса-оулия, Абдурахман-абтабачи, Калназар-парваначи с войсками, перешли на сторону моих врагов — бунтовщиков-киргизов и, соединившись с ними, пошли на меня войной. Так как я от Вашего высокопревосходительства видел уже много дружбы и расположения, то надеюсь, что и на этот раз Вы не оставите меня без действительной помощи и поддержки. Отдаю себя и Кокандское ханство под могущественное покровительство Его Величества государя императора и обращаюсь к Вам с дружественной просьбой: благоволите приказать направить на г. Коканд русское войско с артиллерией в всевозможно скором времени, дабы замыслы бунтовщиков не осуществились. Надеюсь, что Вы изволите согласиться на исполнение моей просьбы...»

Генерал Вейнберг подождал, пока толмач допишет фразу, и закончил: «Глубоко уважающий Вас Кудаяр-хан Шер-Мухаммад-Алихан-углу».

— Переведите и прочитайте,— велел толмачу Вейнберг, доставая белоснежный носовой платок и сморкаясь в него.

Усталой поступью удалился он к окошку, а Кудаяр-хан передернулся: разве можно сморкаться при людях? При нем к тому же? Он молча выслушал перевод письма и попросил:

— Там есть одно место... прочти-ка еще раз, абзый [1]. Вот это: «Отдаю себя и Кокандское ханство...» Как там дальше?

Толмач прочел.

Кудаяр-хан подумал.

— Гм... Как же это понимать? «Отдаю!..» Как это?

---

[1] Обращение, принятое среди татар: «дядя», «дядюшка».

Толмач объяснил генералу сомнение Кудаяр-хана. Вейнберг молча подошел и подвинул исписанный лист Кудаяр-хану:

— Ваше высокое величество, это ваш последний выход, последняя возможность.

Кудаяр-хан смотрел на переводчика, открыв рот, как умирающая от жажды галка,— все-таки свой брат, мусульманин. Но переводчик никакого внимания не обращал на его взгляд, ни один мускул не дрогнул на его лице. Воцарилась мертвая тишина. Весь потный, Кудаяр-хан дрожащей рукой прижал к письму свою именную печать.

Час от часу неспокойнее становилось в городе Коканде. Жители вооружались кто чем мог. Кроме оружейных, все лавки были закрыты. Базар как-то сам по себе прекратился. Кое-где открыто и громко ругали хана и ханский двор...

Генерал Вейнберг приказал отряду казаков под командованием полковника Скобелева охранять ханский дворец и самого хана. Генерал понимал, каково настроение жителей, и, не зная еще, куда и как все повернется, оставался лишь наблюдателем. Но однажды в ночь Мухаммед-амин во главе четырехтысячного войска покинул город. Это была половина военных сил, на которые мог опираться Кудаяр-хан. Теперь уже ни хану, ни генералу Вейнбергу нельзя было оставаться долее в городе.

На следующее утро Кудаяр-хан с семьей и придворными двинулся с обозом из восьмидесяти арб по направлению к воротам Муй-Мебер, от которых шла дорога на Ходжент. Казачий отряд Скобелева охранял обоз. Выехал и генерал Вейнберг, чиновники и кое-кто из купцов. Горожане теснились по обеим сторонам узкой улицы. Хлесткая брань летела отовсюду.

— Поджал хвост, ха-ха!

Кудаяр-хан и генерал Вейнберг находились в одной крытой повозке. Генерал сидел молча, мрачно смотрел перед собой и ничем не показывал, что слышит шум и ругань. Кудаяр-хан задыхался, потел, бледнел, оглядывался по сторонам и обнимал наследника, стараясь его спрятать. Ком грязи с кулак величиной шумно ударился о повозку и разлетелся. Кудаяр-хан втянул голову в плечи, еще крепче прижал к себе наследника, закрывая его своим телом.

— У, кровопийца! — раздался совсем поблизости чей-

то голос, и тотчас слово это подхватили десятки других голосов. Кудаяр-хану было обидно до слез: «Почему, почему люди так злы?» Он не находил даже намека на ответ, почему же в самом деле это так, и по-настоящему сердился на человечество.

Толпящийся по обеим сторонам и без того узкой улицы народ затруднял продвижение обоза. В некоторых местах беглецам приходилось продвигаться гуськом.

Отряд русских казаков защищен был и своим оружием, и силой своей, а также силой обычая, не позволяющего нападать на представителей другого государства. Но казаки охраняли ненавистного хана, не давали расправиться с ним, и какой-то старик, трясясь от гнева, выкрикивал, обращаясь к ним:

— Убирайтесь прочь! Защищаете нашего кровопийцу? Ладно, уходите сейчас подобру-поздорову. Даст бог, проучим не только хана, но и вас!

Один из казаков обернулся посмотреть на старика, исступленный вид которого вызвал его удивление. Старик с размаху вытянул его палкой по спине:

— Еще оглядывается!

Казак потянул было шашку из ножен и двинулся на старика, но Скобелев вовремя остановил его резким окриком:

— Стой! Ты что? С ума спятил?..

А народ заволновался, зашумел с новой силой, вот-вот — и началась бы стычка. Отряд двигался молча, осторожно пробираясь сквозь вооруженную чем попало толпу.

Выбрались наконец из города. Дальше по дороге то и дело приходилось вступать в перестрелку, пришлось пожертвовать сорока арбами с ханской казной, и только на следующий день отряд с трудом достиг Ходжента, находившегося под властью России.

Со стороны дворца донеслись трубные звуки карнаев. Так бывало тогда лишь, когда хотели сообщить большую новость. И впрямь новости большие. Бежал Кудаяр-хан. Восставший народ победил. Толпившиеся по улицам люди потянулись ко дворцу. А карнаи ревели все громче, все сильнее, все отчаяннее.

Немного погодя по улицам двинулись глашатаи на белых верблюдах, покрытых красными коврами.

— Чье настало время? — заливались глашатаи.— Насриддин-хана! Чье, чье настало время?..

Высунул из калитки голову на улицу древний старик с белоснежной бородой.

— Про кого там кричат? — хриплым и слабым голосом спросил он.

Народу на улице было много, но никто не ответил на вопрос. И тут как раз показался, раскачиваясь на верблюде, глашатай.

— Чье же, чье наступило время? Время потомка пророка Насриддин-хана! Слушай, слушай, народ...

Старик теперь узнал определенно, о ком кричат, и, постояв у калитки с удивленно открытым ртом и бессильно моргающими глазами, махнул рукой вслед глашатаю:

— Э-эх!..

И захлопнул калитку.

Люди молча слушали новость. Вот какова, выходит, воля аллаха? Вот за что боролся народ? Прогнали собаку, чтобы двор сторожил щенок? Да-а...

В это время Исхака, обезоруженного, со связанными руками, с ногами, привязанными к подпруге коня, увозили неизвестно куда. Сотня сипаев сопровождала его. Он смотрел в небо тоскливо, как сокол, беспечно попавший в сеть. В это время в диванхане Абдурахман собственными руками возлагал корону на голову покраснев-шего от счастья Насриддина; сам же он должен быть возведен в сан минбаши.

Заливались на улицах глашатаи на белых верблюдах, объезжая квартал за кварталом.

Что произошло? Где герой, который три года подряд не снимал с себя военного снаряжения? И народ, и войско открыто выражали недовольство. Тогда пустили слух: «Болот-хан отказался от престола и отправился паломником в Мекку...».

Абдылла-бек подошел к воротам дворца. Бек был наряден: крытая красным бархатом высокая шапка оторочена мехом выдры, ярко-красный камзол подпоясан серебряным поясом, к поясу — больше для красоты — подвешен небольшой меч в ножнах из слоновой кости...

Дворцовая охрана хорошо знала Абдыллу-бека, его пропускали с поклонами. Он не отвечал на приветствия и шел быстро. Эшик-ага [1] поклонился ему и тотчас пошел доложить.

[1] Эшик-ага — придворный, отворяющий перед ханом двери.

— Пришел,— сказал он коротко, не называя имени, ибо Абдурахман и без того знал, кто пришел.

Абдурахман смотрел на эшик-агу, как будто мог ожидать от него совета. На самом деле он просто задумался — встреча предстояла не из приятных, как он полагал. Наконец он кивнул, и эшик-ага попятился к двери, на которую Абдурахман устремил вслед за тем взгляд, пристальный и тревожный. Абдыллу-бека он приветствовал радушно, даже слишком радушно. Тот отвечал хмуро, Абдурахман понял его настроение сразу, еще до того, как он рот открыл. «Не с добром явился, так и есть!» — кольнуло в сердце.

— Добро пожаловать! Я слушаю вас, бекзада!

Абдылла-бек заговорил не сразу.

— Вы знаете, зачем я пришел, минбаши,— начал он.— Народу неизвестно, в какую такую Мекку отправился Болот-хан, который был знаменем восстания. Я хочу получить сведения об этом от вас, минбаши.

Абдурахман сохранял вид равнодушный и безразличный, чуть улыбнулся уголком рта — нашел, мол, о чем вспоминать, это дело конченое!

— Хоть он и был безродным, наш бедный Исхак, но потрудился немало, это верно,— сказал он небрежно.— Но, дорогой бекзада, что поделать? По воле и по праву шариата, да и по обычному праву тоже, не он наследник трона, а другой...

— Вы хотите сказать, что народ проливал кровь для того, чтобы заполучить этого вашего другого наследника?

Абдурахман величественно нахмурил брови и, не глядя на Абдыллу-бека, ответил так:

— Э-э... бекзада... надо это понять. Да, низложенный хан был жесток по отношению к народу, забывал о его насущных нуждах, вступил в дружбу с генерал-губернатором. И мы, объединившись, сбросили его. Что же нам еще нужно? Погнавшись за недосягаемым, умножая распри, мы навредим и себе, и всему государству, а это на пользу врагам нашим. Неужели это не ясно, бекзада? Нынче нам не до того, чтобы сводить счеты, нынче мы должны объединиться вокруг хана и общими усилиями добиться блага для всей страны. Все без исключения! Разве я не прав?

— Золотые слова, бек! Но народ сражался не за Кудаярханова щенка. Вам следует быть беспристрастнее,

бек. Народ и без них защитит свою страну. Под знамя, поднятое ими, никого не соберешь. Разве сохранили они хоть крупицу доверия и уважения народного? И все мы без исключения знаем, что народ сам выбрал себе знамя, не спрашивая нас.

Абдурахману все труднее было скрывать раздражение и злость. Но он слушал,— видимо, решил выслушать все до конца.

Абдылла-бек продолжал:

— Куда вы спрятали, куда вы дели того, кто был знаменем для народа? Где Болот-хан? Все ждут ответа на этот вопрос. Народ недоволен...

Абдурахман не сдержался.

— Что?! — закричал он визгливо.— Народ? Какой такой еще народ? Ты лучше скажи, мальчишка, что сам ты недоволен. Ты простить не можешь, мальчишка, что сан достался мне, а не тебе! Но ты до него не дорос пока, и нечего болтать о народе!

Человек, известно, слаб. Нельзя сказать, чтобы Абдылла-бек не надеялся в глубине сердца стать минбаши. Слова Абдурахмана больно задели его, особенно то, что он назвал его мальчишкой, да еще дважды. И Абдылла-бек тоже сорвался:

— Да ну? Вашего звания я, стало быть, недостоин? Чем же я хуже вас? Вы — сын Мусулманкула, а я — сын Алымбека! Лучше вам опомниться поскорее, иначе снова польется кровь. И скажите, зачем вам-то нужен ханский род, который никакого уважения к себе уже не вызывает? Или вам все равно, кто под вами — скакун или лошак, если поводья держите вы? Готовы променять на это и народ, и все государство?

Абдурахман не находил слов. Но по лицу его видно было, что он не прочь бы кликнуть палача. Абдылла-бек встал.

— Ладно, попрощаемся, бек,— сказал он, стоя к Абдурахману боком.— Но вы имейте в виду, что народ, который там, за воротами дворца, да и войско тоже требуют, чтобы вы не причиняли насилия Болот-хану, иначе спалят всю вашу орду. Мой вам совет, бек, освободите поскорее Болот-хана.

Он ушел не оборачиваясь. Абдурахман-минбаши остался сидеть в оцепенении — своей неподвижностью он мог бы поспорить с каменной бабой на кургане.

Когда к восстанию примкнули беки и манапы, оно

изменилось, изменились и цели его. Иначе и быть не могло. Но Абдурахман-парваначи вошел в Коканд бок о бок с вождем восстания Исхаком и в глазах народа выглядел героем. Он вошел к Исхаку в доверие, устроил ему ловушку и неожиданно схватил его. Ханом объявил Насриддин-бека. Он рассчитывал на то, что безродного Болотхана ни оплакивать, ни защищать, ни мстить за него некому. Других руководителей восстания, саркеров, можно уговорить или купить, народ отвлечь, объявив газават — священную войну против гяуров... Вся власть, по сути, перейдет в его руки... Так он замышлял, но пока что все шло иначе. Саркеры не только не поддавались на уговоры, наоборот, они гудели, как рой разозленных пчел, они не подчинялись новому хану, они требовали освобождения своего вождя... Что же предпринять? Абдурахман долго сидел и думал.

Путь перед ним один. Обратной дороги нет. Надо усилить сопротивление губернатору, надо объявить газават. Если простой народ встанет под зеленое знамя пророка, тогда никому не будет дела до непокорных саркеров, они выдохнутся и умолкнут... А там, по соизволению аллаха, глядишь, прогонят из Ташкента генерал-губернатора, забудется бродяга Исхак — кому он нужен, ежели все роды и племена будут ублаготворены! Жизнь пойдет своим чередом... Вот что надумал, сидя в одиночестве, Абдурахман.

5

Крепость Махрам стоит верстах в сорока пяти от Ходжента; с одной стороны у нее Сырдарья, с другой — горы. Обнесена крепость высокой стеной; пушек, прочего оружия, пороха и пуль, съестных припасов и корма для лошадей имеет достаточно. Более двадцати тысяч воинов могли укрыться в ней.

Исхака поместили в самом темном, самом глубоком зиндане в основании сторожевой башни. Обычно там содержали тех, кто ожидал смертного приговора. И пока не приходил из орды окончательный приказ, узники совершенно не общались с внешним миром, никого не видели и ни с кем не говорили. Надзор за охраной, сменой караула, питанием для столь важного пленника принял на себя начальник крепости Иса-оулия.

«Почему меня до сих пор не убили?» — спрашивал

себя Исхак, сидя у сырой стены подземелья. Темнота, казалось ему, наваливается на него тяжким грузом, не дает дышать, не дает вспомнить нечто очень важное, а вспомнить надо... Исхак встал, широко открыл глаза, изо всех сил вглядываясь в кромешную тьму. Нет, ничего не видно. Вытянув руки, он двинулся вперед. Через три шага руки уперлись в стену. «Может, это могила? Меня похоронили заживо?»

Откуда-то сверху донеслись едва слышные шаги. «Сторож»,— догадался Исхак. Но как бы там ни было, все-таки вестник из мира живых. Исхак напряженно слушал. Шаги стихли, сторож, должно быть, остановился.

Он снова сел у стены. Чтобы не ощущать темноту так сильно, закрыл глаза. Вихрем закружились мысли в голове. «Где они теперь, мои молодцы? Что делают? Ищут ли меня? Или... договорились уже с ордой?» — вопросы, понятно, оставались без ответа, только будоражили душу. Исхак вскочил и принялся ходить по своей узкой и тесной темнице; увлеченный бесконечными размышлениями, он не замечал, что может сделать в одну сторону только три шага. «Что я сделал не так? В чем моя ошибка?» Вспомнился ему Абдурахман — хмурый, замкнутый. Вспомнился Абдылла-бек с его пламенными глазами. «Я верил вам! Я согласился принять вас в ряды повстанцев. Я сам занес ногу в поставленный у меня на дороге капкан...»

Думал он о своих саркерах, с которыми вместе начинал восстание. Момун, Уали, Бекназар, дружеские лица, знакомые голоса. Даже здесь, в темнице, Исхак ощутил прилив бодрости, вспомнив о них. «Так подстроили, что никого из них не было рядом со мной, когда попался я в ловушку Абдурахмана! Погоди, а ведь из моих людей был в это время Атакул. Что с ним стало? Когда я обернулся, видел его спину. Постой, постой, выходит, он спину повернул... Предал? Нет, Атакул не предатель. Он или погиб в схватке, или брошен, как я, живым в могилу»,— уверял себя Исхак, но понуро опущенные плечи Атакула, казалось бы, много раз испытанного начальника стражи,— так и стояли перед глазами. И больно было думать об этом.

Исхак поглядел вверх и вздрогнул. Где-то там, высоко, была, очевидно, крохотная щелка, потому что оттуда тянулся вниз тонкий, как нитка, луч света. Он иссякал, не достигая дна подземелья. Исхак вскочил и

подставил свету ладонь... На ладонь легло слабое, еле видное пятнышко...

«За что же, за что это насилие? За что?..» Исхак снова зажмурился. Он готов был сейчас встретить лицом к лицу и врага, и друга, готов был выслушать справедливый суд своим хорошим и дурным поступкам; он мог бы ответить проклятием на несправедливые обвинения друга, он поблагодарил бы за правду даже врага, а там хоть и смерть, но без мучений! Теперь он живой труп! Черепаха, брошенная в глубокую яму! Птица с поломанными крыльями... Кому до него дело, кому он может предъявить иск? Исхак чувствовал полную свою беспомощность, и это отнимало последние силы. Он снова сел и прислонился к стене. Уснул. Но, как ему казалось, почти тотчас пробудился — словно окликнул кто его.

— А? — вскинул он голову.

Никого. Мертвая тишина... Непроглядная темень. Подняв голову, Исхак поискал глазами давешний тонкий луч света. Его не было. Исхак повалился на вонючий, холодный пол. Он лежал, слушал стук собственного сердца и понемногу приходил в себя. «Что я трепыхаюсь, в конце концов? Чему быть, того не миновать, уж коли суждена мне такая смерть, от нее теперь не уйти. А может, и вырвусь еще из могилы, снова увижу широкий мир, оседлаю быстроногого скакуна и подниму над головой знамя!..»

Надежда затеплилась в душе. Отчего? Кто знает, но ведь человеку свойственно надеяться до последнего часа. Исхак опять поискал глазами луч света. Нет, было темно и так тихо, что звенело в ушах. Тогда он нарочно громко, чтобы разорвать, разбить давящую тишину, спросил самого себя:

— Какое время сейчас?

И сам себе ответил громко и насмешливо:

— Откуда мне знать, я сижу там же, где и ты!

И рассмеялся во весь голос.

Но вот опять забрезжил знакомый луч. Исхак следил за ним, затаив дыхание, как будто мог спугнуть робкого посланца дня. Потом подошел и подставил обе ладони — как подставляет мучимый жаждой человек свои ладони под струйку долгожданной воды. Этот луч — как его жизнь теперь, он еле теплился... Исхак поднес руки ко рту — ему казалось, что он пьет свет, как воду, как молоко матери...

Послышались шаги. Остановились над самой его головой. Отворилась железная дверь, и свет хлынул в темницу потоком, наполнив ее до самого дна. Исхак, ослепленный, опустил голову. Что-то упало рядом с ним. Нагнулся — хлеб. Его бросают раз в сутки. Спустили на веревке маленький медный чайник. Кипяток. Молча Исхак отвязал чайник. Глаза уже привыкли к свету, он поднял голову, окликнул бородатого стража:

— Ассалам алейкум, мусульманин!

Тот отпрянул. Дверь захлопнулась. На голову узнику снова упала тьма.

— Эй! Э-эй! — кричал Исхак.

Нет ответа. Шаги удалялись. «И сегодня он не ответил. Почему ничего не говорит? Разве я преступник? Кому я причинил зло?» — недоумевал Исхак, пережевывая хлеб и запивая его теплой водой.

День проходил за днем. Исхак вел им счет только по тому, сколько раз сторож бросал в зиндан хлеб. День от ночи помогал отличать тонкий луч света из щелки наверху, то появляясь, то исчезая. У Исхака отросли усы, борода, волосы на голове. Первое время голова болела от стоящей в зиндане вони. Потом он привык.

Исхак потихоньку пел от тоски. Или думал о том, как там сейчас, на воле. Высятся вдали могучие громады гор и тают в ясном небе облака, так похожие на космы белой верблюжьей шерсти. Теплое солнце, именно теплое, ласковое, а не жгучее оно сейчас. И раскинулась среди гор благодатная Ферганская долина, пахнущая спелым урюком, хлебом, дынями... Исхаку начинало казаться, что сам он малым муравьем ползет по прекрасной Фергане, дивясь красоте и простору...

Он старался забыться, и это ему иногда удавалось. Он уже не искал ответа на вопрос, почему его не убивают.

Однажды услыхал он гулкий и громкий звук:

— Дун-н...

Звук повторился еще и еще раз. Исхак почувствовал, как задрожала земля...

— Пушки! Пушки палят! — вскочил он. Сердце забилось так, что он почти потерял сознание. Быть может, Момун, Бекназар, Эшмат с большим войском осадили крепость Махрам.

— Эй! — закричал Исхак, подняв голову.— Эй, кто там есть? Эй, кто-нибудь!

Шаги. Кто-то идет. Отворилась железная дверь зиндана, свет потоком хлынул в темницу, наполнив ее до самого дна... Бородатый стражник свесил голову вниз.

— Ну что? Ты хочешь, чтобы я тебе сказал исповедание веры, а?

Исхак был бесконечно рад услышать человеческий голос.

— Нет, брат, я и сам могу его тебе сказать...

— Ну, так чего ты орешь,— сторож принялся затворять дверь, но Исхак крикнул отчаянно:

— Брат!

Сторож неохотно придержал дверь.

— Скажи, что там происходит на воле? Почему палят из пушек?

Сторож покачал головой.

— Какое тебе до этого дело, мусульманин? Для тебя окончены все мирские дела, верно?

Но он все же не ушел, вероятно, и ему хотелось от скуки поговорить.

— О чем спрашиваешь? Сумятица там, беспорядки. Газават.

Исхак быстро спросил:

— Кто начал газават?

Сторож помолчал, как будто сомневался, стоит ли еще раз открывать рот для ответа, потом сказал тихо:

— Кто зол, тот и затевает драку...

— Орда, значит, начала! Абдурахман начал! Прищемили змее хвост, вот она и тщится весь мир уничтожить... Несчастный народ, несчастная страна...

Исхак метался из угла в угол по темному полу своей темницы. Сторож смотрел и дивился: «Сидит в этой дыре, смерти должен ждать как счастливого избавления, а он, гляди-ка, беспокоится о народе, о стране... С ума, наверное, начал сходить, бедняга».

Исхак поднял голову.

— Эй, батыр! — крикнул сторожу.— Позови сюда Иса-оулию, мне ему надо кое-что сказать.

— Довольно тебе вздор болтать, мусульманин. Помолчи, не то я дверь захлопну. Разговаривать не положено.

А пусть закрывает! Исхак не мог молчать. Душа горела, он не находил себе места и все говорил, говорил негромко сам с собой. Стражник слушал долго, потом спросил:

— Эй... Ты сам-то кто?

Исхак поднял лицо вверх. Там, на фоне прозрачно-голубого неба, торчала голова стражника.

— Все теперь разорено, все гибнет! И зачем тебе знать мое имя, брат? А ты, Абдурахман! Кожу с тебя мало содрать с живого...

Стражнику было и дивно, и смешно: подумать только — где Абдурахман, а где этот обросший, грязный узник? Он окончательно убедился, что заключенный спятил с ума, и расхохотался:

— О повелитель, Абдурахману из ваших рук никак не ускользнуть. Ваша царская воля содрать с него кожу не один, а пять раз...

— Смеешься? Смейся! Только не могу я понять, с какой радости ты смеешься, когда гибнет земля твоих отцов, — сказал Исхак спокойно.— Что с восстанием? Оно кончено?

— Какое восстание? Которое поднял хазрет-военачальник?

Исхак отрицательно покачал головой.

— А-а,— протянул сторож.— Которое Болот-хан начал? Так ведь Болот-хан отправился на поклонение гробу пророка. Войско оставил в подчинении у Абдурахмана, а теперь как будто смута снова вышла.

Исхак присел на пол. «О соколы мои,— радостно думалось ему.— Не оставили дело, не покорились орде...» Он больше не хотел разговаривать со стражником, но тот, видно, еще не натешился.

— Повелитель! — крикнул он Исхаку.— Скажи, тебе-то до них что за дело?

Исхак поднялся, сурово глянул в ухмыляющуюся бородатую рожу.

— Я и есть Болот-хан...

Стражник от смеха чуть не свалился в зиндан.

— Ха-ха-ха! А может, ты и досточтимый Абдурахман?

Исхак задрожал от гнева.

— Глупец? Ты мне не веришь?

Но стражник все смеялся. Он не верил. Так, со смехом, не дожидаясь, пока Исхак скажет еще хоть слово, он и захлопнул железную дверь...

А пушки все гремели вдали...

Прошло, должно быть, еще несколько дней. Тяжко томился Исхак. Много раз принимал он решение — не

думать ни о чем, но мысли не подчинялись ему; в полусонном оцепенении нередко видел Исхак перед собою картины жизни такие яркие, что казалось — все это происходит на самом деле.

Вот он сам на джайлоо. Неподалеку пасутся красавцы скакуны, и среди них его светло-серый. Кто-то подводит коня Исхаку, и вот они вместе с Бекназаром уже скачут... Куда? Бог весть... Ветер свистит в ушах, мерно стучат конские копыта да позвякивают стремена. Вдруг перед ними высокая, очень высокая белая юрта. Им с Бекназаром не приходится даже наклоняться в дверях. Их приветливо встречает почтенная байбиче в белом элечеке. Она наливает им кумыс. С жадностью пьет Исхак этот кумыс, а байбиче жалеет его: «Исхудал ты, храбрец!..»

Очнувшись, Исхак все думал, к чему бы это привиделось. Уж не к тому ли, что выберется он из каменной могилы?

Потом привиделось ему и другое: будто лежит он мертвый, вытянувшийся. Возле одного из крыльев той самой белой юрты настелен зеленый камыш, а над юртой укреплено траурное знамя алого цвета — в знак того, что умерший человек еще молодой. И великое множество вооруженных джигитов горько оплакивают его смерть. Тут же, впереди почетных стариков, стоит Уалихан, он должен прочесть заупокойную молитву.

«А это к чему?» — удивился Исхак. Уж не к скорой ли его смерти?.. Он расправил плечи, посмотрел наверх. Темно. Когда же рассветет?

— Эй, ты здесь? — вдруг послышался незнакомый голос.

Исхак не решился ответить. Сверху между тем опускалась лестница. Он ухватился за нее. Неужели пришло освобождение? Но почему ночью? Может, его поведут на казнь?

— Выходи скорей! — поторопил тот же голос.

Исхак молча, весь дрожа, вскарабкался по лестнице к выходу из зиндана. Ему помогли выбраться. Исхак пошатнулся. Воздух чистый и, кажется, холодный. На темном фоне неба вырисовывались две еще более темные тени — сарбазы.

Один из сарбазов пошел впереди, другой позади Исхака. Так они привели его в помещение, которое занимал Иса-оулия.

Иса-оулия был один. Сидел, согнувшись, в черном чапане внакидку. На пленника кинул острый взгляд,— ни дать, ни взять черный кот, спрятавший на время свои когти. Оплывающая свеча из пчелиного воска еле освещала комнату.

Исхак старался держать себя так, чтобы Иса не заметил его слабости,— ступал уверенно, выпрямился. Салам Исе он не отдал. Тот поглядел еще немного на Исхака и мягко, доброжелательно пригласил:

— Проходите, ханзада.

Исхак не отвечал. Обращение звучало издевательски. Иса-оулия, должно быть, понял свою оплошность. Неторопливо поправив на плечах черный чапан, сказал по-другому.

— Сын мой, садись, поговорим...

Тогда Исхак, на исхудавшем лице которого особенно резко выступали рябины, прошел к стене, присел возле нее.

— Если тебе, сын мой, неприятно, что я называю тебя ханзадой, я не стану этого делать,— продолжал все так же мягко Иса-оулия.— Суть не в этом, а вот в чем, сын мой... Междоусобицы и распри до добра не доводят. Язычник-губернатор день от дня все больше теснит нас, все туже затягивает петлю на нашей шее. И если мы не добьемся сейчас единства, причем любой ценой, то лишимся и нашей веры, и нашей земли, и нашей власти.

Исхак слушал мрачно, отрешенно.

— Кто печется сейчас о собственной выгоде, добивается только личной своей цели, будь он хан, бек или разбойник с большой дороги, от того отвернется с презрением народ...— Иса-оулия тяжело вздохнул.— Насриддин не оправдал надежд. Что толку скрывать это теперь? Мало того, он встал на путь своего полоумного отца, стакнулся с язычником-губернатором, а на минбаши смотрит косо. А если хан смотрит косо...

Исхак прервал его:

— Разве мы не говорили, что не будет конца распрям, пока не уничтожат проклятую орду? Разве мы не говорили, что нынешним жадным властителям нет дела до того, гибнет страна или нет? Разве не говорили, что, пока они у власти, не жди добра для общества?

Что на это ответить? Иса-оулия и не пытался возражать.

Добившись власти над ордой, Абдурахман отправил во все концы страны такое письмо: «О мусульмане! Попираются могилы наших предков, разрушаются мазары. О народ! Из-за тех насилий, что вынуждены мы терпеть вот уже много лет, дехкане не могут спокойно сеять хлеб, скотоводы — выращивать скот, торговцы — торговать. Усилились распри и между нами, брат посягает на жизнь и имущество брата, мы забыли наши обычаи и шариат, завещанный пророком. Всем этим пользуется, на этом наживается чужеземный правитель-губернатор. О мусульмане! Оставим споры и распри, нам прежде всего надо избавиться от чужеземного наместника. Седлайте боевых коней! Подымем священное знамя пророка, о мусульмане!» Призыв к освобождению родной земли и народа легче всего находит отклик в сердцах. На это и рассчитывал Абдурахман.

Действовал он быстро. В начале августа месяца его десятитысячное войско заняло считавшееся пограничным селение Аблык, а затем и весь уезд. Была перерезана почтовая линия Ташкент — Ходжент, совершен набег на укрепление Туле, где стоял русский гарнизон. Двигавшийся по направлению к Ходженту отряд овладел несколькими почтовыми станциями и занял селение Дигмай в двенадцати верстах от Ходжента. Войска, наступающие по берегу Сырдарьи, заняли Сильмахрам, Самгар, Нау, Паркен и подошли к Ташкенту ближе, чем на сорок верст. В тот же день нарушена была почтовая линия между Ура-Тюбе и Ходжентом, разгромлен стеклянный завод купца Исаева, Ходжент осажден.

Ташкентский генерал-губернатор фон Кауфман ждал только повода для военных действий. Он немедленно выслал хорошо вооруженный отряд в тысячу пятьсот человек под командой генерала Головачева. А в Ходженте к нему присоединился гарнизон, которым командовал полковник Скобелев.

Фон Кауфман в Ташкенте на этом, конечно, не успокоился. Он тотчас послал лазутчиков к Насриддин-хану с тем, чтобы они настроили его против Абдурахмана. Вокруг Насриддин-хана сплотились верные ему придворные.

Генерал Головачев встретил в долине Ангрена шеститысячный отряд Зулпукара. К середине августа отряд этот был разгромлен, а Зулпукар с остатками войска вынужден был отступить в горы. На ходжентском на-

правлении полковник Скобелев тоже добился успеха и вновь занял Паркен.

Теперь Насриддин-хан и его приспешники решили воспользоваться случаем и впустить в город русские войска. Это помогло бы им и недовольных усмирить, и от Абдурахмана отделаться. Насриддин-хан послал в Ташкент письмо с просьбой о помощи. И на основании этой просьбы «истинного хозяина страны» фон Кауфман отдал приказ войскам, находившимся в пограничных селениях, наступать на Фергану, занять ее.

Вот каково было положение к тому времени, когда Иса-оулия извлек ночью Исхака из темницы и начал переговоры с ним.

— Такие-то дела, сын мой, такие дела,— говорил Иса-оулия.— Что предпринять? Нелегко нам, нелегко. В народе нет единства, силы наши распылены. Надо попытаться объединить под священным знаменем газавата и народ наш, и воинские силы. Пусть сгинет эта династия, согласен! У нас есть наш минбаши...

Исхак внимательно вглядывался в лицо Исы — доброе, мягкое, совсем как у старика-бахчевника из селения Ботокара. Да-а, что и говорить, этакий богобоязненный старичок... Куда же, однако, он гнет? Не иначе, обмануть хочет, вокруг пальца обвести.

— Ты человек разумный, сын мой, вот и подумай. И напиши-ка Бекназару письмо: «Во имя отчизны, во имя родного народа, во имя веры идите на священный бой, выполняйте приказы минбаши, такова моя воля».

Слуга внес серебряный поднос, на котором стояли высокогорлый изукрашенный сосуд и маленькая чашечка.

— А, питье? — сказал Иса-оулия, принимая поднос у слуги.— Это хорошо. Мы нальем сами...

Слуга удалился, а Иса принялся наливать из сосуда в чашечку таинственное питье, которое Исхак по запаху определил как вино. Но вино не простое, а с хитростью: в перебродивший виноградный сок добавляли несколько капель молока и нарекали жидкость «мусаллас». Мусаллас пили даже самые благочестивые придворные. Вино пить — грех, а мусаллас — богоугодное дело! Иса-оулия с молитвенным возгласом опрокинул себе в рот чашечку, затем наполнил ее снова и предложил Исхаку. Тот не смог отказаться — слишком часто томила его жажда там, в зиндане. Выпил чашечку одним духом, Иса налил еще, Исхак выпил и ее, поблагодарил:

— Спасибо за вашу доброту, бек...

— Бога благодари, сын мой. Да, так я и говорю, что письмом своим ты поможешь и всему народу, и себе. Себя, значит, тоже выручишь...

Исхак не отвечал долго. Вино разморило его. Но хитрый старик, негромко покашливая, ждал ответа. И тогда Исхак сказал громко и даже весело:

— Хотите, чтобы я предал самого себя? Нет, оулия, уж если приспела нужда во мне, я сам выберу дорогу, а вы, если хотите, подчиняйтесь моим приказам, становитесь под мое знамя!

Благодушия Исы-оулия как не бывало. Теперь он опять напоминал черного кота, подстерегающего добычу. Слова Исхака привели его в бешенство. Что несет этот помешанный? Понимает ли он, где он находится, о чем он возмечтал, а? Как может он пренебрегать единственной возможностью уберечь свою шальную голову? Иса глянул на пленника и не увидел страха смерти на его лице. Старик дважды хлопнул в ладоши, и появились два сарбаза. Он приказал им увести пленника. Встал, с трудом распрямляя затекшие колени, бросил через плечо:

— Твое упрямство падет тебе же на голову, сын мой!

И ушел, не оглядываясь, поправляя вновь сползший с плеч чапан.

На следующий день полковник Скобелев взял крепость в осаду.

Исхак, возвращенный в свою темницу, повалился наземь и долго и крепко спал — сказалось выпитое вино. Проснулся он внезапно, будто кто-то сильно встряхнул его за плечо. В зиндане было темно. Никто Исхака не встряхивал. Он было начал укладываться снова, но тут до него донесся сверху шум — глухой, но сильный и близкий. Что это? Казалось, дрогнула земля. Исхак вскочил. Теперь он слышал беспорядочные крики, топот, выстрелы из пушек-китаек. «Русские пришли!» — догадался Исхак и заметался по своей темнице. Остановился, крикнул вверх что было сил:

— Э-эй, кто там?

Но крик его никому не был слышен в поднявшейся шумной сумятице. Да и некому было прислушиваться, все участвовали в перестрелке. Грохот орудий то стихал, то нарастал с новой силой. Ржали кони. Кричали люди. И вот совсем близко от входа в зиндан раздался знакомый голос:

— Не орать, подлые ублюдки! Пожар! Подавайте воду, кошмы несите, сбивайте пламя!

Абдурахман! Исхак усмехнулся, довольный: забегали, так вам и надо! Он прижался к стене зиндана, чтобы лучше слышать. Градом пуль и снарядов осыпали крепость русские. Чем она может ответить им? Исхаку страшно было думать об этом, и он больше не находил в своем сердце веры. «Лицемеры! Погубившие всю страну лицемеры!» — стонал он. Если бы мог, он душил бы этих лицемеров своими руками, рвал бы им глотки зубами. Но что он может, заживо похороненный?.. Земля содрогалась. Запах гари и пороха проникал и сюда, в зиндан. Исхак повалился на землю там, где стоял.

Вдруг ему послышался чей-то стон. Он тотчас откликнулся:

— Кто там?

Ответа не было. Стон повторился. В зиндан упала капля, другая... Еще... Исхак подставил руку под эту страшную капель. Кровь... Задыхаясь, он протянул вверх обе руки.

— Брат! Что с тобой?

Тишина. Стоны оборвались. Мало-помалу Исхак успокоился. Стер с ладони кровь. Быть может, это кровь его врага? Кровь бека?

Снова начался жестокий обстрел крепости. «Все уничтожено. Все кончено»,— думал Исхак.

Когда стрельба утихла, Исхак лежал ничком на сыром полу темницы. Со скрипом отворилась дверь, чей-то голос спросил негромко:

— Ты здесь?

Исхак поднял голову. Вход в зиндан был едва виден. «Ночь...» — подумал он. С чего это они опять вспомнили о нем, да еще ночью? Вдруг он почувствовал, как его коснулся конец аркана. И снова сверху шепот:

— Ты здесь? Держи аркан...

Исхак, почти не сознавая, что он делает и зачем, встал, ухватился за аркан.

— Скорее...— раздалось нетерпеливо.

Исхак обвязался арканом; его сразу начали поднимать наверх, ноги оторвались от земли. Ухватившись руками за край тюремной ямы, он увидел смутные очертания человеческой фигуры. Запах крови стоял в воздухе. Сейчас Исхаку было безразлично, смерть его ждет или свобода. Он был готов к любому исходу.

— Ну что здесь? — спросил он.

— Тихо, ты! — зашипел неизвестный, который успел тем временем помочь ему выбраться из ямы.

Пригнувшись, спаситель Исхака повел его за собой в темноту. Обходя разбросанные повсюду обломки, то и дело натыкаясь на тела убитых, подошли они к лестнице, которая вела на крепостную стену. Исхак огляделся. Темно. Чуть виднеется в вышине минарет, с которого провозглашают азан. Минарет, по-видимому, не пострадал при обстреле. Вон там, в стороне, должно быть, есть еще живые люди,— заметно движение, слышны стоны раненых, брань. Исхак, глаза которого привыкли к темноте, увидел теперь, как сильно разрушена крепость... Спутник потянул его за полу.

Они поднялись на стену. Внизу шумела река. Исхак наклонился, вглядываясь в темноту. Он ничего не видел, но казалось ему, что видит он и реку и лес по ее берегам, и свесившиеся над водой ветви краснотала... Свобода... Исхак, забыв о смертельной опасности, едва не сорвался со стены, но спутник вовремя удержал его.

— Не спеши, повелитель, к смерти... На, держи и спускайся потихоньку.

Снова обвязавшись арканом, Исхак медленно спускался со стены. Спускался и думал о том, что сейчас его могут легко убить, отпустив конец аркана. Скажут потом: «Хотел бежать, да упал, разбился». Но аркан отпускали понемногу, осторожно, и скоро ноги Исхака коснулись земли. По заросшему жестким бурьяном склону сполз он еще ниже, на ровное место. Рванулся к воде. Вошел в реку по пояс, плескал горстями воду в лицо, пил ее жадными глотками, чувствуя необыкновенный прилив сил. Выбрался на берег и быстро пошел вниз по течению. Вновь возник перед ним какой-то человек; Исхак, задыхаясь, крикнул ему:

— Кто ты? Пропусти, не держи меня!

Человек приблизился к нему еще.

— Исхак! Дорогой ты мой...

Сердце дрогнуло у Исхака. Бекназар! И тут он вдруг ощутил в себе такую слабость, что подкосились ноги. Бекназар подбежал, обнял.

— Дорогой мой, жив...

Не в силах говорить, Исхак крепко прижался к богатырской груди Бекназара. Их окружили джигиты.

Каждому хотелось обнять спасенного. Но Бекназар уже торопил:

— Скорее, скорее!

Исхаку подвели серого аргамака. Бекназар помог сесть в седло, но едва Исхак взял в руки поводья, вдохнул запах коня, ему показалось, что за спиной выросли крылья. Он обернулся в ту сторону, где мрачно темнела крепость Махрам.

— Бекназар-аке, а как же тот, что помог мне бежать? Остался там?

— О нем ты не беспокойся, Исаке! — отвечал Бекназар, подымаясь в седло.— Он везде пройдет...— и, подняв обе руки вверх, воскликнул: — А ну! Аминь, дай нам бог добрую дорогу, помоги нам, дух предков, освети наш путь! Вперед!

И тронул коня...

Птицей летел серый аргамак, а голова в голову с ним несся чубарый. Бекназар поддерживал Исхака под руку. Следом за ними скакали джигиты, скакали, соревнуясь с ветром, по просторам широкой Ферганской долины...

Они держали путь на гору Улутау. Ее величественная громада издалека видна даже в сумраке ночи. Но вот посветлела вершина Улутау, занималась над ней заря. Всадники мчались, не сдерживая коней, туда, навстречу заре, навстречу подымающемуся из-за горы солнцу.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

Потеряв двенадцать тысяч своих людей, Абдурахман все же преодолел сопротивление наступающих и ушел из крепости с пятью сотнями и в сопровождении Исы-оулия. Фон Кауфман тем временем двигался к Коканду во главе многочисленного войска. Насриддин-хан изгнал из города всех, кто при дворе был на стороне Абдурахмана, самого Абдурахмана приказал в город не пускать; нимало не медля, собрал людей, к которым относился с уважением, и вместе с ними вышел пешком из городских ворот навстречу наместнику.

После встречи с Насриддин-ханом фон Кауфман направил донесение военному министру: «По личным объяснениям с ханзадой, выехавшим ко мне навстречу с изъявлением покорности и преданности государю императору, и по другим сведениям, утверждающим его показания, я убедился, что ханзада лично не виновен во вторжении кокандцев в наши пределы. Я признаю ханзаду за человека, с которым можно иметь дело».

Вскоре был составлен договор и подписан с одной стороны Насриддин-ханом, с другой — фон Кауфманом. По условиям договора, северная часть страны вместе с имевшим стратегическое значение городом Наманганом, находившимся на правом берегу Нарына, отходила к Российской империи. Население этой области должно было выплатить контрибуцию в шестьсот тысяч рублей золотом. Насриддин-хан, мечтавший лишь о сохранении ханского титула, охотно на все соглашался...

Фон Кауфман вызвал к себе переводчика и теперь сидел, кого-то явно ожидая. Вскоре вошел адъютант, а с ним изможденный дервиш. Фон Кауфман, приподняв брови, с любопытством смотрел на дервиша. Тот весь съежился и не поднимал глаз.

— Это он?

— Да, ваше сиятельство.

Фон Кауфман улыбнулся.

— Добро пожаловать!

Переводчик тотчас перевел это приветствие, но дервиш-дивана в ответ только затрясся и еще сильнее вдавил голову в плечи. «О аллах, не дай мне увидеть лицо нечестивого, возьми мою душу!» — бормотал он еле слышно.

Фон Кауфман взглянул на переводчика. Тот пожал плечами:

— Ваше сиятельство, он, мне кажется, читает предсмертную молитву...

— Гм... — недовольно произнес фон Кауфман, и переводчик поспешил пояснить:

— Ему, по-видимому, чужды суетные помыслы, он отрекся от благ мирских... Рассудок его затуманен.

Фон Кауфман наклонил голову.

— Гм, да, кажется, что так... Ну, а как ваше имя? — спросил он дивану, теперь уже без всякой ласковости.

Выслушав этот вопрос из уст переводчика, дивана заговорил отрывисто, то и дело запинаясь:

— Мое? Слава богу... имя мое Болот... я по милостивому соизволению аллаха мусульманин... раб божий... пророка Мухаммеда...

Толмач переводил слово за словом, и Кауфман не мог сдержать улыбку.

— Значит, ежели вас об этом спросят, вы так прямо и скажете?

Дивана кивал головой.

— Пускай спрашивают, хорошо, пускай спрашивают...

— Прекрасно! — фон Кауфман поднялся, препоручил дивану адъютанту, приказал, чтобы ханзаду вымыли хорошенько и одели в подобающее платье.

Поскольку волнения в народе не прекращались, а имя Болот-хана было у всех на устах, фон Кауфман решился пойти на такой ход: предъявить людям дивану Болота, показать им, что они обманывались. И он спешно отправил гонцов в Самарканд...

На следующее утро, перед тем как двинуться в путь, дивану снова привели к фон Кауфману. Вид Болота не изменился, и одет он был все в тот же мешковатый серый чапан и старую чалму. Генерал, увидев, что приказ его не выполнен, нахмурился:

— Бог мой, и это наш ханзада?

— Ваше сиятельство, он отказался переменить одежду,— почтительно объяснил адъютант.— И пищу не принимает...

Удивленный фон Кауфман только головою покачал.

Во главе большого военного отряда генерал вступил в Маргелан. День был базарный. Тотчас начали сгонять людей к тому месту, где решили показать им Болота. Занимались этим конные глашатаи.

— Эй! Собирайтесь поживей. Поздоровайтесь с ханзадой Болотом. Вам нужен Болот? Идите поглядите на него! Можете следовать за ним, если вам охота!

Скоро собралась большая и шумная толпа. Люди диву давались, глядя на тщедушного, готового чуть ли не в клубок, как еж, свернуться Болота. «И это ханзада? Но ведь это бродячий дервиш-календер!» — «У бедняги затравленный вид...» — переговаривались в толпе. Все эти слова толмач немедленно переводил фон Кауфману.

Генерал предложил:

— Почтенные старики! Быть может, кто-то из вас сам спросит его, кто он такой?

Переводчик повторил его обращение по-тюркски. Впе-

ред выступил старец в чалме и поздоровался с диваной. Тот ответил на приветствие, поклонился низко и не заговорил, а запричитал:

— Правоверные! Меня взял в плен этот неверный, силой удерживает у себя. Освободите меня...

— Кто же ты, раб божий, следующий по пути, предначертанному богом?

— Мое имя Болот, господин мой... Я раб бога, верую в пророка Мухаммеда...

— Какой Болот?

— Сын Ибрагим-бека, господин...

— А кто такой был Ибрагим-бек?

Дивана отвечал, всхлипывая:

— Сейчас объясню, господин... Ибрагим-бек, да будет аллах к нему милостив, был наш отец, потомок мингов, сын победоносного завоевателя Алим-хана...

Ропот недоверия пронесся по толпе: «Лжет он!» — «Повторяет, что ему приказали!» Толмач переводил фон Кауфману. Генерал, очевидно, был готов к такому недоверию и только молча кивнул одному из сопровождавших его представителей орды. Тот достал из-за пазухи Коран и вручил старику в чалме. Старик взял Коран, как положено, обеими руками, коснулся губами переплета и затем обратился к диване:

— О смертный, следующий по пути, начертанному богом, согласишься ли ты повторить, что являешься внуком Алим-хана, Болот-беком, держа в руках священную книгу? Подумай, раб божий. Священная книга покарает клятвопреступника.

Но дивана бестрепетно принял от старика Коран, привычно приложился к книге губами и заговорил быстро и все так же слезливо:

— Если я солгу, пусть покарает меня священная книга... Да отступится от меня святой пророк... Я сын Ибрагим-бека Болот... О мусульмане, освободите меня, ибо стал я пленником у неверного и удерживают меня силой. Осквернен мой намаз, о мусульмане...

Его слушали в полной тишине, а когда он кончил, откликнулись с явным сочувствием: «Это он, стало быть...» — «Обратился на путь бога, бедняга!» — «Кому от него вред?»

Толмач делал свое — шептал и шептал Кауфману чуть ли не в самое ухо. Фон Кауфман отдал еще один приказ. Сообразительный толмач подтолкнул застыв-

шего от важности Султанмурат-бека. Тот вздрогнул и задвигался.

— Кха-а...— откашлялся Султанмурат.— Уважаемые жители Маргелана! Здесь перед вами находится, как вы сами убедились, сын Ибрагим-бека ханзада Болот-бек...

Он не говорил, а почти кричал.

— Он, конечно, никому вреда не причиняет, он мухи не обидит, он мусульманин, вступивший на путь служения богу... Но,— тут Султанмурат еще повысил голос,— почтенному собранию известно, что есть негодяй, похитивший у нашего родича ханзады его имя и посягающий на его исконные права, негодяй, который сеет смуту и обманывает народ, и тем самым чинит зло. Вы видите, слышите и верите, что перед вами стоит сейчас истинный ханзада Болот. А тот, кто прикрывается его именем, на самом деле безбожный бродяга! Безумец! Его настоящее имя Исхак. Слышите, мусульмане? — Он распалился донельзя, брызгал слюной.— Вам нужен Болот? Вот он перед нами! Отвратите свои помыслы от дурных дел. Если кто-либо из ваших соседей, родичей или знакомых следует за этим вором и бродягой, скажите им, пусть покаются перед истинным повелителем. Они будут прощены! — Султанмурат-бек напыжился еще больше и, потрясая в воздухе рукой, в которой зажата была плеть, крикнул: — Если пожелает аллах, то мы с братской помощью высокочтимого губернатора в ближайшее время схватим наглого самозванца и отправим его в преисподнюю!

Ни слова не раздалось из толпы в ответ. Те, кто стоял подальше, начали по одному, по два расходиться. Любопытные, наоборот, подбирались поближе к диване — взглянуть на него.

По знаку фон Кауфмана поднялся еще один человек — богатырского сложения и роста, в одежде воина. Он окинул толпу неприязненным взглядом, а люди встретили его появление негромкими возгласами: «Это ведь батырбаши Атакул?» — «Да, тот, который предал Исхака!» И снова все стихло; фон Кауфман наблюдал за толпой, сощурив глаза и прикусив нижнюю губу.

— Эй, люди! — крикнул Атакул, резко, как норовистый конь, вскинув голову.— Чего глядите, будто не узнаете меня? Я батырбаши Атакул. Я, как глупый баран, таскался много лет за самозванным ханом. Я поднял руку на священный престол, опору шариата, поднял ру-

ку на законного хана. Но в конце концов я опомнился. Опомнитесь и вы, бросьте обманщика! Это я вам говорю, оставьте его!

Фон Кауфман согласно кивал головою. Кто-то в толпе проворчал: «И чего еще выскочил этот предатель?..» Когда Атакул замолчал, фон Кауфман что-то сказал переводчику, тот — Султанмурату. Важный Султанмурат поднялся и подошел к Болоту. Взял его под руку, поднял, повел поближе к людям, приговаривая:

— Вот, смотрите хорошенько! Вот истинный бек, истинный ханзада...

Толпа разделилась. Кое-кто попятился, кое-кто разглядывал дивану, не выражая ни радости, ни уважения. Из задних рядов продолжали уходить. Никто не обращал внимания на призывы охрипшего Султанмурата. Атакул преградил было дорогу уходящим.

— Ну, седые бороды! Вы куда? Что разбегаетесь, как овцы из загона?

Его брань тоже осталась без ответа. Толпа редела. Султанмурат, волоча под руку вялого и обмякшего Болота, подошел к фон Кауфману. Тот сидел злой, насупившийся, и Султанмурат остановился с видом приниженным и нерешительным — точь-в-точь пес, который нашкодил и ждет побоев от хозяина.

Атакул же все взывал к уходящим. Вот он остановил какого-то человека в длинном черном чапане.

— Куда? Уши у тебя есть?

Тот отвечал вежливо:

— Мы уже слышали, добрый джигит...

— А если слышал, куда идешь?

— Да тут неподалеку, сейчас вернусь, добрый джигит...

Атакул только выругался.

Толмач знал свое — переводил да переводил фон Кауфману все, что слышал...

Фон Кауфман сел в седло. Сдерживая танцующего от нетерпения коня, крикнул во весь голос, с нескрываемым теперь гневом:

— Эй!

Люди, услыхав его окрик, остановились.

— Эй, сарты! Узбеки! — продолжал генерал.— К вам я особо обращаюсь. Опомнитесь! Не верьте зачинщикам смут! Помните, что киргизы, решившись воевать, ничего не могут потерять, не имея никакой оседлости, вы одни,

сарты, узбеки, поплатитесь жизнью и имуществом! Опомнитесь!

Толмач перевел речь генерала. Никто не проронил на это ни звука.

— Слышали? — спросил фон Кауфман.

Но и теперь ответа не получил.

В тот же день беком Маргелана назначен был Атакул. А по улицам и кварталам разослан приказ фон Кауфмана:

«Объявить во всех кишлаках и аулах местным властям, что если население, подвластное им, будет участвовать в шайках или помогать каким бы то ни было способом этим шайкам, то кишлак или аул будет разорен, а начальники их подвергнутся заслуженному наказанию».

Бывает время — тиха и покорна горная река, отводи ее воду в любой арык — твоя воля. Но наступит день — и она превращается в бешеного слона, все уничтожающего на своем пути: не пытайся тогда удержать ее, не пытайся ставить ей преграды. Все будет сметено; может случиться и так, что покинет река то русло, по которому текла столетия, и выберет себе новый путь.

Гнев народа против прогнившей насквозь орды, против бездарного хана набирал день ото дня силу, как горная река воду из ледников. И губернатор со всем его могуществом ничего не мог тут поделать.

Фон Кауфман послал спешное донесение военному министру: «Насриддин-хан не сумел или не мог собрать ни воинов, ни денег для борьбы. Беки, им назначенные в Андижане, в Шарихане, в Балыкчи, без денег, без войска, оружия, изгнаны из городов. Народные силы, оружие в руках восставших. Во главе восстания опять стал мулла Исхак Хасан оглы».

Имя Исхака снова стало знаменем единства и освобождения. Все слои населения, в том числе и жители больших городов, отказывались присягать и повиноваться Насриддин-хану. Хан сидел в Коканде с кучкой придворных.

«Необходимо самим взять дело в руки, а для сохранения спокойствия в ханстве противопоставить непокорному, необузданному элементу населения кокандских владений нашу вооруженную силу, которая могла бы во всякое данное время быстро переноситься в среды поселений кипчаков и кара-киргизов и наказывать их

за всякую попытку к нарушению общего спокойствия»,— снова писал фон Кауфман в отчете военному министру и спрашивал позволения на немедленное вмешательство.

А в селении Ботокара подняли Исхака по старинному обычаю на белом войлоке и объявили ханом.

2

Исхак придержал поводья светло-серого, как предвечернее облако, аргамака. Постоял, глядя на ворота Андижана. Рядом с ним остановились с одной стороны Бекназар, с другой — Абдылла-бек. Позади — многочисленное войско, впереди — крепость, не чужая, не враждебная, но мрачная, неприветливая.

Со стены крепости прогремел пушечный выстрел — в честь его, Исхака.

Исхак чуть тронул аргамака, и тот двинулся вперед, выступая плавно и величаво. Неподалеку от ворот Исхак соскочил с коня на землю. Никто этого не ожидал, сопровождавшие Исхака беки и саркеры недоуменно переглядывались, однако, спохватившись, последовали примеру предводителя. Те, кто вышел встречать прибывших еще до того, как они войдут в город, тоже недоумевали, но тут же, прижав руки к груди, склонились низко.

Ни на кого и ни на что не глядя, Исхак прошептал молитву и прошел через ворота пешком, ведя в поводу коня. Едва ступив на землю древнего Андижана, он опустился на колени и припал к земле губами. Поднявшись, приветствовал тех, кто встречал его,— а их было несметное число,— голосом негромким и хриплым от волнения:

— Ассалам алейкум, мой древний город и мой родной народ...

И толпа как выдохнула:

— Добро пожаловать, отец народа!

Кланялись Исхаку истово, прижимая к сердцу руки. Он подошел к дряхлому старику с бородой по пояс, помог ему распрямиться, прижал к груди. Старик его тоже обнял, а затем принялся рукавом отирать слезы.

— О творец, все в твоей власти, ты и даешь, ты и отнимаешь. Открой путь защитнику народа, сохрани ему место в твоих чертогах...— всхлипывая, заговорил кто-то.

И в эту минуту изо всей мочи затрубили в свои трубы два карнайчи. Вперед выступил глашатай.

— Болот-хан! Болот-хан!

Улицы были забиты народом. Снова загремели пушки, троекратным залпом приветствуя виновника торжества. От больших ворот до самого дворца бека дорога сплошь была устлана циновками. По ним осторожно ступал светло-серый конь, а Исхак сидел в седле, чуть согнувшись, забрав в руку поводья, и, не поворачивая головы, только поводил глазами по сторонам. Лицо у него было просветленное. Следом за ним ехали Бекназар-батыр и Абдылла-бек. За ними — воины, множество воинов.

— Победитель! Победитель!

Словно море, волновался народ, шумел, двигаясь по улицам. Старики — знатоки обычаев — прижимали к сердцу руки, спрятанные в длинных рукавах черных долгополых чапанов:

— Будь здоров, сын своего отца, будь здоров! Благо тебе, сын своего отца...

Что он даст этому народу? Что хорошего сможет сделать? Как оправдает надежды и доверие народа? Исхак поглядывал да поглядывал искоса на людей. «Я освобожу их от притеснения правителей-мингов... А дальше что?» — думалось ему. Ведь только для этого и сел он на боевого коня, за это готов и голову сложить. За это ли? Неспокойно было на душе, и мысли роились в голове какие-то неясные, неопределенные. Не чувствовал он радости в глубине сердца, чего-то не хватало, что-то было не так...

К нему, не обращая внимания на толчею, пробивались молодые джигиты. Тот, кто изловчился первым, ухватился за стремя его коня.

— Повелитель...

Исхак протянул джигиту руку. У того сияли восторгом ясные глаза под черными, вразлет — как крылья беркута — бровями.

— Возьми и нас в свое войско, повелитель! — попросился он, не выпуская Исхакову руку.

— Как твое имя, герой?

— Эшмат, повелитель!

— Если наберешь сотню джигитов — будешь сотником, пять сотен — пансатом. Слышишь, Эшмат-батыр?

— Слышу, повелитель! — отвечал богатырски сложенный джигит, отступая на обочину улицы. Он еще долго стоял и смотрел на удалявшегося Исхака, повто-

ряя одними губами свой ответ: «Слышу, повелитель!» Словно пламенем был озарен для него Исхак на светло-сером аргамаке, и куда-то далеко ушел шум толпы и рев карнаев...

Исхак прибыл во дворец бека.

Абдурахман послал человека к Исхаку — попытать, не помирится ли. А что делать? Войско Абдурахмана полегло при осаде крепости Махрам, в Коканд его не пускал теперь Насриддин-хан... Не забыл Абдурахман и о своей мести за отца. Надо попытаться. Но что теперь скажет ему Исхак, который и сам стал ханом? Примет его, позабыв зло во имя единения, или не примет? Ведь оба они сильны, за тем и за другим сторонников, можно сказать, поровну. А может, начнется смута, разделит весь край на две враждующие половины?

Исхак не находил ясного ответа на эти вопросы, не находил такого ответа и никто из его соратников. «Пускай приедет, там посмотрим»,— сказал Исхак, в душе которого желание смягчиться боролось с мстительным чувством, таким сильным, что от него темнело в глазах. «Воля ваша, но только да не останется на нас долг справедливости!» — твердили советники. В конце концов, поддавшись на уговоры имевших на него сильное влияние Абдылла-бека и Абдымомун-бека, Исхак согласился назначить встречу в селении Ботокара.

Уже знакомый старый двор деда-бахчевника.

Собрались люди, близкие Исхаку. По правую руку от него Абдылла-бек, по левую — Бекназар-батыр, чуть подальше — хорошо известный среди рода курама Абдымомун-бек, который вел переписку. Исхак сидел под той же, что и в прошлый раз, старой урючиной посреди двора; он слегка вытянул вперед левую ногу и, упершись правой рукой в бок, мрачно смотрел на калитку.

Абдылла-бек, обозленный, твердил про себя: «Ну, абтабачи! Ну, сынок нашего дорогого родича Мусулманкула! Знаешь ли ты, что делают с волком, который пробрался в загон, напялив на себя овечью шкуру?» До жалости худой, жидкобородый Абдымомун-бек тоже был неспокоен и то краснел, то бледнел, взглядывая на мрачное лицо Исхака. Абдымомун склонен был отнестись к Абдурахману снисходительно: «На заблудившемся коне вины нет, если он возвращается в свой косяк!» А Бекназар только и ждал короткого приказа: «Хватай его!»

И никто не знал, что на уме у Исхака. Он выслушал

мнения многих советчиков, но ни разу не кивнул ни в знак согласия, ни в знак протеста, никому не дал понять, что склонен принять совет.

Негромко скрипнула, отворяясь, старая калитка. В ней показался старый Нармамбет-датха с бородой белой и легкой, точно пух едва выбравшегося из яйца цыпленка. За Нармамбетом — Абдурахман; на вид он был смел и ничуть не смущен. Никто не сказал ни слова. Третьим вошел Иса-оулия с обычным своим видом кота, спрятавшего когти.

Старый датха, опираясь на посох, медленно приблизился к Исхаку.

— Ассалам алейкум, опора народа!

Абдурахман негромко повторил приветствие, но не поклонился, а только чуть наклонил голову,— если не сносить ему головы, то хоть кланяйся, хоть не кланяйся, один черт!

Из уважения к преклонному возрасту датхи, который едва, по-видимому, держался на ногах, Исхак встал, ответил на приветствие и взял обе руки старика в свои. Нармамбет не ожидал этого и даже прослезился.

— Желаю тебе блага, сынок...

— Садитесь, отец датха,— пригласил Исхак.

Его вежеством остались довольны обе стороны. «Знает обычай!» — одобрительно отметил про себя Абдылла-бек.

Но на Абдурахмана Исхак поглядел с откровенной злостью. У Абдымомун-бека захолонуло сердце: «Что же будет, господи!»

— Явились? — тихо и с издевкой спросил Исхак.

— Таково, видно, веление судьбы,— отвечал, не дрогнув, Абдурахман.— А насмешки тут ни к чему... Если счастье выпадет на долю мухе, ей поклонится даже птица симург, так говорят. Да, мы явились...

Исхак смотрел на него с любопытством и ответил, покачав головой:

— Говорят также и другое: филин хвалится тем, что мышь поймал, а плохой родич — тем, что хорошему подножку дал.

Абдурахман насупился — ему такого слыхивать не приходилось. А Исхак, у которого гневом загорелись глаза на побледневшем рябоватом лице, продолжал:

— В самом деле, кто я такой? Разве во мне суть? Верно вы сказали, я малая муха, которой выпало на

долю счастье народного доверия, а вернее бы так: я наконечник копья, которое держит народ. А вы позавидовали моему счастью, вы на правах родства змеей заползли мне за пазуху, вы устроили мне западню, дали подножку. Только ведь не мне одному — всему народу. Ну, и где же грозное войско? Где города и крепости?

Абдурахман молчал. Да и что ему было говорить?

В разговор вступил Нармамбет-датха.

— Сынок... Сын Мусулманкула прибыл сюда, чтобы исправить свою ошибку, а ты, дорогой мой, прости его не только ради себя, но ради всего народа, судьба которого в твоих руках.

Абдурахман и Исхак вроде бы успокоились и слушали, что говорил дальше престарелый датха.

— Мы ведь тоже не стариками родились, не с седыми волосами появились на свет. И мы знали многие дороги, и мы водили по ним войска.

Ходили и мы по горам,
Западни расставляли врагам.
Но бывало с нами и так:
Яму роешь — пусть падает враг,
Ан в нее попадаешь сам.

Вы ведь знаете, наслышаны о том, какие междоусобицы пережили мы в свое время. Из-за этих междоусобиц едва не погибло все племя кипчаков! — Нармамбет в возбуждении взмахнул обеими руками, но тут же задохнулся, закашлялся неудержимым стариковским кашлем. Долго растирал себе грудь, пока унялся кашель, а потом продолжал ослабевшим голосом:

Если конь попадет в беду —
Неразнузданный воду пьет.
Коль в беду попадет джигит —
Реку вброд в сапогах перейдет.
А народ попадет в беду —
И зимой откочует народ...

Ведь речь-то обо всем народе, можно ли в таком случае думать о соперничестве и о мести? Мы должны отбросить прочь личные счеты, должны по-братски обнять друг друга.

Он кончил. Исхак и Абдурахман были покорены его доводами — во всяком случае, они обнялись, как и поучал их старик.

— Ну что ж, бек,— заговорил Исхак,— кто старое

помянет, тому глаз вон. С тех пор многое изменилось, теперь у нас новые условия и новые права.

— Конечно, повелитель,— отвечал Абдурахман.— Мы понимаем, что человеку, избранному аллахом и любимому народом, надо служить, не жалея ни души своей, ни крови...— и поцеловал полу халата Исхака.

Благополучным завершением дела довольны были все. Старый бахчевник пригласил всех на чарпаю — широкую деревянную кровать-помост — и подал свежие плоды...

Ночью Исхак видел во сне дракона.

Исхак пробудился в испуге. Поднялся с постели и, слушая частый стук сердца, долго стоял в темноте. Медленно возвращалась ясность в мыслях. Он думал о будущем, о пути, что открывался перед ним, и мечта, от которой горела голова и сладким холодом замирало сердце, влекла его вперед.

Он сам отказался от принесения человеческой жертвы во время торжества провозглашения его ханом. Приверженцы обычаев, знатоки примет пытались переубедить его, Исхак отвечал им: «Когда пророк Ибрагим собирался принести в жертву богу своего сына Исхака, ангел остановил его руку с занесенным ножом и приказал заменить человека ягненком. Впоследствии пророк Мухаммед возвеличил предание об Ибрагиме и запретил приносить в жертву богу детей человеческих. Рыжеголовый белый ягненок — вот жертва, достойная мусульманина, а также белый без отметины верблюжонок. Принесение человеческой жертвы — это старый обычай, домусульманский, обычай диких, языческих времен, когда люди еще не познали единобожия!» Открыто выступать против шариата никто не осмелился, но нашлось немало таких, кто тихомолком выражал недовольство: «Безродный, известное дело, чего еще от него ждать?!» Другие же громко хвалили Исхака: «Долгих лет ему! Он понимает народ и знает обычаи веры!..» И перед тем, как подняли Исхака на белом войлоке, в жертву принесен был верблюжонок — без отметины, белый.

«Теперь уже весь народ вручил тебе власть над собой, у тебя в руках поводья. Ты должен заботиться о народе, ты государь. Что же ты станешь делать?»

Начинало светать, и в комнату проникали первые

слабые проблески дня. Серыми тенями выступали из тьмы вещи, что находились в комнате. Донесся протяжный призыв муэдзина.

После первого намаза Исхак собрал приближенных на совет. Он провел бессонную ночь, он устал от размышлений. Осунулось лицо, глаза покраснели. Перед собравшимися поставил он только один вопрос: кто наш главный враг? Он ждал ответа, а никто не решался заговорить первым: ни Абдымомун-бек, ни Абдылла-бек, самые опытные из его советников, ни военачальники Бекназар и Момун, и никто другой. Исхак молчал и ждал.

Наконец заговорил Абдымомун.

— Повелитель, все, что происходило с нами до сих пор, доказало нам с очевидностью, что главный и непримиримый враг наш — это иноверный губернатор. Пока мы с ним не покончим, нам ничего не добиться ни для страны, ни для народа. Ведь до сих пор не было у нас властителя, который собрал бы воедино всех. Таким властителем стали вы, только вы, государь, все находится в вашей сильной руке. И это ваше счастье, повелитель! На ваше усмотрение предлагаю я: поднимите священное зеленое знамя войны мусульман против губернатора, против наместника. Это угодно пророку...

Его перебил Бекназар:

— Откуда исходит все зло для народа? Кто отдавал города во имя своих личных целей? Кто хуже чужеземного врага преследовал свой народ, кто натравливал на этот народ воинскую силу того же наместника? Нет, мы прежде всего должны воевать против скверных правителей орды!

И то, и другое мнение нашло своих сторонников, а Исхак открыто не присоединялся ни к тому, ни к другому. Он только слушал.

Да, ему предлагают два пути. Либо захватить орду и вступить затем в переговоры с наместником. Тогда он должен будет, это неизбежно, вести себя так же, как вели представители династии мингов, давать те же обещания и открывать те же двери,— иначе не удержать ему ханскую власть. Что нашли на этом пути Кудаяр-хан? Насриддин-хан?.. Либо надо, объединив все роды и племена, двинуться против наместника и попытаться вытеснить его из Ташкента. Что нашел на этом пути Абдурахман?.. Исхак искал третий путь — свой собственный.

— Уважаемые,— сказал он,— мы двинемся на Коканд. Мы не станем воевать с русскими, наоборот, мы отправим к наместнику нашего посла, чтобы наместник понял нас, оценил чистоту наших намерений и не предпринимал против нас военных действий. Он, конечно, не мог до сих пор завязать с нами отношения, ибо он разговаривает лишь с теми, кто владеет столицей. Заняв столицу, мы должны добиться отмены договора, который заключил наместник с правителями династии мингов. Вот как мы начнем действовать с завтрашнего дня.

Слово хана закон. И даже Абдымомун-бек не преминул выразить свое согласие:

— Ваша государева воля священна для нас!

Бекназар-батыр не скрывал своего торжества.

Исхак продолжал все с тем же сдержанным и суровым лицом:

— Шли, говорят, когда-то два товарища, один и скажи: «Как же мы перевалим во-он тот далекий горный хребет?» А второй ответил: «Перевалим сначала этот, что ближе к нам, а там посмотрим». Таков и мой ответ. Надо овладеть столицей, а там посмотрим, как нам себя держать в отношениях с русскими...

Окончание совета отложили на будущее.

Исхак собственной рукой написал письмо фон Кауфману, а посланцу, которого отправлял к наместнику, строго-настрого приказал вручить письмо лично.

После этого Исхак подсчитал, сколько же у него воинской силы. Закаленных в двухлетних боях, хорошо вооруженных, сплоченных и готовых к битве повстанцев было около двадцати тысяч. Десять тысяч пришло вместе с Абдурахманом. Да тысяч семьдесят народу, кое-как вооружившегося, набралось из ошской, узгенской, андижанской и маргеланской округ.

Назавтра созван был военный совет — наметить день выступления.

Исхак велел прикрепить к доске лист желтоватой бумаги, которую делали в Коканде и называли «насталик». Постоял, подумал, затем нарисовал гусиным пером три кружка на одном краю листа. Провел похожую на лук изогнутую линию, потом — линию, прямую как стрела. На его действия все смотрели с недоумением, никто пока не понимал, зачем это. Одним казалось, что Исхак и впрямь изображает лук с наложенной на него стрелой,

другим его рисунок напоминал распростершую крылья птицу.

Исхак нарисовал на свободном краю листа большой круг и зачертил его.

— Видали? — спросил он.

— Да, повелитель... видим...— раздались голоса. Только Абдымомун-бек промолчал. Ему было страшно: «Сохрани боже! Делать изображения живых существ и неживых предметов — великий грех. В Священном писании сказано, что это не подобает мусульманину, но лишь идолопоклоннику...»

— Это беркут! — сказал Исхак, пером указывая на рисунок.

Абдымомун-бек, вздрогнув, молитвенно ухватился обеими руками за воротник. Исхак бросил на него короткий взгляд искоса и продолжал:

— Похож? Беркут... А это,— он показал на три кружка,— это скалы, на которых место его ночлега. А вон там,— Исхак протянул руку к тому краю листа, где чернел большой круг,— большое гнездо! Его захватили вороны. Беркут, который вошел в полную силу, поднялся в небо, чтобы прогнать ворон...

Все засмеялись. Решили, что повелитель шутит. Но Исхак не шутил. Смех немедленно прекратился, и даже следа улыбки не осталось ни на одном лице.

— Этот беркут — наше восстание, это вы, это все мы! — резко сказал Исхак.— Высокие скалы, откуда поднялся беркут,— это Наманган, Узген, Ош, Андижан, а гнездо — столица страны Коканд.

— Прекрасно, повелитель!

— Теперь изобрази полет беркута.

Исхак начал объяснять:

— Прежде всего беркут должен укрепить свой тыл. Надо выделить для Намангана пять, для Узгена — три, для Оша — пять тысяч ополченцев и оставить их в этих городах.— Он поглядел на Шамырзу-датху и на Ярмата-датху.— А вас, почтенные, назначаю одного беком, другого военачальником над всем нам дорогим городом Андижаном. Возьмите пять тысяч отборного войска да пятнадцать тысяч ополченцев и хорошенько охраняйте священный город!

Шамырза и Ярмат поклонились.

— Правое крыло беркута — пять тысяч отборных воинов, а начальник над ними вы, Уали. Левое крыло —

тоже пять тысяч под вашим началом, Бекназар-батыр.

Поклонились и эти.

— Птица на крыльях взлетает, а на хвост садится. В резерве будут ваши, Абдымомун-бек, джигиты и ваши, Абдурахман-бек. Ну, а клюв беркута... пять тысяч отборных сипаев да пять тысяч ополченцев, которых возглавите вы, Абдылла-бек...

Абдылла-бек был явно обрадован таким назначением.

— Но у беркута есть еще и когти. Тысяча отборных сипаев и сто пятьдесят пушек! Этот отряд будет следовать за вашим, Абдылла-батыр, и возглавлю его я сам.

Такое распределение сил одобрили без споров. Исхак все не отходил от своего рисунка.

— Правое крыло движется вдоль Сырдарьи через Балыкчи севернее Маргелана и дальше на Коканд. Левое крыло — через Кувасай южнее Маргелана и тоже на Коканд. Возле Коканда оба крыла смыкаются и берут город в осаду. Клюв предназначен для прямого удара по Маргелану. После того как Маргелан занят, этим отрядам идти тоже на Коканд, там может понадобиться их помощь. А хвост? Это наш тыл, в нужное время отсюда идет подмога передовым войскам, а если нет в этом нужды, тыловые отряды уничтожают скопления врагов, пытающихся нападать сзади.

— О, ничего не забыто, все предусмотрено! — не скупились участники совета на похвалу.

— И крылья, и клюв, и хвост, и когти должны составлять одно целое! То есть все отряды должны непрерывно поддерживать между собою связь. Свои приказы я буду передавать с нарочными, а выполнять их надо немедленно, как получите!

Внимательнее всех слушал Исхака и наблюдал за ним Абдурахман. Слушал и удивлялся про себя: «Откуда это он ума набрался, а?»

Исхак тем временем пристальным взглядом обвел всех участников совета, как бы проверяя каждого еще и еще раз.

— А теперь, соратники мои...— он примолк, потом заговорил медленно и раздельно: — Вороны каркают. Но как бы громко они ни кричали, как бы ни старались причинить зло, сил у них мало. Да только есть такая птица, которая осеняет их своими широкими крыльями, а клюв у этой птицы железный...

— Генерал-губернатор! — не удержался кто-то от слова.

Исхак продолжал.

— С этой птицей, с ее железным клювом надо избегать встречи и столкновения, надо суметь укрыться от нее...

Ему снова пришлось задержаться: в дверь, никем не остановленный, вошел гонец. Исхак поднял голову, поглядел на гонца и по виду его понял, что вести он привез плохие.

Исхак застыл в ожидании, не решаясь задать вопрос. В тревоге ждали и остальные: все узнали того, кого отправил Исхак как сопровождающего при посланце к фон Кауфману.

— Повелитель! — задыхаясь, сказал гонец.— Наместник приказал задержать посла.

Слова его упали в тишину. Ни саркер, ни беки, ни мудрые советники не решались ее нарушить и смотрели на Исхака — что скажет он. Исхак перевел дух и, видимо, собрался с мыслями. Порозовело побледневшее при словах гонца лицо, он вдруг усмехнулся.

— Ничего. Дело еще не кончено. Мы должны подавить свой гнев и тем более стараться избежать железного клюва могучей птицы. Вот выгоним ворон из гнезда, лишатся они хозяйских прав, а мы их получим, тогда и птица с железным клювом вынуждена будет с нами считаться. Об этом мы никак не должны забывать, этого должны ждать и добиваться.

Абдымомун-бек про себя злорадствовал. Но никто не возразил Исхаку, наоборот, открыто, вслух, все его поддержали.

Назначили день выступления. Совет закончился.

Прекрасным пестротканым ковром расстилается широкая Ферганская долина.

Желтеют на ней невысокие холмы — как будто бы руки человеческие наставили их повсюду. По берегам рек, по заболоченным низинам стеною встал густой камыш. Привольно здесь и скоту, и всякой иной живности. Многочисленные селения утопают в густой зелени.

Стоит благодатное, изобильное время года. Куда ни глянешь — лепятся одно к другому пахотные поля. Недавно созрел ячмень, и около каждого поля белеет ток.

Часть пшеницы уже убрана, а та, что осталась несжатой, осыпает зерна от малейшего ветерка. Поспевает и рис на залитых водой участках, по которым скачут лягушки-квакушки. Открываются коробочки хлопка. Клевер цветет, радуя глаз бархатистыми переливами лиловато-красного цвета, а в клевере покрикивают перепела. На бахчах спелые дыни отрываются сами от подсыхающих плетей и лежат, источая сладкий аромат, влекущий многочисленных пчел. В садах — желтый инжир, красные гранаты, белобокие персики... Сыплется на землю золотистый урюк с деревьв, посаженных вдоль дороги.

Ни души. Опустело селение Файзабад. Не заперты калитки, не прибрана утварь. Рыщет по улице бездомный пес: вот он пытается поймать такого же бездомного кота, что сидит на глиняном дувале, но, не добившись успеха, бежит дальше и скулит, подвывая.

На окраине селения, под навесом бахчевника, смачно хрупает спелые дыни ишак со сбитой спиной.

Люди ушли. Заслышав о приближении с одной стороны войска орды, а с другой — войска повстанцев, ушли, бросив свое добро, неубранные поля, хозяйство. Прежде всего прятали красивых девушек и ладных крепких джигитов, скрывались в заросших сплошной колючкой саях, в камышовых крепях, где обычно обитали только кабаны, рыси да тигры.

Пусто в полях, пусто в селении, и висит над землей знойное марево...

Султанмурат-бек возглавлял войско орды. Толстый и рыхлый, он сидел в седле, высоко подтянув стремена: ноги, должно быть, короткие. Взглядывая по сторонам, он даже себе самому не задал вопрос, отчего так пусто, безлюдно вокруг. Разомлев, обливаясь потом, Султанмурат клевал носом. Возле него ехал ясаулбаши[1] Абдулазиз. Войско растянулось бесконечно. Верблюды тащили пушки. Курилась по ветру густая пыль, поднятая конскими копытами. Сзади доносились усталые голоса сотников, слышен был храп измученных лошадей. Колыхались знамена, блестели в солнечных лучах сбруя коней и оружие сипаев; тому, кто глядел бы на войско издалека, оно могло показаться чудовищным, извивающимся, чешуйчатым драконом.

---

[1] Ясаулбаши — начальник дворцовой стражи.

Абдулазиз-ясаулбаши тронул коня и приблизился к Султанмурату.

— Бек, надо бы спешить людей...

— Хорошо,— отвечал Султанмурат, поворачивая своего коня в ту сторону, где заметил тень.

Получив приказ спешиться, многие воины побросали коней где попало, а сами ринулись на бахчи, хватали кто дыню, кто арбуз и спешили укрыться среди камышей на берегу реки — поближе к воде, к прохладе.

Слуга едва успел разостлать достархан перед Султанмуратом и Абдулазизом, едва подал нарезанную ломтями сладкую дыню, как явился всадник; он спрыгнул с седла и застыл в низком поклоне.

Султанмурат-бек забыл о том, что надо проглотить только что откушенный сочный кусок дыни. Заплывшими красными глазками глядел он на прибывшего — одного из высланных вперед разведчиков. Ясаулбаши подался всем телом вперед.

— Что? — резко спросил он.— Что молчишь? Или тебе язык привязали?

— Повелитель... Враг близко...

Ломоть дыни выпал из руки Султанмурата. Абдулазиз вскочил.

— Бей! — крикнул он барабанщику, с лихорадочной поспешностью надевая на себя сброшенные было боевые доспехи.

Барабан загремел. Воины, которые успели разбрестись кто куда, переполошились; один не находил оружия, другой — коня, третий не мог сообразить, где искать свой десяток... Сотники носились верхом, собирая джигитов, проклинали отбившихся. А Султанмурат-бек в испуге таращил глаза, ибо не узнавал своих сипаев и принимал их за неожиданно нагрянувших врагов.

Абдулазиз, горяча вороного аргамака, носился от одной сотни к другой, проверял их готовность к битве, потом собрал сотников, объяснил, кому где занять расположение, кому когда вступать в бой, и строго-настрого наказывал зря не горячиться, пыль не поднимать, драться с умом, не теряя головы.

— Подойдите-ка сюда,— позвал он сотника, под началом у которого были пушкари.— Видите вон там небольшую ложбину? Вы, значит, займите эту ложбину, а по ту сторону неубранного поля пшеницы — видите, вон копны? — укройте сорок пушек так, чтобы они могли

держать под прицелом неприятеля. Но так, понимаете, чтобы мы тут встретили врага, а вы, когда разгорится бой, ударили бы по нему, по врагу то есть, с тыла. Все сорок орудий! И чтоб обстрел шел непрерывно — двадцать пушек палят, а двадцать остальных тем временем заряжайте. Так вы остановите вражеское наступление. Но я вам советую крепко запомнить: если высунетесь раньше времени со стрельбой, покажете, что у нас есть орудия, или, еще того хуже, бросите орудия да побежите,— пощады вам не будет! Прикажу расстрелять из пушек, из тех же самых пушек!

— Слушаюсь, господин!..

— Ну, а если так, выполняйте приказ.

Сотник пустился во всю прыть к своим пушкарям.

Султанмурат-бек дрожал мелкой дрожью и то и дело поглядывал в ту сторону, откуда ждали нападения; он старался удержать дрожь, крепко закусил губу, но его трясло и трясло. Абдулазиз, поглаживая красиво подстриженную черную бороду, стоял, думал, потом обратился к Султанмурату.

— Бек,— сказал он мягко, с чувством,— бог волен в жизни того, кто бежит, и в жизни того, кто догоняет. Начнем сражение, благословясь. Что бы вы хотели посоветовать?

— А что я могу посоветовать? — отвечал Султанмурат-бек.— Ваши намерения совпадают с моими, ваши приказы — мои приказы, ясаулбаши.

В это время до них донесся громкий крик. Они тотчас повернулись и увидели вдалеке двух всадников. Всадники только показались и тут же поскакали назад. За всадниками понеслись было сипаи, несколько человек, но почти сразу прекратили преследование. Эти сипаи и подняли крик. Абдулазиз-ясаулбаши приставил ладонь козырьком ко лбу и долго следил за вражескими всадниками, пока они не скрылись за холмом.

— Разведчики,— сказал он негромко.— Однако близко они уже...

Султанмурат-бек по-прежнему был растерян и молчал. Абдулазиз опустил веки, задержал дыхание и прислушался. Издалека донесся до него ровный шум, похожий на шум бегущей воды. Шум приближался. Теперь его слышали все воины. Султанмурат-бек уже не старался скрыть свою дрожь и бормотал молитвы.

На холме показался на этот раз один только всадник.

Обходя холм, вскоре появились и ряды наступающих. Они подтягивались с обеих сторон к всаднику на холме. Два крыла, концов у которых не было видно. Все воины конные, все вооружены; двигались они плотно сбитой массой. На вершине холма водрузили украшенное полумесяцем знамя. Всадник-военачальник был сложением могуч, словно из чугуна отлит. Конь его — золотисто-чубарый аргамак — нюхал землю и бил по ней передним копытом.

Бекназар-батыр пристально осматривал лежащую перед ним зеленую, холмистую равнину, камышовые крепи. Войско орды построено было острым клином, обращенным навстречу врагу. Что ж, так легче окружить его с двух сторон — одно крыло справа обойдет, другое слева... и взять в клещи. Хваленые ордынские воины со всем их вооружением и оглянуться не успеют, как попадут в ловушку. «Место для нападения удачное»,— подумал Бекназар, предчувствуя, что сеча нынче будет жестокая.

Оба разведчика находились возле него.

— Сколько их? — спросил Бекназар, не отводя взгляда от расположения войска неприятеля.

— Да, пожалуй, побольше пяти тысяч, Бекназар-аке,— ответил один из разведчиков.

— Значит, здесь не все перед нами. Не меньше тысячи сипаев, причем отборных, затаились где-нибудь в камышах. А где их пушки?

Бекназар долго еще стоял и думал, потом повернул голову вправо. Джигит, что служил для связи с правым крылом, не медля подъехал к Бекназару.

— Слушаю, батыр-ага...

— В бою промедление смерти подобно, сейчас начнем,— сказал Бекназар.— Скачи к Уали-саркеру, передай, чтобы постарался побыстрее войти в столкновение с врагами, которые укрылись в засаде. Скажи ему, что это, мол, его доля.

— Исполню, батыр-ага! — и джигит ускакал.

А Бекназар все разглядывал поле грядущей битвы. Почему не видно пушек, где они? Это было ему подозрительно. Он долго присматривался к копнам в ложбине. Но возле них никакого движения, ни души не видать. Тогда Бекназар велел выделить сотню лучших стрелков с нарезными ружьями и приказал, чтобы они следили, откуда начнется орудийная стрельба и тут же

брали на прицел пушкарей. Только пушкарей, и никого больше.

А тем временем Абдулазиз отдавал новые приказы своим сотникам. Ясаулбаши обеспокоен был, очень обеспокоен тем, что войско повстанцев столь велико. Сильное войско. Многочисленное. И, судя по строю, хорошо обученное. Сколько же их? И как они вооружены? Копья, дубинки, сабли да кое у кого фитильные ружья... А у него сотня стрелков вооружена полученными от губернатора скорострельными ружьями. Абдулазиз очень надеялся на эти ружья. Он вызвал к себе сотника стрелков.

— Видите полосу камыша? Укройте там своих стрелков, да пускай они зря под выстрелы не лезут, а сами стреляют спокойно, точно, по выбору. Поняли?

— Будет исполнено, аскербаши!..

Солнце поднялось в зенит, жара стояла удушающая. Первую вылазку сделали повстанцы. Около тысячи лучших воинов двинулись десятью рядами, неспешно, под мерный рокот барабанов.

Султанмурат-бек повторял помертвевшими губами: «Творец, ты единственная опора...» Бледный от волнения Абдулазиз не мог смотреть на него без злости.

— Бек,— заговорил он, и каждое слово тяжело, как каменное, срывалось с губ.— Я не хочу быть в ответе за вашу бесценную голову ни на том, ни на этом свете. Отправляйтесь в засаду и... наблюдайте там, чтобы все было в порядке, следите за битвой. В нужное время я дам знать, пошлете нам на подмогу всех, кроме вашей личной охраны.

— Прекрасно! Я согласен...— и Султанмурат-бек поспешил повернуть коня назад.

Абдулазиз, глядя ему вслед, подумал: «Как, однако, им своя жизнь дорога!» — и крикнул:

— Бек! Пошлите джигита к Галавачи-паше.

К ним на помощь должны были подойти со своими отрядами генерал Головачев и генерал Троцкий. Султанмурат-бек на оклик Абдулазиза даже не обернулся да и не слыхал толком, о чем ему кричат, но помахал рукой: «Хорошо...» И пустил коня рысью.

Повстанцы приближались. Дрожала земля от конского топота, шла в битву грозная, единая сила. Дружно взлетели вверх выхваченные из ножен сабли, готовые к битве. И летел впереди золотисто-чубарый

аргамак, неся на себе богатыря-хозяина, который высоко держал над головою булатный меч. А на холме, возле знамени с полумесяцем, гремел и гремел неумолчно огромный, в двенадцать четвертей ширины, боевой барабан.

Абдулазиз-ясаулбаши положился на судьбу. Поверх зеленой чалмы надел он боевой шлем, поправил сделанный из орлиного крыла знак ясаулбаши. Он готов к битве, и сил у него тоже немало. Он поведет за собой лучших воинов орды, он руководитель и участник многих кровавых сражений...

Ясаулбаши приказал трубить в карнаи и бить в барабан; тронул вороного коня:

— С богом!

Теперь уже оба войска пришли в движение и шли навстречу одно другому под глухой перестук барабанов, раздирающий уши рев карнаев, гулкий топот конских копыт.

И вот они сшиблись. Засверкали сабли, взвился над полем битвы многоголосый яростный крик. Ржали, подымаясь на дыбы, кони; жарко рубились воины, и кое-кто лежал уже поверженный на земле, а кое-кто склонился, истекая кровью от раны, на гриву коня. Лишившиеся хозяев скакуны не могли покинуть поле боя, не могли выбиться из общей схватки.

И вот откуда-то, с той стороны, где рядами стояли копны, начали бить в спину повстанцам орудия. Дрогнули повстанцы, посыпались в разные стороны, как просо из дырявого мешка. Бекназар-батыр кричал что было силы: «Берегись обстрела! Берегись!» Вихрем понесся он к одному крылу сипаев, понуждая своих воинов окружить врага. Абдулазиз-ясаулбаши стремился во что бы то ни стало избежать окружения и приказал усилить артиллерийский огонь. Пушки палили без устали, оглушительно, и шарахались испуганные кони, и взлетали вверх комья земли там, где падали пушечные ядра.

Но уже неслась по направлению к пушкам сотня метких мергенов. Они открыли прицельную стрельбу, осыпая пулями пушки и пушкарей. Абдулазиз-ясаулбаши послал конную сотню пушкарям на подмогу. В это время одно крыло наступающих зашло пушкарям в тыл; не обращая внимания на выстрелы из пушек, не считаясь с потерями, повстанцы скоро овладели бугром, на котором стояли пушки.

Но вдруг затрещали ружейные выстрелы. То один, то другой из батыров валился с коня. А выстрелы не умолкали. Тревога стиснула сердце Бекназар-батыра. Снова стреляют! Неужели у них русские ружья? Бекназар старался высмотреть, откуда ведется обстрел, но поначалу ему это не удалось. Бекназар почти что лег на гриву коня и, соблюдая всяческую осторожность, двинулся вдоль камышовых зарослей. Пуля просвистела возле самого виска; Бекназар успел заметить в камышах дымок от выстрела. Теперь он знал, где засели стрелки.

— Момун! Момун! — зычно окликнул он.

Момун-саркер вырос перед ним как из-под земли.

— Я здесь, батыр-ага...

— Они ведут обстрел из русских винтовок. Гляди вон туда, в камыши...

Момун-саркер не стал медлить. Молча ударил он ногами в бока своего аргамака, а следом за саркером ринулись пять его сотен.

Ордынские мергены носили с собой набитые хлопком кожаные мешки. Во время стрельбы на них клали ружье или же прикрывались ими от выстрелов: хлопок, ежели попадет в него пуля, смягчал силу удара настолько, что пуля не причиняла мергену вреда.

Момун со своими сотнями взял мергенов в кольцо. Началась рукопашная схватка. Момун настиг сарбаза с большой черной бородой, который, выпучив глаза, прикрывал кожаным мешком голову. От удара Момуна мешок лопнул, хлопок вывалился. Сарбаз споткнулся, едва не упал, но все же опомнился и пустился наутек. Момун, обозленный тем, что удар его не достиг цели, бросился вдогонку. Сарбаз успел, однако, взять наизготовку ружье. Момун, уклоняясь от выстрела, припал к гриве коня. Пуля просвистела совсем близко, но это был последний в жизни сарбаза выстрел...

В беспорядочном и страшном даже для привычного уха шуме битвы Абдулазиз-ясаулбаши пристально, зорко наблюдал за всем, что происходило. Он видел нападение повстанцев на пушкарей и на вооруженных русскими винтовками стрелков; видел и то, что силы повстанцев разделились натрое. Пушечных выстрелов больше не было. Повстанцы, предводительствуемые богатырем на золотисто-чубаром коне, наседали яростно и упорно.

Абдулазиз-ясаулбаши отдал приказ об окружении и послал джигита к Султанмурат-беку. Пробившись сквозь кромешную сумятицу сражения, джигит добрался до того места, где укрыты были резервные силы, обшарил заросшее камышом болото, но никого не нашел. Никто не отозвался на его крики. Султанмурат-бек, издали наблюдавший за битвой, тысячу раз прощался со своей душой от страха и, едва завидев отряд Уали-саркера, вытянул плетью коня и был таков.

Абдулазиз-ясаулбаши тем временем ждал подмоги, то и дело оборачиваясь в ту сторону, откуда она должна была прийти. Но вот, обернувшись в очередной раз, он увидел, что и оттуда наступают повстанцы...

До вечера бились враги, забыв о жалости и пощаде, рубились до той поры, как пал Абдулазиз-ясаулбаши.

Кровью своей обильно полили люди иссушенную летним зноем землю. Истоптаны были поля и бахчи, конские копыта скользили по раздавленным арбузам и дыням, сок которых смешался с кровью. Тяжелый дух шел от темной земли...

Наутро прибыл к Исхаку гонец с известием о победе. Исхак, сидя верхом на коне, склонился к гонцу и обнял его, тем самым как бы наградив его по обычаю за радостное известие. Обнял и поцеловал. Гонец же отвязал притороченную к седлу торбу, сквозь которую проступала темная влага, раскрыл ее и показал Исхаку. Исхак отпрянул.

— Чья это голова?

Джигит перевернул торбу, и окровавленная голова упала наземь.

— Господин! Это вам подарок от воинов.

Абдылла-бек пригляделся.

— Это хороший подарок, повелитель! — сказал он.— Голова Абдулазиза-ясаулбаши. Теперь орде конец! Этот человек был последним в орде хорошим военачальником. Все! Теперь больше некому преградить нам путь.

Весть о поражении обрушилась на Насриддин-хана. Только кальян да мусаллас приносили ему успокоение, и хан попеременно прибегал то к одному, то к другому.

Уже к вечеру появился на пороге эшик-ага.

— Повелитель... его высочество Султанмурат-бек.

Насриддин-хан упоенно, до слез, тянул кальян; хан размяк душой, забыл о земных горестях и тревогах, ничто не беспокоило его. Бездумно улыбаясь, он поднял брови и слегка кивнул: «Впусти».

Эшик-ага, пятясь, удалился и тотчас вернулся с Султанмуратом. Бек осунулся, исхудал, борода торчала клочьями. Рот его был полуоткрыт, и оттого Султанмурат чем-то напоминал изнывающую от жажды ворону. Он явно страшился гнева хана — своего младшего брата. Робко отдав обычный поклон, Султанмурат дрожащим голосом произнес приветствие. Насриддин-хан поглядел на него и горестно покачал головой.

— Ну? Ангел смерти, что ли, гнался за вами?

Султанмурат-беку в этом вопросе послышалась издевка. Он заговорил, не смея поднять голову и посмотреть хану в глаза:

— Повелитель... Бог свидетель, к этим бродягам и разбойникам затесался сам дьявол. Это стая бешеных волков... Вот поэтому...

Насриддин-хан глядел на него с ненавистью. Надутый спесью дармоед! Ему ведь было приказано разгромить при помощи Абдулазиза-ясаулбаши и Галавачи-паши бродягу Исхака, схватить его и привезти во дворец. Ему под власть отданы были для этого лучшие войска. Нечего сказать, оправдал доверие! Хоть бей его теперь, хоть ругай, хоть голову сними с плеч долой — толк один. Торчит перед глазами, неповоротливая тварь! Хан горько сморщился и, нерешительно взяв в руки золотую чашечку, взболтал налитый в нее мусаллас, которого оставалось едва на донышке. Думать ни о чем не хотелось. Хан вяло махнул Султанмурат-беку рукой — садись! Усталый, перепуганный Султанмурат-бек, у которого подгибались и дрожали ноги, тотчас сел, но при этом едва не упал, так как наступил на полу собственного халата. Сидел он молча и не поднимал глаз. Насриддин-хан на него теперь уже не смотрел. Он, кажется, забыл о нем, уйдя в свои заботы. Глотнув вина, он, должно быть, почувствовал облегчение, отвлекся. Хлопнул в ладоши. В дверях немедленно возник кланяющийся эшик-ага.

— Дутар,— приказал негромко Насриддин-хан.

Султанмурат-бек рискнул заговорить.

— Все, что происходит в мире, свершается по воле аллаха, повелитель. Однако, как говорят, береженого бог бережет, надо бы нам посоветоваться с губернатором о положении дел.

Насриддин-хан не ответил.

Султанмурат-бек продолжал:

— Хоть вы и молоды годами, вы наш глава. Наш повелитель. Если вы не захотите принять меры...

В это время эшик-ага ввел низкорослого черноусого джигита с блестящими глазами. Джигит прижимал к себе дутар. Поклонившись низко, он поздоровался, на что хан ответствовал кивком головы. Молча показал джигиту, где ему сесть. Султанмурат-бек, прерванный на полуслове, смотрел на все это со злостью.

— Сыграй-ка, друг! — прикрыв глаза и слегка

покачиваясь, велел Насриддин-хан, и на лице у него появилось выражение ласковое и мягкое.

Дутарчи начал играть — сначала робко, а потом все смелее, мелодию бодрую и праздничную, как будто хотел напомнить хану, что пока жив человек, может он найти в этом переменчивом мире и свою долю, и свое пропитание. Насриддин-хан слушал, все так же слегка покачиваясь и не подымая глаз.

Султанмурат-бек тоже слушал поневоле. Нехорошие и недобрые мысли обуревали его, в душе росло негодование против сидящего перед ним бессильного отпрыска династии мингов. А дутар звенел весело и радостно под рукою искусного музыканта, способного своей игрой затронуть самые сокровенные и глубокие чувства, самые тонкие струны человеческого сердца. Султанмурату музыка эта напоминала то шум морских волн, то глухой и грозный топот несущейся по степи конницы.

Насриддин-хан тяжело вздохнул. Не меняя вялой и расслабленной позы, захлопал в ладоши. Но мелодия еще не была окончена и музыкант не понял, в чем дело. Прижав рукой струны дутара, он оборвал игру. Насриддин-хан коротко бросил вошедшему эшик-аге:

— Халат...

Эшик-ага принес шитый золотом халат, накинул его на плечи музыканту. Тот вспыхнул от удовольствия и чести, кланялся, благодарил.

— Спасибо, повелитель... Да возвысит вас аллах...

Еще раз поклонившись низко, он вышел, пятясь,— по дворцовому этикету.

— Радостный, торжественный кюй [1]... Такая музыка пристала дням довольства и всенародного благоденствия...— Насриддин-хан распрямил спину, открыл глаза, в которых стояли слезы.— А нам она некстати. Чего ради мы слушаем ее?

Неутолимая тоска была в его глазах, тоска и насмешка над самим собой, человеком без будущего.

— Вы говорите, что я ваш глава. Ваш повелитель. И вы соизмеряете все ваши поступки с моей волей, не так ли? — Насриддин-хан передернул плечами.— Наша власть перешла к русским, а наш народ доверился безродному бродяге. Что осталось у меня? Какие возможности? — Голос его звучал все тверже, и складка гнева

---

[1] Кюй — мелодия, напев.

легла между сдвинутыми бровями.— А вы, ханские отпрыски, беки, господа... что вы сделали? Где наследие отцов? Где народ ваш? Разве все это нужно мне одному? Только тому человеку, который носит корону?

Султанмурат-бек не мог, конечно, ответить на эти вопросы, как не мог на них ответить и сам хан.

Насриддин снова велел позвать дутариста. Пока эшик-ага ходил за ним, хан, задыхаясь, выкрикивал в лицо Султанмурату:

— Вот вы сидите здесь, высокородный аскербаши, потомок мингов. Едва заслышав топот конницы безродного бродяги Исхака, вы бросили все, поджали хвост и помчались сюда, в орду. А мне? Мне что делать? И вы еще мне советуете обратиться к губернатору!

Султанмурат сидел ни жив, ни мертв. Когда явился дутарист, Насриддин-хан, обуздав свой гнев, заговорил с музыкантом так же приветливо, как и в первый раз.

— Проходи, друг. Сыграй еще. Но только сыграй по-другому. Пускай это будет печальный кюй прощанья с переменчивым миром, с миром, в котором тесно душе...

Султанмурат-бек решил, что самое лучшее теперь — попробовать уйти отсюда.

— Я прошу разрешения удалиться. Что прикажет мне повелитель?

Насриддин-хан не ответил ему, даже не посмотрел в его сторону, когда бек полегоньку начал подвигаться к выходу.

Всю ночь звенел дутар...

Настало утро. Откинувшись на пуховые подушки, Насриддин-хан лежал в полудреме, ничего не сознавая. Снаружи донеслись шум, крики, брань. Дутарист прислушался и протянул было руку разбудить хана, но не посмел, отдернул руку. В это время резко распахнулась дверь и вбежал эшик-ага.

— Повелитель!

Дутарист съежился в своем углу. Насриддин-хан вскочил, сжимая в руке пистолет, но ничего еще не понимал.

— Что?

Но эшик-ага только и мог повторять заплетающимся языком то слово, с которым вбежал в ханские покои.

Насриддин-хан метнулся к забранному решеткой окошку. Дворец был окружен народом, несметной и шумной толпой людей.

— Выходи! Выходи, волчье отродье! Выходи, проклятый!

Насриддин-хан понял, зачем собрался народ, кого он требует к себе, кого проклинает. Хан стоял у окошка неподвижно, но уже страх и тревога охватили его. Что делать? Где войско? Где артиллерия? С ним здесь только и остались кучка придворных, несколько человек доверенных джигитов да женщины в гареме. Что делать? Закрыть накрепко ворота и сопротивляться? Насриддин понимал, что это невозможно. Снова слезы выступили у него на глазах. Неужели конец? Вот так, сейчас? Он обернулся. Эшик-ага ждал приказаний.

И Насриддин сказал:

— Отправь джигита к русскому послу...

— Никого не выпускают из дворца, повелитель. Русский посол точно так же окружен в своем доме...

— Но ведь у него есть солдаты!

— Они не стреляют, повелитель!

Насриддин-хан застонал, как от неожиданной боли. Зажмурился.

— Собери придворных. Казну вели уложить и навьючить. Будем пробиваться к воротам на Ходжент. Да пошли кого-нибудь туда... наружу. Пусть скажет, что я уеду, что прошу только сохранить мне жизнь.

И когда эшик-ага собрался уходить, Насриддин добавил:

— Позови сюда Киргиз-аим.

У Насриддин-хана тряслись руки. Не было, не было такого выхода, который хоть ненадолго позволил бы ему взять верх над теми, кто окружил дворец. О, если бы, если б найти способ... он своими руками по одному перерезал бы их всех, утопил бы в крови! Но и тогда не насытил бы свою ярость и чувство мести! Насриддин скрипнул зубами. Ненависть смешивалась в его душе со страхом, неуемной дрожью пробегала по всему телу.

В дверях появилась молодая женщина. Высокая, с ярким цветом лица. Она была одета в белое шелковое платье, поверх платья — черный шелковый же камзол. Волосы схвачены узкой, шитой золотом повязкой. Две косы, каждая в руку толщиной, спускались ниже колен; серебряные нити, вплетенные в косы, едва не касались пола. На руках у женщины был грудной ребенок.

— Вы звали, мой падишах...— негромко сказала женщина. И умолкла, ожидая слов Насриддина.

— Киргиз-аим...

— Я слушаю, мой падишах...

— Вас привезли сюда как рабыню, насильно. Ваш ум и сердце сделали вас радостью моего дворца, вы стали моей законной женой...— Насриддин-хан сделал паузу и посмотрел испытующе на молодую женщину. Она оставалась спокойной, не поднимала глаз и ждала дальнейшего. Насриддин-хан, покачав головой, продолжал: — Твои родичи выбили почву у меня из-под ног, Киргиз-аим. Исстари роднимся мы с горцами и так же исстари враждуем с ними. Мне ли этого не знать? — с горечью произнес он, припомнив своего прадеда Хаджи-бия, своего деда Шералы, а затем своего отца Кудаяр-хана.— Веди себя разумно и осторожно, Киргиз-аим. Сохрани сына, увези его в горы. Вырастет достойным человеком — пусть узнает, кто он такой. Мир изменчив и непостоянен, и, быть может, настанет время, когда сын сделает тебя счастливой, когда он станет опорой своим дядьям, унаследует путь нашего рода...

— Мой падишах, но ведь мои родичи собираются поднять на белом войлоке человека из своих, не так ли? Если так, зачем им ваш отпрыск...

Насриддин-хан вздрогнул. Там, снаружи, шум стал сильнее и резче. До него ясно доносились чьи-то мольбы и стоны. Почти теряя сознание от страха, хан смотрел на крепкого чернобрового малыша отсутствующим взглядом. Но женщина ждала ответа. И Насриддин-хан еще раз покачал головой:

— Вы мать, Киргиз-аим. Сохраните жизнь своему сыну.

— Да будет ваше слово неизменным, мой падишах, а я постараюсь выполнить это ваше пожелание. Дайте мне развод. Я буду жить самостоятельно. Стану свободной.

Насриддин-хан был удивлен. А женщина ждала его ответа все с тем же твердым, спокойным выражением. И он сказал:

— Хорошо, Киргиз-аим, вы свободны. У меня к вам одна лишь последняя просьба...

Женщина прервала его речь.

— Благодарю вас, мой падишах. Семь поколений его предков были ханами, и что они нашли, чего достигли? Кому принесли пользу? Я дам ему другое имя, я скажу ему, что отцом его был другой человек, не вы. Он не

узнает своего истинного происхождения. Своим трудом будет он добывать пропитание.

Насриддин-хан не в силах был возразить. Слова не шли с языка.

Женщина поднесла ребенка на вытянутых руках к Насриддин-хану:

— Если у вас есть другой выход, мой падишах, скажите.

Хорошо, конечно, если останутся живы дети трех его других жен. Но ему хотелось, чтобы и среди горцев жил и рос его потомок. В конце концов, не все ли равно, будет он знать, какого он рода или нет? Ведь иного выхода действительно нет. Насриддин-хан поцеловал ребенка в лоб.

— Прощай. Увидимся в ином мире.

Женщина поклонилась и, прижав к себе сына, ушла, неслышно ступая.

Это была четвертая жена Насриддин-хана, дочь Сарыбая, Кундуз...

— Эшик-ага! Эшик-ага! — взывал между тем Насриддин-хан, но не получал ответа.

Возле дворца, возле самой его ограды, поднялась стрельба. Звенели мечи, стонали раненые. Запах пороха и крови проникал в ханские покои. Насриддин-хан, шепча молитвы, зажал в одной руке меч, в другой — русский пистолет и попятился в угол. Дверь содрогалась.

Вбежал начальник дворцовой стражи.

— Повелитель! Взбунтовавшаяся чернь оттеснена. Была пролита кровь...

— Кровь? Побольше ее! Побольше! — Насриддин неистовствовал.— Никого не оставлять! Ни одного...

В это время неподалеку прогремел выстрел, пуля пролетела сквозь решетку окна, ударилась в стенку и пробила висевший на ней ковер.

— Повелитель, с ними не справиться! — выкрикнул начальник стражи и кинулся прочь.

Наконец явился эшик-ага.

— Погрузили казну? — спросил хан.

— Не дают погрузить, повелитель.

Насриддин-хан застонал, стиснув зубы. И тут снова ворвался начальник стражи.

— Повелитель! Народ открыл городские ворота. Болот-хан...

Насриддин не дал ему договорить.

— Замолчи, подлец! — он взмахнул пистолетом.— Какой он хан? Он бродяга! Вор!

— Осторожнее, повелитель! — смело глядя Насриддину в глаза, отвечал начальник стражи.— На чьей стороне сила и удача, на чьей стороне народ, тот и хан!

И Насриддин-хан замолчал, ибо в глазах у начальника стражи увидел то выражение, которое вспыхивает в глазах у собаки, готовой броситься на измучившего ее незаслуженными побоями хозяина.

В следующую минуту хан принялся было сетовать на утрату казны, но эшик-ага, всхлипывая, взял его под руку со словами:

— Что казна? Надо молить творца, чтобы жизнь сохранил, а уж казна-то...

И они вдвоем с начальником стражи повели Насриддина под руки.

Все это происходило девятого октября. Именно в этот день Насриддин-хан с немногими придворными покинул дворец. Народ гнал его из Коканда, осыпая бранью и швыряя в него комьями сухой глины. Лишившись подданных, войска и денег, отправился Насриддин в Ходжент, где и встретился со своим отцом Кудаяром.

В то время, как он покидал Коканд через одни ворота, в другие въезжал Исхак, которого народ встречал приветственными кликами.

3

Помощников себе в управлении государственными делами Исхак выбирал с умом. Начальником канцелярии был назначен Абдымомун-бек из рода курама, хранителем казны — Сулейман из рода кыдырша, должность парваначи получил Оморбек-датха из рода адигине, советника — одноплеменник Исхака Муса, а эшик-агой стал кутлук-сеит Момун. Два крыла войска возглавили соответственно кипчак Уали и Бекназар из рода кырк-угул. Обязанности начальника дворцовой стражи выполнял молодой и горячий узбек Эшмат.

Воспользовавшись смутой, отпал Каратегинский вилайет; бек Рахим-шах изгнал своего старшего брата Музафара и захватил власть. Музафар-шах бежал в Коканд. У Музафара была красавица-дочь, которую сосватали те-

перь за Исхака; изгой Музафар стал в результате влиятельным лицом при дворе.

Новый повелитель именовался Исхак-ханом.

С первых дней Исхак самым решительным образом принялся преследовать и уничтожать прежнюю знать; попавших в его руки отпрысков ханского рода он не щадил. Однажды ему доложили:

— Ваше величество, пойман ваш старший брат.

— Ну? Кто же это?

— Султанмурат-бек! Он прятался на кухне у его святейшества Сагибзады-ходжи. Когда обыскивали этот квартал, нашли его. Не беспокоитесь ли вы, повелитель, о нем, как-никак, это ваш старший брат!

— А и в самом деле, как не беспокоиться? Где же он?

И Султанмурат-бека доставили к Исхаку.

Султанмурат еле шел, весь сотрясаемый страхом. Он жался и сутулился, как будто бы хотел спрятать от глаз человеческих свое грузное тело, сделать его меньше.

С трудом переступив порог, увидел он на почетном месте двоих. Поздоровался чуть слышно. Отвечая на его приветствия, оба почтительно встали. Султанмурат исподтишка разглядывал их. Один высокий, густобровый, чуть рябоватый; прикусив нижнюю губу и сощурившись, он так и сверлил Султанмурата взглядом. Второй был среднего роста, белолицый, приятного, как видно, обращения человек. Он едва заметно улыбался, и в глазах светилась насмешка. «Кто же из них?..» — старался угадать Султанмурат.

— Добро пожаловать, уважаемый братец,— сказал рябоватый.— Проходите, садитесь.

Обменялись рукопожатием. Султанмурата усадили по левую руку от рябоватого. «Он это!» — мелькнуло в голове у бека, и сердце у него заколотилось. Теперь уже оба откровенно разглядывали его. «Смотрят, как на обезьяну»,— злился он, но сказать ничего не смел.

— Как поживаете, уважаемый братец?

— Слава богу,— ответил «братец», не смея расправить плечи и поднять опущенную голову.

— Да вы садитесь поудобнее, чувствуйте себя как дома. Это ваш дом... Впрочем, вы ведь не верите, что я потомок Алим-хана.

Султанмурат-бек вздрогнул и хотел было возразить, но едва он открыл рот и произнес первое слово, его перебил второй:

— А где же самаркандский дивана? Ведь вы, ханзада, сами вели его под руку, показывая народу, а?

— Говорят, что неосведомленный вкушает яд, не так ли, уважаемый брат? Скажите же, кто из нас потомок Алим-хана? — подхватил рябоватый.— Вы это знаете, скажите откровенно, а то вот Абдылла-бек не верит мне, говорит, что я обманщик...

Султанмурат повалился ему в ноги.

— В чем я виноват? Я делал и говорил то, что мне приказывали... Вы истинный потомок Алим-хана, вы повелитель народа... Пощадите! Я буду служить вам верой и правдой.

— Встаньте,— Исхак обеими руками коснулся плеч Султанмурата.— Никто не посягает на вашу жизнь. Подымитесь же.

Подали угощение. Султанмурат-бек пришел в себя, приободрился, лицо его утратило мертвенную бледность, порозовело. Заметив это, Исхак заговорил с ним:

— Вам известно лучше, чем мне, почтенный старший брат, что его величество Кудаяр к своему народу относился, как к врагу, преследовал и грабил его, а в конце концов продал белому царю.

Султанмурат угодливо кивал.

— Четыре года мы боролись, не зная передышки, во имя народного блага. Теперь власть в наших руках. Что нам предпринять? Что мы дадим народу, который, не щадя себя, сражался под нашим знаменем? Как нам ублаготворить народ, сделать его счастливым? Нам с вами надо подумать прежде всего об этом.

Султанмурат слушал, и мысли его мешались. Может, и вправду именно этот человек — потомок Алим-хана? Растерянно вспоминал он фон Кауфмана и батырбаши Атакула. Это они все затеяли, они. Ну, а сам он? Что он тогда говорил в присутствии губернатора, перед огромным сборищем людей? Султанмурат, снова охваченный страхом и волнением, неловко махнул рукой, опрокинул чайный поднос, который как раз в это время подал к достархану прислуживающий за трапезой джигит. «Не беда»,— услышал бек мягкий голос Исхака и тут только опомнился. О том, что Исхак пытался с ним советоваться, Султанмурат успел начисто забыть.

Абдылла-бек посмеивался в усы. А Исхак был, наоборот, мрачен. Ну и правители, ну и властители! Вот он перед ним, благородный минг! Он не надеется на пощаду, но не смеет взглянуть смерти в глаза. Не хочет умирать. И такие, как он, мнят себя основой бытия? Никакой пользы от них, а ведь долгие годы чувствовали себя хозяевами страны и народа!

Султанмурат-бек отер рукавом пот с лица.

— Не хотите ли отдохнуть, брат? — спросил Исхак сурово.— Устали от забот этого мира?

Султанмурат-бек не знал, ответить утвердительно или отрицательно. Он только поежился и опустил веки. Эшик-ага Момун подошел, накинул на него шелковый халат.

— Погрейте спину, бек-ага,— улыбнулся Исхак одними губами. Глаза его сохраняли выражение суровое и злое. Но Султанмурат не заметил этого.

— Спасибо,— поблагодарил он.— Да пошлет вам судьба всяческое блаженство.

Исхак только головой покачал в ответ. Вот они каковы! Ни о чем другом, кроме блаженства, кроме собствен-

ного удовольствия, и думать не хотят! И власть для них — только средство получить все блага, все удовольствия, возможные в этом мире.

Обрадованный Султанмурат-бек поднялся. Кланяясь на каждом шагу, спешил он поскорее уйти отсюда. Исхак кивком головы указал на него:

— Проводите...

Этим словом он отдавал приказ о казни. Есть пословица: «Кто увидит солнце — не замерзнет, кто увидит хана — не умрет позорной смертью». Абдылла-бек бросил на Исхака быстрый взгляд искоса. Исхак только рукой махнул.

— Гнилое дерево... Подпоркой не станет и на дрова не годится.

Султанмурат-бек не увидел рассвет грядущего дня.

Попался и Атакул-батырбаши.

Когда его подвели к дверям, он задрожал, ноги ослабели, и холодный пот выступил по всему телу. Но никак нельзя было остаться по сю сторону двери, и Атакул с трудом переступил порог, обуреваемый мало приятной мыслью о том, что сдерут с него кожу с живого в присутствии проданных им товарищей по оружию. Исхак был один, сидел и ждал.

Атакул поздоровался тихо и хрипло.

Исхак, подняв брови, молча смотрел на него. Смотрел так, что Атакул почувствовал себя как бы уменьшившимся, почти уничтоженным; он не мог решить, как правильнее повести себя,— то ли пасть Исхаку в ноги, то ли, наоборот, держаться гордо, поднять повыше голову.

— А, это ты, маргеланский бек! Заходи, заходи,— сказал Исхак с откровенной и злой насмешкой.

Ничего ему на это не в силах был ответить Атакул. Исхак слегка двинул рукой, повелевая садиться. Атакул бухнулся на колени. Приведший его Бекназар стоял поодаль и наблюдал за ним. Исхак покачал головой.

— Когда меня схватили люди Абдурахмана, ты был возле меня, Атакул? — спросил Исхак, но Атакул и на вопрос не отвечал. Исхак не успокаивался: — Ты, кажется, тогда повернулся ко мне спиной? Я, помню, видел твою спину...

Атакул кивнул. И тут-то закипела кровь у Исхака. Не сдерживаясь больше, он вскочил и закричал:

— Предатель! Сколько тебе заплатил Абдурахман? Изменник! — вскочив с места, он приблизился к Атаку-

лу.— Говори же! Говори, подлец, кем, как не предателем, надо назвать тебя? Предателем и изменником!

— Черт попутал... Бог наказал...— пробормотал Атакул.

Исхак распалился еще больше.

— Ты должности искал повыше, а получить ее хотел полегче! Ты хотел, чтобы минги даровали тебе ее в благодарность за твои услуги!

Атакул молчал. Исхак сел на свое место и долго не мог справиться с собой, дышал тяжело и неровно. Наконец сказал:

— Наказание себе определи сам...

Подавленный Атакул безмолвствовал по-прежнему.

— Ну?

И тогда Атакул поднял голову, глянул и тотчас снова понурился.

— Смерть...— сказал он тихо.

Теперь промолчали Исхак и Бекназар. Атакул же неожиданно для самого себя внутренне собрался, в голове прояснилось. Он не просил пощады ни словом, ни взглядом и ждал, когда его прикажут увести.

— Мы, будь оно проклято, немало дорог прошли с тобою вместе, немало миновали переправ,— заговорил Исхак.— Легко ли нам осуждать тебя на смерть? Но ты предатель, и смерть тебе...

Атакул, который сам произнес для себя приговор, не дрогнул перед его неотвратимостью.

Исхак продолжал:

— Мы не можем простить! Только ты, Атакул, можешь смыть с себя позорное пятно... Черное пятно...

Атакул усмехнулся горько: «Своей красной кровью смою черное пятно, так выходит?»

— Слышишь, Атакул? Сам смоешь. Честной своей службой...

Атакул вздрогнул, не веря ушам своим.

— Честной службой не за страх, а за совесть,— сказал еще раз Исхак.

Почти детская радость охватила Атакула. Слегка подавшись вперед, он спросил:

— Исхак! Скажи откровенно и прямо, какой службы потребуешь от меня?

— Прямо?

— Да, скажи!

— Губернатор назначил тебя беком в Маргелан, так?

— Да.

— Ну, так и оставайся беком в Маргелане и постарайся укрепить и продолжить добрые отношения с губернатором.

Атакул глядел в недоумении.

— Войди в доверие. Стань посредником между нами и губернатором. Именно так и только так ты смоешь с себя черное пятно, более того — всему народу сослужишь службу. Понял?

— Понял, повелитель! — почти выкрикнул Атакул, а Исхак вдруг поглядел на него испытующе и недоверчиво.

— Смотри, батырбаши, если это только для того, чтобы вырваться отсюда...

— Кровью! Кровью своей...— задохнулся Атакул.

— Ты подумай хорошенько, ведь от нас вместе с тобой никто не пойдет, сам пойдешь, сам говорить будешь. Мы с русскими не воюем, ты это хорошо знаешь. Мы воевали с ордой, и мы ею овладели. Пусть губернатор теперь разговаривает с нами. Мы хозяева страны. Твоя обязанность, твой долг, батырбаши, довести до сведения губернатора, что по отношению к русским намерения наши чисты, мы хотели бы сблизиться с ними. За убитых заплатим виру, пленных отпустим, не причинив им ни малейшего вреда. И ты, назначенный губернатором бек Маргелана, будешь свидетельствовать честность наших намерений по отношению к русским...

— Это дело невозможное,— отвечал Атакул,— но я поеду, Исхак...

Два сарбаза вели пленного унтер-офицера. Из встречных кое-кто отворачивался, не желая смотреть на иноверца. Другие, наоборот, глазели с любопытством, вытягивая шеи: «Э, а ведь русский такой же человек...».

Пленник шагал устало; он, примирившись со своей участью, понурил голову и не оглядывался по сторонам.

Его привели к человеку в алом парчовом халате, в зеленой чалме. Коротенькая белая бородка торчала задорно, как перепелиный хвостик. «Это, должно быть, и есть сам Пулат-хан»,— подумал унтер-офицер.

Человек в парчовом халате бросил на пленника взгляд. Он держал в руке белую пиалу и со вкусом прихлебывал чай. Неподалеку, на краю ковра, сидел медно-

ликий большеносый и светловолосый мужчина. Унтер-офицер вздрогнул: «Тоже русский?» Важный господин тем временем что-то сказал — спокойно и мягко. Русский перевел:

— Он спрашивает, как твое имя.

«А ведь крещеная душа, проклятый,— обругал его про себя унтер-офицер.— Вишь, из-за выгоды кому угодно, хоть черту, готов служить».

Переводчик повторил вопрос.

Тогда унтер-офицер ответил:

— Данила...

Те двое начали о чем-то негромко совещаться...

Данила отстал от своего отряда, чтобы починить сломавшуюся дорогой арбу. Никого вокруг вроде бы не было, но пока он возился с арбой, появились люди — и много людей. По виду мирные, без оружия. Приближаясь к нему, они подняли крик, в котором Данила только и понял одно слово: «Губернатор». Он усмехнулся: «Тоже нашли губернатора!» Человек десять подошли совсем вплотную. Данила выстрелил. Один человек, вскрикнув, упал. Тут поднялась такая суматоха, что и не приведи боже. На него напали скопом, не боясь выстрелов, и стащили-таки его с арбы. Долго спорили между собой, но убивать на месте, видно, не решились, а связали руки-ноги и, взвалив на ту же самую арбу, доставили в Маргелан. «И надо было мне выстрелить!..» — сокрушался Данила.

Вельможа снова обратился к Даниле и заговорил еще приветливей. Говорил долго. Когда он кончил, Данила повернулся к переводчику.

— Этот человек — большой начальник, близкий самому батыру Пулат-хану, его писарь,— объяснил переводчик.— Можно сказать, второе после Пулат-хана лицо, знаменитый Абдымомун-бек...

Данила дивился. «Не сам это хан, значит. Не привелось, стало быть, увидеть главаря всех бунтовщиков». А переводчик продолжал:

— Данила, друг, этот большой начальник хочет, чтобы ты мусульманином стал...

Данила глаза вытаращил.

— Да, говорит, чтобы ты перешел в мусульманскую веру. Перейдешь, сохранят тебе жизнь, мало того, дадут дом, коня, красивую девушку в жены. Он тебя сыном своим будет считать.

Данила затряс головой. Начальник сразу посуровел, маленькие глазки вспыхнули желтым огнем, как у рассерженного барса.

— Опомнись, Данила,— увещевал толмач.— Зачем погибать понапрасну? Подумай. И отвечай подумавши.

— А чего мне думать-то? — отвечал Данила дерзко.— В какую веру мать меня окрестила, в той и помру.

Толмач:

— А не лучше ли жить в мусульманской вере, чем помереть в той, в которую тебя мать окрестила! А дом, а конь, а красивая девушка?

— Себе их возьми! — оборвал его Данила.

Переводчик умолк. Вельможа о чем-то его спросил. Тот отвечал одним только словом. Не соглашается, мол. Вельможа вскочил, крикнул громко. Прибежал одетый в красное сарбаз, поклонился, руки прижал к груди. Начальник бросил ему два-три слова. Тот выбежал прочь.

— Зря ты, Данила,— покачал головой толмач.— Зря. Что тебе в вере твоей? А жизнь сохранить...

— Вот ты ее и сохраняй. Миру опорой станешь!

Вельможа отдал приказ. Данилу подхватили два сарбаза, выволокли из покоев.

Завязали ему руки за спину, поставили одного у стены. Явились еще сарбазы, человек двадцать. И у каждого фитильное ружье. По приказу десятника начали огонь на фитили высекать. «А ведь убьют»,— подумал Данила, и мысли суматошно закружились в голове. «Стой, брат,— взял он себя в руки,— двум смертям не бывать, а одной не миновать».

Некоторое время спустя, неспешно и важно ступая, явился тот самый вельможа. Подле него еще двое в парчовых халатах. Им он что-то толковал, а они кивали головами, злыми глазами уставившись на Данилу. Вельможа обратился к толмачу, тот подошел к пленному.

— Данила,— сказал толмач огорченно,— согласился бы ты...

Данила покачал головой, а те трое тотчас забубнили недовольно, неодобрительно. Толмач опять:

— Он последний раз предложил. Данила, ведь иначе убьют тебя сейчас...

Данила высоко поднял голову, крикнул:

— Слушайте, людоеды! В какую веру крестила меня мать, в той я и умру, слышите, проклятые?

Вельможа негромко сказал что-то и коротко рубанул

воздух рукой. Сарбазы взяли на прицел. Высоким голосом отдал команду старшой, и разом грянули два десятка выстрелов. Данила больше не кричал. Все заволокло дымом, закачались, поплыли перед глазами люди, что стреляли в него, и все погасло. Данила повалился ничком.

Вельможа поморщился, повернулся резко и ушел.

Исхак скоро узнал об этом случае.

Спешно созвал совет. Собрались в диванхане беки и саркеры. Здоровались друг с другом негромко, озабоченные неожиданностью. Никто не знал, по какому поводу созвали их.

В дверях показался Исхак. Все встали, отдавая поклон. Исхак был бледен и мрачен. Пришедший с ним вместе Бекназар поставил у дверей вооруженных телохранителей и сам остался у порога. Что произошло? Почему двери под охраной? Сомнения обуревали всех, кто собрался сюда, сомнения и тревога. Но никто не чувствовал причиной происходящего себя самого.

— Ассалам алейкум, почтенные...— поздоровался Исхак, и голос его дрожал от сдерживаемого гнева.

Все дружно ответили. Справа от трона стоял начальник дворцовой канцелярии Абдымомун-бек, слева — Абдылла-бек.

Исхак только подошел к трону, но не сел на него. Оглядел собравшихся пристальным взором. Он не знал, с чего начать. По дворцовым неписаным законам полагалось начинать издалека да не говорить напрямик, а больше околичностями. Но он к таким обычаям не привык, да и язык у него слишком резок для того. Исхак уперся взглядом в Абдымомун-бека, который стоял, весь съежившись.

— Бек...

— Слушаю, повелитель!

— Сколько богоугодных дел совершили вы нынче?

Абдымомун-бек растерялся и, не понимая, что нужно отвечать в данном случае, забормотал:

— Мы идем по пути, указанному богом... Совершаем пять намазов, раздаем подаяния, жертвуем на мечети...

— Кто обратит неверного в мусульманина, совершает богоугодное дело не только во имя спасения своей души, но и во имя душ семи колен своих предков. Сразу после кончины он попадает в рай, и ад ему не угро-

жает. Вы, оказывается, задумали благое дело. Да только проклятый кяфир Данила предпочел умереть, а вере своей не изменил, правильно? И не удалось вам, бек, одним махом перетащить семь поколений ваших предков из ада в рай!

Все стало ясно. Не понравилось Исхаку богоугодное дело, задуманное Абдымомуном. Все молча ждали, чем кончится эта стычка. Абдымомун-бек побледнел, озлился и бросал по сторонам растерянные взгляды, ища поддержки.

— Повелитель... все мы дети мусульман,— попытался он найти опору в шариате.

— Вы не сын мусульманина! Вы дьявол! — отрезал Исхак, и ошарашенный Абдымомун-бек из бледного сделался багровым. Он не верил ушам своим. Исхак сел на трон. Взмахнул рукой, вскочил на ноги снова.

— Вы совершили преступление, какого не совершил бы истинный сын своей страны и мусульманин! Слышите, вы совершили дело, достойное дьявола! Разрушили плотину, которая удерживала готовый обрушиться на нас могучий поток. Тигру, который только и ждал повода броситься на нас, вы дали этот повод! Вы дьявол! Предатель! Изменник!

В диванхане все замерло. Абдымомун-бек не мог решиться ни на отпор, ни на раскаяние.

Исхак, дав выход своему негодованию, заговорил спокойнее, тише:

— Скажите сами, как еще можно назвать вас после совершенной вами глупости?

Абдымомун-бек, видно, собрался оправдывать себя, но Исхак не дал ему и рта раскрыть:

— Нет нужды ни в отговорках, ни в оправданиях...

Абдымомун-бек, согнувшись, попятился от него. Исхак двинулся на него. У Абдымомуна размоталась чалма. Даже не пытаясь привести ее в порядок, он пятился к двери, а Исхак, подойдя к нему почти вплотную, выкрикнул еще раз:

— Дьявол! Изменник! Предатель!

Чалма растянулась чуть ли не от самого трона до порога; здесь, у порога, натолкнулся Абдымомун-бек на угрюмого Бекназара. Тот схватил его богатырской рукой за шиворот и поставил перед Исхаком. Абдымомун повалился Исхаку в ноги, пытаясь поцеловать узорный остроносый сапог. Исхак брезгливо отдернул ногу.

— Пакостник!

Он, прикусив губу, подумал.

— Я отведал вашего хлеба-соли, негоже мне отнимать у вас жизнь,— он махнул рукой в сторону двери.— Подите прочь!

Абдымомун-бек выскочил из диванханы с непокрытой головой.

И снова все молчали. Исхак, гнев которого остыл и перешел в глубокое огорчение, медленно вернулся к тронному возвышению, ступая прямо по растянувшейся на полу чалме.

Ташкент...

В приемной туркестанского генерал-губернатора сидели только двое. Сидели по разным концам большого, обтянутого красной кожей дивана, что стоял у стены справа от входа. Молчали и даже не глядели друг на друга. Один из них, человек среднего возраста, смуглый, с коротко подстриженной бородкой. На его чалме с правой стороны прикреплен знак ханского достоинства. Дорогой черный чекмень раскрыт на груди, и на красном бархате надетого под чекмень камзола сверкает русский орден Станислава первой степени. Второй посетитель гораздо моложе, он бледен и озабочен, у него больной вид.

Раскрылись двери в кабинет генерала. Оба посетителя встали. Оба двинулись навстречу вышедшему из дверей молодому темноволосому штабс-капитану с красивыми усами. По-видимому, они враждебно относились друг к другу, хотя и не выражали этого открыто. Теперь они ждали, кого же из них примет губернатор.

Светлые глаза молодого офицера были невозмутимы, на лице выражение усталое и равнодушное.

— Господа,— сказал он,— его высокопревосходительство чувствует себя не слишком хорошо...

Каждый из посетителей собирался заговорить, но офицер предупредил их намерение.

— Я сказал. Все сказал. Я объяснил, что просят их принять кавалер ордена Станислава первой степени, его высочество бывший хан Коканда Кудаяр и также бывший хан Насриддин.

Посетители были чрезвычайно огорчены, но ни один не решался уходить сразу, ибо опасался, что, едва он

удалится, губернатор примет другого. Они снова уселись по разным концам большого дивана.

В это время в дверях появился батырбаши Атакул. Он обвел глазами приемную, долго разглядывал портрет Александра Второго — «белого царя». На сидевших на диване особого внимания не обратил и поздоровался с ними из вежливости. И только после того, как Кудаяр поднял голову, отвечая на приветствие, батырбаши в изумлении чуть отступил назад. Кудаяр невесело усмехнулся:

— Что испугался, батыр-джигит, или змею увидал?

Атакул-батырбаши теперь заметил и Насриддина.

— Ха,— сказал он с издевкой,— были вы ядовитыми змеями, но теперь-то вырвали у вас жала.

Насриддин вскочил. Рот у него скривился, глаза метали искры. Но батырбаши только рассмеялся над его бессильным гневом.

— Ползи, ползи на свое место! Пора забывать старые привычки!

Штабс-капитан снова вышел из кабинета. Окинул Атакула с ног до головы взглядом и спросил:

— Кто вы такой?

— Я... ваше благородие... батырбаши Атакул,— отвечал тот, порядком растерявшись.

— А-а маргеланский бек! — узнал его штабс-капитан.— Вы, однако, изменились. Заходите. Его высокопревосходительство вас ждет.

Направляясь к двери, Атакул обернулся и, выпятив грудь, бросил на обоих ханов, которые три дня не могли дождаться приема, взор победителя — видали, мол! А Кудаяр и Насриддин окаменели от удивления.

Генерал-адъютант фон Кауфман имел приятную наружность человека, не способного ни на что дурное. Он сидел непринужденно в мягком кресле у большого стола и сосредоточенно просматривал бумаги. Он настолько погрузился в это занятие, что даже не поднял головы, когда вошел его адъютант. На стене напротив двери висел большой портрет царя. Батырбаши уставился на этот портрет с хорошо разыгранным почтением и вниманием, как будто видел его впервые. Потом он принялся разглядывать загорелую до черноты лысую голову фон Кауфмана, склоненную над бумагами.

— Бек Маргелана Атакул-батырбаши,— доложил адъютант.

Губернатор медленно поднял голову и увидел на пороге кабинета богатырски сложенного, высоченного Атакула. Лицо губернатора приобрело мягкое выражение.

— Ассалам алейкум, ваше благородие... губернатор,— дрожащим голосом поздоровался Атакул, а фон Кауфман пригласил:

— Подойдите поближе.

Губернатор Туркестана тепло принял Атакула. Кудаяр и Насриддин его совершенно не интересовали. В самом деле, на кого нынче следует опираться ему, губернатору? Надо прибрать к рукам ловких молодцов — таких, как этот Атакул. Щенок, как известно, со временем вырастает во взрослого пса. Атакул и ему подобные помогут завести свары в нынешней орде, помогут лишить ее внутреннего единства. Их легко купить посулами, обещаниями возвысить,— тогда они на все готовы; закрыв глаза, пойдут в огонь и в воду... Кто такой Атакул? Глупая скотина. А сделали его беком в Маргелане, вроде бы он и поумнел. Продал своих товарищей, с которыми судьба его кровью связала. Какая разница между Насриддином и Кудаяром? Или между Кудаяром и Атакулом? Ни умом, ни душевной глубиной ни один из них не блещет. Так, мелкие неудачники. Но больше всего на свете они ценят славу и высокое положение.

— Ну, как дела? Хорошо? Как там фальшивый хан? Не тронул вас? И не посмеет. Мы позаботимся об этом. Очень скоро этот сутяга будет уничтожен. И нам нужна помощь таких богатырей, как вы.

Переводчик перевел, Атакул же, услышав все это, столь явно был смущен, что генерал сразу понял, батырбаши хочет сообщить нечто для него важное. Фон Кауфман через переводчика попросил Атакула успокоиться и говорить смело.

— Не подумайте ничего плохого, ваше благородие, я ничего такого... Это Исхак просил, если его благородие губернатор пожелает, встретиться с ним. Чтобы подружиться с русскими. А я ничего... Исхак, значит, воевал только с Кудаяром и его родичами. Даст бог, Исхак станет мирным ханом для народа, хорошим ханом, лучше, чем Кудаяр...

Фон Кауфман выслушал перевод и долго молчал. «Вор остается вором,— думал он.— И у этого Исхак на уме! Хан лучше Кудаяра, вот оно как! Не для того мы

сажаем вас на трон, чтобы вы были хорошими». Генерал встал, прошелся по кабинету и остановился у Атакула за спиной. У того напряглась шея, будто бы он ждал удара мечом. Генерал постоял, потом снова отошел к столу.

— Маргеланский бек,— начал он,— скажите, фальшивый хан притеснял вас, угрожал вам? Не бойтесь ничего. Ему остались считанные дни. Он не нужен нам. На троне должен пребывать представитель законной династии. Безродный, не знатный человек нам ни к чему.

Атакул слушал перевод его слов с видом растерянным и вопрошающим.

— Вы человек храбрый,— похвалил его губернатор.— Мы знаем и ценим ваши услуги, и если вы и впредь будете оказывать их, нет сомнения, что вы, как мой искренний и близкий друг, станете не только беком одного города, но и лицом, имеющим вес и влияние во всем Кокандском ханстве.

Атакул, заблестев глазами, в волнении проглотил слюну. Слова генерала разожгли его честолюбие, и генерал это заметил.

— Даст бог, в начале будущего года состоятся торжества по случаю тезоименитства его величества государя. На торжества прибудут гости со всей России, из всех ее колоний, от всех народов, ее населяющих, и от народов других стран. Я надеюсь, если мы быстро покончим со смутой, поднятой этим бродягой, представить вас самому государю.

Атакул жадно ловил каждое слово, с нетерпением ждал перевода.

— Каким образом мы покончим со смутой? Ваш безродный выскочка сам себя объявил ханом. А весь народ, если не считать немногих разумных людей вроде вас, весь народ пошел у него на поводу... Что же предпринять? Выход в таких случаях ищут герои, подобные вам. И находят! Один восточный мудрец был, говорят, однажды спрошен: «Что приносит пользу всей стране, всему народу?» И ответил: «Смерть дурного и беспокойного правителя». Смело и находчиво сказано, не так ли?

Атакул, опустив глаза, сидел в некоем отупении. Фон Кауфман закурил и, не сводя с Атакула глаз, подошел к своему креслу с тем же спокойным и доверительным выражением на лице. Не садясь, начал было

выдвигать один из ящиков стола, потом прервал это занятие и заговорил снова:

— На вашу долю выпадает нелегкая задача, но вы справитесь с нею, если сумеете тесно сблизиться с ним,— генерал выложил из ящика на стол пистолет.— Конечно, это не самое первое ваше действие. Прежде всего вы должны и словом и делом попытаться внести разложение в ряды сторонников узурпатора, должны осведомить нас об их планах и целях. Ну, а если убедитесь, что это невозможно, тогда...— он указал на пистолет.

Атакул еще до того, как переводчик открыл рот, понял, что генерал говорит о страшном, и невольно встал.

Генерал-губернатор молча протянул пистолет Атакулу. Батырбаши отшатнулся. Генерал не опускал руку. И Атакул, опустив глаза, протянул свою.

— Ну, а где же храбрость? Где решимость? — сказал фон Кауфман весело и насмешливо.

Атакул взял пистолет.

— Вы слыхали о том, как был убит под Ташкентом Алымкул-аталык?

Атакул кивнул.

— Вот и прекрасно! — заключил генерал.

Батырбаши попрощался и вышел. В голове стоял туман. Ни на кого не глядя, направился он к большим дверям, ведущим из приемной. Кудаяр и его сын все еще сидели на диване. Проводив Атакула взглядом, Кудаяр усмехнулся.

— Что это он идет, пошатываясь, как бача?

— Да, кому это хорошо знакомо...— тихо и ядовито подхватил Насриддин. Кудаяр покраснел.

В тот же день Атакул-батырбаши с пятью стремянными выехал из Ташкента, ни с кем более не встретившись и никуда не заворачивая.

Скоро достиг он русских сторожевых постов. Взглянув на пропуск с печатью и подписью самого фон Кауфмана, унтер-офицер только отдал честь.

Он поскакал дальше, не оглядываясь назад. Добрался до заставы кокандских сипаев. Начальник караула, увидев у него в руках свидетельство с печатью самого Исхака, почтительно поклонился и отступил в сторону, давая дорогу.

Но его ничто не радовало. Уставившись в одну точку на гриве аргамака, ехал он, ни с кем не здороваясь и не

отвечая на приветствия встречных, подавленный, весь во власти тягостных размышлений.

«Так вот чего требует от меня губернатор! Если он считает меня честным человеком, беком, он должен был дать мне другое, более подходящее поручение. Вооружить джигитов, сразиться на поле кровавой битвы и погибнуть самому — это да, это просто. Но убить человека? Он сунул мне в руки пистолет и послал на убийство, словно какого-то отщепенца! И это моя цена?»

Атакул снова и снова рисовал в своем воображении то, что предстояло ему совершить. То, на что он дал согласие. ...Он входит туда, где среди других людей находится Исхак. Вынимает пистолет, но не может выстрелить. Дрожит рука. Колотится сердце. В это мгновение Исхак оборачивается к нему и смотрит в упор...

Он вздрогнул и отогнал от себя навязчивые мысли, но ненадолго. «Не может быть, чтобы я не попался на этом! О творец, неужели мало прежних ошибок, которыми я запятнал себя? Позор ляжет на мое имя, из поколения в поколение будут передавать рассказ о кровопийце Атакуле, продавшем свой народ за мирские блага, за жалкую должность. Дети мои будут стыдиться моего имени, меня проклянут мои плоть и кровь...

А губернатор? Бросил кость, как собаке... Чего стоит предатель? Кому он нужен? Его используют однажды, как пулю для выстрела. Попадет она в цель, не попадет — искать ее никто не станет... Губернатор хочет погубить Исхака. Человека, который объединил народ и стал для него знаменем...

Но что же я? Ведь я согласился. Так, значит, собираюсь я искупить свою прежнюю вину? Смыть черное пятно? А Исхак? Он тоже использует меня, если нужно, и все... Такая, выходит, мне цена. И та и другая сторона ценят меня дешево... как предателя!»

Атакул вытащил полученный от губернатора пистолет, с отвращением глянул на холодно блеснувший металл.

«Как спастись мне от губернатора? И как я могу поднять руку на Исхака? Думай — не думай, впереди одно: смерть...»

Серая осенняя земля. Голые деревья. Мрачные горы. Ледяной ветер пронизывает до костей... Серое все, как тоска на сердце...

Стремянные скакали за Атакулом, и никто из них не мог взять в толк, отчего он так мрачен. Время от времени переговаривались об этом, потом снова нахлестывали коней.

Неожиданно грянул выстрел. Вздрогнули джигиты, а батырбаши Атакул завалился на бок. Что такое? Ни один не видел, откуда стреляли, безлюдно и спокойно кругом. Джигиты бросились на помощь Атакулу. Один ухватил за повод его коня, остальные сняли батырбаши с седла.

Пуля попала в висок. А на земле лежал и еще дымился пистолет...

Исхак полулежал в задумчивости, опершись на подушки. Подле него — щупленький старичок в огромной белой чалме. На темном лице выражение глубокого недовольства.

— Что это? — неожиданно пронзительным голосом вопрошает старичок.— Ведь это близкий, верный тебе человек, немало ты видел от него добра, делил с ним хлеб и соль! И хоть бы он на самом деле провинился, грех бы совершил, а то? Убил неверного, за что же гневаться?

Исхак поднял голову.

— В рай ему захотелось! Как же, иначе семь его предков в гробу перевернутся! Что наделал — как будто нарочно хотел поссорить нас с губернатором! Только глупец мог этого не понять.

Старик и слушать не хотел.

— Воля твоя, сын мой, делай, что хочешь во имя бога, но против шариата не иди! Не только мне, многим мусульманам не по нраву твой поступок. Долг мусульманина — наставлять неверных на путь истинный, обращать их в правую веру.

Исхак приподнялся. Гневом полыхнули глаза, но старик не унимался.

— Кто тебе льстит, тот враг, а истинный друг скажет в глаза суровую правду. Я правду говорю, я тебе не просто родич, я тебе отец.

— Богов сколько? — спросил Исхак.

От этого вопроса старик чуть в обморок не упал. Как? Его сын, видно, ума решился! Помилуй, боже! Тот не мусульманин, кто произносит столь богохульные сло-

ва! Сколько? Да разве можно выражать даже намек на сомнение в том, что бог один...

Исхак продолжал:

— Бог один. А кто такой Иса?[1] Пророк. А Мухаммед? Пророк! Русские веруют в пророка Ису, мы в пророка Мухаммеда. Верно я говорю?

Старик не отвечал на этот вопрос ни словом, ни жестом.

— Неправильно противопоставлять пути разных пророков одного, единого бога. Нельзя проливать из-за этого кровь. Кто поступает подобным образом, тот и есть самый настоящий кяфир, неверный, богоотступник. Верит ли смертный в Ису или Мухаммеда, он равно должен блюсти чистоту духовную и телесную.

Старик всполошился.

— Читай скорее молитву! Читай молитву!..— вопил он, ухватившись за воротник, и сам принялся молиться, быстро-быстро шевеля губами. Руки у него дрожали. Исхак поморщился: ему было и неприятно и жаль старика.

— Отец,— сказал он тихо,— не вмешивайтесь вы в мои дела. Не приходите ко мне за этим. А разговор наш пусть останется между нами.

Старик на это ничего не отвечал и тотчас ушел, обиженный.

Когда Исхак овладел столицей, беки разыскали его отца, муллу Асана. Много лет подряд занятый делами воинскими, поглощенный стремлением осуществить свои политические цели, Исхак и думать забыл об отце. Но родная кровь говорит почти каждому сердцу; Исхак, во всяком случае, обрадовался приезду старика. Но старик заважничал неимоверно и день ото дня все настойчивее и смелее обращался к Исхаку со своими советами, совался явно не в свое дело, обижался, если его не слушали. Кое-кто пытался воспользоваться этим. Исхак досадовал, но что делать — отец все-таки...

4

— Там пришел какой-то нищий-календер. Просит, чтобы его пустили. Что прикажете?

— Какой календер?

---

[1] Коранические обозначение Иисуса Христа.

— Не знаю. Старик... Худой такой...

— Впусти... Кто же это?

Момун ввел календера. Просто одетый, изможденный старец держал себя с достоинством, спокойно. Исхак глянул на него — и бросился навстречу с распростертыми объятиями.

— Святой отец, календер-хафиз! [1] Вы ли это?

Они обнялись. Обрадованный Исхак с поклоном пригласил гостя пройти на почетное место:

— Проходите сюда. Откуда вы?

Он махнул рукой удивленному Момуну:

— Момуке, счастливый гость посетил нас. Созови уважаемых и почтенных, пусть придут поздороваться со святым отцом.

Момун ушел исполнять приказ...

— Сын мой, слухом земля полнится, узнал и я, что ты стал опорой народа, главой государства. Решил навестить тебя, своими глазами увидеть, как ты восседаешь на троне,— с этими словами дервиш присел было на пол у порога.

Но Исхак не допустил его до этого и бережно под руку отвел на почетное место, усадил на ковре среди подушек. Старик не сопротивлялся, только промолвил: «Какая разница, где сидеть...»

И вспомнил Исхак то время, когда встретился с этим человеком. Вспомнил свой первый разговор с караван-баши...

— Куда, говоришь, путь держишь, добрый джигит?

— В Ташкент, господин.

— У меня есть верблюд без поклажи. Садись на него, поедем с нами, мы ведь мусульмане, верно? Чем бы ты мог расплатиться, добрый джигит?

— Своей силой, господин, ничем больше.

— Силой, говоришь? Ладно, добрый джигит. Мы сделаем остановку в Маргелане, там сдадим свой груз и возьмем, даст бог, новый для Андижана, а в Андижане — для Намангана. Работников у нас, добрый джигит, сам видишь, немало, но ничего, ты им тоже с грузом поможешь, так оно и пойдет... Мы ведь мусульмане...

---

[1] Хафиз (1300—1389) — персидский поэт (имя его стало нарицательным).

Исхак, кажется, и сейчас видит перед собою этого караванбаши, видит, как загорелись у него глаза от радости, что нашел дарового работника.

...На север от берегов Сырдарьи медленно потянулся караван. Бесплодные, унылые земли раскинулись кругом. Засыпанные песком саи поросли кое-где тамариском да жесткой, зеленовато-серой солянкой. Верблюды идут, плавно покачиваясь, они устали нести тяжелый груз и нехотя подымают головы, услышав сонный окрик погонщика. Солнце клонится к закату, прохладней становится воздух, тянутся по земле негустые причудливые тени.

И в этом пустынном, выжженном беспощадными лучами солнца, месте караван обогнал одинокого путника. Никто не обратил на него особого внимания, верблюды шли себе и шли своей важной поступью, равномерно покачиваясь. Исхак, разомлевший на своем верблюде от жары и качки, подумал вяло, точно сквозь сон: «Ничего нет у человека при себе, кроме дорожного посоха... Ни оружия, ни спутников... Бродячий дервиш, должно быть!..»

Верблюд Исхака шел последним. Поравнявшись с одиноким странником, Исхак поздоровался:

— Ассалам алейкум...

Дервиш остановился, ответил нараспев:

— Ва-алейкум ассалам...

Путник был истомлен жаждой и усталостью; Исхаку показалось даже, что слезы навернулись дервишу на глаза, что он готов попросить, чтобы его хоть немного подвезли. Но нет, старик — а он был уже старик — зашагал дальше твердой и уверенной походкой. «Каково ему, бедняге, пробираться по таким пустынным дорогам?» — пожалел Исхак и придержал верблюда.

— Эй, странник божий, садись позади меня!

Дервиш бросил на него пристальный взгляд, подошел — не спеша и с достоинством, взобрался на спину верблюду, которого Исхак заставил опуститься на колени, и когда верблюд, рывком поднявшись, продолжил путь, дервиш поблагодарил Исхака коротким: «Спасибо, сынок!» Сказал это и замолчал, а Исхак скоро почувствовал, как усталый старик уткнулся ему лицом в спину,— видно, задремал.

Караванбаши впереди. Он вперил неподвижный и бездумный взгляд куда-то между ушей своего упрямого мула и, кажется, спит с открытыми глазами. Но вот он запрокидывает голову вверх, к безоблачному светлому небу, и затягивает голосом грубым и монотонным:

— О-ой... осталась, э-эй осталась в Кашгаре жена-а...

— Пост! — фыркает от смеха парень-работник и подмигивает Исхаку. Переглядываются и остальные работники. Караванбаши, кроме ругани, не знает других слов; кроме только что пропетой, не знает других песен. Коротка песня, но, видно, очень беспокоится караванбаши о жене, оставшейся в Кашгаре,— а что если она гуляет вовсю без него? Вот и тянет он тоскливые слова, поглядывая на небо и вздыхая. Его пение напоминает вой одинокого волка, от которого отбилась волчица.

Караван подходил к узкому, издали похожему на полуразрушенные ворота входу в глубокую ложбину. Кругом было тихо-тихо.

Караванбаши, очнувшись, заторопил погонщиков:

— Живей! Держитесь плотней друг за другом да поживей давайте!

Погонщики в свою очередь понукали верблюдов: «Чу! Чу!» И вскоре караван, верблюд за верблюдом, начал втягиваться в ложбину, где уже сгущались вечерние сумерки. Шершавый камень на склоне ложбины напоминал голову человека, притаившегося в засаде у дороги. Ни травинки, кругом только кучи рыжевато-красного щебня — будто опустилось на землю в неприютном и тесном ущелье целое стадо двугорбых верблюдов. Кривая лощина, а еще ее зовут Воровской... Опасное место, ворам и разбойникам здесь самое раздолье, и путник, если он один, не рискнет зайти сюда.

— Погоняйте! Погоняйте! — то и дело напоминал караванбаши, но негромко. А погонщикам разве жизнь не дорога? Они стараются изо всех сил... Напугав весь караван, неожиданно вылетела откуда-то сова и унеслась прочь с тоскливым, глухим криком.

Караван подтянулся наконец к выходу из ущелья, вырвался из темного сумрака, и в это время чуть впереди и в стороне послышался крик, перешедший в стон, с ним смешалось яростное рычанье... Передние верблюды в караване резко остановились, задние еще двигались, напирая...

Там, в сгущающейся темноте, кто-то с кем-то боролся не на жизнь, а на смерть. В караване никто не сказал ни слова, верблюды зашагали дальше вроде бы сами по себе, без окриков. Первым, правда, кинулся вперед перепуганный мул караванбаши. Серая верблюдица, на которой сидел Исхак, побежала рысью. Когда она пробегала мимо того места, где шла борьба, темный шевелящийся клубок распался. Исхак увидел теперь, что боролись человек и волк. Человек с тяжким стоном вытянулся на земле, а волк отскочил в сторону, но не спешил скрыться, не испугался. Он присел на задние лапы и ждал. Глаза его горели, как два светляка. Исхак содрогнулся.

— Прочь, гадина! — крикнул он на хищника, но волк и не пошевельнулся. Лежавший на земле человек снова застонал.

— Эй! Здесь человек!

Караван не остановился. Вернулся назад только погонщик последнего в караване верблюда. Исхак хотел заставить свою верблюдицу опуститься на колени, но она не слушалась,— видимо, боялась волка. Исхак спрыгнул наземь, передал повод дервишу и подошел к лежащему. Земля под ним была влажная. Исхак с ужасом, с чувством жуткой беспомощности увидал, что у человека распорот живот, что внутренности его вывалились наружу.

— Ой, кто ты? — спросил Исхак, заикаясь.

Человек застонал, слабым, неверным движением руки дотронулся до своего истерзанного зверем тела.

— Я тут... поле свое жал...

Исхак, погонщик и дервиш стояли над ним и, задерживая дыхание, прислушивались к каждому произнесенному им слову. А волк все сидел поодаль в стороне — ждал...

— Собрал десять четвертей пшеницы... в яму для зерна спустил... на току...

— Несчастный бедняк,— сказал дервиш, и голос у него дрогнул.

— Где же настиг тебя зверь? — спросил Исхак.

То и дело прерывая еле слышную свою речь стонами, умирающий рассказал:

— Он давно преследовал меня. У меня палка была... Серп... Палкой оборонялся. Он палку вырвал у меня зубами. Серп я сам обронил, когда волк еще раз наско-

чил... Потом мы с ним здесь схватились. Я бы, может, одолел... да тут слышу голоса. Голову повернул, а он клыками... живот разорвал...

— Крепись, родной,— пытался ободрить его Исхак.— Мы тебя увезем.

В это время со стороны каравана донесся голос караванбаши:

— Э-эй! Что вы там? Живе-е-ей...

— Давайте быстрее,— встрепенулся погонщик.

— Опускай верблюда на колени! — попросил его Исхак.— Мы беднягу подымем...

Но раненый отказался:

— Не троньте меня. Какой прок? Все равно я умираю. Пускай мое тело останется там, где пролилась моя кровь. Видно, бог судил, чтобы стала моя плоть пищей зверя.

Он застонал и потерял сознание.

Караванбаши надрывался от крика, звал и звал.

Раненый снова пришел в себя.

— Увидите хижину мою при дороге... зайдите... поцелуйте за меня пятерых моих сирот...

Словно прощаясь с ними, умирающий чуть приподнял руку и тут же уронил ее на землю.

Исхак осторожно взял эту руку в свою и положил ему на грудь.

— Как же мы бросим его здесь?

— Прощайте... люди добрые... Мой чапан где-то здесь... чапаном голову мне покрепче укутайте. Прошу об этом... чтобы волчьи зубы лицо не рвали...

Исхак стоял потрясенный, оглушенный, ничего не соображая. Дервиш читал отходную молитву. Караванбаши все звал их.

Когда раненый испустил последний вздох, Исхак молча подобрал изодранный чепан и с помощью погонщика крепко обмотал голову покойника. Потом они все трое сели на верблюдов. Животные взяли с места рысью...

Караванбаши, едва они подъехали поближе, разразился злобной бранью. Особенно досталось Исхаку.

— Хозяин, человек же там. Волк разорвал его...— попробовал было урезонить Исхак, но караванбаши бушевал:

— Подумаешь, сдох кто-то! Мне какое дело? Какое мое дело, кого там разорвали? В этих местах двуногих

волков больше, чем четвероногих. А ты, проклятый сын разведенной матери, решил меня погубить? — и, заметив на верблюде позади Исхака сгорбленного старика, караванбаши заорал: — Это еще кого ты приволок с собой? Спину верблюдице сломать хочешь?

— Хозяин, он же старый человек...

— А ну, слезайте оба!

По одному только взгляду хозяина перепуганные погонщики мигом стащили Исхака и календера с верблюдицы и отогнали ее в сторону.

Исхак взбеленился.

— Нет, ты погоди! — вцепился он в повод караванщикова мула.— Я у тебя работал не за страх, а за совесть. Так? Ты обещал меня за это доставить в Ташкент, так или нет?

Упрямый мул рванул повод из рук, махнул хвостом и понесся вперед, унося своего хозяина. Караванбаши погрозил Исхаку плеткой и крикнул на ходу:

— Работал? Паршивый бродяга, скажи спасибо, что я тебя не прикончил здесь, чтобы тот волк на сей раз набил брюхо твоим поганым мясом!

— А ну, иди попробуй! Попробуй убей! — кинулся Исхак за ним вдогонку, но куда там! Мула уже и не видно было из-за припустивших за ним верблюдов...

А старик дервиш смотрел на все это с улыбкой.

— Оставь, не сердись на него,— сказал он разгоряченному Исхаку.— Этот божий раб гонится лишь за земными благами. Пускай бог воздаст ему по справедливости...

— А ну тебя! — с досадой отозвался Исхак, хотя гнев его уже угас.— Поневоле я должен оставить его на суд бога, потому что я бессилен. Если бы мог, я бы сам с ним рассчитался, еще на этом свете!

Старик, все еще улыбаясь, смотрел вслед уходящему каравану.

— Прости этого смертного за его заботы о своих суетных делах. Не давай плохим, нечистым мыслям, мстительным порывам поселяться в твоем сердце. Они причинят вред только тебе самому, они оскверняют веру. Будь милосерден и честен. Так легче будет твоему сердцу и твоей душе.

Два путника двинулись дальше.

— Такова воля божья, сын мой, чтобы мы с тобой

искали гостеприимства здесь, среди гор, у людей племени курама. Идем же к ним!

Исхак не отвечал, но внутренне согласился с этим предложением. Что ему спешить? В Ташкенте его не ждет родной дедушка!

Шли они долго. В темноте, то и дело оступаясь. Обливались потом, обсыхали... Исхак измучился вконец. Заметив это, старик сказал:

— Воспитывай в себе равнодушие как к тяготам, так и к наслаждениям, сын мой. Что пользы огорчаться? Стремись к хорошему, беги от дурного. Если встретится тебе доброе, не радуйся сверх меры, если столкнешься с недобрым — не огорчайся. Сегодняшняя радость назавтра оборачивается горем и наоборот. Знай, что таков наш мир, он то возносит тебя на спину быстроходного верблюда, то гонит пешком по тяжелой дороге.

Наутро они добрались до большого аила. Залаяли собаки. Молодая женщина в красном платье вышла из крайней юрты. «А, это дервиши...» — сказала она и принялась разглядывать путников с нескрываемым любопытством. Потом прикрикнула на собак: «Пошли прочь!»

Старик дервиш, едва они с Исхаком приблизились к юрте, запел.

Молодая женщина слушала его пение, опустив глаза, а лицо ее все светлело, она задумчиво кивала головой в такт мелодии. Но вот она повернулась и скрылась в юрте. Снова вышла, подала путникам лепешку. Исхак принял лепешку, опустил в карман шаровар.

— Спасибо, дочка, да не будет у тебя ни в чем недостатка,— поблагодарил старик.

Из большой юрты показался тем временем почтенного вида человек. Он поклонился старику и радостно его приветствовал:

— Святой отец, добро пожаловать!

У Исхака потеплело на душе. Хозяин юрты носком сапога толкнул дверь. Он сам постелил на почетном месте одеяло, набросал подушек, усадил гостей. Оглядывая юрту, Исхак думал о том, что хозяин ее, должно быть, старый знакомый дервиша и что они здесь, даст бог, хорошо отдохнут и поедят на славу.

— Кто же ты, свет мой? — спросил дервиш, немало удивив Исхака своим вопросом.

— Меня зовут Кулбарак, святой отец,— отвечал тот,

присаживаясь на колени возле одеяла.— Я вас видел три года назад на базаре в Намангане. Вы меня, конечно, не знаете. Я один из многих, кто слушал ваши золотые слова. Как же мне не узнать вас! Ваш приход к нам, к нашему народу — великая милость и счастье...

— Спасибо на добром слове,— наклонил голову календер.

В юрту вошли два подростка. Первый, увидав незнакомых людей, несмело произнес приветствие; мальчики остались стоять у порога. Хозяин позвал их:

— Идите поздоровайтесь.

Мальчики с поклоном по очереди пожали обеими руками руку старика дервиша, а он, оглядев их ласково и пристально, сказал:

— Хорошие, славные джигиты, молодцы...

Повинуясь взгляду отца, младший принялся разжигать огонь в очаге, а старший вышел и вскоре привел в юрту черного ягненка — чтобы гости, по обычаю, произнесли молитву над обреченным стать пищей животным.

Хозяин пригласил соседей — стариков и молодых джигитов, женщин и румяных девушек набилось в юрту полным-полно. Забыв об усталости, дервиш разглядывал собравшихся. Быть может, пришли они сюда только ради угощения и не нужно им его слово? Но он заговорил все же, и говорил долго, пересыпая поучения стихами. Читал отрывки из поэм о Юсуфе и Зулейхе, о Лейли и Меджнуне, потом из великого сказания об Эр-Манасе... Его слушали все, никто не покинул юрту.

Разошлись люди только под утро.

Путники отдохнули и стали собираться в дорогу. Гостеприимный хозяин кивнул жене, и та подала два новеньких чепана. Один из них Кулбарак накинул на плечи дервишу, второй — Исхаку.

— Мудрый человек, ты осчастливил наш дом, обрадовал нас, прими же скромный подарок от чистого сердца и прости, что прикрываем твои плечи столь дешевым одеянием...

— Не подарок — дорого уважение,— отвечал дервиш. Они с Исхаком попрощались с хозяйкой и вышли за дверь. А там сыновья Кулбарака держали каждый по верховому оседланному коню.

— Вот, святой отец,— с запинкой сказал Кулбарак, который провожал гостей,— примите еще и коней, что-

бы не пришлось пешком идти вам больше. Не обижайтесь...

Кони были сытые, на луках седел висело по плети. Исхак радовался от души, что ноги отдохнут: пешком плестись — мучение для того, кто с детства привык верхом ездить. А на лице дервиша радости не было. Он принял подарок, только чтобы не обидеть хорошего человека, поблагодарил его и благословил детей.

Скоро путники были уже в дороге.

...Старая женщина почти выбежала из придорожной лачуги, возле которой примостилось еще несколько таких же неприглядных и бедных жилищ. Широко раскрыв глаза, смотрела старуха на путников. Из лачуги доносились громкие стоны.

— Здравствуйте! — приветствовал дервиш старую женщину, а она, как будто опомнившись, отвечала:

— Добро пожаловать... Пожалуйте... Только дом этот остался без хозяина...

— Кто-нибудь болен?

— Да нет... не болен...— женщина запнулась.

— Несчастье какое случилось?

Старуха вдруг ответила:

— Родной, это семья бедная, бедняка одного семья. Хозяина-то дома нет, а у жены уж двое суток схватки... Сознание теряет, из сил выбилась,— она заплакала.

— Хозяин куда ушел?

Старуха на вопрос не ответила — она прислушивалась к тому, что делалось в хижине.

— Рожает-то не в первый раз, просто и не знаю, что с ней случилось, мучается, бедная...

Помолчав, она сообразила, наконец, о чем ее спрашивал дервиш.

— Хозяин поле убирать пошел, пшеницу жать.

У Исхака тревожно забилось сердце. Он вспомнил человека, растерзанного волком. Старик же молча спешился.

— На вот,— протянул он старухе свой посох.— Пусть роженица держится за него во время схваток, а ты ее поддержи, помоги ей.

Повитуха ушла в хижину. Дервиш присел на землю, начал молиться. А в хижине старуха уговаривала роженицу: «Той-ана, открой глаза! Держись за эту палку. Святой старец посетил нас, открой глаза, Той-ана! Крепись, бедная моя...» Женщина стонала все громче. Ис-

хак слушал, а перед глазами у него неотступно стояло страшное видение умирающего, истерзанного зверем бедняка. Конечно же, это его семья, это его жена мучается в родах, еще не зная, что отец ребенка уже мертв...

В лачуге заплакал новорожденный. Дервиш встал и, простерев руки в сторону кыблы, молился теперь громко о том, чтобы аллах послал лучшую долю новому своему рабу, дал ему место среди прочих, живущих на земле. Повитуха хлопотала, перевязывая младенцу пуповину, заворачивая его, потом вышла с ним на руках наружу.

— Суюнчи с вас!

— Ну вот и хорошо! — дервиш протянул ей серебряную монету.

Они вошли в хижину. Роженица лежала на постели, при виде дервиша приподнялась было... Дервиш опустился на землю справа от входа, Исхак — рядом с ним.

— Дорогие мои, надо имя дать новорожденной,— попросила повитуха.— Что, если мы назовем ее Адаш? Имя это означает «заблудшая», а ведь ей в жизни придется блуждать среди многих и многих людей...

— С надеждой, с добрыми пожеланиями надо давать ребенку имя. Не следует награждать его на всю жизнь тем, что первое в голову пришло. И не блуждать ей придется среди людей, а выбирать свою дорогу. Пусть же она найдет свое место в жизни, пусть будет счастлива и достойна уважения. Этого желаю я ей. Пусть она носит имя Бак-биби — дочь счастья!

— Спасибо вам, атаке, да сбудутся ваши слова,— слабым голосом поблагодарила мать новорожденной.

И дервиш, как того требовал обряд, трижды громко произнес имя девочки.

Кроме Бак-биби в хижине еще пятеро ребятишек. Старший — мальчик лет двенадцати. Остальные — девочки, мал мала меньше. Подобравшись поближе к матери, они украдкой разглядывали чужих людей.

— Как тебя зовут, большой джигит? — спросил Исхак у мальчика.

— Байтуган,— отвечал тот.

Исхак почувствовал, что к горлу подступают слезы, и опустил голову. «Поцелуйте за меня моих сирот...»

Подали положенное по такому случаю угощение. Отведав его, дервиш подозвал к себе Байтугана, притянул поближе, поцеловал в лоб. Потом дал ему в руку камчу.

— На, молодец, там, за дверью, стоит оседланный конь для тебя. Подарок по случаю рождения сестренки...

Мальчик взял плеть, но мать тут же его пристыдила:

— Что ты, сынок, дядя шутит...

— Не шучу я, дочка! Не стыди сына. Я дарю от чистого сердца. Бери, молодец!

И мать, и повитуха были обрадованы. Повитуха ободрила растерявшегося было и выронившего камчу Байтугана:

— Бери, бери уж теперь...

И мальчик поднял плеть.

Прощаясь, дервиш говорил:

— Не теряйте надежду на доброе. Живите с этой надеждой, с хорошими помыслами. Потеряете это — жизнь покажется беспросветной и страшной...

И в голосе его звучала затаенная печаль. Исхак поцеловал Байтугана, но не сказал ничего — боялся, что сорвется с губ горестное слово и выдаст его.

Они пошли пешком. Исхак вел своего коня в поводу. Он не знал, что с ним делать. Оглянулся. Возле хижины стоял Байтуган и смотрел им вслед. Исхак остановился.

— Байтуган!

Мальчик подбежал.

— Возьми и этого коня, Байтуган. Если отец твой вернется живым, передай, что это подарок ему от меня. От друга, скажи. Понял?

Мальчик кивнул.

— На,— передал Исхак ему повод.— Иди, и я пойду, а то отстану от своего спутника...

Он догнал дервиша, и тот сказал, не оборачиваясь:

— Верно... Умеешь брать — умей и отдавать...

До поздней осени бродил Исхак по дорогам вместе со стариком, смотрел, слушал. Он не расставался с дервишем ни в жаркие дни, ни в темные ночи, радовался тому, что судьба скрестила их пути, и не замечал, как идет время. Не испытывал огорчения оттого, что голодал, и не радовался сытости. Невзрачный старик как будто на ладони своей держал всю неизмеримость и всю малость мира и знал ему цену. Исхак слушал, как дервиш произносит строки поэтов, и постигал новый огромный мир — сокровищницу ума, красоты, нравственной чистоты. От этого человека узнал он имена Саади, Ха-

физа, Навои, Ясави. Из их уст прозвучали когда-то, столетия назад, слова, благородные по смыслу, и теперь их повторял старый дервиш, а его спутник вбирал все это с ненасыщаемой жадностью и наслаждался, как ребенок, который впервые отведал мед.

Это был человек, которого в народе почитали, но не смели назвать по имени — он был Святой дервиш, поэт.

Его изречения записывали и передавали из уст в уста.

Поздней осенью пришел Исхак в Ташкент. Пришел в изорванной одежде и разбитой обуви, но смотрел он теперь на все с высоты, открываемой разумом, глазами непредвзятыми и как будто заново прозревшими.

А человек этот не забыл джигита, когда-то бродившего вместе с ним, он следил за его судьбой и знал о его нынешнем положении. И пришел к нему именно в тот день и час, когда Исхак испытывал тоскливое раздражение после спора с отцом, неудачливым богословом, муллой Асаном. Приход его был так уместен и нужен сейчас, когда Исхак испытывал нужду в поддержке и помощи...

Новые придворные собрались скоро. Накрыт был обильный достархан, но ели немного — только из вежливости. Всем хотелось послушать мудреца.

— Известно, о почтенные, что путь, пройденный человеком, служит уроком будущим поколениям. Путь прямой становится образцом, путь кривой и неправедный — грозным напоминанием,— начал дервиш свою речь.— Правил когда-то в Индии мудрый султан, потомок Бабура Акбар. В Индии жили люди разных племен, говорили на разных языках, и вера была у них разная. Трудно было султану удержать в своих руках власть над страной, сохранять ее единство. Тогда Акбар призвал к себе богословов разной веры — по одному от каждой — и сказал им, что бог один, а пророков у него много. Моисей, Иисус и Мухаммед не враждебны один другому, нет. Каждый из них учил людей добру, учил их принимать то, что полезно для человечества. Тому же должны учить и богословы. А себе Акбар взял по одной жене от каждого племени, но, оставаясь сам мусульманином, их не принуждал переходить в свою веру, забывать обычаи родного им народа. Он строил буд-

дийские дома веры и христианские, строил и мечети. Он учил веротерпимости. Потому и удалось Акбару сохранить единство в своей стране, сделать ее могучим государством, в котором мирно уживались разные народы.

Послышались возгласы одобрения, но больше всех доволен был Исхак — поучения дервиша подкрепляли его нынешнюю политику, они как бы оправдывали и его стремление сблизиться с русскими, доказывали необходимость такого сближения.

— Дьявольское наущение! — слова эти хлестнули Исхака, словно плетью по лицу.

Он обернулся. Ну, конечно,— это отец, мулла Асан. Теперь уже все глядели на него. И никто его не одернул. Многие поглядывали на Исхака не без ехидства. Исхак покраснел и чуть было не крикнул: «Придержи язык!»,— но его остановил мягкий голос дервиша:

— Не надо волноваться, ничего страшного...

Но мулла Асан, не слушая, выкрикивал, весь трясясь:

— Он произносит богопротивные речи! Он хвалит неверных и вероотступников! Призывает учиться у них! Скажите, мусульмане, как можно равнять с мечетью дом, где совершается идолопоклонство? И когда это сын мусульманина лежал в одной постели с иноверкой? Это осквернение шариата!

Дервиш никакого гнева не выказывал, сидел спокойно и так же спокойно заговорил:

— Когда-то в давние времена подружился беркут с жабой, что жила в глубокой яме. Беркут подолгу парил в поднебесье, но вот однажды он спустился вниз, к яме, в которой жила его приятельница. В яме темно, сыро. Сидит беркут на краю, смотрит. А жаба его спрашивает: «Эй, приятель, где это ты пропадал?» «О, я летал над облаками, облетел весь мир, побывал возле самого солнца, кружился вокруг луны»,— отвечает беркут. Завидует ему жаба, расспрашивает дальше: «Ну, скажи-ка мне, сколько в небе солнц, если ты залетел так высоко и все видел?» «Солнце одно»,— говорит беркут. «А луна?» «И луна одна». Жаба думает: «Верно он отвечает, значит, и вправду все видел». Но задает еще один вопрос: «Сколько же звезд?» «Я не мог сосчитать,— ответил беркут.— Их бесконечно много!» Тут жаба расхохоталась так, что долго не могла остановиться. «Обманщик! Лжец! Ква-ква-ква! Звезда только одна!

Ква-ква-ква!..» Взмахнул беркут крыльями. «Сидишь ты в своей яме, где тебе увидеть хотя бы две звезды!» — сказал так и снова ринулся в небо...

Все засмеялись. Мулла Асан подхватился с места и, держась за воротник и бормоча молитвы, ушел, наступая на полы собственного халата.

А беседа затянулась еще надолго, и никто уже не мешал дервишу делиться с собравшимися своей мудростью, почерпнутой в долгих скитаниях по земле среди людей. Под конец он прочел посвященную Исхаку касыду [1] на тюрки.

Властитель народа, правитель, о, внемли!
Блаженство — мгновенье, все радости — прах,
И жизнь, как весенний поток, быстротечна,
А трон твой — лишь пена на бурных волнах...

Придворные слушали эти стихи в полном молчании. Дивился, глядя на них, Бекназар-батыр. А Исхак, побледневший от волнения, жадно ловил каждое слово.

Дай бедным достаток, будь щедр, повелитель,
Сумей приобщиться к народной судьбе!
Ведь только народ на земле этой вечен,
Пусть в нем сохранится молва о тебе...
О мудрый владыка, неправедна ложь,
Но правду посеешь — бессмертье пожнешь,
Жемчужиной в бездне морской засверкаешь,
На пологе неба звездой воссияешь,
Признанье людей на века обретешь.

Касыда встречена была шумным одобрением.

— В ваших стихах ни слова кривды нет,— сказал кто-то один то, что думали все.

Краски вернулись на лицо Исхака. Он почтительно склонился перед мудрецом и заговорил негромко, дрожащим от волнения голосом:

— Станьте мне отцом, помогите мне отбиваться от ученых невежд и глупых богословов. Направляйте меня, осветите мне путь своим разумом... останьтесь во дворце...

Дервиш покачал головой. Сказал устало:

— Просьба повелителя — все равно что приказ. Ну останусь я во дворце, так буду только в тягость тебе, какая от меня польза? Я высказал, что мог, что думал, все высказал.

---

[1] Касыда — одическое стихотворение.

Он не изменял себе. Ни напыщенный хорезмшах, ни эмир бухарский со всем пышным великолепием своих дворцов не могли бы удержать его. Быть среди бедняков, отдавать им свою мудрость — вот единственный смысл его существования. Исхак не посмел больше настаивать.

Старый дервиш любил свободу; он бежал от суеты мирской, которая связывает человека и не дает ему говорить, что думает. Он не радовался оказанным почестям и дорогим подаркам, ему приятно было, что Исхак искренне, от всей души уважает его. Об этом он и сказал, когда на следующее утро пришел проститься перед уходом.

— Не забывайте же нас, святой отец,— тихо попросил Исхак и, едва дервиш ушел, задумался о чем-то глубоко и невесело.

В этот день в Маргелане был большой базар. Дервиш, постукивая посохом по камням, поспешил туда, напевая что-то себе под нос.

Он бродил по базару и, если встречал человека, глаза у которого полны были тоски, если глаза эти горели на изможденном лице,— давал такому человеку золотую монету с вычеканенным на ней именем Исхака. Бросал монету — и шел дальше, не обращая внимания ни на удивление, ни на благодарность.

Его узнавали многие и приветствовали. Как и везде, ему здесь радовались бедняки. А жадные торговцы ворчали со злостью: «Не дает как следует торговать этот дивана со своими побасенками да песнями!..»

Дервиш обошел весь базар и направился к главным воротам. Люди почтительно расступались перед ним. Возле ворот сидел калека-нищий. Дервиш отдал ему подаренный Исхаком дорогой халат. Калека пытался поцеловать полу его чепана, но дервиш поспешно ушел и скоро был уже на улице. Свернул в первую же чайхану и на оставшиеся в кармане две медные монеты взял себе чайник чаю и лепешку. Молча поел и покинул чайхану.

В сумерках его нагнал в пути какой-то человек верхом на осле; дервиш попросил, чтобы человек подвез его, и, отдав в уплату за это последнюю золотую монету, поехал в сторону гор.

5

Положение было тяжелое, и никто не мог придумать, как его поправить. Объединенное войско Кудаяра и Насриддина захватывало пограничные селения, учиняло грабеж. Со стороны Намангана и Ташкента наступали солдаты губернатора, вооруженные пушками и винтовками.

Исхак сам ездил по городам, собирал ополчения, проверял состояние регулярного войска, дотошно расспрашивал сарбазов, военачальников, старейшин. Посла за послом отправлял к фон Кауфману, предлагая прийти к согласию, к миру.

Но почтенный губернатор не считал Исхака законным правителем, не признавал его ханом. Он не обращал ни малейшего внимания на его предложения о мире и согласии и вел решительное наступление против «вера» и «узурпатора власти». Он не желал, чтобы новые хозяева орды сохранили государственную самостоятельность. Ежели бы возникла нужда сохранить это государство как таковое, губернатор вступил бы в переговоры с Кудаяром либо Насриддином. А здешний Пугачев не нужен императору всея Руси. Фон Кауфман предпочел вспомнить о законных правах низложенных ханов, о договорах с ними и решил уничтожить Исхака, правителя, избранного народом, при помощи военной силы. Во главе войска поставлен был молодой, только что получивший чин генерал-майора Михаил Дмитриевич Скобелев. Возле Балыкчи Скобелев вступил в сражение с Уали, разбил его десятитысячный отряд наголову и занял Балыкчи. Уали был умным и опытным военачальником, его поражение Исхак воспринял как тяжелейший удар.

Исхак вернулся в Маргелан. Собрал к себе особо доверенных лиц.

— Ну, мудрые головы, ну, герои,— так начал Исхак свою речь,— что же делать будем? С губернатором договориться не удалось. Сами видите, нам день ото дня приходится хуже...

Разве не он уверял их, что предложение Абдурахмана начать газават против русских — грубая ошибка? А теперь? Что теперь получилось из попыток замириться с русскими, найти с ними общий язык, не воевать с ними? К чему привела такая политика? Подломилась опо-

ра, на песке было построено здание надежды. Рушилось доверие приближенных к Исхаку.

Никто не сказал ни слова. Пристальным и медленным взглядом обвел Исхак всех и каждого, но и после этого никто не заговорил.

— Мы слышали о том, что русские щедры, что они справедливы, что они защищают бедняков, верно? А что мы видим? Они защищают — и до пределов возможного — права ненавистных нам Кудаяра и Насриддина. Что теперь делать? Говорите, советуйте...

Они сидели перед ним, его советник Муса, парваначи Омурбек-датха, удайчи[1] Сулейман, его товарищ и ровесник Абдылла-бек, Бекназар-батыр... Сидели мрачные и озабоченные, не зная, какой дать совет и чем помочь.

Бекназар подался вперед.

— Это правда, я сам слышал от родича, который приезжал из Сары-Узен-Чу. Русские хорошо относятся к простому народу. У нас тут сущая беда, Исхак. Губернатор, который сидит в Ташкенте, он ведь не русский, а? Говорят, он из другого народа.

— А чем мы провинились перед этим жестокосердным губернатором? Почему он идет против нас? Какое у него право? — разгорячился Абдылла-бек.

В ответ на эти пылкие слова умудренный опытом Омурбек-датха махнул рукой:

— Какое право, говоришь? Сила! Вот и все его право. Исстари так ведется — кто сильнее, у того и все права. Силой можно белое превратить в черное, а черное в белое. Остановит силу только сила.

Сидели еще долго, но никто не мог найти ответ на вопрос, который мучил всех — как быть дальше?

— Быть может, мы пошли по неверному пути, допустили ошибку? — негромко спросил Исхак и сам же ответил: — Нет, это не так. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы не сталкиваться с русскими, чтобы договориться с ними, мы неустанно искали возможности вступить с ними в переговоры и прийти к согласию. Разве это неправда?

— Правда! — откликнулся Абдылла-бек.

— Что же нам делать, если жестокий губернатор не идет ни на какие переговоры? Что нам еще осталось? Только сражаться до последней капли крови за свою

---

[1] Удайчи — означает примерно то же, что русское «адъютант».

землю, за свои права, за свою свободу. Идти за них в огонь и в воду.— Он снова пристально оглядел всех.— Если кто из вас видит иной, более правильный путь, пускай скажет.

— Нет у нас другого пути, Исхак! — нестройно, но дружно отвечали все.— Куда нам бежать? И о чем еще просить?

— Ну что ж! — поднял голову Исхак.— У кого из нас отец на троне родился и на троне умер? Не трон дорог нам, дорога родная земля. Родной народ. Сидя на боевых седлах, завоевали мы свою свободу, будем ее отстаивать так же, как завоевывали. Скажите об этом народу!..

Единодушная поддержка приближенных не обрадовала Исхака настолько, чтобы хоть отчасти развеялась овладевшая всем его существом тяжкая забота. Труден завтрашний день. Багровое солнце озарит его... Судьба все связала в один узел: праведником либо великим грешником предстанет он на том свете перед лицом всевышнего, светлую или темную память сохранят о нем на этом свете народ, история, станут люди считать его поборником насилия или свободы и справедливости... Узел этот развяжут либо пушки, либо острые мечи в грядущей кровавой битве.

Исхак принимал наедине человека, явившегося к нему будто бы с прошением. Человек этот вошел, тихо поздоровался и, опасливо оглянувшись, опустился перед Исхаком на колени. Исхак глядел на него с любопытством.

— Здесь никого нет,— сказал он, улыбнувшись.— Или ты мне самому не доверяешь? Ну, говори. Ты давно из Андижана? Как дела?

Пришелец, прежде чем заговорить, причмокнул губами.

— У нас в народе принято отвечать «все в порядке», даже когда смерть на пороге...

Исхак широко раскрыл глаза.

— Что, дела плохи? Говори прямо. Точно говори, все как есть...

— Будь прокляты беки, которым ты доверял без меры. Знаешь ты, что они говорят? «Он безродный бродяга, сын темного киргиза, он захватил власть в своих

личных целях». Вот какие речи они ведут. И собирают вокруг себя подозрительных людей...

Исхак побледнел.

— Кажется, они исподтишка ведут переговоры с этим Искебул-пашой... [1]

В каждом городе были у Исхака доверенные тайные агенты. Кроме него самого о них не знал никто, и каждый из них был связан только с ним самим. Он выбирал их из самых преданных, умеющих хранить тайну людей. Недреманное око и чуткое ухо сторожили и Абдылла-бека и Бекназара-батыра.

— Погоди... Погоди... — прервал его Исхак. — Остальное уж мое дело, батыр, а ты, если конь у тебя добрый, садись на него, а если плохой — смени, и возвращайся-ка сегодня же в Андижан.

Соглядатай сидел и клевал носом. Исхак дрожащей рукой написал: «Поступать так, как скажет предъявитель этой бумаги» — и поставил свою печать.

— Вот. Если подлый Шамырза поведет себя как изменник, покажешь эту бумагу верным мне пансатам и сотникам, велишь им не медля схватить предателя и казнить его. Если не будет этого, зря не полоши никого, жди человека отсюда.

Соглядатай открыл глаза, зевнул во весь рот, спрятал ханский ярлык за пазуху и, попрощавшись кивком, вышел.

На другой день Исхак, весь дрожа и не в силах говорить спокойно, кричал на совете приближенных:

— Ну, Шамырза! Ну, Ярмат! Кожу сдеру с живых! Предатели!

Его слушали в недоумении. Какие проступки совершили Шамырза-датха и Ярмат-датха — доверенные из доверенных?

Исхак бросил на пол свернутую в трубочку бумагу: «Глядите!» — а сам отошел к окну.

Кто-то из знающих грамоту подобрал бумажку, прочел и тут же поднял на собравшихся растерянные глаза; а все прочие в свою очередь смотрели на него с немой просьбой: «Читай!» И он прочел, запинаясь: «Уважаемый бек, с горячим сердечным приветом обращаются к вам ваши братья Ярмат-датха и Шамырза-датха. Письмо ваше, по воле аллаха, мы получили и очень были до-

---

[1] Скобелев.

вольны. По изволению аллаха, ваши мысли — наши мысли, ваш путь — наш путь. Сообщите поскорее, что вы советуете предпринять, когда Искебул-паша подойдет близко».

На некоторое время воцарилась мертвая тишина. Исхак все стоял у окна.

— Боже, какое злодейство! — вырвалось наконец у кого-то.

Исхак обернулся, подошел к потрясенным соратникам, горестно покачал головой.

— Вы слышали, братья мои? Вчера вечером наш доверенный человек сообщил, что эти беки называют меня безродным бродягой, что они готовят заговор. Я верить ему не хотел! А нынче вот оно перед вами письмо беков, посланное Абдурахману. Поглядите на печати.

Передавая письмо из рук в руки, осматривали поставленные под ним печати Ярмата и Шамырзы. Смеялись, но недобрым был этот смех. У Бекназара кровью налились глаза, гнев перехватил дыхание...

Исхак не медля направил в Андижан четыре тысячи отборных воинов во главе с Бекназаром. Беком при них сделал Исхак эшик-агу Амала, который, как и он, был из рода бостон.

— Будь осторожен, батыр,— напутствовал Исхак Бекназара.— Андижан — наша колыбель. Нельзя выпустить из рук этот город. И помни — успокоить врага, значит — уничтожить его...

Под вечер, когда Исхак уже собирался ложиться в постель, послышался чей-то голос из наружных покоев. Исхак сам не знал, как очутился у него в руке однозарядный русский пистолет. Голос вроде бы знакомый. Вошел Момун.

— Повелитель, его святость, отец хана...

Исхак кивнул. И не успел еще Момун скрыться за дверью, как появился мулла Асан. Исхак встретил его молча, нахмурив брови. Не поздоровался с сыном и мулла Асан.

— Ну, явились как раз ко времени, ничего не скажешь!

Мулла Асан, не обращая внимания на более чем неприветливый прием, затараторил:

— Ты, видно, хочешь уничтожить всех людей, способных дать разумный совет, и остаться со своими паршивыми голодранцами?

Исхак поднял голову. Глаза горели гневом, но мулле Асану гнев этот нипочем. У него как-никак отцовские права, никто их не отнимет, не нарушит.

— Что тебе может дать твоя чернь? Ни совета, ни славы, ни денег! Знай, что в тяжелую минуту надо опираться на мудрых, сильных и богатых!

— Ваши мудрые, богатые и, как вы уверяете, богобоязненные, верующие, готовы продать кого угодно, кому угодно. И я не стану щадить их, понятно вам? За самую малую провинность буду резать, как баранов, вешать попарно на воротах, живыми в землю зарывать! Им только и дорог свой дом и свой карман.

— Будь осторожнее, сын мой, будь осмотрительнее. Шамырза-датха — хороший человек. Ярмат-датха умереть готов за веру. Я слышал, что какой-то дурак очернил их, а ведь ты на себя примешь их кровь на том свете. Послушайся меня. Верни твоих палачей. Тебе же будет хуже...

Исхак рывком пододвинулся к отцу.

— Откуда вам известно, что мне будет хуже? Кто вам сказал?

Он смотрел на отца с подозрением. Полубогослов, полумудрец... Только и твердит, что Исхак нарушает установления шариата. И почему он так упорно вмешивается во все? Его просят не лезть не в свое дело, а он не отстает. Враги науськивают?

— Нет, от своего слова я не отступлюсь. Ярмат и Шамырза встали на путь предательства. А предателям одна кара...

Мулла Асан понурился. Долго раздумывал о чем-то, потом заговорил со злостью:

— Я-то радовался, что сын мой поднял священное знамя пророка, что он станет защитой и опорой ислама, покарает неверных. Но ты рассорился с Абдурахманом-абтабачи, и радости моей пришел конец. Ты осквернил деяние, совершенное Абдымомун-беком во имя веры. Теперь ты отвратился от своего народа и от ислама, я понял это...

— Хватит! — оборвал его Исхак.

Ужасные слова выслушал он от своего отца. Непримиримо враждебное выражение увидел на его лице. И теперь оба они сидели молча, не смотря друг на друга.

Исхак хлопнул в ладоши, вызывая караульного.

— Сейчас, отец, я вызову сотника, который проводит вас домой. Вы не поняли ни меня, ни мои цели,— сказал Исхак.

Мулла Асан вышел, не попрощавшись. И больше они с сыном не встречались.

Бекназар со своими сипаями к утру достиг селения поблизости от Андижана. Соблюдая осторожность, он отправил Шамырзе и Ярмату письмо, в котором сообщал, что явился в управляемые ими области по личному приказу хана, чтобы провести военную игру со здешними воинами, поджигитовать вволю, а затем отправиться назад. Он просил их выслать воинов из города в его окрестности. Шамырза и Ярмат, жадно предававшиеся наслаждениям и удовольствиям, ничего не заподозрили и даже обрадовались приходу четырехтысячного войска. Наутро из Андижана потянулись вооруженные воины. Вскоре оба отряда — местный и пришлый — встретились.

Бекназар тотчас велел схватить Шамырзу и Ярмата. В присутствии построенных в боевом порядке воинов приказал огласить ярлык Исхака. Обоих предателей повели мимо строя, и отовсюду неслись крики: «Смерть! Смерть предателям! Казнить их не медля!» Бекназар только этого и ждал.

— Режь! — крикнул он.

Вперед выступил тот самый человек, который принес Исхаку известие о предательстве. Тяжелой нагайкой хлестал он обоих, пока не устала рука, пока не утолен был долго копившийся гнев. И он же зарезал предателей на глазах у всех, зарезал, как баранов.

Бекназар вошел в Андижан во главе обоих отрядов.

Второго января 1876 года генерал Скобелев взял Андижан в осаду.

С одной стороны к городу подступал генерал Троцкий, с другой — генерал Куропаткин, а с третьей — сам Скобелев с бароном Витгенштейном и бароном Меллер-Закомельским. На возвышенности Ак-Чакмак, с которой город был как на ладони, установили шестнадцать орудий под командой генерала Головачева и ракетные станки.

На рассвете 7 января начался артиллерийский обстрел Андижана и продолжался до вечера. Лежавший

под легким покровом пушистого снега тихий город в мгновение ока превратился в ад кромешный. Черная пыль взметнулась к небу, один за другим вспыхивали и горели дома. С грозным гулом рушились минареты.

Потерявшие всякое соображение сарбазы палили куда попало из пушек-китаек, но не причиняли врагу никакого ощутимого вреда.

А генерал Скобелев, стоя на Ак-Чакмаке, любовался зрелищем разрушаемого, гибнущего города да посмеивался в усы.

Но вот в тылу у скобелевского отряда раздался нестройный многоголосый крик,— то ринулись в наступление ополченцы-конники. Эта опасность была предусмотрена. Оставленные в засаде три ракетных станка и три орудия открыли шквальный огонь. Ополченцы были рассеяны и откатились назад, но здесь их встретили солдаты полковника Машина. Ополченцы рвались к рукопашной, но полковник Машин, ловко и умело маневрируя, вел бой огнестрельным оружием, на расстоянии. И не преследовал отступавших.

Исхак не выдержал. Он утратил способность рассуждать здраво, потерял хладнокровие. Он уподобился волку, выводок которого нашел в норе охотник: не может волк ни отнять волчат, ни защитить их — и бросить, уйти не может тоже. С мечами и копьями шли джигиты против ракетных станков и пушек, бросались к ним и падали поверженные. Один из сотни, да что там — из тысячи один достигал цели, губил врага, но погибал и сам.

Исхак ехал верхом по мосту через большой арык, когда в настил моста ударило пушечное ядро. Столб воды взлетел высоко вверх, мост рухнул. Среди волн и пены мелькнул Исхак — и исчез. Нукеры бросились на помощь.

Прежде всего показался на поверхности воды конь. Вернее, труп коня. Потом замелькал по течению красный чекмень Исхака. Нукеры побежали по берегу, бросились в воду, вытащили Исхака.

Он был жив. Его дважды вырвало водой, но он все еще не приходил в сознание и очнулся только от грохота разорвавшегося неподалеку пушечного ядра.

— Коня! Коня дайте,— попросил он.

Ему подвели коня, но встать Исхак не смог — слома-

на была нога. Он застонал, заскрипел от боли зубами. Начал горько сокрушаться:

— Надо же такое наказание! Нога не действует...

Его утешали, успокаивали, что нога — пустяки, ведь он жив, слава богу. Ногу кое-как перевязали, Исхак потребовал, чтобы ему помогли сесть в седло. Помогли. Он старался не стонать. Холодный, липкий пот заливал лицо. Нукеры поддерживали его в седле. Исхак указал на холм Ак-Чакмак:

— Как?! Мы еще не заняли его? — и отдал приказ: Занять холм! Всех туда!

Трижды атаковали холм конные ополченцы и трижды были отброшены с огромными потерями. Они отступали под градом пуль, и только пули останавливали их.

Нога у Исхака начала пухнуть. Малейшее движение коня причиняло адскую боль, тревожа сломанную кость.

К вечеру Исхак прибыл в Асаке.

Всю ночь били орудия по Андижану.

Наутро начался штурм. Солдаты Скобелева рвались в город с четырех сторон. У разбитых орудийным огнем ворот насмерть дрались защитники города, груды мертвых тел преграждали путь победителям. В конце концов осаждающие пробились в те ворота, которые защищал Абдурахман. Он не особенно заботился о сопротивлении, его беспокоило другое: как бы уйти живым. И он ушел с четырьмя сотнями сипаев. Генерал Скобелев тотчас использовал благоприятные обстоятельства, укрепился и приказал немедленно подтянуть пушки и ракетные станки. Опираясь на грозное оружие, он усилил натиск.

Защитники отстаивали каждую улицу. Почти безоружные, они яростно сражались с карателями; рядом с сарбазами и сипаями бились мирные жители.

Когда на город опустились сумерки, Бекназар собрал остатки обессиленного войска и, прекратив сопротивление, ушел с двадцатью тысячами человек из залитого кровью, дымящегося Андижана в Асаке.

Генерал Скобелев овладел Андижаном. На город наложена была контрибуция — сто тысяч золотых. Кроме того, на нужды войска город должен был отдать и еще многое.

Получив известие о взятии Андижана, император Александр Второй распорядился выделить 88611 рублей золотом за счет побежденных для вознаграждения

особо отличившихся офицеров по усмотрению фон Кауфмана. «Дай бог, чтобы вторая часть экспедиции удалась так же хорошо и без значительных потерь»,— сказано было в императорском поздравлении.

6

Немного времени прошло, и Абдурахман встретился с генералом Скобелевым в кишлаке Инди, в восьми верстах от Андижана. Можно полагать, что встреча эта была обусловлена ранее. Спасая себя и своих родичей, Абдурахман изъявил покорность.

В тяжелое время сложил Абдурахман оружие, подрубил Исхака под самый корень. Да если бы один он отпал! Двадцать беков ушли вместе с ним — и то ничего. Но беки увели многотысячное войско, за войском же стоял народ.

Исхак не видел выхода. Он никому теперь не доверял, мысли его мешались, не было в них порядка, а в сердце царило смятение. За вину одного он теперь готов был утопить в крови тысячу...

Он часто вспоминал одну побасенку. Пришел однажды в лес топор и давай рубить деревья без разбору. Деревья зашумели: «Что за враг напал на нас, как спастись, как избавиться от него?» А тысячелетняя мудрая арча спрашивает: «Разве враг наш, железный топор, один пришел к нам?» «Нет,— отвечают ей,— он пришел вместе с деревянным топорищем».— «То-то и оно,— говорит мудрая арча.— Не было бы у него пособника из наших, не справился бы с нами топор!..» Исхак усмехался невесело. Не было бы династии мингов, не было бы и их прихлебателей вроде Абдурахмана и прочих знатных беков. Тогда не страшен был бы и царь с его губернатором.

Ни с кем не советуясь, приказал он спешно седлать коней. И вошел в Маргелан, приветствуемый множеством выстроившихся по обочинам дороги людей. «Живи долго! Долго живи, воитель пророка!» Но эти приветствия не радовали его, он ехал, стиснув челюсти, и сердце его было отравлено ядом невысказанного, неизлитого гнева.

Генерал Скобелев выступил против Маргелана. Средневековые глиняные дувалы не могли выдержать артиллерийскую осаду. Более того, окруженный этими дува-

лами город превращался в ловушку для осажденных. Как бы там ни было, Исхак, жаждущий сразиться за свой народ в открытом поле, сумел ускользнуть из города с остатком войска в пять тысяч, сумел взять с собой свыше сорока пушек-китаек.

Остановился он неподалеку от Маргелана, у мазара ходжи Магыза, и, сделав привал, созвал военный совет.

Он сидел на почетном месте, накинув на плечи шубу и вытянув вперед забинтованную сломанную ногу. Сидел и мрачно молчал, хотя вокруг него все говорили, спорили, давали советы. Обращались к нему, а он молчал. Да и что можно сказать. Плохо все. Очень плохо. Народ в смятении. Войско раскололось. С одной стороны донимает зима, с другой — Искебул-паша. И пятиться некуда.

В конце концов участники совета разделились натрое.

Первые поддерживали Абдылла-бека, который предложил оставить Коканд и отступить в сторону Оша и дальше, в горы, к кочевым племенам.

— Какая в том польза для нас? — говорил Абдылла-бек.— А вот какая: мы спокойно перезимуем, наберем войско, а на будущий год весной хлынем на равнину в одно время с весенними водами. Если нам удастся это осуществить, повелитель, тогда нечего бога гневить. Подумайте сами...

Тесть Исхака Музафар-ша возражал Абдылла-беку, но не по существу. Он тоже предлагал уходить, только в другом направлении — на Каратегин, откуда его самого изгнал в свое время его же брат Раим. Теперь Музафар надеялся при помощи оставшейся у Исхака военной силы в пять тысяч человек вновь захватить Каратегин и поставить Раима на колени.

— Прекрасная земля наш Каратегин. Богатая земля. Мы проведем там зиму, отдохнем, а весной, как хорошо сказал бекзада, вместе с полой водой хлынем на равнину. Не менее двадцати тысяч войска наберем мы в Каратегине, плохо ли вернуться с таким войском в Фергану?

Советник Мадамин возражал им обоим:

— Хорошо, уйдем мы в Ош и потом в горы либо подадимся в богатый Каратегин, подумайте, повелитель, на что мы обречем оставшийся здесь, на равнине народ? Можем ли мы бросить его на произвол жестокой

судьбы? Простите, о счастливый повелитель, но, по нашему мнению, поскольку столица страны Коканд, нам не следует покидать его. Оставшись в Коканде, мы явимся опорой и надеждой для всего народа и, возможно, продолжим борьбу против проклятого Насриддина, против жестокосердного угнетателя-губернатора.

У всех трех точек зрения нашлись сторонники. Споры шли долго. Исхак, тихонько поглаживая сломанную ногу, посматривал на спорящих исподлобья; подозрения обуревали его, в нем бушевала ярость, сходная, должно быть, с той, которая охватывает загнанного и раненого зверя. «Кто стал предателем? Один из тех, кто сидит здесь, рядом со мной, и произносит ласковые, дружеские слова, один из них предатель. Кто же?..»

Он остановил свой взгляд на Абдылла-беке. «Нет, если я стану подозревать смелого сына нашей благородной Курманджан-датхи, кому же я могу доверять? Кто тогда достоин веры? Нет...» Потом глазам его встретился Музафар-ша, тесть. «Этот слишком тесно связал свою жизнь с моей». Момун-саркер... Бекназар-батыр... «Нет, нет... Эти двое вернее, чем мои собственные глаза». Мадамин. Советник Мадамин. «Почему он так горячится? Чего кипятится? Какая у него здесь печаль? Нет, советник мой сказал правильно. Что будет с моим народом, которому я стал повелителем в хорошие времена и который хочу бросить в тяжелые дни, спасая собственную жизнь?» Исхак старался успокоить себя, но не мог отвязаться, не мог избавиться от терзавшей его мысли: «Кто предатель?»

Он сам говорил последним.

— Советник,— начал он устало,— вы сказали верно, нехорошо покидать народ на произвол жестокой судьбы. Но что же делать, у нас нет иного выхода, и если мы совершим необдуманный поступок, то вот бекзада прав, мы потеряем ядро нашего войска. Разумно ли, правильно ли это?

Мадамин побагровел и умолк.

— Все в воле божьей,— сказал кто-то.— Без его соизволения и волос с головы не упадет.

— Ну что же, двинемся в Каратегин, пожалуй, это самое правильное, уважаемые,— высказал свое решение Исхак.

Музафар-ша взыграл духом. Ему уже мерещилось, что Каратегин в его руках. Так или иначе, а станет он

бием над Каратегином. Ведь именно эта цель была для него самой желанной и сокровенной.

Сторонники иных двух решений вынуждены были согласиться с тем, что принял Исхак. А он снова и снова обводил пристальным взглядом всех. «Кто же он, кто?..»

Абдылла-бека Исхак отделил. Приказал ему и его отряду идти по направлению к Ошу. Занять Гульшаа, перезимовать и начать исподволь собирать войско, готовиться к походу. Советник Мадамин и возглавляемые им кокандцы вид имели недовольный,— прямо-таки собаки, неожиданно посаженные на цепь, но ослушаться ханского приказа не могли и беспрекословно согласились следовать за Исхаком.

— Бог тебе поможет, Исхак! О нас не думай, поступай, как надо. Хотел бы я ранней весной получить от тебя известие,— сказал Абдылла-бек, обнимая Исхака на прощанье.

Исхак с двумя тысячами войска, с караваном из трехсот верблюдов, на которых нагрузили и пушки, пошел в Каратегин.

Дорогой он все раздумывал. «Решился я идти в Каратегин. Правильно это? Кажется, что так. Народ в Каратегине простосердечный, в междоусобицах не участвовал. Он последует за священным знаменем. А что Ош? Там Абдылла-бек. Этого достаточно. Но ведь и в долине остался народ. Что если и в самом деле занять Коканд, сидеть во дворце? А где силы на это? С одной стороны наседает Кудаяр, с другой — его щенок Насриддин. И разве выдержат стены Коканда огонь орудий Искебула-паши, разве могут они устоять под этим огнем? Тогда зачем же звать нас в Коканд? — Исхак натянул поводья.— Погоди, так вот что предлагал Мадамин!»

Свернув на обочину, он остановился и оглядел ту часть отряда, что двигалась позади. Саркеры начали спешиваться. Никто не спрашивал, зачем остановились, а Исхак молчал. Он все смотрел туда, назад. Вот показался и советник Мадамин, вялый, подавленный. Вид его усилил подозрения Исхака. Угрюмо сдвинув брови, он ждал, пока Мадамин сойдет с коня. Не выдержал, крикнул:

— Эй, ты! Иди скорей!

Мадамин приостановился в растерянности.

Исхак указал на него пальцем:

— Эшмат, взять его!

Третье предложение было предательским, решил Исхак. Оно исходило от кокандцев. Мадамина и еще человек двадцать преданных ему людей обыскали и ничком уложили на снег.

— Советник,— сказал Исхак, наклоняясь с коня.— Кто тебе дал совет заманить нас в Коканд? Подумай о своем спасении. Говори правду.

Дрожащий от холода Мадамин молчал, стиснув побелевшие губы, сощурив глаза. Эшмат хлестал его плетью, но он только стонал.

— Это что? — Исхак показал ему найденную у одного из обысканных в сапоге записку, под которой стояла печать Абдурахмана.— Читай! Чья это печать?

Мадамин плюнул кровью и резко отвернулся. Он был готов к смерти.

— Ну, не говорил разве я? — Исхак, задохнувшись от гнева и горечи, не мог больше произнести ни слова и поскакал прочь.

А тех двадцатерых прирезали, как овец. Распустились на холодном белом снегу жаркие красные цветы.

Войско двинулось дальше.

Пошел густой снег, начался буран. Снег слепил глаза, набивался за одежду. Кто постарше, кого уже не грела кровь, не могли ехать верхом. Спешившись, вели коней в поводу, чтобы и самим быть в движении, согреваться. На верблюдах сидели женщины и дети; они кутались в одежду с головой, и снег постепенно засыпал их, превращая в белые бугорки. Сдавленно ревели измученные животные.

Исхак был среди людей и терпел то же, что и они. Он, правда, не чувствовал холода, тяжкие, тревожные мысли вихрем кружились в разгоряченной голове. Он задавал сам себе десятки вопросов и не мог ни на один ответить, и мучился оттого. Он ни с кем не советовался. Ни на кого не смотрел. Изверился в своих так же, как во врагах. Жаждал мести, только мести и ни о чем больше думать не мог. Снова и снова вспоминал Абдурахмана, и каждый раз ярость стискивала сердце.

А верблюды шли и ревели, ревели...

На дороге возле Уч-Коргона их встретили. Исхак остановился в приготовленном с утра теплом доме бека. Опираясь на костыль, переступил он порог. Отряхнул снег с шапки, снял шубу и отдал ее эшик-аге, поздоровался со смиренно кланяющимся беком и вошел в ком-

нату. Там никого не было. Бек, порхая, как мотылек, помогал Исхаку освободиться от измокшей обуви и одежды, надеть сухое. После этого Исхак присел у сандала. Он вытянул ноги, грел над сандалом руки и, тяжело вздыхая, бормотал: «Спасибо тебе и за это, о боже...».

Теперь вошли и саркеры, расположились вокруг сандала, усаживались поудобнее. Сломанная нога у Исхака мозжила в тепле после дорожной сырости и холода. Он напрягал силы, чтобы не стонать. Только согревшись, почувствовал он, насколько промерз. Тело разомлело и требовало отдыха. Бек, который все замечал, тотчас понял состояние Исхака, принес пуховую подушку и подсунул Исхаку под локоть.

Принесли горячий чай. Исхак, прихлебывая чай, сидел с трудом; крупные капли пота выступили у него на лбу. Но он весь был сосредоточен на одном вопросе, которому не находил ответа. Хотел отвлечься и не в силах был сделать это. Он застонал и покачал головой. «Что это? Что происходит? Что за время настало?»

Глядя на него, все остальные молчали. Когда кто-то скорбит, непристойно переговариваться или, боже упаси, пересмеиваться. Саркеры только мрачно переглядывались.

Исхак рывком приподнялся, подозрительно оглядел всех широко раскрытыми покрасневшими глазами. Не пригрезилось ли ему еще что-то ужасное в его полусне, полубодрствовании? Кого еще он заподозрил? Страх охватил всех, мурашками пробежал по коже. Каждый в душе молился, чтобы беда его миновала. Исхак постепенно пришел в себя. Успокоился. Вздохнул и снова погрузился в размышления, навязчивые, беспокойные. «Ну? Так что же мы за люди?» Сердце его колотилось.

— Не следует ли повелителю отдохнуть? — осмелился наконец спросить Момун, и все дружно поддержали его:

— Конечно, конечно, мы своими разговорами будем только мешать, не дадим покоя...

Но никто не встал с места. Ждали, что скажет на это Исхак. Не поделится ли своими мыслями, в которые столь долго погружен?

Исхак же как будто и вправду устал от них всех. Провел рукой по больной ноге, нахмурился и откинулся на подушку.

— Усильте караулы,— сказал тихо.— Воины пускай хорошенько отдохнут, завтра на рассвете нам выступать.

— Хорошо, повелитель...

— Будет исполнено, господин...

— Слушаюсь...

Нукеры и саркеры, прижимая руки к сердцу, один за другим выходили из комнаты, повернувшись к Исхаку лицом, а к двери спиной.

Поняв по выражению глаз Исхака, что он собирается ему что-то сказать, Бекназар задержался. Комната опустела. Блестя глазами, Исхак поманил его поближе.

— Бекназар-аке,— заговорил он,— некому нам с тобой теперь доверять, дожили и до такого дня. Я тебя прошу, сам установи охрану, сам ее проверяй.

Бекназар крепко и ласково пожал его руку.

— Не беспокойся, Исаке, не беспокойся...

Стражу Бекназар поставил со всех четырех сторон, усилил караул против обычного и только после этого ушел в дом, где остановились саркеры. Там только что прирезали и опустили в котел ягненка. Саркеры шумно приветствовали появление Бекназара:

— Добро пожаловать, батыр-ага...

Бекназар прошел на почетное место, сел и принялся незаметно осматриваться. Так, сейида[1] Маулян-бека нет... Погоди, он же сам попросился в начальники караула, что охраняет селение со стороны дороги. Должно, попозже придет... И Бекназар успокоился.

В эту ночь Маулян-бек был особенно осторожен. В непроглядной тьме объезжал он наружные караулы, как сова вглядывался в ночь, прислушивался, склонившись набок к гриве коня, чтобы не пропустить ни один звук. Бекназар трижды проверял охранение и все три раза находил Маулян-бека бодрствующим.

— Зорок будь, сейид,— сказал ему Бекназар во время третьего своего объезда.

— Не беспокойтесь, батыр...

И снова отправился Маулян-бек проверять караулы. Перед самым рассветом, когда холодный ветер уже всколыхнул завесу ночи, послышался топот конских копыт. Сейид Маулян-бек поехал всаднику навстречу.

— Кто ты? — спросил тихо-тихо.

---

[1] Сейидами называли себя те, кто будто бы вел всю свою родословную от дочери пророка Мухаммеда Фатимы.

— Я сейид Маулян-бек,— услыхал он в ответ свое собственное имя.

Маулян-бек подъехал к всаднику вплотную, тот обменялся с ним всего одним словом и снова ускакал в густую еще темноту.

Сейид Маулян-бек с бешено колотящимся сердцем продолжал объезжать посты. Он не будил уснувших. А тем, кто бодрствовал, говорил: «Замерз, батыр? Я покараулю за тебя, иди отдохни немного в тепле. Слава богу, все спокойно, ничего подозрительного нет. Скоро рассвет...». Так он отправлял их по одному. Когда снег, да холод, да ночь, кто откажется уйти в тепло? Часовые разошлись по домам. Спали крепко и сладко. Бекназар тем временем решил снова проверить охрану. Он услыхал подозрительный шорох и скорее почувствовал, чем увидел, что к нему приближается всадник. Насторожился, пустил своего коня в карьер. В ту же минуту громким лаем залились собаки, застучали по земле конские копыта, загремели выстрелы.

Отряд переполошился. Бекназар во весь опор несся к дому, где был Исхак. Утратившие способность соображать, ошеломленные внезапным нападением, воины шарахались из стороны в сторону. Вправо — там их встретил град пуль. Влево — оттуда тоже стреляли... Бекназар торопился, очень торопился, и чубарый нес его, как на крыльях ветра. А враги, казалось, со всех сторон окружили отряд, стреляли уже отовсюду.

Исхак проснулся после первого же выстрела. Он схватил из-под подушки пистолет и, забыв о сломанной ноге, кинулся к двери.

— Э-эй! Вставайте!

Пистолет у него в руке выстрелил неожиданно для него самого. Исхак услышал, как где-то рядом кто-то упал со стоном и невнятными словами молитвы. Там, за порогом дома, была сумятица. Крик. Вопли. Ржание лошадей. Исхак вдруг почувствовал острую боль в плохо сросшейся ноге. Хрустнула кость. Он добрался кое-как до двери, в глазах потемнело, он повалился.

— В укрытие! В укрытие! Не орите, говорю вам! — доносился до него откуда-то издалека голос Бекназара.— Бегите! Отступайте... В горы! В горы!

Стреляли теперь и те и другие. Где свой, где враг, разобрать было невозможно. Отряд врассыпную кинулся в сторону гор, каждый думал прежде всего о спасении

собственной жизни. Как говорится, долой, чужак, с моего коня, с собой возьму только родича! Все смешалось в этом беспорядочном бегстве. Матери не могли отыскать детей, метались под ногами у оборвавших повод лошадей, у ревущих и брыкающихся верблюдов.

— Исхак! Исхак!

Исхак то приходил в сознание, то снова терял его; он слышал отчаянные призывы Бекназара, но не мог откликнуться. Но вот он почувствовал прикосновение его руки и застонал.

— Что с твоей ногой? — ужаснулся Бекназар и, плача в голос, поднял Исхака на руки, как ребенка, и понес. Он усадил его на чубарого, сам вскочил сзади и громким окриком послал скакуна вперед...

Хоть и малое войско оставалось у Исхака, но доберись он до Каратегина, завладей им,— глядишь, отдышится, оправится, снова вооружится, снова соберет под свое знамя множество воинов, и весною ринется с гор в долину неудержимым потоком это возрожденное, принявшее в себя новые силы воинство. Озлобленный Абдурахман следил за каждым шагом Исхака через кокандца Мадамина, через маргеланца Маулян-бека. Теперь, когда отряд Исхака бежал в горы, Абдурахман поспешил послать донесение об этом Скобелеву. Тот не медля снарядил и отправил в погоню конный казачий полк под командованием Меллера-Закомельского, которому были приданы в помощь войска Насриддина и Абдурахмана. Полковник Меллер-Закомельский, выйдя из Андижана, нигде не делал остановок, нагнал отряд Исхака и на рассвете окружил его.

Отряд не смог оказать нападающим сколько-нибудь серьезного сопротивления: утомленные люди разбужены были оглушительной пальбой из винтовок, пули сыпались на них дождем. Большинство легло ничком на землю в знак того, что сдается. Захвачен был и весь караван Исхака, сто двадцать груженых верблюдов.

Остатки разгромленного отряда подтянулись к ущелью Исфайрам. Всего было человек тридцать. Исхак сидел с искаженным, пожелтевшим лицом.

— Сейид Маулян-бек предал,— сказал Бекназар, и голос его дрожал от гнева.— Это он распустил карауль-

ных по домам. А теперь он ведет по нашему следу солдат губернатора...

— Батыр-ага, чего нам еще ждать? — горько усмехнулся Исхак.— Я теперь всему поверю. Я, наверное, поверил бы, если бы мне сказали, что и ты предатель,

Лучше быть пшеничной соломой,
Нежели семенем чертополоха.
Лучше быть последним у хороших людей,
Нежели первым — у плохих,—

это давным-давно сказано. И разве это не справедливо, батыр-ага? Народ наш, похоже, потерял разум...

Надолго останавливаться было нельзя. Погоня могла настигнуть их. Снова вышли в путь. Двигались по берегу речки Исфайрам. То и дело приходилось перебираться вброд с одной стороны на другую, пересекать оледенелые, скользкие каменные осыпи, порою — спешиваться и вести коней в поводу. Тяжело... Изнеженная дочь Музафара-ша не могла ехать верхом. Прежде она совершала путь на спокойном, плавно ступающем верблюде. Но где теперь тот верблюд? Хлюпая посиневшим от холода носиком, бедняжка причитала со слезами:

— Исхак-аке-е... Душа моя, убей меня, аке...

Музафар-ша, нахмурившись, начал строго выговаривать ей по-таджикски, бранил ее. Несмотря на это, она продолжала плакать.

Исхак молчал. Жена для постели...

Он ехал не оборачиваясь.

Остановились возле пещеры Чаубай. Исхак оглянулся, ища глазами, кто бы помог ему сойти с седла. Увидел, что позади кого-то несут в носилках. Умер кто?

— Это ханике-аим,— объяснил Бекназар, и в душе Исхака вновь шевельнулось недоброе чувство к жене. Бекназар помог ему сойти.

Прирезали коня, приготовили горячую пищу, переночевали, а наутро снова в путь — к высокому, трудному перевалу.

Перевал миновали в самые холодные зимние дни и спустились к Дараут-Коргону. Теперь уже часто делали привалы, понемногу собирали своих воинов — из тех, кто успел бежать, и в Каратегин пошли с тремя сотнями людей.

Раим-ша, прослышав о том, что приближается Музафар-ша вместе с Исхаком, вышел навстречу им с ты-

сячей отборного войска. Он прекрасно понимал, что не просто так явился сюда Музафар-ша со своим зятем, что в случае их победы ему, Раиму-ша, нечего ждать добра. Измученных, истощенных пришельцев встретил он с обнаженным мечом.

Исхак слушал воинственные крики, смотрел, как взлетают вверх сверкающие мечи и сабли, и чувствовал, как тает надежда найти в Каратегине убежище. Он приказал повернуть обратно.

Вернулись в Дараут-Коргон. Жалок был теперь вид повстанцев, вернее, оставшейся от них горсточки. Даже у самых стойких и сильных джигитов погас в сердце огонь, ослабели руки. Вяло двигались они, безучастно смотрели вокруг себя. И никому не хотелось даже думать о том, что делать дальше.

Но вот однажды прилетела в Дараут-Коргон отрадная весть. Абдылла-бек не впускает солдат губернатора в Гульшаа. В Фергане остатки разрозненного, распыленного повстанческого войска продолжают борьбу, и народ помогает повстанцам, которые дерутся до последнего дыхания. Снова ожили надежды Исхака, закипела кровь. Слушая вестника, он весь подался ему навстречу.

— Ну, ну, что там? Народ еще борется, говоришь?

— Пойдем! — единодушно решили все.— Пропади она, жизнь, которую надо спасать бегством!

— Бекназар-аке,— повернулся к батыру Исхак,— вы прямо отсюда отправляйтесь через Сопу-Коргон в Гульшаа. Расскажите датха-аим всю правду о нашем положении. Она поможет. А мы попробуем связаться с Ферганой. Вы же, батыр-ага, через некоторое время найдите возможность прислать к нам гонца, сами знаете, каково нам.

Бекназар только молча кивнул.

Он собрался в тот же день. При прощании Исхак попытался встать, но ему пришлось опереться на руку Момуна. С надеждой и доверием смотрел Исхак на Бекназара.

— Ну,— сказал он и раскрыл объятия.

Они обнялись крепко.

— Прощай, джан-ага, опора моя и в беде и в радости...

— Прощай, орел моей отчизны...

Исхак все не отпускал Бекназара.

— Незачем нам самих себя обманывать. Положение

никудышное. Живы будем — увидимся на радость, а не приведет судьба — что ж, так тому и быть...— голос его задрожал.— Я к тебе счетов не имею ни на этом, ни на том свете, как говорится, А ты... ты, батыр, прости меня, если я сказал тебе когда грубое слово или чем иным обидел.

— Дорогой ты мой! — отвечал Бекназар.— Что прощать, за что прощать? Я тоже ни на том, ни на этом свете не предъявлю тебе счет за то, что следовал за таким героем, как ты, даже если бы я жизнь свою отдал за это. Прости и ты, если я перед тобой виноват, если плохо исполнял твои приказы.

Исхак больше говорить не мог. Он стоял, опершись на два костыля, и чуть покачивался. Эх, бедняга! Бекназар вдруг увидел, как изменился за последнее время Исхак. Сокол с поломанными крыльями... Бекназар резко повернулся и пошел прочь. Только повторил дважды, негромко и прерывисто, не оборачиваясь к провожавшему его Момуну:

— Берегите его... Берегите...

Стараясь не показать никому, что лицо его мокро от слез, бросил себя одним рывком в седло и погнал чубарого аргамака.

7

Окончательно искоренить повстанчество должен был карательный отряд под командованием генерала Скобелева — «Зимняя экспедиция». К отряду присоединился в качестве проводника и помощника Насриддин со своими отборными джигитами.

Два дня перед этим шел густой снег. Умылась им прекрасная Ферганская долина и теперь сияла белизной, как платье невесты. Издали хорошо видны были разбросанные по долине селения. Из тех, что поближе, доносился даже лай собак. Воздух морозный. Отряд длинной черной змеей тянулся по белому снегу.

Едва приблизились к селению Найман, навстречу отряду вышли жители. Их было немало, и впереди — согбенный старик с белой бородой до пояса. Руки у всех прижаты к сердцу, и в знак чистоты намерений — все перепоясаны белыми платками.

Генерал Скобелев придержал коня. Рядом с ним остановился Насриддин. Генерал молча смотрел на жителей

Наймана. А Насриддин весь кипел от злобы и ненависти, дергался в седле. «Чего медлит этот русский? Чего смотрит и не отдает приказ уничтожить их всех?..» Люди стояли с видом покорным и даже безразличным — ведь от них никак не зависело решение их судьбы. Белобородый старец опустился в снег на колени, поклонился и заговорил:

— Будьте милосердны, о сыновья Адама!

Бледный от холода толмач перевел его слова. Скобелев насмешливо вздохнул. Старик ждал ответа, дрожа и от холода, и — еще больше — от волнения. Ждали, стоя на коленях, и все прочие.

— А-га! — сказал Скобелев.— Ну? Кончили воевать?

Еще до того, как прозвучал перевод, старик по голосу генерала понял, что милости ждать нечего и, набравшись смелости, поднял голову, взглянул в голубые круглые глаза генерала. И в этих глазах увидел гнев. Тогда старик заговорил снова:

— Ни с того ни с сего огонь не вспыхнет, так говорят наши мудрецы. Наш хан был жесток, вот отчего в народе было волнение. А еще, о счастливый сын Адама, наши мудрецы говорят: повинную голову меч не сечет. Мы стоим перед вами на коленях с повинной головой, старые старики и малые дети да несчастные вдовы, и просим вас о пощаде.

— Что?! — выкрикнул вдруг Насриддин. Но Скобелев все не отдавал никакого приказания, и Насриддин поджал хвост, хоть глаза у него и горели, и если бы взгляд мог убивать, старик был бы сражен наповал. Выслушав переводчика, Скобелев ответил:

— Бунтовщикам пощады нет! Вырезать всех до одного...

Переводчик не то не знал, как перевести, а скорее не в силах был выговорить этот приказ, но только он промолчал, и когда старик поднял на него вопрошающий взгляд, отвернулся.

С одной стороны солдаты, а с другой — джигиты Насриддина начали окружать толпу. Люди забеспокоились, заметались, но их остановил спокойный голос старика:

— Опомнитесь! Сопротивление бесполезно. Опомнитесь...

Первым вырвал саблю из ножен Насриддин. И началась кровавая резня. Никто не убегал, не кричал. Только

сабли с жутким свистом разрезали ледяной воздух. Снег покраснел от крови...

Когда очередь дошла до белобородого старца, Скобелев крикнул:

— Его не троньте! Я оставлю его живым. Это самое сильное наказание...

Селение было окружено. Плач и крики женщин и детей неслись над ним. Из хлевов выгоняли скотину, из домов тащили что под руку попадет. Ревели коровы, словно чуяли — пришел их последний день. Выли собаки.

Когда из людей в живых никого не осталось, Скобелев приказал поджечь селение.

Не спаслась ни одна собака. Не осталось в живых ни одной кошки, пытавшейся убежать из огня, забраться на дерево.

К вечеру карательный отряд, погрузив добычу и гоня захваченный скот, покинул Найман — вернее, то место, где он стоял до этого страшного дня. На пепелище остался один лишь древний старик; по белоснежной бороде его текли смешанные с кровью слезы.

В следующих селениях уже никто не выходил навстречу. Узнали, должно быть, люди о судьбе Наймана, потому что бежали поспешно в сторону одетых снегом гор, бежали, оставляя на произвол судьбы дома и хозяйство, невзирая на стужу. Одно за другим миновал карательный отряд брошенные селения.

Достигли селения Маасы. Пусто. Только собаки рыщут. Ревет голодная скотина.

Из бедного на вид дома выскочили три мальчика и, завидев отряд, с плачем кинулись бежать.

Убегали они по направлению к холмам, то и дело оглядываясь. Впереди старший, лет пятнадцати, позади — младший из троих, ему лет восемь, не больше. Этот маленький увязал в снегу чуть ли не до подмышек, выкарабкивался, плакал, но продолжал свой путь.

В доме обнаружили женщину во вдовьем трауре. Не успела она, должно быть, уйти из селения вместе со всеми. Или больна была. С плачем металась она теперь перед карателями. Бывает, что куропатка с выводком птенцов встретит извечного врага своего — охотника. Как она трепещет крыльями, прикидываясь, что не умеет летать, как кричит беспомощно и жалобно... все для того лишь, чтобы отвлечь внимание человека на себя и дать

птенцам время спрятаться. Своей жизнью она готова купить жизнь птенцов. Так и эта безвестная мать бросалась от одного карателя к другому, плакала, падала лицом вниз и снова подымалась.

Она что-то причитала, никто не понимал ее. Решили, что перед ними помешанная. А она, между тем, все кричала детям, чтобы уходили, убегали скорей. Толмач-то понял это, да молчал. Но понял и Насриддин.

— Ушли! Ушли! — заорал он и кинулся за детьми. За ними двинулся было и еще один из карателей, но женщина помешала. Она пыталась ухватить его коня за повод. Кто-то из джигитов Насриддина ударил ее саблей. Женщина упала под копыта коню, и конь в испуге отпрянул.

Дети бежали в гору. Заметив преследователей, они бросились в разные стороны.

— Стреляй! Стреляй! — надрывался Насриддин.— Стреляй! Живы останутся — отомстят!

Каратели стреляли на скаку. Выстрел! Еще! Видимо, не попали, потому что ребятишки постарше успели-таки скрыться за увалом. Отставший от них младший мальчик, когда пули начали поднимать вокруг него один за другим маленькие снежные смерчи, вдруг повернул назад. Увидел скачущих к нему всадников, закричал, бросился снова наверх. Каратель настигал его, и мальчик повалился в снег, закрыв голову руками.

— Вставай, басурманское семя! — приказал каратель и, спрыгнув с седла, сгреб мальчишку за шиворот, поднял, как котенка. Мальчишка хватал ртом воздух.

— Ма-а-ма!..

Каратель захохотал, оскалив зубы; он задушил бы парнишку, но тот извернулся, укусил его за руку. Каратель отдернул руку, выругался.

— Эй, Кривоносов! Эй! — послышался окрик сзади.

— Бей! Башку ему расколи, как арбуз!

Но ориенталист уже был рядом.

— Эй, Кривоносов, ты что? Ты что, малых детей готов убивать?

Как бы там ни было, ориенталист — человек ученый, уважаемый, да и в чинах... Каратель отпустил ребенка.

— Ваше благородие...— он запнулся было, не решаясь возражать, потом договорил: — Уничтожить надо...

— Прочь! — осадил его ориенталист.— «Уничтожить надо»! Ты, я вижу, герой!

— Ну, ладно...

И каратель сел верхом, еще раз оглянувшись на мальчишку, который, увязая в снегу, торопился уйти поскорей.

Не обращая внимания на недовольство и обиду Насриддина, каратель и ориенталист поехали назад, оба хмурые и сердитые. Они о чем-то говорили друг с другом, а Насриддин, волей-неволей вынужденный следовать за ними, удивлялся: «Что произошло с этими неверными?»

Селение Маасы также было сожжено дотла.

...Вскоре отряд добрался до кыштака, расположенного в предгорье. Жители не покинули его,— то ли не слыхали ничего, то ли некуда им было бежать, то ли они полагали, что до них, в восстании участия не принимавших, никому дела нет. Несколько загонов для скота — грубо выложенные из камня ограды, внутри каждой пристроен с одной стороны плохонький навес; юрты поставлены поблизости от загонов. Зимовка каких-то горемычных горцев-кочевников. Семей пять.

Вначале они вышли к дверям, как по обычаю положено, если приезжают гости. Унимали собак: «Пошла прочь!» Но при виде носящихся с криком на конях сипаев, при виде множества солдат испугались, всполошились. Солдаты, подталкивая прикладами, начали сгонять народ в середину зимовки.

У одного из молодых мужчин висел на поясе нож. Унтер-офицер заметил это.

— Волоки вот этого сюда! — крикнул он.

Двое солдат вытолкнули парня. Сняли с его пояса длинный нож в ножнах. А парень и напуган был и застеснялся. Беспомощно улыбаясь, то краснел, то бледнел и все повторял: «Берите... берите...». Руки ему тотчас скрутили за спину, и тут уж он, видимо, перепугался по-настоящему, побледнел, как смерть.

Из толпы вдруг заголосила какая-то старуха:

— Люди добрые! Да что же это творится?

Послышались неуверенные голоса: «Они, наверно, шутят! Забавляются господа...».

Генерал Скобелев, сидя на коне, мерз, несмотря на то, что одет был в шубу на волчьем меху. По совету переводчика он зашел в юрту. Холод был не так уж велик. Градусов пятнадцать мороза. Юрта внутри была, как все юрты кочевников. Те же одеяла, та же утварь; на почетном месте настелен сухой камыш; поверх него — пестрая

кошма, на кошме — красный ковер-ширдак. Посредине, под железным треножником, горел-дымил вонючий кизяк. Генерал внимательно осмотрел все убранство юрты. Поднял голову вверх. Сквозь приоткрытый тюндюк виднелся клочок серого зимнего неба. «Бог мой, как же они существуют, эти дикари?» В юрте не более трех градусов тепла. У огня сидел маленький замурзанный мальчуган в рубашонке, которая и пупа не закрывала. Генерал поморщился. Толмач, заметив это, распорядился, чтобы ребенка убрали, и мальчика увели из юрты. В огонь подбросили хворосту. Толмач взял лежавшее у стенки юрты седло, положил на ширдак. Генерал присел на это седло и протянул к огню руки.

В юрту вошел унтер-офицер.

— Ваше превосходительство, там вооруженного киргизца поймали...

Следом за ним явился Насриддин, глаза которого радостно блестели. Скобелев, не глядя на него, сказал без всякого выражения:

— Накажите его.

Ориенталист, заинтересовавшись оружием, протянул к ножу руку. Унтер-офицер отдал нож. Ориенталист вынул его из кожаных ножен, повертел так и эдак...

— Михаил Дмитриевич, это не боевое оружие, это обычный нож, какой носит при себе всякий, кому приводится то скотину зарезать, то палку обстругать, то еще что-либо нужное в быту сделать. Только в шутку можно называть это оружием, Михаил Дмитриевич! — пояснил он.

Генерал Скобелев, не желая, должно быть, отменять только что отданный приказ о наказании, отвернулся.

— Смотря в каких он руках...— сказал он только.

Ориенталист с отвращением смотрел на Насриддина.

— Как тебе не стыдно? Обыкновенный нож, а ты о нем говоришь так, будто это по меньшей мере пушка!..

Но Насриддин и не думал стыдиться.

— Нет, ваше благородие, таким ножом вполне можно убить человека! — заявил он.

И вышел вон вместе с унтер-офицером, чтобы покарать «вооруженного киргизца».

Генерал продолжал греться у огня, ориенталист же мучился тяжелыми и беспокойными размышлениями.

Переводчик дремал. В юрте воцарилась тишина. Первым заговорил ориенталист.

— Михаил Дмитриевич, разве допустимо, чтобы образованные, цивилизованные люди уничтожали и преследовали безоружное население, стреляли по малым детям?

Скобелев чуть заметно покачал головой.

— Вы добросердечный человек, Иван Васильевич, я понимаю ваши мысли,— отвечал он спокойно.— Доброта прекрасное качество. Но что поделать, Иван Васильевич, война есть война. Вы сами видите, здесь надо держаться жестко.

— Мы позорим себя в глазах всего цивилизованного человечества. Загонять, как дичь, малых детей, это же настоящее злодейство! Казак Кривоносов должен быть привлечен к ответственности, Михаил Дмитриевич... в противном случае...— он задохнулся от волнения.

— Что это вы говорите, почтенный Иван Васильевич? — в голосе Скобелева звучало ледяное изумление.— К ответственности? За то, что он хотел покарать дикого азиата, не желающего подчиниться России? Да казак этот достоин Георгиевского креста! Согласны вы с этим, Иван Васильевич?

— Нет, не согласен.— Ориенталист произнес это тихо и горько сморщился.— Что скажет местное население? Что скажет Европа, которая смотрит на нас во все глаза?

Голубые глаза генерала метали гневные молнии.

— Какое мне дело до того, кто и что скажет, уважаемый Иван Васильевич! Как вам известно, Россия, освободившись от татаро-монгольского ига, медленно приходила в себя. Она восстановила свои естественные границы, а затем овладела необходимыми для нее, для ее существования, новыми землями, вышла к южным и северным морям. Она обеспечила свое будущее и приобрела всемирное значение как одна из великих держав. Вы образованный человек, Иван Васильевич, вы прекрасно понимаете, что в Европе ныне соперничать с Россией продолжает лишь одряхлевшая империя Виктории. Но не за этой империею будущее. И это потому, что захваченные ею земли по географическим условиям в корне иное положение занимают, нежели те, что заняты Россией. Эти земли не входят в состав природных границ самой Англии, они отделены от нее тысячами миль суши и моря. Земли, покоряемые Россией, составляют продолже-

ние ее территории. Естественно, что с этой точки зрения будущее России куда более надежно. И поверьте, уважаемый Иван Васильевич, ежели мы с вами возьмем в свои руки Туркестан и достигнем Афганистана, который есть форпост Англии, ежели выйдем мы на Памир, о, тогда всемирное влияние России закрепится на столетия. Вот в чем, слышите ли вы, заключается наш с вами долг перед нашей матушкой Россией, вот в чем наша с вами историческая миссия!

Генерал Скобелев улыбнулся и прибавил весело:

— А вы тут сидите и твердите мне о том, кто и что скажет!

Но ориенталист все хмурился.

— Туркестан считается колыбелью древних восточных цивилизаций,— начал он.— В настоящее время, в результате определенных исторических условий, в результате влияния религии, человеческая мысль в этих странах скована, она остановилась в своем развитии. После Чингиз-хана ни один конь из чужой страны не топтал эту землю, после Тамерлана ни один конь не переступил границы этого края, чтобы вторгнуться в другую страну. Стало быть, веками эта область, так сказать, варилась в собственном соку. И трудно ее жителям вступить в сношения с другими народами. Иная цивилизация, иные порядки, иное отношение к действительности, иная борьба — вот что откроет им глаза. Вынудит к собственным, привычным, укоренившимся обыкновениям присоединить обычаи, я имею в виду добрые обычаи, другого народа. И это обновит их жизнь, вольет новые силы. Но и тот, другой народ получит притом свою пользу. Для России большая польза в том, что в ее лоно, в ее широкие объятия заключен будет новый край, вы же сами сказали, как важно это для будущего. Так я понимаю историческую миссию, Михаил Дмитриевич!..

Генерал только расправил усы. Ориенталист, помолчав и не дождавшись ответа, продолжал:

— Верно, что войны без крови не бывает. Но невозможно считать геройством уничтожение беззащитных женщин и детей. Мы как представители европейской цивилизации и, прежде всего, русского народа, как разумные существа, наконец, должны вести себя достойно этого наименования, которым нельзя, конечно, наделять зверя, подобного Кривоносову!

Скобелев встал и, сопровождая свои слова короткими, резкими жестами, ответил:

— Все это, уважаемый ученый, вы излагайте в Санкт-Петербурге в кругу ниспровергателей и отрицателей. А здесь у вас тоже нашлись бы яростные апологеты, это безусловно. Внешние враги России...

Ориенталист перебил его, протестуя:

— Я уеду! Я не желаю быть соучастником варварства! Мы не понимаем друг друга.

Скобелев, свирепо нахмурив брови, сказал тихо и раздельно:

— Наши с вами передвижения, уважаемый, не от нас зависят. Мы солдаты, призванные вести борьбу на передовой линии фронта во имя интересов и по приказу его императорского величества, самодержца всей России. Советую вам помнить об этом.

Военный мундир болтался на плечах ориенталиста, как на вешалке; это особенно стало заметно, когда он поднялся и вытянулся перед генералом.

— Вы, штабс-капитан, выразите герою сегодняшнего сражения казаку Кривоносову мою благодарность перед всем строем и вручите ему крест от имени императора. Поняли?

Таково было возмездие ученому за его демократические речи.

Тем временем солдаты били джигита, у которого отобрали нож, шомполами, а молодчики Насриддина — плетьми. Он лежал, стиснув зубы, и каждый новый удар нестерпимой мукой отзывался в сердце рыдающей старухи матери.

— Сыночек, зачем пришлось мне дожить до этого дня? — кричала она, а сын сквозь зубы просил:

— Мама... не смотри... Уведите же мою мать...

Старик, который с молчаливыми слезами глядел на избиение, сделал старой женщине знак, чтобы и она замолчала.

Джигит вскоре потерял сознание и лежал без движения, без звука.

— Глядите! Все глядите, что будет с тем, кто посмеет поднять руку на великого белого царя! — крикнул Насриддин.

Генерал Скобелев к этому времени успел отогреться; он поел, выпил водки и вышел из юрты. На то, что происходило на площадке посреди зимовки, он смотреть

не стал, отвернулся в сторону. Ему казалось, однако, что он физически ощущает устремленный ему в затылок взгляд ориенталиста. Больше никаких жестокостей по отношению к обитателям зимовья не последовало. То ли генерал желал продемонстрировать ориенталисту свое великодушие, то ли почувствовал себя в чем-то неправым, но во всяком случае он мирно уселся в седло с таким видом, будто бы прощает кыштак, милует его жителей.

Разговор с ориенталистом запал ему на ум. В общем-то, никому не охота выглядеть чудовищем. Слова, сказанные о казаке Кривоносове, на самом деле предназначены были ему, генералу. И они его беспокоили, причем немало. Вечером, перед тем, как отойти ко сну, он, накинув на плечи волчью шубу, сидел у походного камелька, в котором жарко пылал огонь, и писал письмо своему столичному другу, редактору «Санкт-Петербургских ведомостей» Марвингу. «Вот видите ли, какие здесь дела, господин Марвинг, но только не печатайте этого, а то в глазах Лиги мира прослыву за дикого варвара...»

8

Прошла неделя после того, как они снова спустились через перевал к пещере Чаубай. Тотчас, как прибыли сюда, Момун отправился один на разведку, за точными известиями. Дни шли, а он как в воду канул.

Исхак большую часть времени проводил, сидя у костра в пещере и глядя на раскаленные угли, по которым перебегал огонь. Возле него оставалось теперь всего человек двадцать джигитов. Они охотились за горными козлами, старались ни о чем не думать и, угощаясь изжаренной на угольях свежей печенкой только что убитого животного, говорили об охоте. Исхак в их разговор не вмешивался. Сломанная нога у него снова сильно распухла и ныла, не переставая. Но больше, чем физическая, томила его боль душевная. Что с Бекназаром? Что с Момуном? В чем дело?.. Думая об этом, он терял над собой контроль. Однажды застонал тяжко. Джигиты сразу умолкли и повернулись к нему. Но Исхак полулежал с закрытыми глазами и, кажется, дремал...

Каких только предположений он не строил! Раз подумал, не попал ли Бекназар к Абдылла-беку, который решил переметнуться к врагам и уговаривает на то же Бекназара. «Что проку для тебя бродить по горам за этим злосчастным Исхаком? Послужим лучше белому

царю, добьемся должностей, я — правителя, ты — военачальника. Ну, соглашайся!..» Исхаку показалось, что он слышит голос Абдылла-бека. Открыв глаза, он тряхнул головой. Нет, Абдылла на такое не способен... Но на сердце было тревожно. Он снова смежил веки в странной надежде услышать ответ Бекназара. Что, если он скажет: «Хорошо, бек, я согласен... И в самом деле, сколько времени потеряно в скитаниях за каким-то бродягой...»? Что, если он скажет так? Страх Исхака был так велик и безотчетен, что он даже спросил вслух: «Неужели он сделал это?» Как все плохо, как неуверенно он чувствует себя, и маленькая надежда тает, словно воск догорающей свечки.

Вошел сотник Мирзакул. Джигиты при виде его встали.

— Нет известий? — поднял голову Исхак и по одному виду Мирзакула понял, что его ждет разочарование.

— Нет,— сказал Мирзакул и подсел поближе к костру, потирая озябшие руки.

— Помогите мне подняться на караульный холм.

Мирзакул остановил на Исхаке пристальный взгляд.

— В такой собачий мороз что там делать?

Исхак молча начал вставать, джигиты поддержали его.

Караульный холм не зря носил такое название: во все стороны с него далеко видно. Если встанешь спиной к перевалу, перед тобой откроется Фергана — хоть издали, а все равно как на ладони.

Джигиты донесли Исхака до вершины на носилках и усадили на камень. Исхак начал осматриваться.

Там, вдалеке, виднеется Чаткал — белоглавый родимый Чаткал... Переводя взгляд от того места, где расположен Ташкент, сначала к Сусамыру, потом дальше — к горам Тогуз-Торо, Узгену, Алайкуу, Алаю, Исхак поворачивался вправо. По левую сторону лежали Улутау, Киргиз-ата, Алтын-бешик, соединяясь с одной стороны с горами Саркол [1], а с другой — окружая Ходжент. Близко сходились два горных хребта, словно каменные ворота благородной Ферганы. Бесчисленные поколения предков сложили свои кости на склонах Алатау; но они не только умирали, они веками жили здесь, под надежной защитой могучих гор...

---

[1] Памир.

Небо ясное. Холодно. Вместе с дыханием вырывается пар. Джигитам хотелось поскорее уйти. Мороз пробирал их, они ежились, подпрыгивали на месте, чтобы согреться, искали укрытия от ветра за камнями. Кто-то решился напомнить.

— Повелитель... как бы вы не простыли...

Исхак долго не отвечал на эти слова ничего. А джигит, который решился их произнести, стоял возле него, согревая дыханием свои руки и притопывая от холода ногами.

— Батыр, вы все идите-ка назад в пещеру. А я еще посижу,— сказал наконец Исхак.

— Но у вас нога болит...

Исхак отмахнулся:

— Разве только она болит, батыр? Идите, идите, согрейтесь. Потом придете за мной.

Джигиты послушались. А Исхак все сидел, не двигаясь, и смотрел на горы, на белые их вершины. Со скал Улутау поднялся и закружил в небе орел-беркут. Исхак наблюдал за ним, а орел, наверное, тоже видел человека, одиноко застывшего на караульном холме. Сделав над его головой два круга, орел опустился на скалу прямо напротив Исхака. Повернул голову в одну, потом в другую сторону, забил крыльями — и вскрикнул. Улыбка появилась на лице у Исхака, как будто орел криком своим звал его с собой, туда, где нет ни зла, ни грязи, где грозные яркие молнии пронзают черные тучи, а выше туч сияет ясное солнце... Еще раз крикнул орел — и взмахнул крыльями. «Прощай, батыр!» — слышалось теперь Исхаку в этом крике, и он долго следил глазами полет вольной и сильной птицы, не чувствуя, что слезы текут по лицу и застывают от холода...

На холм поднялись четверо джигитов.

— Нет новостей? — спросил Исхак.

— Он прибыл, повелитель...

— Пошли.

Пока они несли Исхака вниз, он, не видя на их лицах никаких признаков того, что получены добрые вести, не решился задать вопрос.

Люди собрались у входа в пещеру. Кони оседланы, у всадников в руках плети. Слышна была чья-то свирепая брань... Что там происходит? При виде Исхака все умолкли и замерли на своих местах, кто как был, сидя ли, стоя... Исхак узнал голос того, кто ругался: Момун.

Сотник Мирзакул стоял с пистолетом в руке, Момун держал обнаженный обоюдоострый меч. Ни дать ни взять — фаланга и каракурт, которые вот-вот бросятся друг на друга. «Что это с ними?» — удивился Исхак.

— Предатель! Стреляй! Что стоишь? — крикнул Момун.

Мирзакул готов был нажать курок. При виде Исхака не двинулся с места. Джигиты поставили носилки на землю между Мирзакулом и Момуном и отошли в сторону.

— Что с вами? — спросил Исхак.

Момун рванулся к нему.

— Ты видишь эту собаку? Видишь, он уже связал джигитов, которые не соглашались пойти с ним на черное дело. Не успел я войти, как он бросился на меня. Он хотел всех нас с тобой вместе связать и отвезти в подарок Искебул-паше.

Исхак не знал, что говорить. Посмотрел на джигитов, руки у которых были свободны. Они хмурятся и явно с Мирзакулом заодно. Мирзакул же на него не глядел... Исхак тихо спросил Момуна:

— Когда ты приехал?

— А пропади он пропадом, мой приезд? Что я тебе скажу и что ты услышишь? Морем разливается огонь по нашей земле. Гибнет несчастный народ. Что еще тебе сказать и что тут можно сделать!

Страшная весть поразила всех, не только Исхака, а Момун продолжал:

— Искебул-паша и Насриддин ищут нас. Они истребляют наш народ, не разбирая, кто принимал участие в восстании, а кто нет, не считаются ни с чем...

Исхак вздрогнул.

— Что? — почти простонал он.— Вот как! Если они ищут нас, стало быть, народ наш терпит невыносимые муки из-за того, что мы еще живы?

Ему никто не возражал.

— Народ будет надеяться на нас, пока не увидит наши окровавленные рубахи в руках палача. И враги до тех пор не насытят свою месть. Брось свой меч, Момун-батыр. Ты сам свяжешь мне руки.

Эй, джигит, слезай с коня и позор стерпи.
Без тебя ушел народ — ты один в степи.
Отвяжи свой верный меч, если всем ты в тягость,
Прицепись в базарный день — смерть себе купи!.,

Вспомни, Момун мой, ведь именно об этом говорил нам дервиш!

Момун отшатнулся... Слова Исхака не принесли облегчения даже тем, кто только что собирался предать его, и сам Мирзакул опустил голову и ссутулил тяжелые плечи.

— Я им в руки не дамся! — вскинул голову Момун.— Отпусти меня, Исаке! Я не могу стерпеть, чтобы ордынские собаки надругались надо мной, Исаке. Я уйду, куда глаза глядят, разреши мне, Исаке...

Трудно было по виду Исхака понять, то ли удивился он, то ли огорчился, то ли не затронула его эта просьба. Момун, весь дрожа, ждал ответа. Исхак вздохнул:

— Иди, Момун мой, иди,— сказал он вдруг охрипшим голосом.— Я не хочу, чтобы на меня пала твоя кровь, иди, Момун...

Момун покинул пещеру, не прощаясь, только бросил последний взгляд на Исхака и вышел, так и не вложив в ножны обнаженный меч. Никто ему не препятствовал. Исхак смотрел ему вслед, как смотрит соколятник, упустивший обученного сокола: и назад не вернешь, и расстаться жаль до боли в груди...

...Маргелан.

В этот теплый весенний день 1 марта 1876 года народу на дворцовой площади Маргелана собралось великое множество. Посреди площади — деревянный помост. На помосте виселица. На каждом из четырех углов просторной площади установлено орудие. Пушкари, в любую минуту готовые поджечь фитили и открыть пальбу. Повсюду расставлены караульные солдаты из батальона Меллера-Закомельского либо дворцовые стражники. В толпе тихо, все взоры обращены к помосту с виселицей на нем. Площадь не вместила всех, кто хотел попасть сюда. Люди толпятся на прилегающих улицах, многие забрались на деревья.

Толпа негромко загудела, заволновалась, когда из ворот дворца вышла группа людей во главе с генерал-губернатором — Кауфманом первым, как его называли, ибо он волею хозяина всей России наделен был в Туркестане неограниченными полномочиями. Рядом с Кауфманом генерал Скобелев, барон Меллер-Закомельский, крупные чиновники. Не обращая ни малейшего внимания на то, что люди склонились перед ним в поклоне, губернатор размеренной поступью подошел к виселице и

осмотрел ее. Что-то спросил у Меллера-Закомельского. Тот кивнул головой и ответил, но слов никто толком не разобрал. Подбирая полы парчовых халатов, поспевали за своими покровителями Кудаяр, Насриддин, Абдурахман, сейид Маулян-бек. А позади всех этакой приблудной собакой плелся Мирзакул.

Фон Кауфман со своим сопровождением поднялся на специально для него устроенное возвышение, с которого он собирался наблюдать за казнью.

— Пойман разбойник и подстрекатель Исхак, учивший вас неповиновению вашему хану. Много лет все вы, по его вине, не могли ни сеять, ни жать, ни ходить за скотом, ни торговать,— заговорил губернатор.

Народ слушал его речь и перевод ее из уст татарина-переводчика в полном, ничем не нарушаемом молчании. Только всхрапнет вдруг казачий конь, когда казак двинет его грудью на людей, пытающихся протесниться поближе к месту казни.

Стоял в толпе и худой, с отросшими бородой и волосами дервиш. Глаза у него покраснели, слезы стояли в них, не проливаясь. Дервиш не пел, не молился вслух, а лишь беззвучно шевелил пересохшими губами. То был Момун. Никто его не узнавал в новом обличье.

Загремели барабаны. Со стороны зиндана показались четыре всадника в черном. Толпа слегка подалась в их сторону. Два сипая и два казака, а между ними шел Исхак. Руки и ноги закованы в цепи, мало того — он еще связан арканами, концы которых держат сипаи и казаки. Зачем? Чтобы он не убежал? Нет, это на случай того, если народ захочет отбить его, освободить,— так легче будет удержать его. Барабаны гремели безостановочно и вселяли в сердца тоскливую тревогу. Исхак сильно опух, оброс и шел, хромая на сломанную ногу. Звенели цепи. Сипаи подгоняли узника: «Живей! Живей!» В толпе одни отступали, давая дорогу, другие, наоборот, порывались вперед, поближе... На лице Исхака не было страха смерти, наоборот, выражение его казалось смелым и открытым, и напоминал сейчас этот человек плененного орла. Он громко приветствовал всех — и тех, кто отвечал ему, и тех, кто молчал в ответ. Какой-то человек поздоровался с ним, рыдая, и тотчас скрылся в толпе.

Возле самой виселицы всадники передали Исхака караульным солдатам. Казнью руководил барон Меллер-

Закомельский. По его приказу солдаты развязали осужденного.

Стараясь держаться с достоинством, отвернулся Кудаяр. Потупился Абдурахман. И только Насриддин не скрывал своей радости.

— Эй ты, вор Исхак, безродный бродяга! — крикнул он.— Где теперь твоя власть? Добился? Получишь теперь по заслугам!

Исхак повернулся к нему:

— А, это ты тявкаешь, блюдолиз? И ты опора здешнего мира? Знай, придет и твой час, ты последуешь за мной безо всякой чести и славы, как бродячий пес!

В толпе засмеялись.

— Быстрее! — скомандовал барон, и караульный солдат подтолкнул Исхака прикладом.

— Куда спешите? Успеете... — сказал Исхак и сам поставил ногу на ступень помоста. Хрустнула сломанная нога, но он сдержал стон и, собрав все силы, поднялся на помост.

Чиновник огласил приговор о повешении, в котором Исхак был назван «врагом туркестанского народа», «смутьяном», «главарем разбойников».

Исхак смотрел на толпу. «Есть среди них такие, кто радуется?» — подумалось ему, и на смену этой пришла иная мысль: «А такие, кто оплакивает меня?..» По виду притихшей толпы ни о чем нельзя было догадаться... Вот они стоят, одетые в черные чепаны ичкилики, а вон и горные кочевники в своих неуклюжих шубах и больших тебетеях. Родной народ, язык и сердце которого близки и понятны ему. Исхак как будто перестал слышать резкий, сухой голос чиновника. «Прощайте же... Прощай, мой угнетенный народ, прости меня за невольно причиненное тебе зло, не забудь помянуть добрым словом достойные мои дела...» Скоро подойдет палач... Исхак поднял голову и взглянул на светлое, как слеза, небо. Плыли по небу легкие, похожие на дымки от выстрелов облака. Рядом с одним из них увидел Исхак летящего беркута. Он кружил, то скрываясь за облаком, то показываясь вновь. «Он как моя душа...» — подумал Исхак и в эту минуту ощутил прикосновение веревки к своей шее.

Вновь загремели барабаны, заглушая слова, рыдания, брань. Исхак, закрыв глаза, беззвучно шептал молитву. Ему на шею осторожно надели петлю. Холодной змеей скользнула она по телу. Исхак вздрогнул. Сарбаз выбил

скамейку у него из-под ног. Исхак дернулся и повис в петле.

Люди молчали. Барабаны гремели. Тело Исхака вытянулось, удлинилось и теперь висело неподвижно. Барабаны гремели тише, тише и наконец смолкли.

— Куда мне теперь без батыра моего? Куда-а...

Разорвав наступившую тишину, взметнулся над площадью отчаянный крик.

— Что это? Кто это?

Люди оглядывались, загудели тревожные голоса.

Кричал Момун. Кричал, не умолкая, и от этого крика оцепенела толпа, пришли в растерянность фон Кауфман и его присные. Момун подбежал к помосту, кинулся к виселице, упал на колени возле повешенного и обхватил руками его ноги.

Зашумел народ, заволновался, но тут прогремел ружейный залп, и снова все замерли. Не умолкал один лишь Момун.

— Хватайте разбойника! — не выдержал, завопил Насриддин.

Два сарбаза и два казака подскочили, схватили Момуна, завернули ему руки за спину. Он не сопротивлялся.

— Повесьте! Повесьте меня рядом с ним! На что мне жизнь без него? — кричал он, глядя на туго натянувшуюся веревку виселицы.

Полковник Меллер-Закомельский поспешил торжественно объявить:

— Свершилось справедливое возмездие!

Толмач перевел. Народ встретил эти слова молчанием...

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

Обманув и сбив со следа настигающий его отряд барона Витгенштейна, Абдылла-бек и с ним еще человек тридцать скрылись в горах Саркол и двинулись в сторону Афганистана.

Куда ни обрати взор — голое, выжженное солнцем предгорье. Чужая, незнакомая земля, она как будто самим своим суровым обличьем предостерегает пришельцев, и кажется, что в глубине ее затаилось зло. Там, впереди, на самом дне пересыхающего русла медленно влечет мутную воду неглубокая река.

Абдылла-бек поднялся на высокий холм и, натянув повод усталого саврасого коня, остановился, из-под руки оглядел окрестность. По берегу реки виднелись редкие, пожухлые заросли тамариска, кое-где у самой воды трава еще зеленела. Здесь, на холме, неумолчно стрекотали кузнечики; то и дело вылетали они из бурьяна, треща крыльями. Смутно и тоскливо было на душе у Абдылла-бека. Вспомнилась зеленая Фергана... Ах, Фергана, Фергана — шелковый ковер невиданной красоты... Осенью она пахнет хлебом и дынями. Абдылла-бек тяжко вздохнул, опустил голову, чтобы не увидали джигиты его омраченное лицо, и повернул коня к берегу.

На ночевку остановились у воды, выбрали место, которое было еще не вытоптано. Растянули палатки.

Абдылла-бек улегся, но успокоиться не мог. Сон не шел к нему, несмотря на то что много дней не сходил он с коня и дремал только в седле. Он пытался уснуть и так и сяк, но не получалось,— думал, прислушивался, то и дело открывал глаза, вперяя их во тьму. В конце концов набросил на плечи чекмень и вышел. Тихо было кругом. Задремали, должно быть, и караульные джигиты. В небе прямо перед ним горела яркая предутренняя звезда. Легкими порывами проносился вдоль берега прохладный ветер. Абдылла-бек долго ходил взад-вперед; предрассветная свежесть охладила разгоряченную голову, ушли куда-то беспокойные мысли, он вернулся в палатку и уснул.

Проснулся он оттого, что у входа заговорили. Красноватые солнечные лучи пробивались в палатку.

— Откуда путь держите? — спросил по-тюркски хрипловатый голос.

— Из кокандских земель,— услышал Абдылла ответ своего джигита Акбалбана.— Мы едем к афганскому паше...

Незнакомцы заговорили между собой по-персидски. Абдылла-бек хорошо знал этот язык и понимал все. «Он говорит, что они едут в гости к самому повелителю», — произнес тот, первый, хрипловатый голос. «Странные люди. Непонятные люди. Ложь это. На что нужны повелителю эти разбойники? Хитрят они. Затеют еще, чего доброго, смуту в народе, убирались бы они лучше прочь»,— сказал второй, и Абдылла-бек горько усмехнулся: вот что приходится выслушивать по воле всемогущего бога!

Он представил себе смуглое лицо хриповатого афганца. Тот опять заговорил по-тюркски:

— Послушайте-ка, мусульмане, эта земля хозяйская, заповедная. На сегодня, так и быть, оставайтесь, а завтра с богом в путь, ладно?

Акбалбан ничего не сказал, но, должно быть, кивнул головой, потому что афганцы тут же собрались уезжать, запонукали коней. Немного погодя послышался удаляющийся топот копыт.

Акбалбан вошел в палатку.

— Где там удайчи, что он делает? Позови-ка,— попросил Абдылла-бек.

Вскоре Акбалбан вернулся с Сулейманом-удайчи. Тот вошел небрежно, дорогой халат внакидку, сапоги на босу ногу...

Сулейман-удайчи под Уч-Коргоном покинул Исхака, ушел от карательного отряда и бежал в горы Саркол, где и повстречался с Абдылла-беком. Он был зол, как волк, который, чтобы освободиться от капкана, отгрыз себе лапу...

— Добро пожаловать, удайчи, — пригласил Абдылла-бек, испытующе глядя на Сулеймана. А тот не сказал ничего, только вздернул вверх украшенный редкой растительностью подбородок и, прямо глядя на бека маленькими желтыми глазками, кивнул: пришел, мол. И сел у порога.

— Отчего вы не проходите сюда? — вежливо спросил Абдылла, но Сулейман будто и не слыхал.

— Сулейман-ага,— мягко заговорил тогда Абдылла,— такова, видно, наша с вами судьба, что попали мы в это дикое и пустынное место...

— Ну? — перебил его Сулейман, на лице которого написано было явное отвращение.— Что ты еще скажешь?

— Вы распоряжались казной, так вот, осталось ли от нее что-нибудь, осталось ли, Сулейман-ага, хоть немного монет?

— Так! — встряхнулся Сулейман.— Ну и что ты стал бы с ними делать?

— Вы сами понимаете, что являться к афганскому эмиру с пустыми руками нам не пристало. Мы оба были люди в своей стране значительные, стало быть, и в чужом краю надо нам хранить свое достоинство...

— Какое у тебя теперь осталось достоинство? —

жестко сказал Сулейман.— Нет у меня ничего. А и было бы, так тебе не дал бы.

— А почему, позвольте узнать, не дали бы? Разве не были мы равными в орде? И разве не одинакова наша завтрашняя судьба? Подумайте-ка. Разве я хлопочу только о себе?

— Ты ко мне не приставай! И не допрашивай меня, сын шлюхи!

Абдылла-бек ушам своим не верил. А Сулейман продолжал:

— Чего глаза-то вылупил? Из-за таких подлецов, как ты, мы и очутились в этой проклятой пустыне. Еще языком мелет. Еще болтает о завтрашнем дне, туда его и перетуда! Эх, надо было всех вас уничтожить да и начать дело заново! Думал я...

— Опомнись, удайчи! — еле выговорил досиня бледный Абдылла-бек.

Сулейман встал, резким движением отряхнул полы.

— Хватит! Нет больше твоей власти надо мной!

— Постой! — крикнул Абдылла-бек.

Сулейман выхватил из-за пояса пистолет, но Акбалбан успел ударить его по руке. Пуля просвистела мимо головы Абдылла-бека и продырявила шелковую стену палатки. В палатку вбежали джигиты, скрутили Сулейману руки.

— Оставьте его, отпустите...— сказал Абдылла.— Убирайся, да помни, что я еще сволоку тебя в Коканд, как тушу на козлодранье!

— Это мы еще посмотрим! — отрезал ничуть, по-видимому, не испуганный Сулейман и с руганью вышел из палатки.

Абдылла-бек погрузился в раздумье.

Он не мог примириться с тем, что утратил высокое положение и власть. Готовый на любые жертвы, вплоть до собственной жизни, собрал он в Гульше войско и приготовился к битве. Ранней весной генерал Скобелев выступил в так называемый Алайский поход. Абдылла-бек ожидал, что Скобелев двинется через узкий проход Джанырык. Но нашелся среди своих предатель — Иманкул, который показал Скобелеву прямую дорогу в Гульшу. Абдылла-бек проиграл сражение, был наголову разбит и бежал в Саркол.

Воспоминания вели его все дальше. Припомнился ему красный альчик — биток.

Давно, очень давно это было. После казни отца прошло несколько лет, прежде чем решился молодой Абдылла поехать ко двору. Излюбленным развлечением придворных была игра в альчики. Абдылла-бек в игре не принимал участия, молча стоял в толпе зрителей и смотрел. Одна из партий явно проигрывала, у ее участников оставалась надежда только на последний, дополнительный удар — на него имеют право проигрывающие. Старший игрок оглядывался — искал, кого бы поставить, кого бы назначить для этого решающего удара. Взгляд его упал на Абдыллу. «Не попробуешь ли ударить, добрый джигит?» Абдылла вежливо поклонился: «Если вы доверяете мне судьбу вашей игры, попробую...» — «А, все уж равно, джигит, игра почти наверняка проиграна, встань»,— и старший протянул ему белый биток. Абдылла взял биток, подержал в руке, поклонился восседавшему на особом возвышении Кудаяр-хану, которого обмахивали веером из перьев райской птицы. «О повелитель! Дозволено ли мне будет бороться верхом на собственном скакуне?» — так Абдылла попросил разрешения использовать собственный биток. Кудаяр-хан приветливо кивнул головой. Абдылла вернул хозяину белый биток и достал из кармана свой, вырезанный из колена шестилетнего оленя и окрашенный в красный цвет. Абдылла выбил подряд несколько альчиков, а когда дошел до того, который ставится в центре и называется «ханом», выпрямился и с поклоном принес извинение: «Прошу прощения, бек-ата, что мне приходится в присутствии священного повелителя бить по альчику-хану...» Тонкое знание приличий, обнаруженное Абдыллой, вызвало громкие похвалы. Кудаяр-хан привстал, Абдылла поклонился ему. Кудаяр-хан явно обратил внимание на красный биток, как будто узнал его, и с любопытством переводил взгляд с молодого человека на альчик в его руке. Абдылла смутился. Биток положила ему в карман, провожая в путь, его мудрая и проницательная мать Курманджан-датха-аим и сказала при этом напутствие: «Семь поколений твоих предков владели этим красным альчиком, теперь ты, сын мой, пользуйся в игре битком, приносящим счастье». И теперь Абдылла стоял оробелый, не смея взглянуть на хана. «Это биток Алымбека?» — спросил Кудаяр-хан, подняв брови. «Да, повелитель»,— еле выговорил Абдылла.— «То-то я его сразу признал!» — и он протянул руку за альчиком.— «А ты, стало быть, Аб-

дылла, добрый джигит». — «Да, повелитель...» — «Хорошо,— ласковым голосом произнес хан.— Но почему же ты, бек, не принял участия в большой игре, а только в розыгрыше?» И, вернув ему альчик, хан, сопровождаемый своим ближайшим окружением, удалился по направлению к диванхане... Абдыллу все поздравляли: «Счастье вам улыбнулось, бек...»

С того дня стал он именоваться беком, принял участие и в большой игре в ордо, и в большой игре в ханской орде, в борьбе за удачу, за власть. А теперь все это — как смутный сон. И снова у него сжалось сердце.

Ему вспомнился Бекназар. «Нет, Абдылла! Сохранить жизнь ценою разлуки с родным народом, с родной землей, да пропади она пропадом, такая жизнь! Я останусь здесь, среди своих, а там будь что будет!» — так он сказал и, отделившись от него, ушел к себе в Аксы. Последние слова Бекназара как будто снова прозвучали в ушах Абдылла-бека, и он тяжело вздохнул.

Из чрева матери вышел он беком, чтобы сразу получить титул, и чуть ли не с колыбели обучали его искусству во имя власти и почета играть судьбами простых людей, как играют в альчики. Изгнанный из привольной зеленой Ферганы, он в этой бесплодной пустыне чувствовал себя так, словно его вышвырнули за двери рая. Он не хотел мириться с этим, не хотел подчиняться, в сердце еще жили надежды, он взвешивал все обстоятельства, искал последнего средства.

Афганский эмир принял его в Кабуле, в своем дворце, вознесенном над городом, с почетом — как вынужденного бежать и скрываться ханзаду. Абдылла-бек со своей стороны проявлял всяческую почтительность, обращаясь к «мудрому эмиру храброго афганского народа». Эмир — узкоглазый, горбоносый, с маленькими торчащими усиками — встал и, приняв вид огорченно-сочувствующий, подошел к Абдылла-беку, поздоровался, наклонив голову. Слегка прикоснувшись к его локтю, дал ему тем самым знак распрямиться и проводил на приготовленное заранее для гостя место. Придворные исподтишка переглядывались: они оценили почетный прием, оказанный эмиром беглецу, и теперь строили предположения, что же будет дальше и чем все это кончится.

По восточному придворному обычаю, эмир произнес стихотворение на тюрки, которое состояло из зарифмо-

ванных вопросов,— откуда прибыл гость, чей он сын, какого рода-племени.

Отвечал — тоже, конечно, в стихах — придворный поэт, и в сочиненных им бейтах-двустишиях сказано было, что пришелец явился из Коканда, что конь под ним сказочный, что речь у него соловьиная, а слова и мысли благочестивы. Он сын бека и сам бек по имени Абдылла. Он просит защиты и милости.

— Падишах,— заговорил Абдылла-бек, не садясь.— Вам, мудрому правителю смелого афганского народа, я привел в подарок скакуна с седлом...

Эмир сощурил и без того узенькие глазки.

— Спасибо, сын мой... спасибо...— и, слегка наклонив голову, он сел на трон.— Садись, сын мой. Здорова ли почтенная датха-аим?

— Слава богу, ваше величество...

— Благополучен ли народ ваш? — эмир задал этот вопрос, хотя отлично знал, какие события произошли в Фергане.

Абдылла-бек поймал его взгляд и отвечал горько:

— Если бы он был благополучен, разве скитались бы мы, повелитель.

Эмир опустил веки, подумал.

— Гм... мы слышали... да...

Черные рабы-индусы забегали на носках, прислуживая, подавая всевозможные кушанья, мусаллас в узкогорлых кувшинах. Пришел рубабист, и под искусную его музыку извивались в причудливом и сладострастном танце пять красавиц танцовщиц.

Эмир как будто бы решил во что бы то ни стало развеселить гостя, он сам возглавил беседу, говорил весело и оживленно, пил мусаллас. Но гостя ничто не радовало; чистая, как родниковая вода, мелодия рубаба и танцы прелестных девушек не отвлекали его от тягостных мыслей, а крепкий мусаллас не опьянял, не разогревал кровь.

Когда все удовольствия и наслаждения подходили к концу, Абдылла-бек решился заговорить о цели своего приезда и попросил помочь ему отыскать родичей-тюрков, живущих в Афганистане. По сути дела, это была просьба о праве собрать войско. Эмир, прикусив тонкую нижнюю губу, смотрел на Абдылла-бека и видел, как тот багровеет от волнения. Да и все ждали ответа эмира,

затаив дыхание. Эмир одним мановением руки отослал рубабиста и танцовщиц.

— Трудно... трудное положение у вас, сын мой,— откровенно сказал эмир, встал и отошел к решетчатому окну, из которого виден был древний Кабул. Постояв немного, эмир повернулся, подошел к Абдылла-беку и наклонился к нему, пристально глядя в лицо. Абдылла из почтительности встал.

— Сын мой,— мягко и ласково сказал эмир,— ты очень устал. Ты отдохни немного, потом сходи в Мекку, припади к священной каабе, соверши паломничество, а, сын мой? Куда денется суета этого бренного мира, она от тебя не убежит. А после твоего возвращения поговорим еще раз, сын мой...

Хитрые нукеры исподтишка переглядывались — они разгадали ход мыслей эмира. Ханы, эмиры, ханзада, когда счастье изменяло им и они вынуждены были бежать в чужие пределы, обычно отвращали свои помыслы от мирских дел и устремлялись душой к богу. Предпринимали паломничество в Мекку. И эмир давал таким образом понять, что отказывает в помощи. Абдылла-бек тоже это понял и побледнел; первым его порывом было встать и уйти, он взглянул на изукрашенную двойную дверь, но остался сидеть на месте.

Эмир не мог поступить иначе. Покорив весь Индостан, Англия мало-помалу продвигалась на север, подбиралась и к Афганистану; она переманивала на свою сторону беков пограничных городов, натравливала их на эмира. В Афганистане работала картографическая экспедиция Русского географического общества. Чтобы успешнее обезопасить себя от английских притязаний, эмир предоставил русским ориенталистам свободный доступ во внутренние районы страны, заключил соглашение с Россией, вынужден был на нее опираться.

— Тебе следует это сделать, сын мой,— сказал эмир, который знал положение Абдылла-бека, но не хотел быть с ним слишком откровенным.

Гул восхищения мудрым советом эмира пронесся по залу, и под этот гул Абдылла-бек еле заставил себя произнести слова благодарности:

— Повелитель... вы дали благородный совет...

Абдылла-бек встал. Прием был окончен. В заключение эмир вернул беку его подарок — саврасого аргамака.

— Как могу я, приняв такой подарок, подсечь крылья вольному соколу? Тебе конь необходим, сын мой...

Абдылла-бек не огорчился и не обрадовался, попрощался вежливо и уехал.

Не стало последней надежды. Рушился лелеемый им замысел собрать большое войско из близких по крови племен Кашгара и Афганистана и с этим войском нагрянуть в Фергану. Он вернулся в поставленную на берегу реки временную юрту и пробыл в ней неделю. Сидел ссутулившись и думал, думал... На восьмой день он с тяжелым вздохом поднялся, выбрал двух спутников, сменил одежду бека на облачение паломника и двинулся в далекую Аравию.

Джигиты, возглавляемые Акбалбаном и Батырбеком, братом Абдыллы, три дня провожали бека. И все эти три дня Абдылла-бек молчал. Лицо его день ото дня худело и желтело, он ехал и неподвижным взглядом смотрел прямо вперед.

На развилке дорог устроили привал под одиноким деревом возле родника. Зарезали лошадь. Джигиты ели мясо, Абдылла в рот ничего не брал. Но вот он, словно пробудившись после тяжелого сна, позвал:

— Акбалбан, где же ты?

И когда Акбалбан приблизился, сказал:

— Я разлучен со своей родной землей, что могу я найти в чужой Мекке?

Джигиты обрадовались:

— Вернемся?

Абдылла покачал головой:

— Вы вернетесь...

Джигиты замолчали, и только Акбалбан решился спросить:

— А вы, бек? Вернемся все вместе...

— А я умру,— спокойно отвечал Абдылла-бек, медленным взглядом обводя джигитов.

Кто-то начал было уговаривать его бросить мрачные мысли, но Абдылла покачал головой и опустил ее на крепко сжатые кулаки.

— Нет, для меня лучше умереть... Я не могу вернуться и увидеть, что власть моя в чужих руках, что честь моя попрана... нет! Не могу...

Батырбек зарыдал, Абдылла сказал ему мягко:

— Не плачь, я ведь только исполняю предназначенное мне с колыбели.

Акбалбан решил, что Абдылла болен, и отправился в ближайшую деревню за лекарем-табибом. Вскоре он вернулся вместе со стариком индусом, одетым с предельной простотой: кусок белой ткани обернут вокруг бедер, другим куском такой же ткани повязана голова.

Абдылла-бек лежал ничком — не то задумался глубоко, не то впал в полубессознательное состояние. Возле него — Батырбек. Когда лекаря подвели к Абдылле, он поднял голову. Индус поклонился, прижав ко лбу сложенные вместе ладони.

— Салам тебе, бекзада,— сказал он.

— Это лекарь,— тихонько объяснил Абдылле Акбалбан.— Пускай посмотрит...

Абдылла-бек неожиданно рассмеялся.

— Лекарь? Что ж, пускай он угадает мою болезнь! — он протянул табибу руку.— Ну что, индийский лекарь, будешь щупать мне пульс?

Индус взял руку Абдыллы в свою, но пульс искать не стал, а посмотрел беку в лицо и бережно погладил его руку.

— Тоска — вот болезнь бека,— сказал он и, улыбнувшись, показал ослепительно белые зубы.— Пускай бек отбросит печальные мысли...

Абдылла-бек был удивлен, а индус продолжал говорить размеренно и негромко, глядя беку прямо в глаза и проводя пальцами по его лбу, как будто хотел стереть, уничтожить тоску и печаль.

— Разве бек не знает, что тоска убивает человека?

Абдылла-бек снял с пальца левой руки перстень с дорогим камнем и протянул табибу.

— Ты проницателен, индийский лекарь. Спасибо тебе...

Индус взял перстень с радостью, поблагодарил, а уходя, обернулся:

— Пусть бек отбросит прочь свою тоску, пусть отбросит, если хватит у него сил. Пусть ободрится духом, даже если нет для этого причины, иначе...— он не договорил и пошел прочь.

Абдылла-бек смотрел ему вслед, пока индус не скрылся из виду.

— Чем могу я ободрить себя? И как? — Абдылла-бек покачал головой.— Где расстается смертный со своей душой, там остается его тело. Братья мои и товарищи в кровавых битвах, у меня к вам одна только просьба.

Когда я умру, разрежьте мне грудь и выньте сердце. Похороните мое тело, заройте в землю, а сердце мое заверните в белую кошму и, если приведется вам вернуться на родину, заройте его на зеленом холме. Не хочу я, чтобы сердце мое осталось на чужбине, хочу, чтобы лежало оно в родной земле...

Абдылла-бек умер через три дня, на рассвете четвертого. Спутники выполнили его предсмертную просьбу и тронулись в обратный путь, взяв направление на Кушку. Трудна была дорога, богата неожиданными и тяжкими испытаниями. Ургенча достигли трое — Акбалбан, Батырбек и еще один джигит.

Через месяц прибыли они к границе Ферганы. Похоронили сердце Абдыллы под зеленой арчой на склоне горы. В жертву духу хозяина принесли саврасого аргамака, а череп коня укрепили в развилке дерева. И только освободившись от заветного долга, стали думать о своей судьбе, о том, куда же им теперь податься...

2

— По коням! По коням, народ! Не стало объединявшей нас орды. Не может народ жить без власти, без опоры! По коням! Что еще нам осталось, люди? По коням!..

С этим кличем вновь понеслись по аилам глашатаи. А кинул клич, всем на удивление, не кто иной, как Абиль-бий.

— Садитесь в седла, старые старики и малые ребята. Девушки, готовьтесь встать в один ряд с джигитами. Все подымайтесь, все до одного! Вооружайся, несчастный народ...

Абиль-бий что ни день распускал новые слухи, пугал людей жестокостью солдат-карателей, будоражил народ. Может, властный Абиль-бий хочет на этом выиграть? Никто не мог ни на что решиться: то ли и вправду ополчаться, то ли бежать подальше в горы... А, может, дальновидный Абиль-бий верно говорит? И нет другого выхода, другого пути? Но так или иначе в результате всей этой шумихи распыленные, разрозненные силы начали собираться воедино.

Бекназар в последнее время осунулся, побледнел; он не мог забыть гибели Исхака и день ото дня старел. Что теперь делать? И чем все это кончится? Что проку вое-

вать с кем-то? Или с кем-то объединяться? Он в глубине души примирился с грядущей одинокой старостью, попрощался с боевым скакуном, ратным мечом и богатырской славой. Молился, стал носить малахай и перепоясался белым платком. Тенирберди и Кулкиши — вот с кем проводит он теперь свое время.

— Судьба всего народа висит на волоске, поднялся народ на такой перевал, что кружится голова. Кто может нынче дать совет, указать путь? — покачал головой Тенирберди.

Бекназар, казалось, не хотел думать об этом; сидя неподвижно, глядел он в ту сторону, где все шире разливалось по небу темное зарево заката.

— Был, говорят, в старину один аджо[1],— начал Тенирберди вдруг.— И захотел он пойти в поход и разграбить все земли от восхода солнца до заката. Приказал он при этом казнить всех стариков, достигших возраста шестидесяти лет — только мешать они будут в великом походе. Приказ есть приказ. И только один человек, единственный сын своего отца, не осмелился поднять руку на старика и показал аджо одежду отца, испачканную кровью козленка. А старика спрятал. Кончились приготовления, забили боевые барабаны, затрубили трубы, начался поход. А в те времена отправлялись вместе с мужчинами их семьи, гнали люди и скот с собой. Милосердный сын посадил отца в сундук, а сундук погрузил на верблюда.

Шли они, шли и достигли мест бесплодных и пустынных. Не было воды, чтобы напоить огромное войско, люди начали гибнуть. Злой аджо приказал найти воду. Стали рыть, копать — нет воды. Тогда кто-то из воинов и скажи: «Эх, был бы с нами хоть один старик, умудренный опытом! Он бы нам помог!» Запали эти слова на ум сыну, и темной безлунной ночью он открыл сундук и рассказал отцу обо всем. Отец и говорит: «Есть корова-то? Гоняйте ее до изнеможения, а потом дайте передохнуть. Запалившаяся корова начнет искать воду. А вы идите за ней и ройте землю в том месте, где она опустит морду к земле и начнет принюхиваться. Найдете воду!» Воин поступил по совету отца и действительно нашел воду. И огромное войско было спасено.

---

[1] Так древние киргизы называли своих правителей. *(Прим. автора.)*

Долго ли, коротко шли после этого, пришли в прекрасную страну, богатую полноводными реками. И на дне глубокого озера, что раскинулось в месте слияния двух рек, один воин увидел драгоценный камень. Дошло это до ушей аджо. Тот прибыл сам, посмотрел — верно, сверкает на дне чудесный камень, яркий, как звезда Чолпон. «Достаньте!» — приказал жадный аджо. Искусные пловцы бросились в пучину. Многих унес поток, а те, что остались живы, сказали: нет в воде никакого камня. И аджо приказал их обезглавить. Никто после этого не осмеливался утверждать, что камня нет, ныряли за ним и гибли один за другим. И снова сын пошел просить совета у отца. «Сынок, на берегу озера, должно быть, растет большое дерево. Смотри на его вершину, камень где-то там, на дереве, и только отражается в воде».

Так оно и оказалось. Сын нашел камень в старом гнезде на вершине большой чинары, которая росла на берегу, отдал камень аджо и спас многих от жестокой смерти.

Заподозрил аджо, что дело тут нечисто и начал расспрашивать да допрашивать воина. «На вид ты обыкновенный человек. Скажи, где ты прячешь свой ум?» И в конце концов, воин вынужден был сказать, что ум его — в большом сундуке. Открыли доставленный по приказу аджо сундук и увидели старика. Долго думал аджо, стоя возле сундука, а потом спросил старика: «Ты дал два мудрых совета. Что ты скажешь мне в третий раз?» И белый, как лунь, старик отвечал: «Слушай, о мудрый аджо! Не пускайся в путь, если самому тебе не достает разума либо если нет рядом с тобою опытного человека. Не будет тебе пути, много твоего войска сгинет понапрасну, а в конце концов и самому тебе плохо придется...» И послушался аджо умного совета, повернул назад свое войско...

— Э, то старик былых времен,— тотчас отозвался на эту байку Кулкиши.— В наше время таких стариков нет, так, старые болтуны...

Тенирберди оставил без внимания слова Кулкиши, видимо, оттого, что и в самом деле ничего не мог посоветовать. Бекназар безучастно молчал. Показался одинокий всадник — должно быть, глашатай Абиль-бия, решили все трое. Всадник направился прямо к ним. Не сходя с коня, сказал:

— Бекназар-аке, у Темене-Су сход собрался, вас просят прибыть.

Тенирберди заволновался, начал спрашивать, задыхаясь:

— Что за сход? Зачем? И кто его созвал, кто возглавил?

— Возглавил и созвал Абиль-бий,— отвечал вестник,— но только там народ разделился надвое. Вот и зовут вас, Бекназар-батыр, чтобы вы помогли разобраться и принять решение.

Бекназар глядел на вестника, не зная, что ответить. Что он скажет сейчас? Что может посоветовать там, если поедет?.. Вестник поехал прочь, свесившись набок. Усталая лошадь уносила его тряской рысью. Бекназар смотрел всаднику вслед, а видел перед собою другое: кровавые сражения, карательные отряды... В ушах словно отдавались снова выстрелы, которые давно отзвучали. Он зажмурился и затряс головой. Абиль-бий, стало быть, хочет, чтобы народ подставил себя под пули, под выстрелы из орудий... Бекназар встал:

— Нет, не годится мнить себя батыром только в дни успеха и прятаться в укрытии в тяжелые времена! Поеду...

Возле Темене-Су черным-черно было от народа. Некому навести порядок, направить одних туда, других сюда. Тревога о завтрашнем дне, страх за будущее, неясность положения — все это угнетало людей, лишало их уверенности в себя и потому гнало поближе к себе подобным. Народ прибывал и прибывал: старики и рядом с ними подростки, хлеборобы, забывшие о своем поле, охотники, бросившие свою ловецкую снасть и ловчих птиц, скотоводы, оставившие без присмотра стада... Они шли пешком, ехали верхом, кто на быке, кто на верблюде,— явились даже те, кому до схода и на сходе вроде бы и не было особого дела.

Подъехал Бекназар, с ним Кулкиши. Абиль-бий сам выехал им навстречу и, еще не поздоровавшись, взялся за повод Бекназарова коня.

— Вот он! Он приехал, Бекназар-батыр!

Бекназар не мог вдруг решить, то ли ему следовать за ним, то ли вырвать поводья у него из рук. Их, между тем, окружал уже народ.

В это время Бекназар заметил носилки. Их несли четверо высоких джигитов, а сидел на носилках какой-

то вроде бы знакомый ему человек. Кто это? Не обращая внимания на приветственные крики, Бекназар, уже не раздумывая, выдернул повод своего коня из руки Абиля и начал пробиваться к носилкам. Алмамбет! Опустились и стали как будто уже богатырские плечи, на которых когда-то лопнул по швам ордынский халат, волосы белые как снег; глаза утратили ясность, и теперь Алмамбет напоминал состарившегося льва. Он сидел и не без удивления поглядывал на великое скопище народа. Бекназар остановился перед носилками, поздоровался. Могучие джигиты, державшие носилки, были внуки Алмамбета. Узнав Бекназара, они остановились. Алмамбет же его не узнал. Бекназар пожал ему руку.

— Ты чей такой? — спросил Алмамбет, а один из внуков крикнул ему прямо в ухо:

— Это Бекназар-аке!

— А, верно! — обрадовался Алмамбет.— Ты Бекназар, стало быть? Слыхал я про тебя, слыхал. Ну, желаю тебе счастья...

Носилки двинулись дальше.

Посреди долины Темене-Су возвышался небольшой холм, на нем собрались знатные и влиятельные. Вокруг холма шумело море людей простых, обыкновенных.

Поодаль отпущены были пастись верховые животные — кони, быки, верблюды, нет им числа.

День пасмурный, солнце прячется в тучах. То и дело налетает резкий, порывистый ветер.

Абиль-бий проследовал на свое место, разделив толпу знатных. Все стихло. Тревога и озабоченность написаны на всех лицах, кроме, пожалуй, одного — Алмамбетова. Алмамбет будто бы ни о чем и не беспокоился. А кое-кто, завидев его, улыбался втихомолку: «Надо же, явился всеми забытый Алмамбет, не помогли Абилю его уловки!»

Ловкий Абиль сделался бием, возвысился, решал споры, судил и рядил, сносился с ордой... Алмамбет уступил ему дорогу. Алмамбету ничего лишнего не надо было в этом мире, он вел в своем Курпильдек-Сае мирную и нетребовательную жизнь. Но нынче в трудный и ответственный для народа час, узнав о событиях от сыновей и внуков, отправился и он на сход. Абиль-бий не приглашал его и не обратил особого внимания на его появление.

Заговорил Абиль-бий, и слушали его, стараясь не

пропустить ни слова, не только те, кто был поблизости, но и те, до кого едва доносился его хриплый голос. Он говорил о единстве, о том, что родная юрта равно дорога и отцу, и сыну, и сидящему у порога рабу. Что государство существует и для хана, и для беков, и для простого народа.

— И вот его не стало, нашего государства. Но разве может быть сын без отца, раб без хозяина? Разве может существовать страна без власти, народ без вождя? Что же осталось нам, рассудите по справедливости? Либо вооружиться всем до единого и драться с неверными за свое счастье, за свою долю, либо погибнуть в этой борьбе.

Поймав на мгновение глазами нахмуренное лицо Бекназара, Абиль-бий продолжал:

— Что скрывать, наш хан был плох, и много из-за того вышло междоусобиц. Так что же нам теперь сидеть и горевать об этом? Нет, дорогие мои, нам надо делать самое необходимое для нас дело — восстанавливать наш разрушенный дом.

— А силы на это где? Чем мы его будем восстанавливать? — негромко кинул кто-то.

Абиль-бий рывком повернулся в сторону, откуда донесся этот голос.

— Сила откуда, говоришь? А вот я да ты эта сила. Если мы объединимся, если вся страна, весь народ встанет единой стеной, вот тебе и сила!

— Мы, стало быть, опять должны склониться к вонючему подолу богом проклятых мингов? Тоже государство...— это сказал уже кто-то другой.

— Посмотрим! — ответил тотчас и ему Абиль-бий.— Посмотрим, к чьему подолу нам склоняться! Разве о мингах сейчас речь? Да сгинь они и пропади! Возродилось бы государство, а там найдется и тот, обладающий разумом, к чьему подолу стоит склониться.

Бекназар поднял голову.

— Бий,— сказал он спокойно.— Вы хотите возродить прогнившую орду? Сохрани боже вас хлопотать об этом. Ваши слова все те же! Вы воспевали единство, и оно обмануло нас, и народ пошел за это в огонь и в воду и едва не погиб. Что дала народу ваша орда? Много раз напоила его кровью, его же собственной кровью.

Абиль-бий возвысил голос:

— Эй! Хорошо, согласен, пускай будет по-твоему,

не станем мы возрождать орду. Но если нам угрожают извне, если наш дом лижут языки пламени? Что делать, как ты думаешь? Покорно подставлять шею под нож, как бараны?

Оба говорили убедительно. У обоих были сторонники. Абиль-бий ждал ответа от Бекназара.

Бекназар нашелся не сразу.

— Я указую тебе, мой народ, единственный путь, единственный выход из положения! — Абиль-бий говорил уже тоном приказа.— Ополчайтесь, седлайте коней. К вам обращаюсь я, отцы народа, предводители землепашцев, горцев-кочевников и городских торговых людей, пусть священный Коран объединит нас. Дело это решенное! Оно скреплено клятвой на Коране. Мы подымемся первыми. Первыми разожжем огонь, как стрела, пущенная во вражеский стан с прикрепленным к наконечнику раскаленным углем. Слышали? В ближайшие дни мы нападем на русских в Намангане.

Последние его слова долетели до самых последних рядов. Но они не угасили, а наоборот, сделали более мучительными сомнения. Как выступать против русских пушек с одной камчой в руке? Ведь это прямая гибель... Но никто не высказывался вслух, и слова Абиль-бия таким образом и на деле становились приказом.

Алмамбет частью сам слышал и понял, что говорилось, часть пересказали ему внуки. Он все оценил и теперь явно давал понять, что собирается бросить на весы и свое слово. Люди это поняли и оглядывались на него выжидательно. Посмотрел на него в конце концов и Абиль.

Столетний Алмамбет приоткрыл рот, пожевал пересохшими губами.

— Так,— начал он негромко.— Слыхал я о ваших делах. Плохие, стало быть, дела, тяжелые дела. Эй, Бекназар, где ты?

Бекназар только поднял брови и вопрошающе поглядел на Алмамбета — зачем это, мол, я тебе понадобился? Кто-то еще поспешил указать на него Алмамбету, и тот, покачав головой, подумал немного, потом оперся руками о колени.

— Мое имя Алмамбет... Я достиг возраста ворона... Бекназар, слушай меня.

— Я слушаю вас, отец.

На Алмамбета смотрели, затаив дыхание. В обычное

время никто, быть может, и не обратил бы на него особого внимания, но теперь, когда дело шло о жизни или гибели народа, все воспринималось иначе.

Алмамбет продолжал:

— Ведь что любопытно? Дожил я вон до каких лет, а знать не знал и ведать не ведал, что есть на свете народы, не похожие на нас, другие. А ты, Бекназар, много раз покидал родные места, так скажи мне, ты видел русских своими глазами?

Бекназар не мог сообразить, к чему это Алмамбет ведет. Но тот, приложив ладонь к уху, ждал ответа, и Бекназар сказал:

— Видел.

— Ну и что у них за вид, что это за люди?

Абиль-бий слушал с насмешливой улыбкой: надо же, как выжил человек из ума!

— Голова одна, а ног пара,— отвечал Бекназар на второй вопрос Алмамбета.

— Ну и как, двигаются они, разговаривают?

— Конечно. Язык у них есть.

— И хмурят брови?

— Хмурят.

— И умеют смеяться?

— Умеют, отец. Я видел своими глазами.

Первым засмеялся Абиль-бий, его смех подхватили многие. Вопросы Алмамбета и ответы Бекназара повторяли друг другу, передавали тем, кто не расслышал.

Алмамбет продолжал:

— Бекназар! Не сочти за труд ответить еще на один вопрос твоего выжившего из ума старого дяди. Едят ли русские?

Бекназар невольно улыбнулся.

— А как же иначе?

Алмамбет задумался. Пот выступил у него на лбу, внук отер его лоб платком.

— Ну,— снова заговорил Алмамбет,— русские, стало быть, ежели судить по твоим словам, такие же люди, как мы? Хмуриться — признак гнева, смеяться — признак милосердия, а кто заботится о хлебе насущном, может обмануть, может и сам обмануться. Они такие же рабы божьи, как мы...

Теперь его уже слушали иначе, и никто больше не смеялся.

— Дорогой мой, родной мой народ! — говорил ста-

рый, как ворон, Алмамбет.— Что может быть хорошего в гибели? Вы толкуете об орде, а кому от нее было тепло? Если русские такие же люди, как мы, то и на них действует доброе слово, их радует доброе угощение. Так не лучше ли нам встретить их дружески?

Тихо стало после этих его слов.

— О дорогой мой народ, если это возможно, если это от тебя зависит, попробуй мирно договориться с русскими. Набраться у них ума, а может, и удачи. Объединятся тогда наши судьбы, станем братьями, как дети одного отца.

— Господь милостивый! Послушайте только, какой совет дает нам «сам себе бий»! — не выдержал кто-то из старейшин.

Абиль-бий, весь белый от гнева, сорвался с места.

— Бий народа я! А тебе чего не хватает сам себе бий?

Но сход уже зашумел сотнями голосов.

— Хорошо он сказал! Умно!

— Почему нам не встретить их так? Русские такие же люди, как мы!

— С твоей ордой только смерть найдешь, будь ты проклят! Присоединимся к русским! Станем братьями!

— Слыхали? А что получили люди, которые вышли их встречать, вы знаете или нет?! — визгливо выкрикнул Абиль-бий.

Он не в силах был удержать дрожь, которая сотрясала его. Стиснул зубы, но борода так и прыгала.

Алмамбет отвечал невозмутимо:

— Слыхали, знаем... Но ведь люди бывают разные — и плохие и хорошие. Наверное, и среди русских встречаются плохие.

— Правильно! — подхватил еще кто-то.— Не всякий удар глаз выбивает...

Абиль-бий вскричал:

— Замолчите! Опомнитесь! С ума вы все сошли! Безумный народ!

Его не слушали.

Абиль-бий сел. Он искал вокруг себя тех, на кого сейчас мог бы опереться, и никого не видел. Только что его слушали, раскрыв рты, а теперь и смотреть на него не хотят. Перед ним, как скала, неколебимый, стоит Бекназар. Перед ним шумит охваченный бурным волнением народ. И Абиль-бий смирил свой гнев, погасил

рвавшийся наружу огонь и сидел, не шевелясь и не пытаясь больше говорить.

— Бекназар! — окликнул еще раз Алмамбет.

— Слушаю вас...

— Кто, кроме тебя, годится на это? Ты, мой сын, должен встретить русских.

Бекназар подошел к старику, взял обе его руки в свои, поцеловал их.

— Отец! Пусть выберут другого... Я уже простился с заботами этого мира...

— Сделай, как я говорю, сын мой,— сказал Алмамбет, который не слышал или не хотел слушать Бекназара.— Если русские выстрелят в тебя, ты падешь первым. Если примут они твои слова, ты станешь опорой своему народу. Нет для тебя другого пути, ведь тебя называют героем.

Бекназар умолк. Сердце его равнодушно и к другу и к врагу, разве не так? А народ, очутившись на распутье, на него возлагает ответственность за свою судьбу. Имя Бекназара у всех на устах.

— Не падай духом, батыр!

— Кто же, если не ты, Бекназар-аке?..

Бекназар вздохнул и распрямился. Он вдруг почувствовал, что путь избран, что цель ясна, что силы вернулись к нему.

— Народ мой! — заговорил он, глядя на всех зорким, как прежде, взглядом.— Я пойду, если ты велишь, и встречу нового брата... Но об одном прошу: вернитесь к своим повседневным заботам. Воины-джигиты, езжайте по домам. Земледельцы, работайте на полях, скотоводы, ходите за стадами и отарами, не беспокойтесь ни о чем.

— Согласны, Бекназар-батыр! Быть по-твоему! — отвечали ему нестройно, но дружно.

Так и принял сход совет столетнего Алмамбета.

Старика понесли на носилках внуки. За носилками валом повалил народ. Кулкиши подвел Бекназару его коня. Привычный к шуму и боевым схваткам скакун, едва хозяин сел в седло, закусил удила и рванулся вперед. Таяла, растекалась толпа. Кто как прибыл, так и возвращался: один пешком, другой на коне, третий на верблюде...

Абиль-бий все сидел на холме, один как сыч. Ни-

кто не позвал его с собой, и он никого не остановил, не задержал. Медно-желтое лицо его по-обезьяньи сморщилось.

3

С тех пор, как погиб на виселице Исхак, Кудаяр и Насриддин не знали покоя. Каждый из них надеялся, что именно его сделает ханом генерал-губернатор, и каждый боялся, что соперник опередит его. Оба держали наготове белую кошму, на которой подымают ханов, оба без устали обивали губернаторский порог. Третьим претендентом был Абдурахман, который считал, что власть над Кокандом ему обещана. Но губернатор не только не принимал их, но даже не отвечал при встрече на их угодливые поклоны. Фон Кауфман был достаточно умен для того, чтобы понять, что навязать здешнему народу в качестве хана представителя прежней, совершенно разложившейся власти, значило бы уронить престиж России.

Вскоре приехала в Ош и встретилась там со Скобелевым Курманджан-датха-аим, к словам которой прислушивались кочевники. Киргизские женщины преклонного возраста считали неприличным носить в косах блестящие серебряные украшения, как это делают молодые, и заменяли их связкой серебряных либо даже медных ключей. Курманджан бросила перед генералом такую связку из своей косы — как ключи от всех городов страны. Сняла со своего золотого пояса маленький кинжал и вручила Скобелеву в знак того, что война окончена. Умная женщина оказывала своей стране материнскую услугу, признавая низложение орды и присоединение края к России и тем самым обеспечивая народу мирное будущее.

После этого фон Кауфман, не отнимая у Курманджан-датхи ничего уже не значащего титула «алайской царицы», пожаловал ей чин полковника; Насриддину испросил дворянское звание, Абдурахмана тоже сделал полковником, полагая, что тем самым достаточно удовлетворил их честолюбие.

Но их это никак не удовлетворило. Один считал, что родился ханом, другой гордился своим бекским достоинством. Насриддину, недовольному непонятным званием «дворянин», и Абдурахману, полковнику без единого солдата, советчиком стал Кудаяр. Они устроили тайный

сговор, поклялись на Коране в верности друг другу и начали готовиться к тому, чтобы силой восстановить орду.

Но у них, как и у Абиль-бия, сторонников не нашлось. Народ предпочел тропу жизни дороге смерти. Заговорщический замысел его высочества Кудаяра, дворянина Насриддина и полковника Абдурахмана был обнаружен, и всех троих сослали в Оренбургскую губернию. Так пала старая орда, цели которой ни в чем не совпадали с целями общенародными и которую народ не поддерживал. Окровавленный меч был сломан.

4

— Спасибо тебе, батыр, что бы там ни было, ты мой родич. Я позвал — ты меня уважил, пришел отведать моего угощения.

Абиль-бий говорил сдавленно, часто прерывал свою речь и сам весь съежился, как паук.

— Было мое слово веское, была моя плеть хлесткая... А что мне теперь осталось? Ненависть родичей, ненависть всего рода. Я не горюю, власть есть власть, иной раз на гору подымешься, а иной — и в болото попадешь. Но я тебе вот что хочу сказать. Народ тебе доверился, твоя взяла, а меня счастье покинуло, сила из рук ушла, батыр. И ты меня прости, если можешь.

Всю свою спесь и честолюбивые помыслы Абиль как будто вытряхнул из себя там, на холме, когда остался один-одинешенек. Он сидел сейчас совсем по-стариковски, не подымая глаз, на которые то и дело навертывались слезы. Руки у него тряслись. Каракаш-аим сама суетилась по хозяйству: не было на сей раз у нее обслуги, никто не хлопотал за нее у очага. Перед Бекназаром она явно заискивала, то и дело предлагала отведать кумыса и все смотрела на батыра жалостными глазами.

Гостей было только двое.

Бекназар готовился встречать русских. Абиль-бию, до которого доходили слухи о том, что вдоль дороги установлены гостевые юрты, что в них ожидают выделенные Бекназаром старики и люди помоложе из самых сообразительных, только и оставалось сокрушаться: «Мир перевернулся, не иначе, творец великий!» Но в конце концов Абиль сообразил, что невыгодно ему на глазах у всего народа быть как бы в ссоре с Бекназаром, и послал Каракаш-аим звать батыра в гости. Бек-

назару неловко было отказать почтенной женщине. Он решил принять приглашение и взял с собою Кулкиши. «Как бы там ни было, бий человек уже старый, его уважали да и он умел уважать, пойдем, послушаем, может, и полезный совет получим...»

— Я не собираюсь мешать тебе, Бекназар-бий. Ты сам ответишь и на этом и на том свете за народ, которым теперь руководишь. Я шел своей дорогой, и ты иди своей. Потомки рассудят, кто из нас был прав...

— Абиль-аке,— раздумчиво заговорил Бекназар,— я совсем не рвусь в бии, да вы и сами видите, что я не стремлюсь к возвышению. Разве в этом дело? Русские — народ сильный, могущественный, их выстрелы поражают цель издалека. Это вам не бог знает кто. Наше счастье — в сближении с ними. По слухам, русские не стали уничтожать казахов или наших киргизов в Сары-Узен-Чу. Наоборот, говорят, что они оказывают людям необходимую помощь. Что ж, я не хочу поступать так, как поступают себялюбивые и завистливые. Если вам хочется, встречайте русских вы. Неважно, кто именно первым выйдет навстречу, важна суть.

Каракаш-аим незаметно для других бросила на мужа весьма выразительный взгляд. Абиль не торопился отвечать Бекназару: во-первых, он был захвачен врасплох этим великодушным предложением и немало удивлен, а во-вторых, сразу же дать согласие встречать или, скажем, предложить, чтобы они вдвоем сделали это, значило бы обнаружить свое сокровенное желание слишком открыто. Было и третье: сомнение по поводу того, понравится ли предложение Бекназара всем прочим, примут ли они его. И Абиль покачал головой.

— Оставь это,— сказал старый хитрец.— Народ поручил тебе, выполни же его поручение. Твое предложение — честь для меня, я рад, благодарю тебя, батыр!

Бекназар, ничего не утаивая, рассказал о своих приготовлениях. Но Абиль не слышал его да и не слушал. Одна только мысль владела им, только одна: «Он согласен, а согласится ли простой народ? Нет, пока он жив, не согласятся они. И смотреть на меня не захотят».

Каракаш-аим нынче принимала гостей наособицу, с широким радушием. Кулкиши был чрезвычайно горд тем, что Абиль обращается с ним, как с ровней. Время от времени он произносил с набитым ртом что-то вроде:

— Увидим, Абиль-аке, что будет дальше!

Каракаш-аим собственной рукой подала каждому налитый в тонкие пиалы, душистый, мастерски заваренный чай,— запить еду, чтобы пошла на пользу.

— Дайте нам ответ, бий,— сказал Бекназар.

Он собирался уходить и поблагодарил Каракаш-аим. Та в свою очередь благодарила его в самых изысканных выражениях:

— Вы, дорогой кайни, поступили, как подобает порядочному человеку. Забыли прошлые обиды, приняли приглашение, отведали угощения в юрте престарелого родственника друзьям на радость, врагам на зависть. Спасибо вам.

И она накинула на плечи Бекназару искусно сшитый и красиво отделанный камзол, материя на который выткана была из шерсти белого верблюжонка.

— Носи на здоровье,— пожелал Абиль.— Дорогого гостя с пустыми руками не провожают.

У Кулкиши загорелись глаза.

— Эта вещь не из достояния твоего дяди,— продолжала Каракаш-аим.— Это я сделала своими руками, как умела, прими подарок. Как он ни плох, но дарю от чистого сердца.

Таков обычай, и Бекназар не мог отказаться. Ничуть не обрадованный подарком, он наклонил, однако, голову в знак благодарности. А Кулкиши так и зашелся:

— Ого-о! «Как ни плох», ну и скажешь тоже! Золотые у тебя руки, джене!

На Абиль-бия вдруг словно сонная болезнь напала, таким вялым и безразличным сделалось его лицо. Он долго молчал, потом послал жену сказать джигитам, чтобы привели гостям коней. Но едва она вышла, Абиль вскочил, как встрепанный. Вялости его как не бывало.

— Теперь дети мои...— он достал откуда-то небольшой чанач для кумыса.— Я чуть не забыл... У меня скверная привычка, пью кумыс только собственной закваски. Может, и плохой, но он утоляет мою жажду.

Он взболтал кумыс, налил в резную чашку и протянул Бекназару. Тот принял молча. Абиль налил и Кулкиши.

— Пейте, дети мои...

Бекназар глотнул раз, но тотчас остановился и, подняв голову, глянул Абилю в глаза. Тот не отвернулся, только побледнел. Кулкиши как раз подносил свою чашку ко рту. Бекназар ударил по ней, чашка упала, кумыс

вылился. Кулкиши застыл в изумлении. В это время в юрту вошел джигит с известием, что кони поданы. Он заметил происшедшее и в нерешительности остановился у порога.

Бекназар бросил Абилю в лицо свою чашку и молча вышел из юрты. Кулкиши за ним. Абиль не издал ни звука. Кумыс стекал по его лицу, капал на платье, а он сидел, стиснув зубы, и молчал. Джигит рванулся вслед за ушедшими.

— Назад,— коротко остановил его Абиль.

Вбежала Каракаш-аим.

— Что произошло?

Абиль не отвечал.

Бекназар сразу пустил коня в галоп. Кулкиши еле поспевал за ним. Что случилось? Кулкиши не мог сообразить, почему так изменил свое обращение с Абилем Бекназар, и обвинял его. Когда они достигли того места на дороге, откуда открывался вид на бегущую внизу, сверкающую на солнце реку, на всю зеленую мирную долину, Бекназар натянул повод и вдруг пошатнулся в седле. Подоспевший Кулкиши поддержал его. Бекназар был бледен, иссиня бледен, и, видимо, испытывал сильную боль.

— Что с тобой, родимый, что? — суматошно спрашивал Кулкиши. Бекназар в ответ только головой покачал. Горячее дыхание с трудом вырывалось изо рта.

Кулкиши начал ругать Абиль-бия, Бекназар жестом остановил его и склонился на гриву коня. Его вырвало кровью раз, потом другой... Кулкиши потерял соображение от страха и горя, и только и мог сделать, что снял с себя поясной платок и вытирал им рот и грудь Бекназара, рыдая при этом в голос.

Бекназар припал к луке седла, потом снова выпрямился.

— Кулаке,— кусая губы от боли, еле выговорил он.

— Что, родной? Что я могу сделать для тебя, мой барс? — поспешно откликнулся Кулкиши.

— Я тебя об одном прошу, Кулаке, а ты выполни мою последнюю просьбу... Последнюю, Кулаке...

Кулкиши лепетал что-то невразумительное.

— Чему быть, того не миновать, ты не мальчик, Кулаке, сам понимаешь... я выпил яд... Я прошу тебя, никому не говори об этом, Кулаке. Хватит нам кровопролития. Умирали люди до меня, будут умирать и после.

Жалею об одном, что не выполнил я свой долг перед народом, не встретил русских. Но вы не пугайтесь, вы встречайте их сами, Кулаке...

Кулкиши захлебнулся слезами и не мог отвечать. Бекназар скрипнул зубами, закрыл глаза и упал на гриву коня...

«Что же там? Почему ничего не слышно? Умер? Или нет? Ни плача, ни крика...» Абиль-бий места себе не находил. Скрипнет чуть громче дверь, залает где-то собака — он тотчас поднимал голову, прислушивался в страхе. Все удивлялись, глядя на него, особенно Каракаш-аим. Он никогда таким не был. Не терял самообладания. Не метался точно в горячке. За один день высох весь, как вяленая рыба. И ни с кем не разговаривал.

Каракаш-аим осторожно подошла к нему, присела рядом. Она не знала, с чего начать разговор.

— Датха, не позвать ли лекаря? — решилась наконец она спросить.

Абиль не ответил. Он все слушал, не раздастся ли плач либо крик, и ни о чем другом думать был не в состоянии.

Но вот у самых дверей простучали копыта коня. Потом кто-то спрыгнул с седла на землю. Абиль вскочил, накинутая на плечи шуба упала. Каракаш-аим поспешила к двери. Возле юрты стоял траурный гонец. Она впустила его.

— Бий, батыр умер...— сказал гонец.

Каракаш-аим вскрикнула. Абиль шевельнул губами, но не сразу смог выговорить то, о чем неотступно думал все время с той минуты, как Бекназар покинул его юрту:

— Что он сказал? Какое оставил завещание?

— Не знаю, бий. Я видел, как пошли на Кель-Мазар рыть могилу.

Абиля даже пот прошиб, такое он испытал чувство облегчения. «Бог милостив»,— сказал он и провел обеими руками по лицу, как положено во время молитвы. «Ежели что, не послали бы ко мне особого гонца. Стало быть, подозрений нет...»

— Горемычный батыр наш! Честный был, мужественный, а умен, как столетний старик,— сказал Абиль, стараясь показать гонцу, и своей байбиче, что он оплакивает смерть Бекназара.— Да будет господь к нему ми-

лостив. Где есть жизнь, там и смерть. Все мы уйдем в свой день...

Каракаш-аим искренне прослезилась.

Полковник Машин с тремя сотнями казаков вышел из Намангана и направился к Сефит-Булану. Здесь отряд повернул направо и двинулся на восток, чтобы обогнуть гору Бозбу и выйти оттуда на берег Нарына.

Продвигались очень осторожно и медленно, в каждом более или менее удобном месте делали привалы. Встречались им по пути брошенные селения. Поля заросли травой, арыки пересохли. «Кара-киргизцы [1] — народ кочевой,— объяснял толмач,— хлебопашеством занимаются мало, видите, какие прекрасные земли пустуют. А сами они откочевали вон за те снеговые горы. Спустятся с гор в конце лета. Поздней осенью здесь куда ни ступи — аил. Повсюду юрты...» Полковник Машин слушал молча и подозрительно поглядывал по сторонам. Бежали, это ясно. А что если подкарауливают в укромном месте? И Машин погонял своего рослого гнедого коня.

Достигли места слияния двух рек. Полковник Машин остановил гнедого. Густой тальник окунал гибкие и длинные, как девичьи косы, ветки в воду. Шумели на ветру зеленые тополя, отовсюду доносился медовый аромат цветов. Гнулись под тяжестью спелых желтых плодов ветки урюковых деревьев. И ни души. Доносится с высоты звонкая песня невидимого глазу жаворонка. Какая-то маленькая желтая птаха перелетала с места на место, присаживалась то тут, то там — и пела, пела. И никого, ни единого человека. «Рай земной»,— пробормотал засмотревшийся на все это полковник. Подъехавший сотник нарушил очарование.

— Ваше благородие! Люди здешние...

Полковник, нахмурив брови, посмотрел туда, куда указывал сотник. В густых зарослях ореха виднелось человек десять. Полковник махнул рукой.

— Распорядитесь...

Тот же час казачьи сотни рассыпались и окружили заросли. Полковник в сопровождении толмача подъехал не спеша. Воевать оказалось не с кем. Кругом тихо и

[1] Кара-киргизами, или кара-киргизцами, называли дореволюционные ориенталисты киргизов.

мирно. В наполненном запахом меда воздухе слышен только безмятежный шум двух сливающихся рек.

Один из десяти, одетый в нарядный халат, с белой чалмой на голове, выступил вперед. Прочие шли за ним чуть поотстав. Молодые люди. Перепоясаны белыми платками. Руки держат прижатыми к груди. Первый подошел совсем близко и с поклоном поздоровался:

— Мир вам, счастливые сыны Адама.

Толмач перевел. У полковника дрогнули усы, глаза его смеялись. Ему явно было интересно, что же произойдет далее.

Человек в чалме, так похожий на знакомых полковнику по виду ордынских придворных, долго говорил что-то мягко и вкрадчиво. Голос его дрожал...

— Что? Неужто мы будем тут с ними разговоры разговаривать? Ваше благородие, да их надо повесить вон на урючинах, и конец делу! — возмущался сотник, который первым увидел киргизов.

— Успеется,— отвечал полковник.

Толмач переводил:

— Он говорит, что он бий кара-киргизов этой области, что он русским предан от всей души. Говорит, явился встречать с почтением, с открытым сердцем уважаемых господ. Его имя Абиль-бий ибн Караш.

— А, вот оно как! — заметил полковник.

Абиль-бий с надеждой смотрел на толмача, который, как ему казалось, может ему посочувствовать и помочь. На самом деле толмачу все равно было, станут ли его хозяева разговаривать с киргизами либо повесят их на урючинах, как предлагает сотник.

— Добро пожаловать... Мы хотим с почетом принять вас, счастливые сыны Адама,— говорил Абиль-бий, прикасаясь к стремени полковничьего коня.— Добро пожаловать.

Полковник не понял этого жеста и бросил на толмача вопросительный взгляд. «Знак покорности»,— негромко пояснил тот.

Абиль продолжал уговаривать:

— В наших сердцах нет дурных мыслей по отношению к его величеству белому царю и его губернатору. Добро пожаловать, сойдите с коней, будьте нашими дорогими гостями.

Толмач перевел. Полковник подтолкнул коня каблуками в бока.

— Как же отказаться от переговоров и гостеприимства? Любопытно, однако...

Абиль забежал вперед и, кланяясь на каждом шагу, одновременно покрикивал на джигитов, торопил их: «Поживей! Готовьте достархан!» Но джигиты и так не мешкали.

Возле купы ореховых деревьев Абиль остановился:

— Пожалуйте, дорогие гости, почтенные гости... Дорога тяжелая, вы устали от долгой езды. Спешивайтесь, отдохните здесь, место неплохое...

Он обеими руками указывал на бархатный ковер травы, на густую тень.

Полковник Машин сошел с седла. Абиль поспел раньше адъютанта принять у него коня.

— Однако он что-то шибко обходителен,— покачал головой полковник. Впрочем, вид у него был явно довольный.

Абиль заметил это и тоже был доволен, прежде всего собой. Видно, и полковник — человек, как все простые смертные. А какой раб божий не любит почёта и уважения?

Джигиты разостлали длиннейший достархан, приволокли огромные, в рост вставшего на задние лапы медведя, чаначи с холодным, как лед, кумысом, подали вареное мясо. Все три сотни казаков между тем расположились по берегу реки в тени.

Полковник Машин, убедившись наконец, что никакая неприятность ему не угрожает, умылся и подошел к достархану. Но здесь его снова одолели сомнения, и он не решался сесть, несмотря на усиленные поклоны Абиля. Бий догадался, чего опасается русский, и бросился к достархану. Пробовал все кушанья, наливал понемногу из каждого чанача к себе в пиалу и пил.

Русские смеялись и не опасались больше. Полковник, усевшись на почетном месте, рядом усадил толмача и сотника. Их троих обслуживал сам Абиль.

Полковник похлопал его по плечу.

— Как, вы сказали, вас зовут?

Абиль, когда толмач перевел ему эти слова, прежде чем ответить, спросил:

— Вы, должно быть, из наших, а? Обличье вроде бы русское, а говорите похоже на казахов. Вы не ногаец ли?

— Ты свое имя назови! — нахмурил брови толмач.— Какое тебе дело до меня? Ты за себя отвечай.

Абиль сразу присмирел:

— Мое имя Абиль... Абиль-бий,— сказал он, глядя на полковника.

Засиделись заполдень. Разговаривали миролюбиво. Полковник приказал достать водку из своих запасов, разлил по стопкам.

— Ну-с, уважаемый бий,— предложил он, испытующим оком взирая на Абиля,— теперь вы с нами выпейте.

Толмач, улыбнувшись, перевел. Абиль поглядел на прозрачную, как слеза, жидкость, потом перевел глаза на переводчика.

— Вы это называете араком,— сказал тот.

Абиль внутренне воззвал к богу: «Аллах, что я скажу ему?» Встал и, запинаясь, произнес:

— Ваше высокоблагородие, наш бог не велит нам пить арак. Простите, ваше высокоблагородие...

Полковник Машин, весело блестя светло-голубыми глазами, сказал:

— А наш бог не велел нам сидеть вместе с вами, но ведь мы сидим, верно?

Абиль, выслушав перевод этих слов, взял в руки пиалу. «Аллах, ты один можешь простить меня за этот грех!» — и он выпил водку, а пиалу отбросил в сторону. Сотники захохотали, а полковник улыбнулся:

— Вот это другое дело!

Солдаты с наслаждением пили кумыс, пили и похваливали: «Хорош, очень хорош!» Абиль удивлялся этому и решился потихоньку спросить переводчика:

— Мусульманин, разве они знают кумыс?

— Они не едят конину и кобылье молоко не пьют, вообще-то. А эти просто привыкли. Прошли всю казахскую степь, вот и привыкли,— уже более дружелюбно отвечал переводчик, покрасневший от выпитой водки.— Человек ко всему привыкает, ко всему его приучить можно.

Солдаты пытались разговаривать с киргизскими джигитами и кое-как понимали друг друга. Смеялись. Абиль все это видел, все подмечал. Его благородие и сам немного опьянел от водки и стал разговорчив; он словно позабыл и о своем чине, и о том, что он здесь представитель русских, обращался со всеми, как с ровней, и не

особенно старался вникать в то, что слышал. «Смотри, пожалуйста, угощение принимает, разговаривает попросту, душа нараспашку... Видно, народ-то они незлой, общительный»,— думал, глядя на полковника, Абильбий.

...По направлению к Кель-Мазару потянулась в отдалении цепочка людей. Полковник заметил их и принялся всматриваться, то же сделал и толмач, наставив ладонь козырьком над глазами.

У Абиля дрогнуло сердце. Он вспомнил вдруг о том, что сидит здесь не по праву, что он украл совет у Алмамбета и жизнь у Бекназара. Опустив голову, он объяснил:

— Люди эти... они на кладбище идут, несут покойника. Не знаю, надо ли приписать это одному только приближению вашего высокоблагородия, но тут жил один непримиримый ваш враг. Вечером накануне вашего прибытия умер он. Ни с того ни с сего начало его рвать кровью. Его и хоронят. Вы не опасайтесь.

Полковник как будто успокоился и, поднеся к глазам бинокль, долго рассматривал процессию.

Впереди несли носилки с телом покойного. Несли четверо, поставив на плечи. Следом вели коня, к луке седла которого подвешен был обоюдоострый обнаженный меч. Несущие гроб сменялись, потому что многие хотели отдать последний долг батыру.

Эхо многоголосого плача неслось по окрестным горам, и казалось, что смерть эту оплакивает вместе с людьми природа...

Полковник опустил бинокль, встал.

— Ну-с, благодарю вас, уважаемый бий.

И без переводчика было понятно, что гости собираются в путь. Абиль тотчас окликнул Карачала, и тот, ожидавший только знака бия, выступил вперед, держа обеими руками серебряный поднос, на котором лежал сваренный целиком гусь. Полковник Машин прежде всего обратил внимание не на поднос, а на державшего этот поднос слоноподобного детину.

— Отведайте последнего блюда, мы наслышаны, что господин полковник любит мясо птицы. У нас птицу не держат, в город за нею посылали.

Полковник начал было отказываться. Абиль уговаривал, чтобы он отломил ножку и хоть попробовал. В конце концов полковник из вежливости согласился,

Он взял гуся за одну ногу, потянул. Птица была хорошо проварена, мясо мягкое, легко поддавалось, и тут полковник увидал, что из гусиного живота выпало на блюдо несколько золотых монет. Растерявшийся полковник повернулся к Абилю и встретился с ним глазами. Абиль едва заметно улыбнулся и покивал головой. Толмач сделал вид, что ничего не заметил. Полковник, видимо, не знал, как поступать,— брать или отказаться.

— Якши киргиз [1],— вроде бы поблагодарил он.

— Если вы сыты, можно приторочить его,— сказал Абиль-бий и проворно завернул гуся вместе с блюдом в скатерть. Сверток уложили в торока.

— Якши киргиз,— повторил Машин.

Прощался полковник с Абилем за руку. Абиль не сразу выпустил его руку и, кланяясь, попросил через переводчика:

— Брат мой, передай, дорогой, его благородию, что мы просим оставить нам письменное свидетельство. Ты ведь знаешь, народ наш склочный, мало ли что болтать начнут, а я тогда бумагу покажу. И если еще прибудут ваши люди, им тоже показать можно.

Переводчик, в глубине души удивляясь хитрости этого человека, пересказал его просьбу. Полковник Машин достал листок бумаги и быстро начал писать: «Обследуя горы, мы повстречались с кара-киргизами. Их бий ибн-Караш Абиль встретил нас с радостью и проявил истинно дружеское отношение. Свидетельствуя об отсутствии у этого племени и его бия дурных намерений по отношению к русским властям, мы просим членов экспедиций, имеющих состояться после нашей, обращаться с этими людьми по-доброму». Он поставил подпись и отдал листок Абилю.

Отряд двинулся дальше. Абиль же долго стоял и любовался бумагой, которая впоследствии, вплоть до появления русской администрации, дала ему как особый указ, полученный от царя, возможность и право властвовать над простым народом.

---

[1] Хороший, добрый киргиз.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ОКРОВАВЛЕННЫЙ МЕЧ

Чтобы узнать о прошлом народов, мы обращаемся к сочинениям историков; в них зачастую ищем ответа на те вопросы, которые ставит современность. Но истинное знание, понимание минувшего приходит только тогда, когда мы умеем различить за чередой событий реально живших, боровшихся и страдавших людей. Этим всегдашним человеческим стремлением постичь смысл и обыденное содержание жизни ушедших поколений можно в значительной мере объяснить возникновение исторического романа. Перед писателем, отправляющимся в историю, возникает задача особой сложности: не просто создать достоверные образы героев, но заставить говорить прошлое на языке, понятном сегодняшнему читателю. Ведь многие приметы быта, распространенные представления и предрассудки, характерные для ушедших эпох, были настолько отличны от наших, что теперь необходимо преодолеть известный психологический барьер, дабы почувствовать себя естественно и свободно в культурной среде, окружавшей предков. И в то же время необходимо соблюсти ту дистанцию между днем сегодняшним и вчерашним, которая даст ощущение глубины, исторической перспективы. Если это удается писателю, его произведение находит широкое признание. «Сломанный меч» Толегена Касымбекова выдержал уже несколько изданий, поэтому у нас есть основание для углубленного разговора об этой книге, тем более, что перед нами — первый в киргизской прозе опыт исторического романа.

Писатель пришел в литературу в пятидесятые годы. Прежде чем подойти к осмыслению исторических сюжетов, он испробовал свои силы в разных жанрах, писал для детей и взрослых. Историко-лирическая драма в стихах «Алымкан» свидетельствовала о пробуждении у Т. Касымбекова серьезного интереса к прошлому своего народа. Героем этого произведения стал знаменитый сказитель Токтогул. Но если та небольшая драма давала трактовку событий преимущественно глазами лирического героя, то впоследствии писатель ощутил потребность в более широком, эпическом освещении исторических судеб Киргизии и ее народа.

Роман «Сломанный меч» посвящен той поре в истории Средней Азии, когда одряхлевшие деспотии, раздираемые нескончаемыми смутами и междоусобицами, клонились к своему закату. С Запада волна за волной накатывались военные экспедиции Российской империи. Двуглавый орел уже простер свои крылья над песками пустынь, свечами минаретов и глинобитными лабиринтами древних городов Хорезма и Ферганы. В огнедышащем сердце Азии беспрерывно происходили стычки между русскими отрядами и войсками ханов и эмиров, подстрекаемых Англией. Решался вопрос о том, какая из империй установит свое господство над народами, входившими в состав умирающих феодальных образований. Однако прежде всего

прозаик исследует внутренние конфликты, приведшие в конце концов к переменам в судьбе края.

Сама последовательность событий, о которых рассказывается в романе, как будто не заключает в себе никакого смысла — кровавая чехарда во дворцах владык, в результате которой монархи сменяются один за другим, вызвана, на первый взгляд, причинами случайного свойства: этому претенденту на ханский трон удалось взойти на гребень земного могущества благодаря собственной хитрости и удачному стечению обстоятельств, другой воспользовался оплошностью противника... Но поскольку в цепи явлений можно уловить какой-то порядок, то мы можем рассчитывать и на постижение смысла этих явлений. В чем же состоит порядок исторического движения народов Востока в пору, предшествовавшую их присоединению к России, в чем новизна сложившейся тогда политической ситуации? Ведь междоусобная борьба всегда была характерна для феодальных держав — и во времена Тимура, и в более близкие к нам времена. Небывалое ранее явление наблюдаем мы в описываемую Т. Касымбековым эпоху — полное распадение **государственного** сознания у носителей власти; на место представлений о какой-то своей исторической миссии, которые (не всегда, может быть, отчетливо) просматриваются в деятельности властителей прошлого, пришла убогая философия шкурничества, повелевающая думать и заботиться о своем благе здесь, сейчас. «Ни о чем другом, кроме блаженства, кроме собственного удовольствия, и думать не хотят! И власть для них — только средство получить все блага, все удовольствия, возможные в этом мире», считает Исхак. Даже тот ограниченный, в общем-то, политический кругозор, который был свойствен феодальному владетелю в прошлом, выглядит в сравнении с «идейной платформой» искателя власти в новое время подлинной государственной мудростью. Исчезновение смысла, своего рода «мистики» государственного бытия и было самым характерным свидетельством глубокого социального кризиса, поразившего тогдашнее общество. Да простит нам читатель этот невольный парадокс, но смыслом длинного ряда дворцовых переворотов и братоубийственных войн было исчезновение смысла. Политическая борьба переставала быть таковой, вырождаясь в потасовки соперничающих клик — никто из рвущихся к власти не мог предложить массам ясной программы, определить свои цели. И даже те «рыцари», которых привлекала идея господства сама по себе, оказывались одиночками в толпе тех, кто стремился к государственному рулю только в видах собственного обогащения.

Одним из таких «рыцарей» — искателей личного могущества, пренебрегающих ради него и земными благами, является в романе Юсуп. На его судьбе писатель прослеживает развитие идеи господства, не освященной никакими целями. Будучи человеком выдающихся способностей, обладая природным умом, чувством собственного достоинства (весьма знаменательно в этом смысле его столкновение с Карабеком, отпрыском богатого рода). Юсуп не видит в своей жизни главного — Высокой Цели. Такой тип правителя особенно характерен для эпох, когда идеи общественного служения постепенно выветриваются из религиозной и житейской практики, когда повсюду торжествуют начала эгоистического самоустроения. При раскрытии образа Юсупа писатель прослеживает логику складывания жизненных воззрений властолюбца — от изначального презрения к людям к постепенному установлению для себя всеобъемлющего принципа: надеяться только на себя. Вместо того чтобы попытаться преодо-

леть те перегородки, что отделяют его от ближних, Юсуп постоянно «наращивает» тот кокон одиночества, в котором он замкнулся еще в юные годы. На примере этого героя романа мы видим неумолимое действие закона отчуждения — если, восходя по социальной лестнице, человек перестает ощущать свою причастность к окружающим, свое единство с народом, то результатом будет ослабление даже тех связей, что делают его сильным мира сего. Обстоятельства, созданные таким деятелем, начинают работать против него самого, построенный им механизм отторгает его. Так происходит и с Юсупом. Шералы, ничтожная пешка, выходит из повиновения и, попав под влияние противников аталыка, делается непосредственным виновником его гибели. Это происходит из-за того, что и в интригах вокруг престола Юсуп пытается «выехать» за счет своих талантов и личного «магнетизма». Возводя презрение к человеку в принцип, возносясь над грешной землей, такой герой в конце концов становится просто в тягость каждому, кто соприкасается с ним, и тогда даже тот, кто поначалу поддерживает аталыка, оказывается безучастным к его судьбе...

А Мусулманкул, который «вырыл Юсупу яму»? Он тоже поражен «недугом века». Оторванность от народной жизни, неуемное стремление к власти приводят к трагическому концу и эту незаурядную личность. Образ Мусулманкула, вылепленный лаконично, но выразительно, вводит нас в самую суть противоречий смутного времени, наставшего для Кокандского ханства и его подданных — кочевников. До тех пор, пока Мусулманкул носил гордое звание аталыка, его мало заботили судьбы земляков, но, оказавшись на положении изгнанника, он вдруг вспоминает о родовых связях, взывает к голосу крови в попытке восстановить кипчаков против группы интриганов, устранивших его от власти. Но веры Мусулманкулу уже нет — однажды показав свое пренебрежительное, даже потребительское отношение к родичам, он теперь не может рассчитывать на их полную поддержку. И все-таки автор не дает своему герою однозначно-отрицательную оценку. Мусулманкул — гордый, сильный и мужественный человек. В его душе уживаются расчетливость и смелость, жестокость и благородство. А в драматические дни, когда разъяренное воинство Кудаяр-хана грозит полностью вырезать кипчаков, он жертвует собой в отчаянной попытке остановить кровопролитие. Метания Мусулманкула, его непоследовательность отражают то состояние человеческой души в минуты роковые, когда устоявшийся веками общественный уклад рушится, а ему на смену еще не пришел новый порядок. Та же сумятица в сознании другого кипчака — Нармамбета,— выдавшего палачам Мусулманкула. Во имя прекращения бойни он идет на предательство доверившегося ему свергнутого аталыка. Но когда расчеты его оказываются ложными, Нармамбет порывает с ханом-убийцей и уходит в горы к своим соплеменникам.

Более удачлив в своих предприятиях один из владетельных старейшин южных киргизов — Абиль-бий. Его тактика несложна — поддерживать сильного. Он постоянно лавирует между различными противниками в надежде остаться вне схватки. Однако не всегда его попытки оказываются удачными — когда опытный интриган видит, что народ уже не остановить, он примыкает к большинству и тем покупает доверие масс. Не брезгуя никакими средствами — запугивание, отравление, посылка наемных убийц — Абиль-бий преследует всегда одну цель — остаться у власти. Характерна его позиция в финале романа. Сначала он призывает к возрождению орды, но когда видит, что народ против этого, начинает искать путей при-

мирения с русскими. В итоге Абиль-бий оказывается во главе депутации, встречающей отряд полковника Мишина, а избранного для этой цели земляками Бекназара несут к месту погребения. Хладнокровные расправы с неугодными сопровождаются показными благодеяниями и пышными словесами Абиль-бия. Из всех персонажей романа это, пожалуй, наиболее мрачная фигура. Если другие мелкие тираны действуют открыто, даже нагло (например, Домбу), то Абиль-бий с его елейными речами жалит исподтишка. Ко всему этот циник и других учит жить по таким же законам. «Где власть, там и насилие, а где насилие — там и лесть. А лесть иногда помогает защищаться от насилия».

Воистину то были жестокие времена! Национальная рознь, разжигаемая грязными дельцами, толпившимися возле ханского трона, грозила подчас самому существованию народов, делала невыносимой жизнь простых людей. Т. Касымбеков щедр в изображении испытаний, обрушивавшихся одно за другим на земли киргизов. Страшная картина джута, опустошившего край, становится как бы вторым планом той драмы, что разыгрывается на политической сцене Средней Азии, а история охотника Сарыбая, потерявшего зрение из-за собственного беркута, воспринимается как своеобразная притча, как мифологическое обобщение социальных процессов, происходивших в ханстве. Каждый человек был поставлен в жесткие условия, когда приходилось выбирать не просто между добром и злом. В сплетении противоречивых интересов необходимо было нащупать твердую нравственную опору. А вот ее-то, чаще всего, и не могут обрести герои писателя, ибо тот родовой строй, который сформировал их, стал уже фикцией, его заветы остаются действительными только на словах. Характерный пример того — совет старейшин, созванных Абиль-бием для устройства поминок по умершему сородичу. Все вроде бы чинно и благопристойно, все как будто в традициях былого. Но внешняя обрядность нужна опытному политикану для того, чтобы показать землякам свою приверженность старине и тем приобрести симпатии влиятельных аксакалов. К тому же поминки служат для него удобным поводом к тому, чтобы зазвать к себе влиятельных лиц орды.

При этом важно отметить, что облеченные властью прекрасно понимают, что нужно людям, знают их чаяния и при случае даже готовы украситься броской фразой, представить себя блюстителями нравственности, завещанной предками. Когда в беседе с Абиль-бием прямой, не любящий скрывать свои симпатии и антипатии Бекназар заявляет, что «бии, отцы народа, к народу не прислушиваются, о нуждах народных не пекутся», лукавый устроитель пиршества говорит: «Ту голову, что не печется о народе, покарает сам бог». И подобная демагогия до поры находит отклик у кочевников, заставляя их время от времени подниматься на борьбу с ханами Коканда и приводить к власти своих предводителей. Но мы видим, как от раза к разу слабеет воинственный пыл простодушных жителей предгорий, как они начинают понимать, что являются лишь игрушками в руках искателей власти. Ведь всякий новый владыка Коканда, пришедший во дворец благодаря мужеству воинов-кипчаков и киргизов, быстро забывает о своем родстве и вновь вспоминает о нем лишь в трудные минуты.

Измельчание ханов, правящих в Коканде, также достаточно выразительно изображено в романе. Полное отсутствие государственной мудрости, неумение поступиться даже мелкими интересами ради значительных достижений, неспособность к компромиссу — вот чер-

ты владык ханства. Именно поэтому в государстве постоянно бушуют мятежи, происходят перевороты. Пример с Кудаяр-ханом, казнившим послов киргизских родов и вызвавшим тем самым всеобщее восстание против себя, весьма знаменателен. В этом случае особенно видно ничтожество монарха — такое неумение управлять собой, подобные вспышки слепого гнева могли бы быть простительны разве что для мелкого племенного вождя. А борьба за власть в собственной державе настолько тяготит его, что он готов отдаться под иностранное покровительство. «Кудаяр-хану было все равно. Остался бы за ним его дворец, гарем да отцовский трон, а под чьим истинным владычеством окажется народ, ему дела нет». После нескольких десятилетий правления ханов, подобных Кудаяру, когда-то жизнеспособное государство становится не нужно даже собственным подданным. Результаты деятельности бездарных властителей определяет в романе мудрый старец Аджибай-датха: «Глупый сын черпаком расплескивает добро, которое умный отец собирал по ложке».

Народу постепенно делаются чужды заботы государства, пекущегося лишь об интересах богатых. При известии о восшествии на престол очередного монарха простой землепашец Тенирберди говорит, выражая мнения большинства: «Кудаяр так Кудаяр, ладно, да только скажите, что доброго сделал он для народа?» А Бекназар оценивает порядки в ханстве еще резче: «А когда ее не было, собачьей-то грызни, в вашей орде?.. Для народа ваша орда — истинное бедствие». Ему вторит Шер-датха: «Зачем нужна власть, от которой нет ни покоя, ни счастья... Зачем нужна шуба, которая не греет...» А раз и самим народом утрачена вера в незыблемость государственного порядка, конец монархии Кудаяр-хана неизбежен.

Слом этических воззрений патриархального кочевого общества и феодальных кругов прослеживается, таким образом, на различных уровнях — от политико-военного до частного, личностного. Перед читателем не просто прихотливое сцепление ряда человеческих судеб, узор острых жизненных ситуаций — Т. Касымбеков стремится показать эпохальный сдвиг в сознании целого народа. Именно этим объясним «вертикальный срез» общества, данный в романе,— от хижины бедняка до ханских покоев, от повседневных забот земледельца и совсем уж «камерных» стремлений молодой женщины до дворцовых интриг визирей и военачальников.

И писателю удается вызвать у нас ощущение мощного исторического движения, участники которого, часто не осознавая своей миссии, способствуют наступлению иных порядков. В самой манере повествования, подчеркнуто объективной передаче событий, свойственной летописцам, ощутимо намерение сообщить рассказу эпическую простоту и значительность. Ритм, заданный первыми страницами романа, господствует и в тех главах, что посвящены трудам и дням простых людей. Неспешно течение их мыслей, весомы произносимые ими слова. И потому угадывается за каждым из героев длинный ряд поколений, даже обыкновенным человеческим занятиям придается философская значимость.

В контрастном противопоставлении мирных помыслов, сосредоточенной каждодневной работы народа и лавинообразного движения воинских масс, полыхания страстей, рождается драматизм романа, его тревожный общий настрой. В трудный век никому не выпадает безмятежная доля. Поэтому всех героев писателя поджидают испытания: гибель родных, нужда и скорбь... Тем, «кто посетил сей мир в его минуты роковые», с особой отчетливостью открывается значе-

ние простых истин, не отвлеченная ценность таких понятий, как мир, любовь, порядок... Вот почему речи многих персонажей, которые могли бы в иных условиях показаться риторичными, звучат в драматических сценах книги достоверно и весомо. А образы сильных духом борцов против угнетателей, напоминая о легендарных героях восточного эпоса, являются все-таки вполне реалистичными. Таков Исхак, провозгласивший себя ханским сыном. В его облике сразу заметны природная сметливость и находчивость, присущие выходцу из народа. В то же время это человек, наделенный недюжинным умом; кажется, что за суждениями молодого героя стоит солидный опыт руководителя. «Кто хочет утаить плохое, называя его хорошим, обманывает сам себя. Кто не боится признаваться в своих ошибках — в конце концов исправляет их»,— говорит он. В нем как будто совсем нет мальчишеского идеализма, но и преобладают такие качества, как обстоятельность и дальновидность. И все-таки, будучи сам человеком честным и порядочным, Исхак не может до конца понять коварную природу высокопоставленного вельможи Абдурахмана. В результате, доверившись опытному интригану, поверив в искренность его слов о благе земляков, руководитель повстанцев попадает в ловушку.

Противникам Исхака нельзя отказать в уме и изворотливости. Тот же Абдурахман, ловко лавируя между различными группировками, достигает высшего положения при дворе. Однако, задолго осознав грозящую трону опасность, вступает в переговоры с Лже-Болотом и его военачальниками. Он полагает, что Исхак и Кудаярхан станут лишь пешками в затеянной им большой игре. Но если относительно ничтожного владыки этот расчет оказывается верен, то с Исхаком дело оборачивается совсем непросто. Старого интригана подводит в данном случае то обстоятельство, что он видит в каждом из своих возможных противников лишь искателя благ для себя, оценивает всех по собственному подобию. О плененном Исхаке, томящемся в кромешной тьме зиндана, стражник думает: «Сидит в этой дыре, смерти должен ждать как счастливого избавления, а он, гляди-ка, беспокоится о народе, о стране... С ума, наверное, начал сходить, бедняга». И дело не в том, что вождь восстания скрыл от Абдурахмана свои истинные намерения. Он прямо заявляет ему: «Что мне нужно? Золотой трон?.. Богатство, довольство?.. Ни того, ни другого мне не надо. Мне нужна свобода, свобода для народа, о котором вы печалитесь». Но Абдурахман просто не в состоянии понять такую позицию — привыкнув по любому поводу склонять святые слова «народ», «свобода», «честь», он и в своем собеседнике видит лишь ловкого краснобая. Вот эта-то неспособность поверить в искренность высоких чувств и мыслей и оказывает абдурахманам дурную услугу. Пытаясь «переиграть» противника, они становятся поперек неостановимого движения поднявшихся на борьбу масс.

Тот, кто противостоит народу, добиваясь своекорыстных целей, может нанести непоправимый урон обществу. Так случилось и с Абдурахманом, который пожелал использовать в своих интересах авторитет и силу вождя восстания. Позднее Исхак скажет ему: «Я наконечник копья, которое держит народ. А вы позавидовали моему счастью, вы на правах родства змеей заползли мне за пазуху, вы устроили мне западню, дали подножку. Только ведь не мне одному — всему народу».

Но и тот, кто вполне осознает свой долг перед людьми, видит своей целью их благо, не всегда в состоянии осуществить добрые намерения — для этого необходимо, кроме всего прочего, понимание

закономерностей общественного развития. Умный от природы Исхак остается все же в кругу феодальных представлений, и когда в результате победоносного восстания становится ханом Коканда, ничего реально не делает в пользу простых людей. Он, собственно, не знает даже, с какой стороны взяться за дело. Даже в отношениях с внешними противниками его программа лишена определенности, ее можно выразить словами «поживем, увидим». Аппарат прогнившей деспотии целиком сохранен новым ханом, незыблемо и господствующее положение ислама, хотя Исхак и понимает, что религиозная нетерпимость вредна. И сами методы правления мало изменились со времен прежних владык. Так же, как и прочие деспоты, он завел систему осведомителей, которые доносят ему о настроениях подчиненных. И народолюбие нового хозяина дворца выражается не в конкретных делах по облегчению жизни низов, а в таких угрозах: «Ваши мудрые, богатые и, как вы уверяете, богобоязненные верующие готовы продать кого угодно, кому угодно. И я не стану щадить их, понятно вам? За самую малую провинность буду резать, как баранов, вешать попарно на воротах, живыми в землю зарывать!» А когда успех перестает сопутствовать Исхаку, он и вовсе теряет представление о мудрости и справедливости. «Он никому теперь не доверял, мысли его мешались, не было в них порядка, а в сердце царило смятение. За вину одного он теперь готов был утопить в крови тысячу...»

Внутренняя противоречивость характера Исхака порождена опять-таки особенностями эпохи, описанной в романе. Воспитанный в условиях полного господства религиозных воззрений, воспринявший с самых ранних лет «уроки жестокости», которые постоянно преподносила действительность, будущий вождь народного движения не мог знать тех идей, которые распространялись в передовых странах тогдашнего мира. Но уже одно то, что он инстинктивно понимал, что человечество едино и стремится к общей правде (Исхак постигал это в понятиях религиозного мировоззрения),— делает его выдающимся человеком своего времени. Возможно, что события в ханстве в дальнейшем привели бы Исхака к пониманию того, что союз и дружба с Россией необходимы отсталой стране. Но накаленная политическая атмосфера была постоянно чревата новыми осложнениями, и вскоре, после убийства в Коканде русского унтер-офицера, вооруженные силы империи выступили против «узурпатора». Характерно, однако, что Исхак не сумел осознать причин своих неудач в этой борьбе, ему казалось, что дело в отдельных личностях: «Не было бы династии мингов, не было бы и их прихлебателей вроде Абдурахмана и прочих знатных беков. Тогда не страшен был бы и царь с его губернатором». И между тем воинство, сражавшееся под зеленым знаменем ислама, было обречено на неудачу прежде всего потому, что пыталось противостоять частям армии, которая была куда лучше вооружена и руководствовалась передовой стратегией и тактикой. Потому-то немногочисленные отряды Скобелева и Меллер-Закомельского без труда рассеивали целые орды конников и брали один город за другим.

История взаимоотношений Кокандского ханства с Россией составляет одну из важных тем романа. Однако для того чтобы читатель мог составить более полное представление о причинах и ходе борьбы, развернувшейся в семидесятых годах прошлого века в Туркестане, нам придется несколько отвлечься от событий, происходящих в романе...

Завершив колонизацию Индии, британский империализм развернул экспансию в сторону Севера. Выйдя на афганскую границу и по-

стоянно угрожая войной свободолюбивой стране, вооруженные силы королевы Виктории посягали уже на государственную самостоятельность народов Средней Азии. Одряхлевшие феодальные образования неминуемо стали бы добычей Англии. В таких условиях единственно спасительной мерой было добровольное вхождение в состав Российской империи. (И поэтому большинство народов, населявших обширное пространство между Каспием и Тянь-Шанем, мирно объединились с Россией.)

Т. Касымбеков, однако, далек от идеализации действий царского правительства. Они, как известно, были продиктованы отнюдь не высшими гуманистическими соображениями. То была обычная колониальная политика, экспансия сильного. Просто в той ситуации, которая сложилась на данном историческом этапе и которую так правдиво и ярко отразил писатель в своем романе, присоединение Киргизии к России было не только единственным выходом для первой, но и знаменовало собой ее шаг на пути к прогрессу.

Итак, начавшись как прогрессивное народное движение, восстание под водительством Исхака оказалось в конце концов в идейном тупике. Вот почему массы остались в стороне от боевых действий. Вот почему немногочисленным воинским частям русских удалось наголову разгромить войска последнего кокандского самодержца. Историки свидетельствуют: «Активной силой в борьбе против царского завоевания были прежде всего феодальная аристократия и мусульманское духовенство, которые видели в завоевании Средней Азии... опасность потери своих земельных владений и огромных доходов. Используя отсталость народных масс и огромное влияние идеологии ислама, феодально-клерикальная верхушка стремилась разжечь религиозный фанатизм и, выдвигая реакционные лозунги «газавата», толкала трудовые массы на сопротивление царским войскам. Однако это не могло спасти отсталые и одряхлевшие феодальные среднеазиатские деспотии от неизбежного поражения» [1].

После вхождения земель бывшего ханства в состав России простой люд был освобожден от нескончаемых поборов и притеснений кокандских чиновников. Русское правительство воспретило работорговлю, объектом которой раньше обычно становились дети, закрылись и невольничьи рынки. Начался экономический подъем края — высокоразвитая текстильная индустрия европейской России требовала все больше хлопка. В Среднюю Азию пришла железная дорога, задымили трубы первых промышленных предприятий. Появились газеты, гимназии, театр. А что могли предложить взамен этого «идеологи» национальной вражды вроде Абиль-бия и остатков прежней феодальной знати, строивших козни против новых властей? И потому закономерен вывод автора романа: «Народ предпочел тропу жизни дороге смерти... Так пала старая орда, цели которой ни в чем не совпадали с целями общенародными и которую народ не поддерживал. Окровавленный меч был сломан».

Композиционно роман как бы разомкнут, открыт в будущее. Властители приходят и уходят, меняются очертания границ, но незыблемым остается главное — культура народа, те нравственные ценности, которым он всегда был верен на своем долгом историческом пути.

С. ПЛЕХАНОВ.

---

[1] История Узбекской ССР, Т. 1, кн. 2, Ташкент, 1956, стр. 98.

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОМАННЫЙ МЕЧ. Исторический роман 1

ОКРОВАВЛЕННЫЙ МЕЧ. *Послесловие* С. Плеханова . . 470

Толеген КАСЫМБЕКОВ

СЛОМАННЫЙ МЕЧ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1980, 480 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **И. Юшкова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Т. Васильева**

●

Сдано в набор 29/XII-79 г. Подписано в печать 25/VII-80 г. Формат 84×108 1/32. Бумага печ. № 1. Гарнитура «Латинская». Печать высокая. Печ. л. 15,00. Усл. печ. л. 25,20. Уч.-изд. л. 26,88. Зак. 283. Тираж 227 000 экз.

Цена 2 руб.

●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220005, Минск, Красная, 23.

скан ewgenig-new